

Г. И. УСПЕНСКИЙ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ



Г. И. УСПЕНСКИЙ



5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 5

КРЕСТЬЯНИН И КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

ИЗ РАЗГОВОРОВ С ПРИЯТЕЛЯМИ

ПРИШЛО НА ПАМЯТЬ

БОГ ГРЕХАМ ТЕРПИТ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

Подготовка текста
Н. И. ПРУЦКОВА

Комментарии
Г. М. ФРИДЛЕНДЕРА

КРЕСТЬЯНИН И КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД

I. ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ

Вот уже почти год, как я живу в деревне и нахожусь в ежедневном общении с хорошей крестьянской семьей, ведущей основательное, подлинно крестьянское, то есть исключительно земледельческое, хозяйство, и как в первый день знакомства, так и сию минуту ни я, ни эта семья не смогли проникнуться интересами друг друга. Я не понимаю, зачем существует на свете семья и из-за чего она бьется, а семья тоже совершенно понять не может и удивляется: зачем собственно я существую на белом свете? Мы находимся в самых приятельских отношениях; при встрече всегда здороваемся, раскланиваемся, спрашиваем: «как дела?», «все ли благополучно?» и даем друг другу ответ: «ничего, слава богу, помаленьку», но понимать друг друга все-таки не понимаем. Ни малейшего, мало-мальски общего интереса между нами не образовалось; все, что интересно мне, ни капельки не интересно для Ивана Ермолаевича (так зовут главу крестьянской семьи, о которой идет речь), хотя он, слушая меня, и поддакивает и старается сделать такое лицо, чтобы оно подходило под разговор; зевоту, которая иной раз является у него неожиданнейшим для меня результатом моей беседы, которую он, повидимому, слушает внимательно, — Иван Ермолаевич весьма тщательно скрывает. С своей стороны, слушая задушевнейшие беседы Ивана Ермолаевича, я иной раз даже поступаю хуже его, прямо зеваю и потом извиняюсь, что выходит уж совершенно неприлично.

Когда Иван Ермолаевич едет в город или на станцию, самая важная для меня просьба, с которою я к нему обращаюсь, — это «привезти газету, зайти на почту и взять письма», а второстепенная в том, чтобы захватить муки, мяса. И всякий раз выходит так, что муки и мяса он привезет, а газету и письма забудет.

— Забыл! — говорит он чистосердечно. — Говядину-то и хлеб я помнил, а насчет этого. повел лошадь ковать — забыл! Мало ли делов-то! То то, то другое, все по хозяйству — оно и забудешь!

— Как же это вы так, Иван Ермолаевич! ведь я вас как просил?

— Что поделаешь-то! я помнил.. Всю дорогу я, признаться, в уме держал. Да тут барышники с лошадьми встретились. одна лошаденка каренькая попалась... такая приятная скотинка.. грудь, так, братец ты мой, веришь, вот не солгать, сказать ежели...

И затем начинает длиннейшую рацею о таких вещах, которые вовсе не интересны.

С своей стороны и я не всегда удовлетворяю желаниям Ивана Ермолаевича. Двадцать по крайней мере раз просил он меня, когда я ехал в город, «не забыть насчет колесной мази», и ровно двадцать раз я об этой мази забыл.

— А мазь привез? — спрашивает Иван Ермолаевич, выходя на крыльцо ночью, часу во втором, заслышав стук колес моей телеги, и, получив ответ неблагоприятный, точно так же, как и я, пенял мне.

— Э-эх, — говорит он, кряхтя, — а ведь как молил-то! не забудь, сделай милость, в догонку кричал... Э-эх!

Но и со мной произошло точь-в-точь то же, что и с Иваном Ермолаевичем, — я точно так же, как и он, очень долго *помнил* насчет колесной мази. Ехал и помнил, да вдруг попалась газета или приятель с разговором об интересном деле — ну, и забыл. «Из ума вон».

Еще с здешним «подстоличным» мужиком, почти отбившимся от сельского хозяйства, толкающимся по станциям двух железных дорог, еще с таким испорченным цивилизацией мужиком у меня иной раз может выйти какой-нибудь обоюдный разговор, то есть иной раз подстоличному мужику понадобится кой о чем спросить меня.

— А что, — спросит, — как в газетах пишут, много ль на Лиговке домов погорело?

Ему нужно знать, много ль погорело сенных складов, потому что, «толкаясь» вокруг сена и сенных операций, нагрузок и перегрузок, он очень заинтересован в вопросе о цене сена и потому интересуется знать, много ли погорело сенников.

— Да пишут, — говорю я, — домов четырнадцать.

— Четырнадцать? А кое место?

Говорю я и про место.

— Это хорошо, — говорит подстоличный мужик. — Это все сенные места... А что, — прибавляет он, — нет ли чего насчет чтобы других мест? все ли благополучно насчет сена-то?

— Нет, нету...

— Ничего не пишут в газетах?

— Нет...

— Гм. Нет, вот как года три назад барки, братец ты мой, с сеном взялись гореть... так уж было!.. До семидесяти пяти копеек в один день сено-то поднялось. У нас, братец ты мой, по сороку копеек брали, не то сено, а прямо сказать прель, чернь, навоз... Что, нету-тка в газетах-то.. ничего, чтобы. насчет барок ежели?

— Нет, нету...

— Дюжо хорошо с сеном-то в ту пору поправились.

Такие разговоры возможны между мною и испорченным подстоличным мужиком, но не только между мною и Иваном Ермолаевичем почти никогда не выходит таких «обоюдных» разговоров, но не выходит их у Ивана Ермолаевича и с подстоличным мужиком. Всех таких мужичонков Иван Ермолаевич, как истинный «крестьянин», погруженный исключительно в земледельческий труд, недолюбливает и даже, пожалуй, ненавидит. Прихотливый, нездорово-избалованный желудок, утроба Петербурга, отбил подстоличного крестьянина от земледельческого труда. То желудку этому нужна отличнейшая телятина, то вдруг потребуют ягод в громадных размерах и за землянику, малину дают такие цены, которые дороже самого дорогого сена... Наехали в Питер какие-нибудь иностранные высокие гости; расшумелся и раскутился какой-нибудь случайный магнат, которому

удалось выгодно надуть казну; состоялась ли какая-нибудь операция, около которой греют руки сотни крупных и мелких акул и акуленков, — все это сейчас же отзывается на здешних местах. Отзывается то требованием разных разностей «к столу», то наездами хорошо пообедавших господ после стола на охоту. И все это совершается всегда почти неожиданно, и всегда такое неожиданное требование сопровождается фразой: «что хочешь возьми, а чтоб было!» Такой слуга испорченного столичного желудка постоянно мечется как угорелый, то ищет ягод, когда их за ненадобностью сдули в болото частые северные ветры, то Христом-богом молит насчет медведя, нет ли где, не слыхал ли кто, потому одному барину «смерть» хочется убить медведя и даже «стерву» для этого прислал из Петербурга. У него на языке постоянно вертятся слова... «дал телеграмму. чтобы беспременно... стерву по телеграмме. .», «хороший барин. . .», «чучелá. . .», «господа. .», «медвежьи следы» и т. д. Осенью и весной он возится с этими чучелáми, строит «шалашки», «чуфыкает» по-тетеревиному и т. д. И все это, вся эта возня из-за случайного рубля глубоко противна крестьянской, аристократически-крестьянской душе Ивана Ермолаевича. Пропасть, отделяющая воззрения Ивана Ермолаевича от воззрений «подстоличного» обывателя, неизмерима и обнаруживается всякий раз, когда у Ивана Ермолаевича выдастся досужий часок, чтобы поболтать с случайным посетителем из подстоличных .нелюбимых им обывателей. Всякий раз во время таких встреч между ними происходят примерно такие разговоры.

— И как это я погляжу на вас, — говорит Иван Ермолаевич: — как вы живете бессовестно! Вам бы только-только где рублевку сорвать, и всего лучше, ежели дáром... Это для вас первое удовольствие. А чтобы хозяйствовать, работать как следует, на это у вас охоты нет... На чаях да на сахарах пропьете рублевки-то, а там овес покупать еще с осени надо, и хлеб покупной едите, и кругом в долгу как в шелку... Коли ежели ты крестьянин, так ты должен справляться так, чтобы тебе бы в люди ни за чем не ходить, чтобы и хлеб, и овес, и «все-всякая», чтобы все было при доме. Это и есть крестьянство, а ежели, вот как ваш брат, начнет пахать

да в пол-деле бросит да за рублевкой там, или за тетеревом, или там за барином за каким погонится, чтобы какую-нибудь там от него бумажку выхватить, это ничего не стоит. Тут одно только расстройство для хозяйства, а от этих рублевок да тетерок — только один вред. Положим, что ты и двадцать и четвертную сорвешь там с кого-нибудь, и то окроме как вреда ничего нет, потому хозяйство забываешь...

Против этих наставлений подстоличный мужик, испорченный цивилизацией, обыкновенно выдвигает опровержения, доказывающие значительную его испорченность.

— Послушать ежели тебя, — говорит он, свертывая из газетной бумаги папиросу: — то уж сделай милость, извини, а только что разговор твой вполне довольно глуп. Ты уж, сделай милость, будь так добр, на эти мои слова не огорчайся, но что окончательно твои слова есть больше ничего, как одна глупость... И когда это бывало, скажи ты на милость, чтобы мужику от денег был вред? Ты опомнись-ка немножко, подумай, что такое твои слова? Двадцать целковых — вред! Мужику! Да сделай милость, не хочешь ли, мы испробуем? Давай вот мне сейчас двадцать-то пять рублей, ну, если даже так возьмем, хошь пятьдесят целковых ты мне давай — и гляди, какой со мной случится припадок от этого... По твоим словам оказывается, будто бы это будет вред, особливо ежели задаром? Так вот давай испробуем... Ты выноси деньги, а я, видишь, вот у меня мешок кожаный сделан для этого, для вреда-то, а я их в мешок спрячу. А ты гляди, что будет. Может, я от этого кашлять начну или захромаю, а может, и невредим останусь... Овса тебе? Давай деньги-то, я тебе и овса представлю и хлеба, ежели тебе требуется, покуда ты там будешь ковыляться с «Андревной-то»... Выноси деньги-то! Чего ж молчишь? Скажите, пожалуйста, какую вывел рацею!.. Четвертная вред — мужику-то! Ну нет, друг любезный, я так думаю, что мужика деньгами никак невозможно испортить. От денег — расстройство! Ах ты, курносый ты человек, больше ничего... Послушать тебя, так действительно что смеху подобно... Кабы нам этого вреда-то побольше да почаще, так мы бы как бы дела-то справляли... А то от овса — польза, а от денег — вред! Выдумал, нечего сказать, искусно!..

Если существует такая громадная разница во взглядах на хозяйство и даже на «деньги» между Иваном Ермолаевичем и подстоличным мужиком, который хотя и охотник до случайных рублевок, но все-таки отлично знает, что такое значит крестьянское хозяйство, то пусть судит сам читатель, какая бездонная пропасть должна была отделять от Ивана Ермолаевича меня, человека, совсем не имеющего понятия о крестьянском хозяйстве. В течение года Иван Ермолаевич всего только два раза обратился ко мне с разговором, в котором я видел с его стороны не простое только приличие, а и действительный интерес. Правда, был еще случай, когда Иван Ермолаевич бросился ко мне, как к прибежищу, это именно в тот раз, когда явился урядник требовать поземельные и предъявил Ивану Ермолаевичу бумагу, в которой он, будучи безграмотным, ровно ничего не понимал. Но этот случай обращения ко мне Ивана Ермолаевича я не кладу в счет; обращение его ко мне в этот раз было не добровольное, а вынужденное, и притом «бумага» (которых он вообще смертельно боялся) была «не его дело», до него не касавшееся... По «своему» же делу, то есть по делу, которое касалось собственных его интересов, он счел нужным обратиться ко мне всего только, повторяю, два раза в течение целого года. В первый раз это случилось после того, как я привез из Петербурга барометр-анероид и объяснил Ивану Ермолаевичу, что эта штука означает. Узнав, что эта медная посуда будет показывать погоду, что стрелка, которая ходит под стеклом, указывает и дождь, и сушь, и ветер, Иван Ермолаевич заинтересовался. Слушая меня, он говорил многозначительно: «А-а-а-а... Хорошо... Это ничего... Надыть попытать его! Ничего...» Штука эта, которой он немедленно же дал название «календарь», пришлась ему по вкусу, как вещь, нужная в хозяйстве. До знакомства с этим календарем Иван Ермолаевич узнавал погоду — вещь для него весьма важную — по множеству собственных наблюдений и примет.

— Что-то, — говорил он, например, в ясный летний день: — боюсь я, как бы дождя не было?

— Да почему же, день ведь ясный, ни тучки, ни облачка?

— В ушах что-то шумит.. Вот чего я опасаюсь... Как ежели округ ушей в этакой-то день начнет шуршать, шелестить — уж это нехорошая примета...

Практиковался им еще и другой способ, другая система.

— Какой у нас нониче месяц идет? — спросит, бывало, Иван Ермолаевич: — актяб?

— Какой октябрь — июль...

— Я их, месяцов-то, не знаю, как их прозывать-то... Много ведь их... А вот, в котором месяце крещенье, этот как месяц называется?

— Январь.

— Ну, вот видишь, теперь надо смотреть так: январь должон стоять против нонешнего месяца... какой ноне месяц?

— Июль, июль, Иван Ермолаевич!

— Ну, январь стоит против июля, вот и надо помнить погоду... которое сегодня число?

— Сегодня шестое...

— А крещенье в кое число?

— Тоже шестого.

— Видишь ты. Вот теперь и надо знать... Михайло! — зовет он работника. — Что, не в примету тебе, шел снег под крещенье, как мы в Сябринцы хлеб возили?

— Что-то не в примету...

— А кажись, что будто как курил снежок-то?

— Н-нет... не упомню.

— Авдотья! — обращается Иван Ермолаевич к жене: — не в примету тебе, как под крещенье ездили мы с Михайлой, брал я полушубок али нет?

Авдотья останавливается с ведром в руке и думает. Думает серьезно и пристально.

— Полушубок? — в глубоком припоминании чего-то переспрашивает она и, вспомнив что-то, говорит: — Н-нет... кажись.

Авдотья замолкла, и Михайло замолк, и Иван Ермолаевич молчит, все вспоминают.

— Чего ты! — вдруг оживившись, восклицает Авдотья: — чай, у Степиных полушубок-то взял... Вьюга-то к ночи поднялась... Чай, помнишь, как Агафья-то прибегала, еще телка в ту пору, — и т. д.

— Так-так-так-так... — твердит Иван Ермолаевич и сам припоминает и телку, и Агафью, и еще что-нибудь.

Наконец, и работник тоже присовокупляет какую-нибудь подробность, так что в конце концов канун крещенья, бывший полгода тому назад, восстановляется в памяти Ивана Ермолаевича, его жены и работника во всей подробности. Весь день накануне крещенья припомнился, во всех мельчайших подробностях, припомнилась не только погода, но весь обиход дня во всей полноте.

— Ну, стало быть, — заключает это исследование Иван Ермолаевич: — копны-то разваливать (для сушки) погодить надо.. Пожалуй, как бы к вечеру-то не собрались тучки, уж видно надобно повременить.

И таким образом копны не разваливались, и делалось это на основании самых точных исследований и наблюдений. Однако, несмотря на эту точность, не всегда наблюдения Ивана Ермолаевича были удачны. Иной раз, и это очень часто, ожидал он дождя, а дождя нет. Иной раз выйдет напротив, то есть хлынет проливень и сгноит не одну сотню пудов сена, тогда как по всем приметам Ивана Ермолаевича «надо бы быть вёдру». Понятно, что появление такой выдумки, как барометр, должно было заинтересовать Ивана Ермолаевича, как вещь нужная ему, в его хозяйстве, в его делах, и в эту пору вместе с барометром и я оказался ему нужен. Обоим нам он выказывал искреннее внимание, особливо когда в первый же день барометр как нельзя правильнее предсказал погоду. Едва Иван Ермолаевич получил некоторое основание верить привезенной мной выдумке, как посещения его сделались особенно часты. Он стал являться по нескольку раз в день с такими вопросами:

— Ну-ко, глянь-ко на календарь-то... Успеем мы до дозжа копны перевозить али нет?

Или:

— Посмотри-ко в календарь-от, разваливать, что ль, копны-то?

И, применившись к его желаниям, я обыкновенно давал такие ответы:

— «Разваливай!» или: «вози!»

И долгое время календарь служил нам исправно. Дошло дело даже до такой своеобразности в этих справках с барометром, что для постороннего человека было

бы решительно немыслимым понять, каким образом барометр может быть полезным в таких требованиях, для которых он совершенно, повидимому, не предназначен. «Не знаю, — скажет иной раз Иван Ермолаевич: — молотить али лес пилить... погляди-кось в календарь-то, как там?» Я погляжу и отвечаю: «Молотить лучше...» — «Ну, ин молотить...»

Но вдруг все рушилось. Дело в том, что слово *переменно* занимает в полукружии, по которому двигается стрелка, почти целую треть; остальные две трети каждая разделена на три разряда, указывающие погоду, но слово *переменно* одно занимает столько же места, сколько три малых разряда, и, по петербургской погоде, стрелка подолгу шмыгает вдоль этого длинного слова *переменно;* то наклонится к началу, как будто к дождю, то поползет к концу, к сухой ясной погоде, а за пределы не выходит. Случилось так, что стрелка застряла в этом длинном слове дней на десять. Несколько раз я, на собственный свой риск, решался давать нужные Ивану Ермолаевичу ответы. Говорил попрежнему: «вози!», или: «поезжай!», или: «молоти!», но удачи в этих ответах не было, выходил обман. Так случилось несколько раз кряду, и Иван Ермолаевич стал посещать меня реже. К моему огорчению, я опять все чаще и чаще стал слышать в отворенное окно, как Иван Ермолаевич, толкуя с работником и женой о погоде, вновь возвращается к своей системе... «А что, Михайло, — с горестью слышу я: — не помнишь ты, как мы пред святой за солониной ездили? еще Егор Петров говорил насчет костяной мази?..» и т. д. Заглянул было как-то Иван Ермолаевич ко мне и спросил: «Ну, что в календаре, как?» Но календарь сбился с толку — стрелка застряла в длинном слове и не давала ответов. И я не решился давать их.

— Ну, пёс с ним! — сказал Иван Ермолаевич и почти совсем перестал посещать меня... Надобности ему, очевидно, во мне уж не было.

И, увы! этот случай с календарем был едва ли, в сущности, не единственным случаем, когда я «в делах Ивана Ермолаевича» понадобился «в самом деле», «в сурьез». Был еще и другой случай, но в нем уж не было той серьезности запроса, какая руководила Иваном Ермолаевичем в деле с календарем, хотя и этот не совсем

серьезный случай весьма замечателен, и замечателен тем, что это был единственный в течение года случай, когда Иван Ермолаевич заговорил о газете... Никогда я не слыхал от него никаких вопросов, ответы на которые могла бы дать газета. В газетах он пуще всего «жалел» бумагу, другого интереса она для него не представляла... Понятно поэтому, как я удивился, когда однажды на сенокосе Иван Ермолаевич подошел ко мне сам и как-то загадочно спросил:

— Чего нет ли в газетах хорошенького?

Я, признаться, не сразу ответил ему, что ничего, мол, нового нет, а несколько мгновений пристально поглядел на него, желая знать, «что это означает?» Да и Ивану Ермолаевичу был, как видно, вопрос этот не совсем в привычку; задавая его, он стоял ко мне как-то боком и глядел в сторону, да и задал-то каким-то чрезвычайно небрежным тоном.

— Сказывают, — продолжал он с тою же небрежностью и не переставая глядеть куда-то вдаль, — будто бы где-то свалилась с неба кобыла не кобыла... Врут, поди? Чего не наплетут иной раз... Правда или нет? Чай, неправда?

— Какая кобыла?

— Да врут тут у нас, будто версты на три длиннику протянулась, из пушек в нее палят, а изгнать не могут.. Так, я думаю, болтают зря?

Тут я вспомнил, что в газетах действительно было известие о том, что где-то распространился слух о чудовище, свалившемся с неба, и объявил Ивану Ермолаевичу, что, конечно, все это чепуха.

— То-то, я думаю... болтают глупые, а другие дураки слушают.

Иван Ермолаевич плюнул и ушел, но, к величайшему моему удивлению, пропустив целую неделю, опять завел речь об этой кобыле. Опять, как и прежде, при случайной встрече и так же стоя боком и глядя вдаль, прежним презрительным тоном и как-то презрительно улыбаясь, он неожиданно проговорил:

— Сказывают, вся спина у кобылы-то исписана... Что, ничего нет в газетах?

— Какая спина?

— Да вот что врали-то про кобылу-то? Болтают-то? Сказывают — все на спине-то прописано. какие бедствия, и как что будет, и насчет земли, будто будет раздача... Не пишут?

— Нет, Иван Ермолаевич, не слыхал и не читал.

— Да болтают, так... а то бы уж, чай, давно пропечатали, какая там есть надпись... Будто бы все, «что будет», сказано?

— Нет, не знаю, не слыхал...

— То-то, пустое болтают... А то бы, чай, давно бы пропечатали, что у нее там сказано... Дюже, болтают, много надписано «на спине-то»...

И хотя все это Иван Ермолаевич говорил презрительно и не «в сурьез», но я не мог не видеть, что его действительно занимает и кобыла и надпись. Но газета не сослужила службы; мы с ней не пригодились Ивану Ермолаевичу, и вот с тех пор хотя и видаемся ежедневно и спрашиваем друг друга: «как дела?», «все ли благополучно?», хотя и даем вежливые ответы: «все, слава богу, помаленьку» и т. д., но в сущности дела друг друга нас не интересуют: он не понимает моих дел, а я не понимаю его, и между нами вот уж ровно год ничего кроме вежливости нет.



II. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА КРЕСТЬЯНСКУЮ ЖИЗНЬ

Но что всего поразительнее в этом взаимном нашем непонимании друг друга, так это то, что Иван Ермолаевич выказывает непонимание в особенно сильной степени именно относительно крестьянских дел, вопросов крестьянской жизни, о которых я нахожу нужным беседовать с ним очень часто. Замечательно, что всякий раз, когда речь коснется так называемых крестьянских интересов, то есть интересов, касающихся непосредственно Ивана Ермолаевича, тут-то он особенно как-то деревенеет, тут он именно «не ведет ухом», ничего не слышит, очевидно, не хочет слышать и зевает ужаснейшим образом. Это полнейшее равнодушие к *«собственным своим»* интересам

поражало меня в высшей степени. На мой взгляд, жизнь современного крестьянина на каждом шагу, кажется, вопиет о том, что только дружество, сотоварищество, взаимное сознание пользы общинного, коллективного труда на общую пользу — суть единственная надежда крестьянского мира на более или менее лучшее будущее, единственная возможность «сократить» те невероятные размеры труда, поглощающего *всю* крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на крестьянине таким тяжелым и, как мне казалось (и кажется), бесплодным бременем. Посмотрите в самом деле, что это за жизнь, и посудите, из-за чего человек бьется. Крестьянская пословица говорит: «лето работает на зиму, а зима на лето». И точно: летом с утра до ночи без передышки бьются с косьбой, с жнивом, а зимой скотина съест сено, а люди хлеб, весну и осень идут хлопоты приготовить пашню для людей и животных, летом соберут, что даст пашня, а зимой съедят. Труд постоянный, и никакого результата, кроме навоза, да и того не остается, ибо и он идет в землю, земля ест навоз, люди и скот едят, что дает земля. Сам бог, отец небесный, поминается только как участник в этой бесплодной по результатам деятельности лаборатории. Бог дает дождь, вёдро, нужные для сена, овса, которые нужны для лошадей, овец, коров и людей, а в результате — навоз, нужный для земли, и т. д. до бесконечности. Промучившись (на мой взгляд) таким образом лет семьдесят, обыватель и сам отправляется в землю.

Присматриваясь к непрерывному труду, вплетенному в этот вековечный химический процесс жизни, я (человек, деревне совершенно посторонний) ничем иным не могу объяснить себе этой беспрерывной неустанности труда, как только тем, что все живые существа, участвующие в нем, «должны быть сыты» для поддержания собственного своего существования. Я очень хорошо знаю и понимаю, что кроме непрерывного труда химический круговорот наблюдаемой мною жизни также переплетен во всех направлениях страданиями сердца, радостями и горестями; тут слышен плач, там стоны, там скрежет зубовный; я очень хорошо знаю, что кроме химического элемента во всем этом процессе постоянно слышится и чувствуется «человек», но именно потому-то, что я это пони-

маю, меня поражает и бесплодность труда, бесплодность *по отношению к человеку*, к его слезам, радостям и к зубовному его скрежету. Именно в человеческом-то смысле или, говоря точнее, «в расчете-то на человека» бесплодность неустанного труда оказывается поразительною. Как бы я пристально ни вглядывался в него, как бы ни ужасался его размеров — я решительно не вижу, чтобы в глубине этого труда и в его конечном результате лежали мысль и забота о человеке в размерах, достойных этого неустанного труда.

Повторяю опять: забота эта есть, но она не смеет равняться с заботами, например, о скотине. Вот, например, у Ивана Ермолаевича баран, по имени «Сенька», зашиб рогами мальчика; мальчик некоторое время лежал без чувства, потом, очнувшись, некоторое время рыдал, как помешанный, от испуга. И теперь едва ли испуг этот не останется в нем на всю жизнь; Иван Ермолаевич и его жена оба «мучились» над мальчишкой: прикладывали что-то, например навоз теплый, поили травами, вообще лечили и болели душой; но лечили они его средствами, какие найдутся «вокруг дому», как и вообще лечатся крестьяне; а вот захромала у Ивана Ермолаевича кобыла, полечил он ее также собственными средствами, также намазывал на тряпку (тряпка уж сама по себе в деревне как бы медикамент) какую-то дрянь, а кончил тем, что поехал и привез коновала и три рубля серебром ему не пожалел. Очень хорошо знаю, чем могут мне объяснить эту разницу отношений Ивана Ермолаевича к лошади и человеку, но никак не могу не обратить внимания на то, что вот для лошади в народе есть уже профессия коновала, и профессия не вполне шарлатанская; к услугам коновала прибегают и культурные владетели лошадей. У коновала есть «инструменты», выдуманные народом, есть «верные», точные средства, а для человека ничего в этом роде не выдумано кроме знахарей, которые далеко ниже по познаниям коновала и, как всем известно, преисполнены шарлатанства, выезжают на невежестве, тогда как коновалу на незнании своего дела никоим образом выехать невозможно: всякий крестьянин и сам в этих (лошадиных) делах понимает очень много. А вот когда мальчишка орет, то тут могут только плакать и прикладывать тряпку с навозом или с чем-нибудь другим,

что тут «около дому» валяется, как никуда негодная дрянь. Единственно, чем я могу объяснить такое внимание к лошади, это тем, что она нужна в каторжном труде ежедневном и неустанном, так как без этого труда ни Ивану Ермолаевичу, ни его мальчишке нечего было бы есть. Да и сам Иван Ермолаевич, подводя итог своим ежегодным трудам, говорит, что в конце концов «только что сыты, больше ничего!» Я это хорошо вижу и глубоко сожалею Ивана Ермолаевича и всех ему подобных, но в то же время меня поражает следующее обстоятельство.

На том самом месте, где Иван Ермолаевич «бьется» над работой из-за того только, чтоб быть сытым, точно так же бились, ни много ни мало как тысячу лет, его предки и, можете себе представить, решительно ничего не выдумали и не сделали для того, чтобы хоть капельку облегчить ему возможность быть «сытым». Предки, тысячу лет жившие на этом самом месте (и в настоящее время давно распаханные «под овес» и в виде овса съеденные скотиной), даже мысли о том, что каторжный труд из-за необходимости быть сытыми должен быть облегчаем, не оставили своим потомкам; в этом смысле о предках нет ни малейших воспоминаний. У Соловьева, в «Истории», еще можно кое-что узнать насчет здешнего прошлого; но здесь, на самом месте, «никому» и «ничего неизвестно». Хуже той обстановки, в которой находится труд крестьянина, представить себе нет возможности, и надобно думать, что тысячу лет тому назад были те же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь. Не осталось от прародителей ни путей сообщения, ни мостов, ни малейших улучшений, облегчающих труд. Мост, который вы видите, построен потомками и еле держится. Все орудия труда первобытны, тяжелы, неудобны и т. д. Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроездное болото, чрез которое можно перебираться только зимой, и, как мне кажется, Иван Ермолаевич оставит своему мальчишке болото в том же самом виде. И его мальчонко будет вязнуть, «биться с лошадью», так же как бьется Иван Ермолаевич. Но, оставив прародителей в стороне, я, в качестве человека постороннего деревенской жизни и деревенскому труду, решительно недоумеваю и теряюсь в догадках, объясняя себе это видимое мне и совершенно

непостижимое для меня равнодушие — положим, хоть в Иване Ермолаевиче — относительно «облегчения» этой необходимости быть «сытым». Я решительно не понимаю, почему Иван Ермолаевич, который непременно поднимает обрывок веревки или гвоздя, если они попадутся ему на дороге, теряет, в лице многих таких же, как и он, истинных «крестьян», сотни, тысячи рублей на продуктах собственного своего каторжного труда, сотни, даже тысячи, которые несомненно облегчили бы, улучшили его благосостояние и дали бы возможность заботиться о мальчишке более, чем о жеребенке. В отношении этого равнодушия к собственной выгоде на моих глазах происходят удивительные нелепости. Например, сено в здешних местах — продукт, могущий доставить почти такую же денежную поддержку, как лен в Пскове или пшеница в Самаре, с тою, однако, разницею, что сено растет «даром». Косят его здесь все крестьяне, в том числе и Иван Ермолаевич, и потому что вывезти его летом нельзя, — так как местность перерезана болотом, — продает его «по нужде» на месте за самую ничтожную цену кулакам и барышникам, которые, дождавшись зимы, то есть времени, когда болото замерзнет, вывозят сено в Петербург и продают его втридорога. На глазах всех здешних крестьян постоянно, из года в год, происходят такие, например, вещи: местный кулачок, не имеющий покуда ничего кроме жадности, занимает на свой риск в соседнем ссудном товариществе полтораста рублей и начинает в течение мая, июня, июля месяцев, самых труднейших в крестьянской жизни, покупать сено по пяти или много-много по десяти копеек за пуд; при первом снеге он вывозит его на большую дорогу, где немедленно ему дают тридцать и более копеек за пуд. На глазах всего честно́го мира человек, не шевельнув пальцем, наживает поистине кучу денег, которые при всех и кладет себе в карман. Каким образом Иван Ермолаевич дорожит гвоздем, говоря: «он денег стоит», и не дорожит сотнями рублей, которые он бросает кулаку на разживу? Ежегодно деревня накашивает до сорока тысяч пудов сена, и ежегодно кулачишко кладет в карман более пяти тысяч рублей серебром крестьянских денег *у всех на глазах,* не шевеля пальцем. Дорожит ли человек своим трудом, поступая таким образом? Если он дорожит, то неужели вся

деревня (двадцать шесть дворов) не может, во имя облегчения общего труда, сделать того же, что и кулачишко? Они могут занять «на нужду» в двадцать шесть раз больше, чем кулачишко, и, следовательно, «могут» быть не в кабале, «могут» даже «сделать» цену своему товару, могут ждать цен и т. д. И ничего этого нет. Тысячу лет не могут завалить болота на протяжении четверти версты, что сразу бы необыкновенно увеличило доходность здешних мест, а между тем все Иваны Ермолаевичи отлично знают, что эту работу «на веки веков» можно сделать в два воскресенья, если каждый из двадцати шести дворов выставит человека с топором и лошадь.

И в то же время самые, на мой взгляд, пустяшные, ничего не стоящие мирские дела, вроде хоть мирской загороди или дележа лядины, поглощают массу общественного внимания: тут меряют по двадцати раз то, что давно вымерено, меряют и веревками, и саженями, и кольями, и лаптями, да чтобы *носком непременно в пятку попадало;* тут и значки, и жеребья, и значки на жеребьях — словом, тут все разработано, даже свыше необходимости, тут дело доведено даже до артистического совершенства, превращено почти «в церемонию». Я очень хорошо понимаю, что основанием к такой тщательности в самых пустяковых пустяках служит желание сделать дело «без обиды»; но почему необходимо быть драным за невзнос податей, почему необходимо драть или смотреть, как дерут, в то время, когда всем видно, что драный человек не платит потому, что откармливает кулачишку, — этого я не понимаю.

Не менее непонятными кажутся мне и те случаи, когда местный крестьянин, благодаря какому-нибудь неожиданному обстоятельству, как бы образумливался и начинал понимать «собственную свою пользу» в том виде, в каком понимать ее следует, и, главное, принимал при этом во внимание то обстоятельство, что время теперь не то, что было недавно, что теперь деревня должна подумать и о коллективной обороне. Один такой случай был у местных крестьян и заключается в следующем. Один неудачник землевладелец, задумавший вести «большое», по «иностранным образцам», хозяйство, как водится, разорился и ушел отсюда совсем. После него в деревне оказался сенной пресс. Машина соединила разроз-

ненный крестьянский мир. Лучше всего, что за отсутствием барина она была «ничья». Додумались прессовать сено всем миром, сообща нанимать вагон и продавать в Петербурге. Пошло дело отлично, но на следующий год в Петербурге *не стали принимать здешнего сена в прессованном виде.* «Помилуйте! говорят, обрадовались, что выгодно, — и ну пихать в нутро всякую дрянь: то полено, то камень, то навозу набьют туда, благо не видать с боков. .» Теперь здешнее сено покупалось в Петербурге не иначе, как с возов. Такое своеобразное понимание выгоды, конечно, имеет множество оснований, но вот что нехорошо: года два тому назад приехали из Лондона в ближний к нашим местам губернский город два англичанина. По-русски они ни слова не говорили и не говорят; приехали они честь честью, наняли дом самый лучший, завели какие-то экипажи, необыкновенные, на высоких колесах и т. д. В этих экипажах они разъезжают по городу с своими семействами перед обедом и после обеда и живут в свое удовольствие. Как же могло случиться, что немедленно же по их приезде вся сенная операция на сотни верст очутилась у них в руках? А между тем это факт, и сенное дело теперь находится в следующем виде: кулачишко, заняв деньги в ссудном товариществе, закупает у крестьян в «нужное» время, летом, за бесценок и поставляет «англичанам», а англичане поставляют в Петербург в разные казенные учреждения. Пресс действует попрежнему, но работает уж не на мир, а на англичанина. «Кому прессуете?» — «Чарльзу!» — отвечают мужики. Кулачишко, так тот просто благоговеет перед «англичанами», и именно потому, что они, кажется, и пальцем не шевельнут, всё только в экипажах на красных колесах ездят, а все дело забрали в руки. «Уж гос-с-спода! — говорит кулачишко. — Одно слово! Хоть бы взять Чарльз Иваныча или Диксон Петровича — одно слово, как ни оберни, — господа на отделку!» Таким образом в то время, как Диксон Петрович с Чарльз Ивановичем разъезжают с сигарами в зубах в своих отличных экипажах, «отдыхая» после завтрака и обеда, здешний крестьянин продолжает священнодействовать перед такой громадной общественной надобностью, как загородь, дает целые драматические представления при найме пастуха или при покупке быка — словом, всячески старается, чтоб

«не обидеть» ни себя, ни ближнего даже на порошинку, и решительно не находит возможности замостить четверть версты болота, в котором и лежит корень очень многих из его ежедневных и ежечасных обид.

Примеров такого безграничного равнодушия к «собственной своей выгоде», как ее надо понимать при новых условиях крестьянской жизни, можно было бы привести очень много. Положительно на каждом шагу я, человек совершенно посторонний деревне, мог бы указать, что вот тут-то крестьяне теряют то-то, а вот здесь они явно расстроивают свое благосостояние. И, по неопытности моей, объясняя это видимое мне каторжное существование только тем, чтобы кое-как пробиться, «быть сытым», я не мог не волноваться, а по временам не выходить положительно «из себя», видя глубочайшее невнимание таких подлинных радетелей «крестьянства», как Иван Ермолаевич, ко всему, что облегчает труд, что передает выгоды этого труда в те руки, которым эти выгоды принадлежат по справедливости, и т. д. Много и долго распространялся я иногда на тему «о непонимании собственной пользы», о грабительстве, которому служат Иваны Ермолаевичи своими трудами и руками, и т. д. И все как к стене горох! О всяких коллективных оборонах против всевозможных современных зол, идущих на деревню, не могло быть и речи.

— Захотели вы с нашим народом! Нешто наш народ присогласишь? Нешто он что понимает?

Вот какие были ответы Ивана Ермолаевича на мои разглагольствия о «ихней пользе». Такой неустанный труженик не знал, куда, кому и зачем он платит, не имея никакого понятия о земстве, о выборе в гласные и т. д. Твердо был уверен, что все это до него ни капли не касается. О ссудосберегательном товариществе ровно ничего не понял из всех моих рассуждений и только заметил: «Брать-то хорошо, а вот отдавать-то как? Свяжешься... Бог с ним совсем». А когда я указывал на кулака, который берет и отдает и выгоду имеет, то Иван Ермолаевич говорил: «Ну, пес с ним... там уж это ихний расчет... А то свяжешься — не развязаться»...

Однажды он меня поразил самым неожиданным образом в разговоре об общественных крестьянских должностях:

— Все они (выборные) — народ ненадежный... Покуда живет крестьянством — ничего, а как выбрали в должность — чистая делается собака. Как присягу принял, точно в зверя оборачивается... По мне, так я, кажется, за миллион на это не согласился бы.

— На что?

— Например, принять присягу волостную. Я однова̀ слушал, так обмер начисто. Как зачал поп вычитывать — «от отца, от матери отрекись, от братьев, сестер отрекись, от роду и племени откажись» — волоса у меня на макушке даже поднялись дыбом. Перед богом! Уж который человек таким манером себя проклял, так он от этого самого не иначе делается, как злодеем.

Такой взгляд на присягу несказанно меня удивил. Удивил он меня немало и в другой раз, когда я случайно застал его, как он учил своего сынишку молитвам. Иван Ермолаевич в бога верил крепко, непоколебимо крепко, близость бога ощущал почти до осязания, а молитвы читал по-своему: «Верую во единого бога отца, — учил он сынишку, — и в небо и землю. Видимо невидимо, слышимо неслышимо. Припонтистился еси, распилатился еси...» А дальше уж бог знает что было. Кончалась «Верую» так: «от лукавого. Аминь».

Все это, однакож, пустяки сравнительно вообще с невниманием к определению своего положения не только на белом свете, а в кругу даже двадцати шести дворов, среди которых Иван Ермолаевич жил, живет и жить будет. Не говоря о равнодушии к общественным порядкам, не касающимся непосредственно хозяйства, я замечал в Иване Ермолаевиче невнимание и к людям. Например, он отлично знал, сколько у кого скота, хлеба, что «дадено» за лошадь в таком-то дворе; словом, сколько у кого физических ресурсов к существованию. Но случись в этом дворе какое-нибудь из ряду выходящее событие, объяснить которое можно только зная «людей», участвовавших в нем, — не объяснит. Случилось в деревне два самоубийства, и никто ничего не мог объяснить. «Должно, деньги пропил», — говорили про солдата, который еще вчера работал в огороде, полол капусту, а сегодня найден под переметом. «Ведь это, братец, как сказать — отчего? Стало быть, уж ему так положено. Вот прошлый год тож вдова одна так же вот самовольно покончилась.

А после нее осталось денег тридцать рублей, две коровы да картофелю мешка четыре — вот тут и думай! Скучал, скучал, глядишь — и задавился!»

Не раз, глядя на эту почти добровольную отдачу себя на съедение всем, кто пожелает, всем, у кого загребиста лапа, я в глубоком унынии восклицал, конечно в мыслях моих: «Боже мой! какие же нужны еще казни египетские, чтобы сокрушить в Иване Ермолаевиче это непоколебимое невнимание к «собственной пользе»!» Ведь это невнимание делает то, что через десять лет (много-много) Ивану Ермолаевичу и ему подобным нельзя будет жить на свете: они воспроизведут к тому времени два новые сословия, которые будут теснить и напирать на «крестьянство» с двух сторон: сверху будет наседать представитель третьего сословия, а снизу тот же брат мужик, но уже представитель четвертого сословия, которое неминуемо должно быть, если будет третье. Этот представитель четвертого деревенского сословия непременно будет *зол* (о происхождении *злого мужика* будет сказано в следующем отрывке) и неумолим в мщении, а мстить он будет за то, что очутился в дураках, то есть поймет наконец (и очень скоро), что он платится за свою дурость, что он был и есть дурак, дурак темный, отчего и разозлился *сам на себя*. И горько поплатятся за это все те, кто, по злому, хитрому умыслу, по невниманию или равнодушию, поставили его в это «дурацкое» положение. Другим словом нельзя определить этого положения, ибо если в русской деревне завелся хронический нищий, то только существованием какого-то *неумного места* в организации общественной, ничем другим это явление объяснить нельзя. Все есть для того, чтобы такого явления не было, — а оно уже есть; никакими резонами, мало-мальски подходящими к тому, что определяется словами «необходимость», «неизбежность», нельзя этого явления объяснить. Представитель русского четвертого сословия есть продукт бессердечной общественной невнимательности — ничего более. Впрочем, об этом после; теперь же возвратимся к Ивану Ермолаевичу.

Безмерное равнодушие Ивана Ермолаевича к напирающим на него бедствиям, в виде третьего и четвертого сословий, в виде, наконец, пришельца-переселенца из остзейских провинций, не раз становило меня втупик,

и я недоумевал: что именно дает Ивану Ермолаевичу силу переносить свое труженическое существование? что держит его на свете и из каких лакомых приправ сварена та чечевичная похлебка, за которую он явно продает свое первородство? Неужели в самом деле Иван Ермолаевич и его тысячелетние предки «бьются» только из-за податей? Или в самом деле из-за куска хлеба? Но если бы это было так, Иван Ермолаевич не перенес бы удовольствия платить подати не только тысячу лет, но и тысячу минут. Когда ему что *не нравится,* надоедает, *он нетерпелив*; он даже внешнего приличия не соблюдает, когда ему что-нибудь не по нутру; ведь вот зевает же он самым потрясающим образом, когда я разговариваю с ним о вещах, которые он слушать не желает. Всякий раз, когда я заведу речь о коллективной обороне деревни, в том или другом виде, Иван Ермолаевич немедленно найдет предлог улизнуть от меня: то ему захочется спать, то болит нога, то надо поглядеть, отчего лают собаки? Словом, всегда найдет предлог увильнуть, и увильнет. Что же за приятность в податях? Что за удовольствие биться всю жизнь из-за них или только из-за хлеба? Неужели же такое существование можно назвать жизнью? А между тем Иван Ермолаевич, на мой взгляд, именно бьется, и именно из-за хлеба, ибо и сам он совершенно справедливо уверяет, что в конце концов он только что «сыт».



III. ПОЭЗИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ТРУДА

Объясняя себе эту загадку существования, я приходил к самым мрачным и безобразным выводам; то мне казалось, что Ивану Ермолаевичу предопределено пережить еще одно тягостнейшее иго, иго немецкого пришельца, то мне казалось, что Ивану Ермолаевичу «предназначено» терпеть, «влачиться по браздам» и т. д. Словом, все выходило ужасно нескладно, произвольно и неосновательно в высшей степени. Только что я объясню себе тайну каторжного существования «терпением

во Христе», как натолкнусь на рыдания невестки Ивана Ермолаевича, которая говорит, рыдая, что ее «съели» в семье Ивана Ермолаевича и ждут не дождутся, когда она протянет ноги, чтобы взять другую бабу, здоровую; и злы-то на нее («поедом едят», «сживают со свету») за то, что она больна и в хозяйстве только помеха. Только что объясню себе существование Ивана Ермолаевича предопределением насчет нового двухсотлетнего немецкого ига, как встречусь с такими проявлениями русского ребросокрушительного патриотизма, что мне начинает казаться, будто насчет ига «бабушка сказала еще надвое», то есть что, пожалуй, ига-то этого и не будет.

Словом, тайна бесплодности и непрестанности труда, из которых сотканы дни, часы и годы существования Ивана Ермолаевича и многих ему подобных, так и оставалась досадною, неразгаданною тайной.

И вдруг случилось обстоятельство, которое пролило некоторый свет на эту тайну — и представило жизнь и интересы жизни, волновавшие Ивана Ермолаевича и державшие его на белом свете, в совершенно неожиданном для меня виде и в такого рода ежедневных явлениях, которым я до сих пор не придавал ни малейшего значения. Обстоятельство, столь чудотворно просветившее меня, было в высшей степени ничтожное, до того ничтожное, что мне даже совестно утруждать им внимание благосклонного читателя. Делать, однако, нечего, и рассказать об этом ничтожном обстоятельстве приходится более или менее подробно. Вот как было дело.

Иван Ермолаевич поит телят, которых продает приезжающим из Петербурга телятникам. Занятие выгодное, так как каждый такой теленок продается рублей по тридцати и более. Поит он молоком, и таких телят у него было восемь штук. Как-то он объявил мне, что купил у какой-то старухи девятого теленка, и мы вместе порадовались, что теленок хорош и куплен дешево. На следующий день я встретил Ивана Ермолаевича на дворе; он смотрел, как жена его поит телят, был как-то уныл и что-то рассказывал про новую телушку, беспрестанно ругая старуху, у которой она куплена. Сотни раз слышал я рассказы и разговоры Ивана Ермолаевича про его хозяйственные заботы, про телят, про овец и т. д. Но, как уж сказано было в начале этого отрывка, не имел терпения

и интереса вслушиваться в эти рассказы. Не вслушивался я еще и потому, что обыкновенно думал о другом, о чем-нибудь своем, и если интересовался «крестьянством», то вовсе не со стороны этих происшествий с телятами, утятами и т. д. Но на этот раз, когда я уж совсем был готов пропустить мимо ушей рассказываемое происшествие с теленком, меня поразило почти драматическое выражение его голоса, которым он произнес: «Вот он! Поглядите на него, на проклятущего, и смотреть-то на него, на проклятого, тошно! . .» И вновь принялся ругать старуху.

Меня потому поразил драматический тон этих слов Ивана Ермолаевича, потому он меня заставил вникнуть в огорчение Ивана Ермолаевича, в историю с теленком — что мгновенно, неожиданно воскресил в моей памяти другое, нисколько на историю с теленком не похожее обстоятельство, которое, однако, вызвало почти точь-в-точь такое восклицание и *точь-в-точь таким же тоном* у другого человека, нисколько на Ивана Ермолаевича не похожего.

Летом 1876 года один русский художник повел меня в луврский музей смотреть Венеру Милосскую. Всю дорогу он приготовлял меня к пониманию этого дивного произведения, бранил Фета за его стихотворение, посвященное этой самой Венере, говоря, что в нем нет ни одной черты, хоть отдаленно напоминающей то, что есть в *этой* Венере, и т. д. Приготовляя меня к предстоящему зрелищу, как к святыне, он всячески старался настроить меня так, чтобы я мог восприять хоть каплю той красоты, которую развивает это удивительное произведение, вел меня по коридорчику, ведущему к статуе, рисующейся в отдалении, почти с такою же осторожностью, точно мы шли к умирающему больному, ступая осторожно кончиками пальцев, и . . вдруг остановился, как-то беспомощно опустил руки и, обернувшись ко мне, *точь-в-точь таким же* драматическим тоном, как и Иван Ермолаевич, проговорил: «Ну скажите пожалуйста, на что это похоже? Посмотрите-ко, что они наделали. . .»

Кто «они», я не знал и решительно недоумевал, что такое *они* натворили. Оказалось, однако, что администрация Лувра или вообще кто-то имеющий власть в нем распоряжаться, в видах того, что мрамор, из которого высечена статуя, ветх, крошится, распорядился немного,

чуть-чуть, с величайшею осторожностью, поправить кой-какие наиболее ветхие точки: таким образом оказалось, что на левом колене и на носу у статуи не то намазано, не то насыпано что-то белое, отчего нос у Венеры Милосской походил на утиный... Этот-то утиный нос, оказавшийся там, где должно было быть совсем другое, до того потряс художника, так его ошеломил, что он, за минуту назад до крайности взволнованный, возбужденный, как бы мгновенно устал, обессилел и ушел вон совершенно расстроенный.

Решительно точь-в-точь то же душевное оскорбление, та же нравственная обида слышалась в голосе Ивана Ермолаевича, когда он указывал мне на теленка и говорил:

— Вот поглядите на него, на проклятущего!

Совпадение той и другой обиды было до такой степени поразительно, что я невольно перенес на теленка, и на Ивана Ермолаевича, и на всю эту историю с теленком понятное мне до некоторой степени огорчение художника. И что же? Оказалось, что Иван Ермолаевич был огорчен почти так же, как и художник, то есть именно *оскорблен теленком в глубине своих художественных требований.* И в самом деле, теленок не пил молока; старуха, продавая его, не сказала Ивану Ермолаевичу, что теленок приучен пить овсянку с отрубями и с яйцом и что молока он не пьет. Зрелище, на которое Ивану Ермолаевичу было «тошно смотреть», было такое: все восемь телят столпились у крыльца и из корыт и из шаек «дружно» тянули молоко, весело помахивая своими хвостами, похожими на палки; один только новый, купленный теленок стоял в стороне, сердито взывая о пище, выказывая недовольство. Недовольный, мрачный, явившийся в чужой монастырь с своими уставами, он явно нарушал художественную сторону вечерних порядков хозяйства. И лошади, и коровы, и овцы, все это было на своих местах, словом, все в хозяйстве было как всегда, как привык видеть хозяйский глаз, и вот тут-то, в виде нового теленка, неожиданно появилось нечто чуждое, несогласное, мрачно и грубо недовольное, как бы даже критикующее. Мрачное состояние духа, в котором находился новый теленок, перешло и на жену Ивана Ермолаевича и на него...

— И шут тебя догадал! — сердилась на него жена.

— Кто же его знал, чорта экова, — почти закричал Иван Ермолаевич и принялся ругать старуху.

Стали тащить теленка силой, принялись пихать его морду насильно в корыто... теленок сопротивлялся... Словом, вышла пренеприятная сцена...

Этот эпизод с теленком неожиданно для меня воскресил в моей памяти множество такого же рода хозяйственных эпизодов, которые занимали Ивана Ермолаевича, о которых он говорил со мной, но которые я пропускал мимо ушей, как вещи не «стоящие» и ровно ничего не значащие сравнительно с вопросами о возникновении кулаков, о податях, об эксплуатации и т. д. Благодаря эпизоду с теленком все мне представилось теперь в ином свете. Припомнил я «историю» с уткой, которую Иван Ермолаевич называл «остроумной», историю, на которую я прежде не обратил никакого внимания. Бывало, выйдешь на крыльцо под вечер, когда Иван Ермолаевич уж поужинал, смотришь, Иван Ермолаевич сидит на крыльце, не спит. «Что вы сидите?» — «Да так... насчет утки...» Так как утка для меня ничего не представляет интересного, то я и оставляю Ивана Ермолаевича без расспросов; но на следующий день и еще на следующий опять вижу его в поздний вечерний час то на крыльце, то даже притаившимся за углом у амбаров и опять «все насчет утки». Не особенно внимателен был я и к тому, когда, дней через десять после этих ночных заседаний «насчет утки», Иван Ермолаевич весело сообщил мне мимоходом: «А ведь я открыл ейный секрет-то!» — «Чей секрет?» — «Да уткин-то! Вчера до двенадцатого часу просидел, а уж добился. Ведь какая остроумная шельма! Принужден был даже на балконе от нее притаиться — не идет, видит...» Говорил он это весело, радостно, и теперь, после мрачного эпизода с теленком, я понял, что именно заставляло сидеть Ивана Ермолаевича по ночам, прятаться за амбар и на балконе и почему утка получила название остроумной. Не в пример прочим уткам она тщательно скрывала место, куда кладет яйца. Она прибегала к крыльцу амбара, где рассыпали корм для птиц, после всех, когда ее собратья утки и куры наедятся, заснут, — и все для того, чтобы не видали, куда она кладет яйца, где несется. Замечательно, что она шла к амбару всегда

молча и выбирала дорогу всегда окольную, в густой траве, где нельзя было приметить. У других уток ястреба растаскали почти всех цыплят, эта же остроумная утка всех своих детей сберегла.

Кроме утки припомнился эпизод с «забывчивой» свиньей, которая орет благим матом всякий раз, когда ее треснут палкой, но немедленно же и забывает удар; припомнился разговор Ивана Ермолаевича о каких-то «камнях», в которые он «просто влюбился»: валяются около речки круглые большие камни, и так они «полюбились» Ивану Ермолаевичу, что он несколько дней высчитывал, сколько будет стоить их перевезть; припомнил выражения «загляделся на жеребенка», «залюбовался овсом» — словом, припомнились сотни, тысячи таких ежедневных хозяйственных мелочей, которые для нас с вами не представляют ни малейшего интереса, но которые теперь получили для меня совершенно другой смысл и значение, так как давали возможность совсем иначе взглянуть на существование Ивана Ермолаевича.

Оказалось, что земледельческий труд, отнимающий у Ивана Ермолаевича всю жизнь, хотя и имеет видимый результат только в том, что Иван Ермолаевич «сыт» со всем своим семейством и со всей своей скотиной, но что в то же время и в этом же труде невидимо покоятся и существеннейшие его интересы. Иван Ермолаевич «бьется» не потому только, что ему надо быть сытым, платить подати, но и потому еще, что земледельческий труд со всеми его разветвлениями, приспособлениями, случайностями поглощает и его мысль, сосредоточивает в себе почти всю его умственную и даже нравственную деятельность и даже как бы удовлетворяет нравственно. Ни в какой иной сфере, кроме сферы земледельческого труда, опять-таки в бесчисленных его разветвлениях и осложнениях, мысль его так не свободна, так не смела, так не напряжена, как именно здесь, там, где соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и т. д. Он почти ничего не знает насчет «своих» правов, ничего не знает о происхождении и значении начальства, не знает, за что началась война и где находится враждебная земля и т. д., потому что он заинтересован своим делом, ему некогда знать и интересоваться всем этим, точно так же как мне и вам, заинтересованным «всем этим», нет ни охоты, ни

возможности три вечера кряду думать об утке или «грустить» душевно, глядя на то, что овес вышел редок. Случайности природы он сосредоточивает в боге. Случайности всевозможной политики — в царе. Царь пошел воевать, царь дал волю, царь дает землю, царь раздает хлеб. Что царь скажет, то и будет; деньги платятся царю, а разбирать, что такое урядник или непременный член, это уж совершенно не нужные подробности; но в *своем* деле он вникает во всякую мелочь; у него каждая овца имеет имя, смотря по характеру, он не спит из-за утки ночи, думает о камне и т. д. Нравственная многосодержательность земледельческого труда показалась мне до такой степени важной в объяснении непонятных сторон крестьянской жизни, что я им стал объяснять себе даже и то странное понимание собственной выгоды, о котором было говорено выше.

Художник, который поставит своей задачей *выгоду*, денежную пользу, перестает церемониться с своей совестью, малюет все, что требуется, спускается до рисовки вывесок на портерные и овощные лавки; по тем же причинам и крестьянин засовывает навоз в прессованное сено. С точки зрения нравственного оскорбления, и именно оскорбления самого «святая святых» крестьянского миросозерцания, я стал объяснять себе такие даже явления, как бунт военных поселян при Аракчееве. Нет ни малейшего сомнения, что одною из причин бунта были жестокости, жестокие истязания, шпицрутены... Но ведь таким же точно истязаниям подвергалась наряду с поселянами не одна сотня тысяч войск, везде царили зеленые улицы, шпицрутены и т. д. И, однакоже, была возможность молчать, терпеть. Выказали ли войска, состоявшие из людей, оторванных от хозяйства, когда-либо во все время аракчеевского свирепствования какие-либо видимые знаки нетерпения? Поселяне же выказали это нетерпение в громадных размерах, и именно, нам кажется, потому, что граф Аракчеев, не ограничиваясь муштровкой, вломился со своими реформами в хлев, стал соваться с приказами насчет коровы, определяя час выгона и пригона, приказывал пахать так, а не иначе, — словом, стал дерзко распоряжаться в самых недрах земледельческого творчества, искусства, стал безжалостно разрушать поэзию земледельческого труда.

Художник, переносящий от своего академического начальства всевозможные служебные неприятности, интриги, несправедливость, наверное не вынесет, если начальство вздумает взять кисть да приделает на картине художника, всецело ею поглощенного, какую-нибудь фигуру или черту по собственному усмотрению. Этого-то уж не вынесет никакой художник, его не вынес и поэт-мужик. А неудачная дезинфекция хлевов нынешнего года не означает ли, что непрошенные посетители попробовали похозяйничать там, где крестьянин наиболее чувствует самостоятельность?

Поэзия земледельческого труда — не пустое слово. В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда — исключительно.

Это — Кольцов.

Никто, не исключая и самого Пушкина, не трогал *таких* поэтических струн народной души, народного миросозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда, как это мы находим у поэта-прасола. Спрашиваем, что могло бы вдохновить хотя бы и Пушкина при виде пашущего пашню мужика, его клячи и сохи? Пушкин, как человек иного круга, мог бы только скорбеть, как это и было, об этом труженике, «влачащемся по браздам», об ярме, которое он несет, и т. д. Придет ли ему в голову, что этот кое-как в отрепья одетый раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать в минуту этого тяжкого труда что-либо, кроме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, хоть и босиком плетется за клячей, находит возможным говорить этой кляче такие речи: «Весело (!) на пашне, *я сам-друг с тобою,* слуга и хозяин. — Весело (!) я лажу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю. *Весело* гляжу я на гумно (что ж тут может быть веселого для нас с вами, читатель?), на скирды, молочу и вею. Ну, тащися, сивка! .. Пашенку мы рано с сивкою распашем, зернышку сготовим колыбель святую; его вспоит, вскормит мать-земля сырая. Выйдет в поле травка... Ну, тащися, сивка! Выйдет в поле травка, вырастет и колос, станет спеть, рядиться в золотые ткани» и т. д. Сколько тут разлито радости, любви, вни-

мания, и к чему? К гумну, к колосу, к траве, к кляче, с которою человек разговаривает, как с понимающим существом, говоря «мы с сивкою», «я сам-друг с тобою» и т. д. Человек, *так* своеобразно, полно понимающий, живущий непонятными для меня и вас, образованный читатель, вещами, поймет ли он меня, если я к нему подскочу с разговорами о выгодности ссудо-сберегательных товариществ? А косарь того же Кольцова, который, получая на своих харчах пятьдесят копеек в сутки, находит возможность говорить такие речи: «Ах ты, степь моя, степь привольная!.. В гости я к тебе не один пришел, я пришел *сам-друг с косой* вострою... Мне давно *гулять* (это за пятьдесят-то копеек в сутки!) по траве степной, вдоль и поперек, с ней *хотелося. Раззудись*, плечо, *размахнись,* рука, ты пахни в лицо, ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи, коса, *засверкай кругом*! Зашуми, трава подкошенная, *поклонись, цветы, головой земле»* и т. д. Тут что ни слово, то тайна крестьянского миросозерцания: *раззудись, плечо... засверкай кругом* и т. п. — всё это прелести, ни для кого, кроме крестьянина-земледельца, недоступные. Припомним еще поистине великолепное стихотворение того же Кольцова *«Урожай»,* где и природа и миросозерцание человека, стоящего с ней лицом к лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты в одно поэтическое целое. Чтобы яснее видеть достоинства этого стихотворения, возьмем для сравнения известное стихотворение другого русского поэта, Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива». Автор «в небесах видит бога, у него морщины расходятся на челе, он начинает постигать, что такое счастье», и т. д. Такие сильные душевные движения возбудили в нем созерцание красоты природы. Какова же эта природа и каковы эти ее красоты, так растрогавшие автора? «Желтеющая нива, лес, шумящий при звуке ветерка, малиновая слива, которая прячется в саду, под тенью сладостной зеленого листка; ландыш серебристый, обрызганный душистою росой, когда он румяным вечерком или в златой час утра приветливо кивает головой из-под куста». Вот эти красоты природы. Несомненно, что автор отобрал из этой природы самые лучшие ее сорта, что он обставил самыми приятными растениями путь, по которому в душу его шествует бог, и разместил эти растения и разные

фрукты в таком порядке и виде, чтобы ему не совестно было принять высокопоставленного посетителя; взята поэтому «желтеющая нива», зрелище очень приятное для глаз, затем слива, да еще малиновая, да не просто малиновая слива, а слива под тенью, да и тень-то сладостная, потом ландыш; во-первых, он серебрист, обрызган росой, роса взята душистая, особенная, ради экстренного случая; кроме того, ландыш этот освещен на выбор и утренней и вечерней зарей, разноцветными переливами, помещен под кустом, из-под которого уже и кивает с приветливостью. Тут, ради экстренного случая, перемешаны и климаты и времена года, и все так произвольно выбрано, что невольно рождается сомнение в искренности поэта. Что, думается, вникая в его произведение, увидал ли бы он бога в небесах и разошлись ли бы его морщины и т. д., если бы природа предстала пред ним не в виде каких-то отборных фруктов, при особенном освещении, а в более обыкновенном и простом виде? Что, если бы вместо малиновой сливы, душистой розы, серебристого ландыша автору предстояло созерцать, например, корявый крыжовник, бруснику, ежевику, горьку ягоду калину, рябину и прочую неблагообразную тварь божию? И неужели эта неблагообразная тварь не способна напомнить бога, а годится только на то, чтобы при виде ее вспомнить чорта? В конце концов вы видите, что поэт — случайный знакомец природы, что у него нет с ней кровной связи, иначе он бы не стал выбирать из нее отборные фрукты да прикрашивать их и размещать по собственному усмотрению. Совсем не то в «Урожае» Кольцова. Здесь все просто, обыкновенно, взята одна только нива желтеющая, на которой сосредоточены все заботы земледельца, сосредоточены все его думы. Автор подробно излагает эти «три думы» крестьянские, связанные только с нивой и не разбрасывающиеся по сторонам; с этой же нивой и думами о ней связано совершенно объяснимое внимание к природе, внимание пристальное, жадное (как туман густится в тучу, туча проливает дождем и т. д.), и как, наконец, глубоко понятны заключительные слова стихотворения: «и жарка свеча поселянина пред иконою божьей матери». Тут нет пустого места, нет прорехи в миросозерцании человека, и самое миросозерцание удивительно своеобразно.

Таким образом, благодаря эпизоду с теленком, для меня раскрылось значение в мире крестьянства такой стороны земледельческого труда, которой до сих пор я не придавал почти никакого значения. Для меня стало совершенно ясным, что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений частных и общественных. Множество явлений русской жизни, русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются фальшиво, ложно и досадно терзают вашу наблюдательность потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, сотканного из непрерывной сети на первый взгляд ничтожных мелочей, а в чем-либо другом. Да не подумает читатель, что мы совсем устраняем «каторжную сторону труда» и желаем представить этот труд в виде непрестанного удовольствия. Но об этой стороне труда, равно как и о крупнейших особенностях крестьянской жизни, вытекающих из условий его труда, поглощающего не только силы его, но всю почти работу его мысли, мы сейчас и будем говорить с читателем.



IV. НЕ СУЙСЯ!

«— Не суйся! . .»

Признаюсь, когда эти слова мелькнули в моем сознании, мне стало как-то холодно и жутко, ибо если я не буду соваться, то что ж я буду делать, спрашивается? До сей минуты мне, напротив, самым определенным образом представлялось, что я и предназначен-то собственно для того, чтобы соваться в дела Ивана Ермолаевича, и что самый лучший жизненный результат, которого я могу желать, — это именно быть «потребленным» народною средою без остатка и даже без воспоминания, подобно тому как не вспоминается съеденный час назад кусок

бифштекса. Во имя этой необходимости быть съеденным без остатка я питал глубокое почтение к тем людям, которые, стараясь всячески смирить в себе некоторые эгоистические замашки и привычки — наследие крепостного права, — не страшатся делать усилия для того, чтобы *вбить* себя в народные интересы, точно так, как вбивают толстый пыж в узкое дуло ружья, и которые, так сказать, заколачивают себя «туда», говоря: «Нет, любезный, у меня не уйдешь! Пора перестать топорщиться и разбрасываться по сторонам, а не хочешь ли вот эдак, маленьким комочком... да шомполом! да шомполом! .» И вдруг — «не суйся! Убирайся вон, делать тебе здесь нечего и соваться не в свое дело незачем!»

Эти мысли ошеломили меня, ибо доказывались целым рядом самых неопровержимых фактов, почерпнутых из самых подлинных жизненных явлений деревенской действительности. Пораженный той мыслью, что Иван Ермолаевич, кроме видимых миру слез, бедствий, недоимок, всевозможных притеснений и других мрачных черт, рисующих его жизнь как беспрерывное мучение и каторгу, имеет в самой глубине своего существования нечто такое, что дает ему силу переносить все эти невзгоды целые тысячелетия, и притом с такою непреоборимою безмолвностью, которая заставила умиравшего поэта почти в отчаянии воскликнуть: «не внемлет он и не дает ответа», — словом, пораженный мыслью о существовании в жизни Ивана Ермолаевича того, что я не мог иначе определить, как *поэзией труда,* я решился самым внимательным образом (насколько, конечно, это возможно постороннему человеку) проникнуться и смыслом этого труда и выражением его в обыденных явлениях жизни Ивана Ермолаевича, словом, решился проследить его жизнь и жизнь всей его семьи в мельчайших подробностях ежедневного обихода — и вот тут-то на каждом шагу, буквально каждую минуту, меня стало преследовать роковое «не суйся!»

Не говоря уж о том, что жизнь Ивана Ермолаевича, что называется, «полнехонька» впечатлениями до краев, что, начиная с той минуты, когда он подымется до свету (конечно, вместе со всеми домашними), и кончая непробудным сном после целого дня работ и забот, у Ивана Ермолаевича *фактически* нет времени слушать мои раз-

глагольствования, нет даже возможности уделить для них каплю внимания, — меня с моей разглагольственной позиции сбивала на каждом шагу, кроме сказанного, внутренняя стройность его жизни, такая стройность, в которой мне нечего ни прибавить, ни убавить. Поверхностного, самого легкого наблюдения над ежедневным обиходом описываемого мною крестьянского двора достаточно было для того, чтобы воочию убедиться, до какой степени между мною и Иваном Ермолаевичем велика разница в смысле этой внутренней стройности. В мыслях, поступках и словах Ивана Ермолаевича нет ни единого, самого мелкого, который бы не имел основания самого реального и для Ивана Ермолаевича объяснимого, — тогда как моя жизнь постоянно, на каждом шагу, переполнена и мыслями и поступками, не имеющими никакой связи... Спрашивается: зачем, например, мне знать, что испанская королева разрешилась от бремени? А я вот знаю, читаю об этом; зачем мне знать о докторе Таннере, о генерале Сиссэ, проворовавшемся с госпожой Каула, о том, что новая пьеса Сарду пойдет не во Французской Комедии, а в театре Гимназии? и т. д. А я между тем именно этими-то газетными лохмотьями ежедневно утомляю собственное внимание, и зачем? чтобы немедленно забыть, чтобы завтра целые полдня употребить опять же на эти бессвязные, утомительные мысли. Положим, что, проглотив газету, я найду две-три строки, интересных для меня в точно той же степени, как бывает интересно и Ивану Ермолаевичу, но зато сколько я ежедневно приму в свою душу, вместе с интересом двух-трех строк, всякого ненужного хлама, вздора... ненужного, бессодержательного... В жизни и мысли Ивана Ермолаевича нет ничего подобного, ни одного самого крошечного пустого места, и если он поинтересовался как-то раз чудовищем, о котором публиковали в газетах, то не просто *так,* как интересуюсь я, читая о том, что на Васильевском острове в 5-й линии ребенок вывалился из окна, что императрица Евгения поседела или что Егарев пригласил новую певицу и т. д., а совершенно с определенной целью: не написано ли у чудовища на спине чего-нибудь насчет земли...

Таким образом, при самых первых поверхностных наблюдениях мне стало ясным, что пестрота ежедневного обихода жизни Ивана Ермолаевича наполняет его суще-

ствование фактически, и наполняет плотно, без прорех, без пустых мест. Но стройность, обнаружившаяся в глубине этой пестроты, внутренняя цельность и резонность, из которых эта ежедневная пестрота жизни слагается и на которой держится, были для меня чем-то поистине уничтожающим. Широта и основательность этой стройности выяснялись мне по мере того, как я положил в *основание* всей организации крестьянской жизни, семейной и общественной, — *земледельческий труд,* попробовал вникнуть в него подробнее, объяснить себе его специальные свойства и влияния на неразрывно связанного с ним человека. При этом, во-первых, я должен был корнем этих влияний признать природу. С ней человек делает дело, непосредственно от нее зависит; чему же она его учит?

Она учит его признавать власть, и притом власть бесконтрольную, своеобразную, капризно-прихотливую и бездушно-жестокую. В самом деле, чего только не выделывает природа над Иваном Ермолаевичем! По какому-то необъяснимому злорадству она, например, иссушает его ниву, буквально облитую потом. С беспощадною жестокостью она не день, не два, а два-три месяца подряд томит его ежеминутно, ежесекундно мыслью о голоде, о нужде, томит и молчит... Ежедневно она без всякого милосердия сулит ему дождь, урожай; с утра собираются тучи, ходят в небе станицами, громоздятся несметными массами, глыбами, сулят благодать и счастие... Нужно быть на месте Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чисто физическую жажду к этой туче, к этой воде, которую сулит небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность к этому небу, к этой туче... Вот, наконец, она собралась, вот она тронулась и обложила небо со всех сторон, она гремит и сверкает, она дышит влагою; Иван Ермолаевич даже собственным горлом чувствует эту воду и влагу, жаждет, жаждет — и ничего! Прошла туча! Запылила, помяла иссыхавшую ниву и ушла, бросив три-четыре громадные капли дождя точно на зло, на смех... И все это с безбожнейшим, несправедливейшим равнодушием... Терпи, Иван Ермолаевич! И Иван Ермолаевич умеет терпеть, терпеть, не думая, не объясняя, терпеть беспрекословно. Он знаком с этим выражением на факте, на своей шкуре, знаком до такой степени,

что решительно нет возможности определить этому терпению более или менее точные пределы.

Но, пришибая таким образом человека, вкореняя в его сознании идею о необходимости безусловного повиновения, вкореняя эту идею как нечто неизбежное, неотвратимое, нечто такое, чего нельзя ни понять, ни объяснить, против чего немыслимо протестовать, — та же самая природа весьма обстоятельно знакомит Ивана Ермолаевича и *с удовольствиями власти,* то есть дает ему возможность и самому (несмотря на то, что он в рваном тулупе и рваных лаптях) ежеминутно испытывать те же самые удовольствия своего собственного могущества, которые знакомы только монарху и никому другому. Никакой чиновник, расточающий «строжайшие» предписания и свирепствующий над своими подчиненными, не понимает удовольствия «властвовать» в той степени, в которой понимает это Иван Ермолаевич. Самое большее, чего может достигнуть всякая второстепенная, самая «строжайшая» власть, — это титул «бешеной собаки», который несомненно ему дадут подчиненные, обыкновенно ненавидящие такую бешеную собаку, подчиняющиеся ей из-за нужды, из-за копейки и решительно не дающие другого объяснения своему подчинению. Да и сам «строжайший» начальник едва ли в глубине души также не именует себя «собакой», находя в этом определении и удовольствие, то есть будучи доволен тем, что вот он, благодаря бога, добился-таки высокого права быть бешеной собакой, рвать, метать и лаять... Совсем не такие удовольствия власти испытывает Иван Ермолаевич. Не «равнодушная», а бессердечная природа, балуя беспрекословно повинующегося ей Ивана Ермолаевича, дает ему в руки власть не бешеной собаки, а, повторяем, власть монарха, такого монарха, который повелевает только потому, что он монарх; он повелевает, не допуская даже мысли о праве повелевать, да и подданные его также не имеют привычки размышлять о том, почему именно они оказались подданными? Подданные Ивана Ермолаевича *не могут* задаваться такими вопросами потому же, почему и он, подданный природы, не может задаваться ими. Таким образом, и Иван Ермолаевич и его подданные находятся друг к другу в самых естественнейших отношениях. «Строжайшему» начальству необходимо свирепствовать,

лаять и кусаться, чтобы знать, что «меня, мол, боятся» и, слава богу, считают, наконец, за собаку; Ивану Ермолаевичу ничего этого не надо. Иван Ермолаевич «просто» знает, что ему нельзя, невозможно не властвовать, а подданные также знают, что им нет другого дела, как повиноваться. Спрашивается, что бы могла, например, свинья сделать с своими поросятами, если бы Иван Ермолаевич не отбирал их у ней и не продавал? Самое большее, на что она способна в качестве самостоятельного деятеля, это съесть своих детей, чтобы не далеко шляться за кормом, чему бывали и бывают примеры. Что бы могла придумать курица относительно собственных яиц, если бы Иван Ермолаевич, проникнувшись ложными гуманными теориями, не стал вытаскивать из кошелки, на которой она сидит, ее яйца? Не возьмет яиц Иван Ермолаевич, придет собака «Милорка» и выпьет их; да наконец, если бы во имя гуманных теорий Иван Ермолаевич и преследовал «Милорку», отгоняя ее от беззащитных кур, что бы было, если бы последние беспрепятственно выводили своих цыплят? Ничего больше как то, что цыплята, придя в возраст, немедленно же принялись бы нести те же яйца, точь-в-точь такие, из каких они сами появились на свет, и т. д. Понуждает ли Иван Ермолаевич своих подданных на поприще такого беспрекословного повиновения и службы? Нисколько. Он их не бьет, не пишет им строжайших предписаний, ни кур, ни свиней не распекает; не употребляет никакого насилия — словом, не делает ничего, что должна делать самая строжайшая власть. Он «просто» не может даже не властвовать; не стриги он овцу каждогодно — ведь она опаршивит и издохнет; стригут ее для ее же собственной пользы; корова сделается больна, если ее не доить, и притом для ее же собственной пользы необходимо доить так, чтобы у нее не оставалось «ни капли» собственно ей принадлежащего молока; лошадь, освобожденная от хомута, есть не что иное, как саврас без узды, на которого просто смотреть противно: жрет, лежит и опять жрет, да кроме того не имеет определенной жизненной цели, а шляясь по свету без определенных занятий, легко может забрести в болото или распороть брюхо о старый пень в лесу и издохнуть таким образом без малейшего смысла. И вот, надседаясь изо всех сил, кудахчут целый божий день куры и несутся для

Ивана Ермолаевича; для Ивана Ермолаевича целый божий день, всю жизнь старается свинья, питаясь бог знает чем, влачась в грязи по горло и не получая ни малейшего поощрения, ни похвал, ни наград, кроме ударов палкой всякий раз, когда морда ее приблизится к чему-либо в самом деле питательному. Для Ивана Ермолаевича целую жизнь, не смыкая челюстей ни на мгновение, жует, жует, жует корова, для него же она беспрестанно беременна, для него же обрастает шерстью овца, для него же бьется лошадь — и все это беспрекословно, буквально без ропота и протеста, даже без тени сомнения или мысли в законности такого непрестанного подчинения. Точно так же и Иван Ермолаевич, без малейшей тени сомнения в своем праве, стрижет овцу, стегает и запрягает лошадь, выгребает из куриных кошелок яйца, доит и отбирает у коровы молоко, теленка и т. д. до бесконечности. Спрашивается: может ли Иван Ермолаевич, получающий знания непосредственно от природы, иметь хотя малейшую тень сомнения в неизбежности самой абсолютнейшей, самой прихотливой, а главное, ничем не объяснимой власти? Он знает это потому, что прихоти и капризы ее испытал на своей шкуре, в виде гнета природы; он знает ее из собственного опыта над своими бескорыстными подданными. Почему его гнетет природа, почему она его мучает, разоряет, почему она ему благодетельствует или почему он *должен* обирать у кур яйца, а куры *должны* их нести — все это неизвестно, все это тайна; но что это так, что *без этого нельзя,* в этом может ли быть хоть малейшее сомнение?

Из всего этого видно, что «повинуйся» и «повелевай» до такой степени прочно вбиты природою в сознание Ивана Ермолаевича, что их оттуда не вытащишь никакими домкратами. Непосредственная, постоянная связь Ивана Ермолаевича с природой, от которой он единственно почерпает все свои сведения, взгляды, вкореняя в основание всего жизненного обихода Ивана Ермолаевича эти два положения, то есть повинуйся и повелевай (*пользуйся*), до такой степени, как увидим ниже, последовательно продолжается и в его семейно-общинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организации решительно нет ни возможности, ни смысла. Но и кроме этого, если читатель признает

только то, что прочность вышеупомянутых двух принципов непременно исходит из источника, не подлежащего сомнению и критике, то есть из источника не выдуманного, а действительно реального, то тогда он должен согласиться, что всякие попытки человека, имеющего о тех же вещах понятия книжные, бумажные и т. д., должны непременно оказаться бесплодными. В ответ на все такие книжные разглагольствия Иван Ермолаевич может ответить *только* одно: «без этого нельзя», но это «только» имеет за себя вековечность и прочность самой природы. Но этим кротким ответом колебателю основ Иван Ермолаевич может ограничиться единственно только по своей доброте; ежели же он человек не с слишком мягким сердцем, то ответ его колебателю той или другой из основ должен непременно выразиться в предоставлении этого самого колебателя к начальству, не как злодея, а просто как сумасшедшего пустомысла, который болтает зря невесть что и своими пустомысленными разговорами может вредить в таких делах, в которых не смыслит ни уха, ни рыла, полагая, что в делах этих можно что-нибудь изменить, тогда как Ивану Ермолаевичу доподлинно известно противное, что ничего тут изменить невозможно и что вообще «без этого нельзя».

Чтобы яснее видеть, с какой строгостью и последовательностью и вместе с какой безграничной покорностью Иван Ермолаевич приводит вышеупомянутые два (невыдуманных, повторяем) принципа в своей жизни и в своих семейных и общественных отношениях, обратимся к обиходу его домашней жизни. И здесь все основано и все держится на таком резонном, добровольно-неизбежном подчинении, что колебатель основ оказывается совершенно ненужным с своими гуманными разглагольствованиями. Курица, овца, свинья, корова и т. д. добровольно и беспрекословно несут свои дары в руки Ивана Ермолаевича; с своей стороны и Иван Ермолаевич добровольно встает в два часа ночи, чтобы замесить свиньям, дать корму курам и т. д., ибо если бы Иван Ермолаевич поверил разговорам колебателя основ о том, что жизнь Ивана Ермолаевича — каторга, что он встает до свету, когда другие спят на мягкой перине и ухом не ведут о трудностях жизни Ивана Ермолаевича, и, согласно этому, задумал бы освободить себя от необходимости вставать

до свету, то в результате получилось бы, что куры бы перестали нести яйца, коровы перестали давать молоко, и все передохли бы, оставив Ивана Ермолаевича без всякой *пользы*. — «Нельзя без этого», — говорит Иван Ермолаевич, соглашаясь однако, что вставать в два часа ночи точно трудно, и колебатель основ должен согласиться с простыми, но вескими словами Ивана Ермолаевича. Такое же веское и основательное «нельзя» будет ответом на все протесты и против других, иногда в высшей степени подавляющих форм подчинения, которыми проникнута вся организация земледельческой (порядочной) крестьянской семьи. Возможно ли такой семье обойтись без власти, без большака? Мы видим, что «большак» есть именно власть над семьей, двором, домом, так как иногда, например, за смертию главы семейства и за недостатком способных людей между оставшимися после покойного членами семьи, большака выбирает мир из посторонних людей; наконец мы знаем, что не всегда старший в семье бывает и большаком: иногда, с согласия мира, большаком ставится младший, но талантливейший, способнейший. Уж из этого видно, что *глава* в доме, власть домашняя, нужна: этого требует опять же сложность земледельческого труда (составляющего основание хозяйства) и зависимость этого труда от велений и указаний природы. Основываясь на этом, власть большака, при самом внимательном рассмотрении, совершенно неизбежна и опять-таки ни в одном самом ничтожном проявлении не выдумана. Его нельзя не слушаться, потому что, приказывая, он сам повинуется природе, а не выдумывает приказаний с ветру. Надо идти и брать косу, надо идти доить, надо везти навоз — все, что ни требует он, все только потому, что надо; он знает, кого на какую работу поставить, он знает силы семейных работников, он знает их нужды, знает — сколько надо семье хлеба, сколько корму скотине, словом, он блюдет не собственный интерес, а интерес всех. Его *нельзя* не слушаться, ибо у него есть общий план, основанный на знакомстве и с силами и с средствами семьи; он меньше работает физически, но больше думает, у него больше заботы, чем у каждого члена семьи отдельно. В то время, когда Иван пашет, Матрена доит коров, словом, в то время, когда всякий делает свое дело, большак думает о том, сколько

на семью надо полушубков, сапог, рубах, сколько есть в семье денег; едет рядиться на работу или просит у мира прибавки или убавки земли. Все его заботы, распоряжения, хлопоты клонятся к общему благу семьи, и на этом основании все, даже, повидимому, бесчеловечные распоряжения большака, при внимательном исследовании, оказываются вполне основательными, а главное, сделанными прямо с согласия этих же самых жертв (на мой взгляд) бесчеловечия. Начитавшись разных чувствительных романов и набивши голову разными эмансипациями, я вот, например, «возмущаюсь» (слово взято также из романов) тем, что брат-большак не выдает свою сестру Паланьку замуж. Семь лет кряду за нее сватаются отличнейшие женихи, бравые парни, а брат все отказывает. — «Отчего ты, Пелагея, не выходишь замуж? Ведь уж пора!..» — спрашиваю я аккуратно в год раз и через год, приезжая в деревню. И всякий раз она отвечает мне: «Мне уж давно бы замуж-то надо, да братец *не отдает!*» — «Да какое же имеет кто бы то ни был право насильно не отдавать тебя замуж? Разве имеет человек право держать другого человека в кабале?» — вопию я, и читатель может представить себе, что я на эту тему могу вопиять сколько угодно, особливо если я прибавлю, что на вопрос мой: «Нравились ли тебе женихи-то?» Пелагея отвечает: «У меня хорошие были женихи...» и вздыхает. Но по ближайшем рассмотрении этого дела тиранства в нем не оказывается ровно никакого. «Никак нельзя было отдать, — объясняет брат Паланьки, якобы тиран. — В прошлом году падеж был, разорились на скотину, не с чем было отдавать, в нонешнем двух лошадей прикупили, опять без денег. Лошадей прикупили потому, что землю арендовали у помещика соседнего, пять десятин, а землю арендовали потому, что своей мало, нехватает хлеба. Вот оно и выходит, что Паланьке погодить надоть. А что говорить, женихи набиваются хорошие, да и пора — а нельзя! Отдай я ее — без лошадей останусь; без лошадей останусь — хлеба не будет; хлеба не будет — покупать его надо, занимать деньги, платить рост — откуда взять? запутаюсь сегодня, завтра еще хуже будет, а через год — глядишь, и весь в кабале. Конечно, что... а надо погодить...» Таким образом, никакого тиранства не оказывается. «Нельзя» и «надо пого-

дить» понимает вполне и сама Паланька. — «Ну, Палагея, — говорит ей жених, за которого ее не отдают, — видно, друг мой, надо нам с тобой прощаться. .» — «Прощай, Михайло!» — «Так-то, друг мой милый! Видно, мне придется Афросинью взять, ничего не поделаешь... За Афросиньей отец сулится двести рублей, тут можно взяться хозяйствовать, есть с чего начал положить... А тебя мне взять пустую — не приходится!» — «Нешто не знаю. .» — «С пустыми руками, сама знаешь, какое хозяйство — горе одно! .» — «Вот лошадей-то купили, истратились. .» — «Знаю, что купили...» Остается вздохнуть и покориться.. чему? Идеалам и требованиям, вытекающим из земледельческого труда... На основании этих же земледельческих идеалов и младшего брата большака, Лешку, женили на уроде и на дуре, и опять-таки не из жестокости это сделано, а на самом точном основании идеалов. Сам Лешка объясняет это дело довольно резонно: «В ту пору пожар был, погорели, пришлось строиться, работы много, а народу со всем управиться нехватает. Вот в тот год меня и женили... Мне было, признаться, другая ндравилась, и из себя хороша, даже красива... Да видишь, как вышло: бабушка у нас характерная, и жена старшего брата характерна, а жена середнего — больная. Старшего брата жена — покорится бабке, над середней командует, а моя бы, ежели бы, к примеру, я женился, — не покорилась бы ни середней, ни старшей, только что бабке бы, пожалуй што, покорилась бы, потому она хушь и хороша собой, а тоже характерная... Вот оно и не подходило к ладу-то... Уж моя бы беспременно со старшей пререкалась, а старшая тоже спуску не даст... Больная-то середняя тоже бы на мою-то стала покрикивать, все же старше моей-то, вот и вышло бы у нас расстройство. «Иди туда-то!» — «Иди ты!» — «Я большуха». — «Я сама не маленькая». Вот и пошло бы этак-то... Думали *мы*, думали, присогласились так, чтоб взять Матрену. Она хоть и рябая и в уме не очень чтоб, а уж характеру — нет; ей и больная прикажи — делает; и старшая скажет — и ее не ослухается, а бабку боится пуще огня. Конечно, что лицом она действительно что. ну в работе худого сказать никак нельзя! .» Таким образом, если Лешка и принес себя в жертву, то не сознательно ли он поступил при этом и не имел ли он в виду единственно

только желание не нарушить гармонии в земледельческом труде, а также не действовал ли он при этом так, как ему повелевают исключительно этому труду свойственные качества? В самом деле, введи он в семью не урода, не дуру и не рабу, а характерную и красивую жену, было бы полнейшее нарушение гармонии коллективных сил семьи, направленных к одной определенной и неизбежной цели. Жалея Лешку, я, однакож, не могу не видеть, что, женясь на дуре и уроде, он поступал вполне резонно и основательно.

Построенное на таком прочном, а главное, невыдуманном основании, как веления самой природы, миросозерцание Ивана Ермолаевича, создавшее на основании этих велений стройную систему семейных отношений, последовательно, без выдумок и хитросплетений, проводит их в отношениях общественных. На основании сельскохозяйственных идеалов деревенский человек ценится во всех своих общественных и частных отношениях; на них построены отношения юридические, а опытом, вытекающим из них, объясняются и оправдываются и высшие государственные порядки. Требованиями, основанными только на условиях земледельческого труда и земледельческих идеалов, объясняются и общинные земельные отношения: бессильный, не могущий выполнить свою земледельческую задачу по недостатку нужных для этого сил, уступает землю (на что она ему?) тому, кто сильнее, энергичнее, кто в силах осуществить эту задачу в более широких размерах. Так как количество сил постоянно меняется, так как у бессильного сегодня — сила может прибавиться завтра (подрос сын или жеребенок стал лошадью), а у другого может убавиться (отдали, наконец, Паланьку, издохла корова и т. д.), то «передвижка» — как иногда крестьяне именуют передел — должна быть явлением неизбежным и справедливым. Эти же сельскохозяйственные идеалы — и в юридических отношениях: имущество принадлежит тому, чьим творчеством оно создано... Его получает сын, а не отец, потому что отец пьянствовал, а сын работал; его получает жена, а не муж, потому что муж олух царя небесного и лентяй и т. д. Объяснения высшего государственного порядка также без всякого затруднения получаются из опыта, приобретаемого крестьянином в области *только* сельскохозяй-

ственного труда и идеалов. На основании этого опыта можно объяснить высшую власть: «нельзя без большака, это хоть и нашего брата взять». Из этого же опыта наглядно объясняется и существование налогов: «нельзя не платить, царю тоже деньги нужны... это хоть бы и нашего брата взять: пастуха нанять, и то надо платить, а царь дает землю... Курица, и та яйца не снесет, ежели ей корму не дать, а царь за всем глядит...» Началась война с славянами, с афганцами — опять хоть дело и трудное, но не несогласное с миросозерцанием Ивана Ермолаевича. «Славян нельзя не отбить, потому свой брат... Вот, когда осиновцы сгорели, тоже мы ведь помогали, потому с нами что приключится — и осиновцы помогут...» Афганцев бьют — потому беспокоят... «Это хоть бы и у нашего брата доведись... Станут к тебе суседние ребята в огород лазить, капусту воровать — хочешь не хочешь, а должон взять палку, выгнать оттудова...» Словом, с точки зрения Ивана Ермолаевича, как и вообще «хорошего» земледельца-крестьянина, кажущееся мне влачение по браздам, бесплодное, тяжкое существование — оказывается явлением вполне объяснимым, а главное вовсе не влачением, а существованием, основанным на известных, притом непоколебимых законах, существованием, в котором осмыслен каждый шаг, каждый поступок, определена каждая вещь, определен и вполне объясним каждый поступок. Войдя в этот мир и вполне проникнувшись сознанием законности и непреложности всего существующего в нем, посторонний деревне, хотя бы и озабоченный ею человек должен невольно оставить свою фанаберию, и если он не сумеет думать так, как думает Иван Ермолаевич, и притом не убедится так же, как убежден Иван Ермолаевич, что иначе думать, при таких-то и таких-то условиях, невозможно, то решительно должен оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной. Тронувшись, например, судьбой Паланьки и Алешки, положим, что я начну разговор о деспотизме, — но Паланьки и Алешки сами докажут мне, что вовсе не нуждаются в моем заступничестве потому-то и потому-то и что иначе *нельзя*. Я начну придираться к нечистоте двора, на котором гниет масса навозу, а Иван Ермолаевич опять мне докажет, что *нельзя* без этого, что навоз первое дело, что вывозить его надо

во-время, и он знает, когда это надо сделать; словом, выйдет так, что навоз должен быть в том самом виде и на том самом месте, в каком виде и в каком месте он находится. Я начну колебать его суеверие и в этих видах представлю в юмористическом тоне, как поп собирает пироги и т. д. Но окажется, что юмористических черт в этом отношении у Ивана Ермолаевича накоплено гораздо более, чем у меня, а принципа, олицетворяемого им, я ничуть не поколеблю, потому что поп нужен Ивану Ермолаевичу. У Ивана Ермолаевича есть грехи, которые ему не может отпустить ни староста, ни кабатчик, ни даже губернатор, а отпускает только поп. Господь дал ему урожай, в благодарность за это Иван Ермолаевич ставит свечку и делает это только при посредстве попа, так как не в почтовой же конторе ему ее ставить и не в волостном правлении. Везде своя часть. «Он хоть и не дюже человек хороший и зашибает, — говорит Иван Ермолаевич о попе, — а нельзя... Вот и почтмейстер на станции тоже пьянствует — а через кого отправишь письмо?» Стало быть, все стоит на своих местах, и Иван Ермолаевич вовсе не «влачится по браздам», а живет, во-первых, полною, а во-вторых, осмысленною жизнью. В условиях земледельческого труда почерпает он философские взгляды; в условиях этого труда работает его мысль, творчество; в этом же труде обретает он освежающие душу поэтические впечатления; на основаниях этого труда строит свою семью, строит свои общественные, частные отношения, и из условий всего этого составляется взгляд на общую государственную жизнь.

Проникнувшись непреложностью и последовательностью взглядов, исповедуемых Иваном Ермолаевичем, я почувствовал, что они совершенно устраняют меня с поверхности земного шара... Все мои книжки, в которых об одном и том же вопросе высказываются сотни разных взглядов, все эти газетные лохмотья, всякие гуманства, воспитанные досужей беллетристикой, все это, как пыль, поднимаемая сильными порывами ветра, было взбудоражено естественною «правдою», дышащею от Ивана Ермолаевича... Не имея под ногами никакой почвы, кроме книжного гуманства, будучи расколот надвое этим гуманством мыслей и дармоедством поступков, я, как перо, был поднят на воздух дыханием правды Ивана Ермолае-

вича и неотразимо почувствовал, как и я и все эти книжки, газеты, романы, перья, корректуры, даже теленок, не желающий делать того, чего желает Иван Ермолаевич, — все мы беспорядочной, безобразной массой со свистом и шумом летим в бездонную пропасть...



V. СМЯГЧАЮЩИЕ ВИНУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Поражение было до такой степени чувствительно, что некоторое время я положительно не мог опомниться; но мало-помалу сознание стало возвращаться ко мне, и, не желая быть погребенным заживо, я невольно стал выказывать кое-какие попытки к борьбе за свое существование и в этих видах остановился на вопросе о том, что неужели, мол, в самом деле народу так-таки ровно ничего и не нужно, кроме «земельки», которой у него мало, и неужели все то, что известно под именем «движения в народ», есть только глупость и только преступление? Не настало ли, напротив, время из тайны и подполья вывести это дело на ясный божий свет, не пора ли определить всю серьезность, а главное *обязательность* этого дела для всякого русского совестливого и грамотного человека? Ведь крепостное право кончилось, а стало быть, кончилось для громадного большинства русских людей, не принадлежащих к простому народу, *право* праздного, бездельного существования. Не пора ли ввиду этого в такой степени прямо и серьезно поставить вопрос о *народном деле,* чтобы оно перестало казаться геройским подвигом, или самопожертвованием, или, наконец, делом, достойным только пропащего человека. Наши города и столицы переполнены народом образованным и грамотным, для которого, однако, карьера волостного писаря или сельского учителя представляется почти таким же ужасным исходом жизненного поприща, как и карьера кабачного сидельца. Охотников до «центров» и благ, расточаемых ими, хотя далеко на всех нехватающих, слишком много воспитано на русской земле; для деревни же остаются одни кабатчики и люди, которые «отчаялись»

в своих карьерах. Но для того, чтобы скромная работа в деревне не казалась ни адом, ни каким-то необыкновенным героическим поступком, а простою и серьезнейшею обязанностью всякого человека, существующего несомненно на народные деньги, для этого, повторяем, дело народное должно быть выяснено во всей своей обширности, во всем своем патриотическом значении, во всей своей многосложности. Только это выяснение дела и даст устойчивые, захватывающие душу идеалы, прольет иной свет на некоторые приемы народного дела, считающиеся ныне злом, и очистит это дело от осложнений, нимало его не касающихся.

Главнейшею причиною того, что народное дело непременно должно быть выяснено в самой строгой беспристрастности и, если угодно, бесстрашии, служит чрезвычайно важное обстоятельство, замеченное решительно всеми, кто только мало-мальски знает народ, что стройность сельскохозяйственных земледельческих идеалов беспощадно разрушается так называемой цивилизацией. До освобождения крестьян наш народ не имел с этой язвой никакого дела; он стоял к ней спиной, устремляя взор единственно на помещичий амбар, для пополнения которого изощрял свою природную приспособительную способность. Теперь же, когда он, обернувшись к амбару спиной, стал к цивилизации лицом, дело его, его миросозерцание, общественные и частные отношения — все это очутилось в большой опасности. Ибо цивилизация эта, как кажется, имеет единственной целью стереть с лица земли все вышеупомянутые земледельческие идеалы. Ведь вот стерла же она с лица земли русскую бойкую, «необгонимую» тройку, тройку, в которой Гоголь олицетворял всю Россию, всю ее будущность, тройку, воспевавшуюся поэтами, олицетворявшую в себе и русскую душу («то разгулье удалое, то сердечная тоска») и русскую природу; все, начиная с этой природы, вьюги, зимы, сугробов, продолжая бубенчиками, колокольчиками и кончая ямщиком с его *«буйными криками»,* — все здесь чисто русское, самобытное, поэтическое. Каким бы буйным смехом ответил этот удалец-ямщик лет двадцать пять тому назад, если бы ему сказали, что будет время, когда исчезнут эти чудные кони в наборной сбруе, эти бубенчики с малиновым звоном, исчезнет этот ямщик

со всем его репертуаром криков, уханий, песен и удальства и что вместо всего этого будет ходить по земле какой-то коробок вроде стряпущей печки и без лошадей и будет из него валить дым и свист... А коробок пришел, ходит, обогнал необгонимую. Необгонимая позвякивает своими малиновыми бубенцами на весьма ограниченном пространстве — Конюшенная — Ливадия — Нарвская застава — Конюшенная — только и ходу для необгонимой!.. Что же будет, ежели паче чаяния эта ядовитая цивилизация вломится в наши палестины хотя бы в виде парового плуга? Ведь уж он выдуман, проклятый, ведь уж какой-нибудь практический немец, в расчете на то, что Россия страна земледельческая, наверное выдумывает такие в этом плуге усовершенствования, благодаря которым цена ему будет весьма доступная для небогатых земледельцев. Ведь, кроме того, немец может устроить и рассрочку и разные снисхождения — словом, придумает и так или сяк водворит этот плод цивилизации в наших палестинах, и что тогда может произойти, поистине вымолвить будет страшно. Все, начиная с самых, повидимому, священнейших основ, должно если не рухнуть, то значительно пошатнуться и во всяком случае положить начало разрушению... Так как плуг вздирает землю и в дождь и в грязь, то количество восковых свечей должно несомненно убавиться. Кроме того, в значении власти большака получится значительный пробел, а следовательно, и сомнение в необходимости подчинения его указаниям, да и указаний-то этих убавится сразу более чем наполовину; громадная брешь образуется и в мирских делах, ибо плуг, вздирая «по ряду» всю мирскую землю, уничтожает все эти колушки, и значки, и границы... Масса серьезнейших мирских дел оказывается ненужными. Паланька явно не пожелает долее подчиняться требованиям разрушенных идеалов и освободится вместе с освобожденными плугом лошадьми. Произойдет опустошение во всех сферах сельскохозяйственных порядков и идеалов, а на место разрушенного ничего не поставится нового и созидающего. И батюшка начнет произносить грозные проповеди о развращении нравов.

Да что плуг! Плуг — это покуда праздная фантазия, но беды цивилизации несут к нам такие, повидимому, ничтожные вещи, которые в сравнении с плугом то же,

что папироска с Александровской колонной. Какая-нибудь керосиновая лампа или самый скверный линючий «ситчик» — и те, несмотря на свою явную ничтожность, тем не менее наносят неисцелимый вред порядкам и идеалам, основанным и вытекающим из условий земледельческого труда. Керосиновая лампа уничтожает лучину, выкуривает вон из избы всю поэтическую сторону лучинушки, удлиняет вечер и, следовательно, прибавляет несколько праздных часов, которые и употребляются на перекоры между бабами, главной причиной раздела и упадка хозяйства. А «ситчик» по десяти копеек аршин! — уж на что, кажется, дрянь, и притом самая линючая, а от появления его баба разогнула спину, бывало согнутую над станком; но, разогнув ей спину и дав, таким образом, массу праздного времени, времени, еще недавно поглощенного ужасным трудом, он тем самым дал волю ее наблюдательности, развязал язык и усилил семейные несогласия. А чай? сахар? табак? сигары? папиросы? пиджаки? Разве все это благоприятствует сохранению типа «настоящего» крестьянина?

Влияние цивилизации отражается на простодушном поселянине решительно при самом ничтожнейшем прикосновении. Буквально «прикосновение», одно только легкое касание — и тысячелетние идеальные постройки превращаются в щепки. Вот перед вами трудолюбивый, деликатный, умный, целомудренный крестьянин; но поездил он две зимы легковым извозчиком — и уж развратился! Скажите, пожалуйста, какая же тут может быть цивилизация — ездить зимой в морозы на облучке и сидя спать в трактирах, опустив голову на стол? А между тем развращается. В две зимы человек «насобачивается» так, что уж делается чужим в родном своем семействе. Гордость рождается у него, фанаберия и насмешка; приучается прятать деньги от матери, от большака и непременно задумывает делиться. И это в лучшем случае, а то просто делается мерзавцем: иной придет из Петербурга без копейки, хоть и «при часах», ничего не делает, не работает, а свою же родную мать посылает ходить по миру и ждет ее, поглядывая на свои часы...

Наконец, кто не знает, как быстро меняется, и меняется к худшему, самый «тип» деревенского человека, даже в таких отдаленнейших от цивилизации учреждениях, как,

например, кабак? Стоит «крестьянину» посидеть года два в кабаке, и притом с своими же, такими же крестьянами — как из порядочного человека он превращается в нечто решительно непривлекательное: все меняется в нем. Начиная с вычурности выговора, с этих масляных волос, с этого бритого затылка, до приемов и ухваток, растопыренных пальцев, походки и т. д., все в нем омерзительно и гнусно; но всего гнуснее — миросозерцание. Из мирского человека он превращается в мирского обиралу, из жалостливого к бедным — в хладнокровного до жестокости: ему ничего не стоит спаивать человека, зная, что он этим разоряет, «голодит» целую семью; ему ничего не стоит выбросить на мороз этого спившегося с кругу человека, после того как у него не останется ни гроша. Даже убить человека ему ничего не стоит из-за денег. Замечательно при этом, особенно в деревенском кабатчике, то обстоятельство, что он имеет дело исключительно почти с своим братом, деревенским человеком, односельчанином, и притом постоянно присутствует при самых откровенных (после стаканчика) разговорах о «нужде», о горе, которое большею частью и потребляет вино, — и ничего, кроме жестокости, бесчеловечия, эта обстановка в нем не воспитывает. Но, положим, кабак вообще плохая школа нравственности; всего ужаснее то, что почти такие же результаты достигаются совершенно иным, вполне противоположным путем.

Из всего сказанного, да и кроме сказанного, из множества ежедневных примеров очевидно следует, что для сохранения русского земледельческого типа, русских земледельческих порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных частных и общественных отношений необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что носит мало-мальски чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделывающие ситец, железные дороги, телеграфы, кабаки, извозчиков и кабатчиков, даже книги, табак, сигары, папиросы, пиджаки и т. д. и т. д. Все это необходимо смести с лица земли для того, чтобы Иван Ермолаевич, воспитавшийся в условиях земледельческого труда, на них построивший все свои взгляды, все отношения, на них основавший

целый, особый от всякой цивилизации, своеобразный «крестьянский» мир, мог свободно и беспрепятственно развивать эти своеобразные начала...

Но если бы такое требование было в самом деле предъявлено, то едва ли бы нашелся в настоящее время хотя один человек, который бы определил его иначе, как крайним легкомыслием. Да и сам Иван Ермолаевич, уж на что подлинный крестьянин, а не беспокойтесь, не променяет керосиновой лампы на лучину и не посадит свою жену за «прясло», когда есть деньги, чтобы купить ситчику. И выходит поэтому для всякого что-нибудь думающего о народе человека задача, поистине неразрешимая: цивилизация идет, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествия, но еще, как уверяют тебя и как доказывает сам Иван Ермолаевич, не должен, не имеешь ни права, ни резона соваться, ввиду того что идеалы земледельческие прекрасны и совершенны. Итак — остановить шествие *не можешь,* а соваться *не должен!* Между тем сам Иван Ермолаевич, безропотно покоряясь напору чуждых ему влияний и в то же время упорно стремясь осуществить свои земледельческие идеалы в том самом виде, в каком они были выработаны при отсутствии давления нового времени, чувствует себя весьма нехорошо и вырабатывает, — конечно, будучи в этом вполне невиновен, — взгляды на окружающее вполне непривлекательные.

VI. К ЧЕМУ ПРИШЕЛ ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ

Он ропщет.

Он ропщет не на цивилизацию, не на ее гибельное влияние, он ропщет не на порядки, уважение к которым вкоренено в нем, как мы видели в начале этого отрывка, слишком основательно, а ропщет он на *народ,* на своих односельчан-сообщников. Народ, видите ли, стал не тот, испортился и избаловался.

— Да неужели, — спрашиваю я Ивана Ермолаевича, — при крепостном праве было лучше?

— Храни бог от этого, — отвечает Иван Ермолаевич, — кажется, как только живы остались, удивления достойно... Чего уж в ту пору хорошего? а что ровней было — это действительно правда. В ту пору, надо так сказать, всем худо было, всем ровно, а ноните стало таким манером: ты хочешь, чтобы было хорошо, а соседи норовят тебе сделать худо.

— Да зачем же это надо?

— Да вот, стало быть, надо же зачем-нибудь. Тебе хорошо, а мне худо, так пускай же и тебе будет также худо. Поровнять.. Посудите сами, я вам расскажу. Лядины у нас делятся на участки под вырубку; всякий рубит в своем участке. Вот я вырубил свой участок, пни выкорчевал, вычистил, стала у меня пашня. Как только у меня пашни прибавилось — переделять. У тебя, мол, больше выходит земли, чем у другого с теми же душами. Мирской земли прибавилось — переделять!

— Но ведь всякий может расчистить свою лядину?

— Только не всякий хочет. Вот в чем дело-то... Один ослабел, другой обнищал, а третий ленив; есть ленивые, это верно... Я встану до свету, бьюсь до поту, у меня хлеба больше, — отымут, будьте покойны! И по многу ли достанется-то? Как есть вот по ремешочку, по тоненькой тесемке... Таким манером два раза у меня землю-то отобрали, и все по закону; земли прибавилось: «не одному же тебе, надо всем прибавить...» То есть никак не подымешься. Хочу выписаться из общества; тут один мне мужичок сказывал, что будто можно, только не знаю как, много ли денег платить?

— А много ль у вас таких людей, которые подняться не дают?

— А где же их нет? Богачи не дают, и беднота не дает.

— Отчего же это беднота-то у вас?

— Оттого, что набаловался народ... Все норовят отстать, отделиться от больших семей; от семьи-то отойдет, а сил справиться нет, вот он и начинает вертеться, как бес перед заутреней. В работники пойдет, норовит как чтобы хуже. Это чтобы по совести делать — этого не ждите!... Как чуть отвернулся, он и сел отдыхать, папироску закурил.

Да не подумает читатель, что слова Ивана Ермолаевича приводятся для восхваления крепостных времен; но

самая возможность подобных речей в устах крестьянина уже знаменательна, ибо в них косвенным образом выражается мерило его современного положения...

Необходимо упомянуть, что Иван Ермолаевич должен нанимать работника и работницу, так как его семейных сил недостаточно для успешного удовлетворения земледельческому идеалу. Брат у него молод, шестнадцати лет, старшему сыну одиннадцать лет, а у жены еще на руках двое ребят. Платит он за две души, работник и работница для него необходимы, и на неудовлетворительность их нравственных качеств Иван Ермолаевич, будучи работником сам лично, жалуется даже гораздо более, чем любой крупный землевладелец. У него существует для работника определенный идеал; вот, например, говорит он, Лукьян — это работник. Действительно, Лукьян человек особенный. Работу он считает делом богоугодным. Бог труды любит, говорит он, и верит в это твердо, а в видах этого ворочает пни, бревна, камни — словом, надседается над самыми тяжеловесными предметами не только без ожесточения, а, напротив, с полной верою, что все это богу приятно. «Он любит!» — говорит Лукьян, красный как рак, весь в поту, с страшными усилиями вытаскивая из речки пень по указанию Ивана Ермолаевича; он весь мокрый, кряхтит и охает, но бог видит эти старания и одобряет Лукьяна. Пень захрюкал, зачавкал, вылезая из тины речного дна, и Лукьян твердо знает, что это у бога зачлось, что ко всем его трудам прибавился новый нумер... Лукьян, кроме того, холост; он дожил до старости лет под каким-то странным страхом брака; в деревне у него изба и огород; он не платит никаких налогов. Весной он вскопает гряды, посеет и посадит разные овощи: хрен, морковь, капусту, картофель. И уходит; дом он запирает наглухо, а огород поручает вдове-солдатке; с весны до глубокой осени он в работе: косит, пилит. Осенью, после Покрова, накопив немного денег, возвращается домой; в огороде всё выросло и поспело, и всю зиму Лукьян не знает нужды, а когда придет, наконец, старость, когда устанут и руки и ноги, — вот тогда Лукьян намерен вступить в брак. «Никакой свадьбы, — говорит он, — не будет, а просто возьму за руку ту самую солдатку-вдову, которая ходит за огородом, да и пойдем вдвоем к попу, деньги отдадим. Пускай

под старость мне поможет, а помру — пусть владеет, что останется от меня».

Такого человека, по мнению Ивана Ермолаевича, еще можно бывает назвать работником вполне, но идеальный работник не такой; идеальный работник тот, кто не корыстуется, готов работать «с кусу», никаких цен, ни условий не ставит, говорит «только корми» или самое большое — «что положишь, то и ладно»; идеальный работник тот, который увлекается общим течением работ в той семье, куда он входит, который забывает, что работает на чужих людей, который сливается с этими чужими людьми, с их интересами, который тысячу дел сделает «играючи», — вот это работник идеальный; но, по уверению Ивана Ермолаевича, таких идеалов по нонешнему времени нет, и куда они девались — никому неизвестно. Напротив, в настоящее время работник не только не увлекается трудом, не только не видит в этом труде никакой игры, но, напротив, не хочет делать дела, несмотря на то, что условий ставит множество, критикует, сплетничает, разглагольствует, обманывает и в конце концов опять-таки ничего не делает. Над таким человеком нужно *стоять,* не отходя ни на шаг, понукать, воли не давать; словом, такой человек ожесточает простодушного Ивана Ермолаевича. Поглядите вот на этого нынешнего работника. Идет наниматься, и не успел он и Иван Ермолаевич сказать двух слов, как следом является жена нанимающегося.

— Не давай ты ему, подлецу, денег! — начинает она. — Сделай милость, не давай! Знаю я его, очень хорошо знаю.

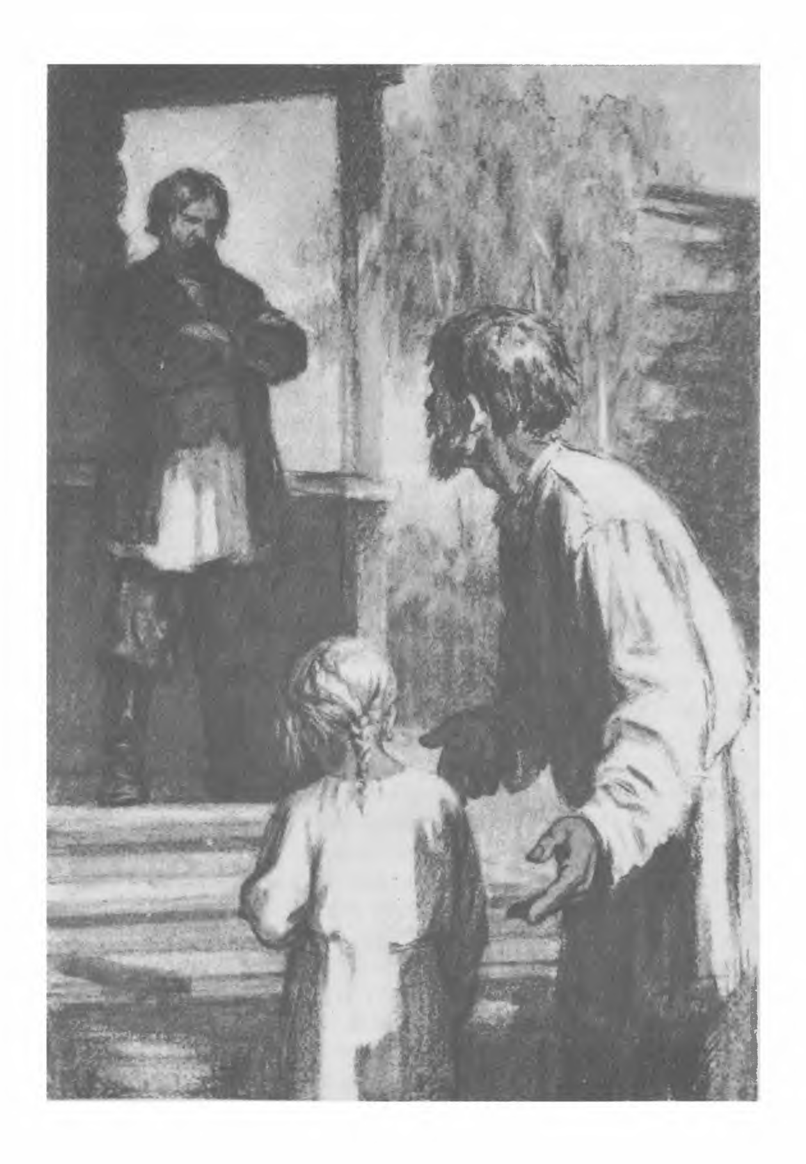
— Что пасть-то разинула, кобыла сумасшедшая? Чать не все пропивал, чать работал! кто вас, чертей, сорок-то лет кормил, ты, что ль? Кто сыновей вырастил и женил? Орало дурацкое! Не давай денег! Вам же, чертям, достанутся.

— Ни-и-и-ни грошика, ни полушечки не давай, и не слухай ты его ни в едином слове; а наймется — вот как, уж вот как гляди, глаз не спускай, а то заснет! Перед богом, как отвернулся — спит! Я всю жизнь с ним мучилась, я знаю, у меня хребет-то хорошо знает, каков человек он есть. . .

Начинается божба, клятвы, упрашивания, дележка задатка: часть работнику, часть бабе. А работы нет настоя-

щей! Все надо сказать, напомнить. Не скажешь, не напомнишь — сидит; пойдет нехотя, смотреть тошно, словом, каждый шаг делает только из-под палки. В интересы семейства не только не входит, но, напротив, под все подкапывается, в каждом слове слышен упрек: «что-то снетки-то бытто мельконьки!» — непременно заметит, и непременно насплетничает насчет снетков и в лавочке, и в кабаке, и у первых хороших знакомых Ивана Ермолаевича. Насплетничает, прибавит, присочинит и уйдет, не отработав задатка, к другому, уйдет бранясь, ругаясь, распускать позорящие Ивана Ермолаевича небылицы; «снетки, мол, покупает с песком, последний сорт, сам не ест, для прилику только ложкой болтает, а в печке спрятана свинина». Поминутно Иван Ермолаевич остается без работника или с таким работником, который, кажется, только и думает, чтобы уйти прочь, хотя и пришел всего-то два дня назад. Вот в прошлом году работник поленился слезть с воза сена, которое вывозил из болота, поленился, потому что сапоги на нем новые были, только что купленные, в задаток остались, и, сидя на возу, драл лошадь кнутом: лошадь билась-билась и повредила зад (оторвала зад), а лошадь стоит около ста рублей. Убыток из-за сапог в три целковых.

Или вот хромоногий солдат. Вот поглядите на него: Христом-богом упрашивает, умаливает, чтобы Иван Ермолаевич взял его девчонку в работу, и просит *только куль,* один куль хлеба за все лето, что по нынешним ценам стоит шестнадцать рублей. Если Иван Ермолаевич взял девчонку хромого, то единственно только из жалости, но не прошло двух недель, как хромой взял ее, взял самым наглым образом. Пришел к Ивану Ермолаевичу и объявил: «Хочешь держать — давай двадцать пять целковых, а не дашь — у меня есть ей место». — «А куль?» — «Что ж куль? вот продам сено, отдам, авось не пропадет». Но под это сено выклянчил и в лавчонке и соли, и хлеба, и чаю, и табаку, целковых на пять. «Вот продам, отдам». Под это сено выклянчил в соседней деревне у кабатчика картофелю, репы, брюквы... «Продам — отдам». Под это сено у овчинника взял в долг лошадь в сорок целковых и в два месяца загнал ее, потому что почти не кормил, а гонял со станции на станцию поминутно; даже сынишка, который на ней ездил, и тот



заморился и захворал. Мало того, сено, заложенное уж в двадцати руках, продал *на совесть* за пятнадцать рублей третьему, совершенно постороннему лицу, причем оказалось, что и сена-то всего в действительности на три целковых. Словом, такого вероломства, такой смеси смиренного нищенского попрошайничества и наглого обмана, какую олицетворяет солдат, решительно трудно себе представить, а вот таких-то «народов» в наших местах развелось не мало, и они-то первые, по словам Ивана Ермолаевича, заорут, когда он, например, распашет лядину, первые не дадут ему справиться.

Да что! Времена так изменились, люди так испортились, что не только Иван Ермолаевич, а *овчинник*, сам знаменитый, почтенный овчинник перестает верить здешнему *народу*. А человек, носящий наименование овчинника, человек очень редкостный и действительно замечательный. Замечателен он своей безграничной добротой и гуманностью; мало того, что он истинный крестьянин, он — и христианин и добрый человек, думающий о бедном брате. Ему уж под шестьдесят лет, и знаком он с теми местами, где живет Иван Ермолаевич, лет тридцать пять. И сам он был крепостной и здешний народ помнит крепостным. Каждую осень он приезжает сюда с места родины, из Калужской губернии, и поселяется на всю зиму дубить овчины. Таких овчин он выдубит штук тысячи три в зиму. Но идя на этот промысел, он на прошлогодний заработок с него покупал лошадей и пригонял их с собой в здешние места. Лошадей этих он раздавал кому угодно, на совесть, без всяких расписок и документов, с тем чтобы человек, получивший лошадь в долг, платил ему в течение зимы — по возможности: рубль, гривенник, десять рублей и т. д. Бывали случаи, что к весне, когда он уходил домой «хозяйствовать», иные не уплачивали ему ни копейки денег, и он не взыскивал, а ждал до следующего года. Он сам рассказывал, что даже рассчитывал на эти неотдачи, и хлопотал только о том, чтобы в общей сумме воротить свои деньги, больше ничего. «Чем в сундуке лежат, пущай людям от них добро, да и целей они — так-то!»

Убытка ему не могло быть, а иногда и барыш бывал. Присутствие внимания к ближнему в этой операции несомненное. Местные крестьяне, которые благодаря его

помощи могли стать на ноги, не называют его иначе, как «миляга!» «Какой миляга — на редкость! Душа-человек!» Но новые времена стали расшатывать уверенность старого миляги в том, чтобы в «нонешнее» время можно было так просто делать доброе дело, как прежде. Цивилизация продала у него лошадей двадцать, розданных в долг, за невзнос податей теми мужиками, которым они были розданы. Она же стала наталкивать на него таких людей, которым уж ничего не стоит *отпереться* от своего слова, таких, которые уже знают, что без расписки ничего не возьмешь, и т. д. А овчинник — человек старинного покроя: ему и не по душе, да и некогда возжаться по судам, описывать имущество, взыскивать, глядеть на разоренье человека, когда у него на душе совершенно другое, не похожее на желание разорить человека — желание помочь ему. В нынешнем году он также пригнал лошадей и также роздал их, но уже не кому угодно, а людям благонадежным, вроде Ивана Ермолаевича и других порядочных мужиков... И мы сами были свидетелями того удивления, с которым даже уж и к такому разборчивому благодетельствованию относились некоторые из крестьян, уже выросших в новых условиях жизни.

— Да как же это, братец ты мой, — говорили овчиннику, — веришь ты всякому?

— А ты неужто никому не веришь? — возражает овчинник.

— Ну, а пропадет, издохнет ежели лошадь, с кого взыскивать будешь?

— А совесть-то на что? Совесть и взыщет...

— Ну, брат, мудреный ты человек, одно слово, мудреный. Верить всякому без расписки!.. Оченно ты, ей-богу, человек-то добрый должно быть...

Слыхал я и такие вещи: прочитал я в газетах, что петербургская дума предполагает увеличить налог с извозчичьих лошадей до семи рублей в год. Прочитал и, сожалея здешних крестьян, занимающихся извозничеством, говорю одному из них:

— Вот какое дело: налог на лошадей увеличивают.

— Много ль надбавили-то? — спрашивал собеседник.

— До семи рублей платить придется, — отвечаю я, полагая, что это опечалит моего собеседника.

Но собеседник говорит на это следующее:

— Семь рублей! Мало! Маловато!

— Что это вы говорите?

— Вот как бы до десяти догнали, так нашему брату было бы приятно... Это бы хорошо нашему брату подошло.

— Что ж тут хорошего?

— А то, что извозчиков будет меньше, а это нашему брату доходней. Теперь за четыре-то рубля какая их прорва в Питере шляется? Хоть не езди... А как подняли бы цену, так не всякий бы сунулся в Питер-то. Ан зима-то, глядишь, и в помочь пришла... А то что?.. Ездишь, ездишь... только что сыт с лошадью.

Из этого беглого очерка уже можно видеть, что разъединение деревенского общества на разные лагери, и лагери не вполне дружелюбные, сулит в перспективе явления весьма неблагоприятные. Теперь уж надобно делать усилие, несправедливость для того, чтобы поровнять всех так, как все были уравнены крепостным правом. Преследуя те же идеалы, Иваны Ермолаичи должны уже бороться за них, враждовать с известною частью своих односельчан, когда-то им равных, и помышлять об отделении от них, о выходе из общества. С другой стороны, и противная партия, преследующая те же земледельческие идеалы, не может равнодушно сносить превосходства людей, когда-то равных с ними. Замечательно при этом следующее: хромоногий солдат или тот работник, на которого жаловалась баба, все они изнывают и нищают потому, что им и мысли не приходит о том, чтобы работать товариществом; напротив, живя старыми земледельческими идеалами, каждый полагает, что в возне на собственном дворе и должна быть сосредоточена вся жизнь и все интересы и все удовлетворения. Не раз разговаривал я по этому поводу с Иваном Ермолаичем.

— Скажите, пожалуйста, неужели нельзя исполнять сообща таких работ, которые не под силу в одиночку? Ведь вот солдат, ваш работник, который сплетничал, и другие — каждый из них мучается, выбивается из сил, врет и обманывает, и в конце концов нищенствуют все... Но соединив свои силы, своих лошадей, работников и т. д., они были бы сильней самой сильной семьи... Ведь тогда незачем отдавать малолетних детей в работу, — и т. д.

— То есть, это сообща работать?

— Да.

Иван Ермолаевич подумал и ответил:

— Нет! Этого не выйдет...

Еще подумал и опять сказал:

— Нет! Куды! Как можно... Тут десять человек не поднимут одного бревна, а один-то я его как перо снесу, ежели мне потребуется... Нет, как можно! Тут один скажет: «бросай, ребята, пойдем обедать!» А я хочу работать... Теперь как же будешь — он уйдет, а я за него работай! Да нет — невозможно этого! Как можно! У одного один характер, у другого — другой! .. Это все равно, вот ежели б одно письмо для всей деревни писать...

. .

Из всего сказанного можно видеть, что «народное дело» может и должно принять совершенно определенные реальные формы и что работников для него надо великое множество. До сего времени, впрочем, на *эту работу,* как кажется, не рассчитывали люди, именующиеся патриотами своего отечества. В «Московских ведомостях» 1879 года в одной из передовых статей, оправдывающих стеснения школьного дела, сказано: «Если бы *всем им* (50-ти тысячам учащихся) оканчивать курс и поступать в университеты, то число их (людей с высшим образованием) возросло бы до 25 тысяч. *Но зачем бы могло потребоваться такое страшное приращение?»*

Очевидно, незачем.



VII. ПАСТУХ

Стройность системы «земледельческих взглядов» Ивана Ермолаевича начала понемногу действовать и лично на меня, по мере того как я стал убеждаться в полнейшей неизбежности этих взглядов. Жить стало легче, то есть проще. Нервы сделались как бы покрепче, стали обнаруживать некоторую неподатливость в таких случаях, в каких прежде, то есть весьма недавно, они не могли не ныть, хотя, конечно, бесплодно.

Зашел ко мне проститься пастух; он был принанят деревней на полтора последних месяца по случаю того,

что старый пастух тяжко заболел. Это был лет под пятьдесят холостой человек, отставной солдат; в военной службе он прослужил двадцать пять лет и по выходе получил одиннадцать рублей каких-то артельных денег вместе с шинелью, от которой, однако, начальством были отрезаны пуговицы, как *«не отслужившие срока»*, и, облекшись в эту шинель без пуговиц, пришел домой. Здесь его приняли не совсем ласково; правда, сестра родная жалела его и много плакала с ним и о нем, но муж сестры косился на то, что Еремей (так звали пастуха) не может работать в хозяйстве. Беда Еремея в том именно и заключается, что он не может работать *трудной* работы, у него нету сил, необходимых для этой работы; он длинен ростом, и если ему нафабрить усы и растопырить бакенбарды, да нахлобучить каску, какую пострашней, так он может показаться человеком очень могучим, богатырем даже, но на деле он был хоть и длинен, но вял и робок. «Счастье еще, — говорил он мне, — что меня на службе не очень серьезно били, а то б я давно помереть должо̀н; фитьфебель у нас был добрый человек: бедных, у кого ничего нету — имущества, денег, почесть что не бил, а бил он богатых; как увидит, что у человека деньги, сейчас на ученье подлетит — рраз!.. Рубль ли, два ли ему и вылетает! Ну, а у меня ничего не было, и денег я в глаза не видал — стало быть, пользы ему меня бить не было. Что ж меня бить, коли у меня ничего нету? А то бы по моему здоровью мне давно надо помереть, ежели бы, то есть, бой мне был настоящий, как прочим, богатым людям, был бой!»

И точно: пахать, ходить по кочкам за сохой или плугом и напрягать свои силы до степени лошадиных — он не мог и наверное повалился бы на пятой борозде. Вот почему, возвратясь домой из военной службы, он стал встречать в семействе косые взгляды, и так как от этих взглядов кусок ему в горло не шел, то он и захотел выделиться. Выделили ему часть из отцовского имущества; часть эту он продал, и денег у него набралось рублей ста полтора. «Тут, — говорил мне пастух, — стало мне скучно, стал я вином баловаться; и так я его полюбил, словно медведь мед любит; пьянствовал я, пожалуй что, близко двух годов; потом, как оставшись я «безо всего» — пошел из своих мест прочь... Тут я поступил в монастырь...

В монастыре трапеза хорошая (пастух подробно рассказывал мне монастырское меню) — ну денег, то есть жалованья, не дают, а от богомольцев пользоваться не запрещают... Было нас там таких, как я, человек пять. Вот мы, бывало, и испросим у отца-игумена благословения, чтобы в храмовой праздник дозволил он нам хоть колокольней пользоваться... Например, который бывает богомолец охотник все осматривать, то лезет и на колокольню: пусти да пусти. Ну, даст он гривенник, копеек двадцать — что по возможности — мы и пустим и покажем все. В большие праздники рублей по шесть наберем артелью-то. Ну и насчет работы нельзя пожаловаться, работа монастырская не тяжела: принесу воды, отнесу письмо... или в огороде что-нибудь... Монах не станет над тобой стоять, над душой, например: «работай!» Ему надо в храме быть, то заутреня, то обедня, то вечерня, то всенощная, то молебен, то акафист — беспрестанно он отлучается... Ну и отдохнешь. К обедне вдарят, а ты сел или лег, или трубочку закурил, никто не препятствует...» Монастырская, не тяжелая работа была также по силам Еремею, но увы! наши монастыри, как известно постепенно превращающиеся в «крупные» земледельческие хозяйства, стали брезговать такими, как Еремей, работниками и начали принимать не из милосердия, а по найму, не из-за хлеба, а за определенную плату, настоящих работников, так как дело хозяйственное пошло не по-монастырскому, а по-настоящему, в сурьез, из-за самых определенных и ясных коммерческих расчетов. На счастье, Еремей чуть-чуть знал грамоте, едва-едва, с грехом пополам, мог прочитать по складам печатную страницу и написать с ужаснейшими искажениями слов крестьянское письмо. Цифры он знал очень мало; что такое миллион — не знал, не мог понять; даже цифры сто тысяч не мог себе ясно представить, не только что написать. Но все-таки и эти знания давали ему по временам кусок хлеба; он брался учить крестьянских ребят и брал цену небольшую — сорок копеек в месяц, и иногда брался «огулом» за два целковых, и притом обязывался к сроку, например, чтобы за зиму непременно обучить мальчишку; но в таких случаях, не доверяя его познаниям, с него требовали подписку. «Дай подписку!» — говорили ему, и Еремей не отпирался от подписки, давал

какую угодно, лишь бы зиму не умереть с голоду и не замерзнуть. Но и при подписке и без нее Еремей никого ничему не выучивал, кроме азбуки и двух-трех цифр; однако случаев, чтобы за это взыскивали с него, не бывало, ибо и родители, слушая, как Еремей бьется и потеет и как надседаются дети, понимали, что это дело нелегкое, что за него взяться заставляет человека только крайняя нужда. Из учителей нужда его погнала и в пастухи; дело это ему непривычное, не по характеру; он даже боится быть в лесу одним-один, да и скотины, бодастых коров и быков, побаивается; но нужда научит, по пословице, и кирпичи есть. И Еремей кое-как приладился. К скотине он подошел не как повелитель и начальник, а как самый вежливый и предусмотрительный человек; хлебом, корки которого он сберегал от обеда и подбирал где только возможно, он задобрил решительно всех животных, которых боялся. Но ведь такой образ действий со скотиной — вещь немыслимая. Ни сил, ни средств нехватит у целой деревни на такую деликатность, да Еремей и сам чувствовал, что он не годится для этого дела, так как заменить хлеб палкой, что следует сделать настоящему пастуху, он был неспособен. Он чувствовал, что пастухом он сделался случайно, да и все это чувствовали.

Пошел снег, скотину загнали в зимние помещения, и Еремею пришлось уходить. Куда? Он и сам не знал, куда именно ему надобно идти. А идти надо, больше ему нет дела; даром кормить не будет никто, и вот он в такую-то минуту зашел ко мне проститься. Он был в той самой шинели, от которой начальство отрезало пуговицы, в сапогах, разбитых до невозможности, а шапка, которую он держал в руках, была, как говорится, ни на что не похожа. Он пришел проститься, но видимо ждал какого-то счастливого случая, который бы дал ему возможность не идти, остаться зиму здесь. Он привык, познакомился с людьми — зачем бы их бросать? а главное, куда идти-то? Идти приходится неизвестно куда, когда на дворе зима, когда добрые люди забиваются в теплые избы, когда снежком занесены эти избы со всех сторон, густо обложит их толстой, пушистой, непроницаемой от холода стеной. А он вот куда-то иди! Но куда? Денег у него оказалось за расчетом семь рублей пятьдесят копеек, а их нехватит и на полсуток, потому что в таких

сапогах, какие надеты на Еремее, нельзя идти далеко, не пройдешь и трех верст, как ноги окоченеют. «Куда же ты теперь?» — спрашивал я Еремея. «Да, признаться, еще покуда не огляделся... Вот сапоги надо. Вот как разбились. не знаю, кабы рубля бы за два пришлось сапоги-то купить, оно бы ничего... Вот тоже одежи мало, совсем мало одежи!» Еремей трогает себя за борт шинели без пуговиц, вытягивает руки и оглядывает рваные рукава. «Мало, мало, совсем мало одежи; надо что-нибудь по зимнему времени. а денег-то вон семь рублей, да лавочнику, поди как подсчитает, пожалуй как бы за мелочь рубли два не пришлось отдать... Забирал табак, нитки, рубаху взял... Вот денег-то и нехватает. Кабы на машину хватило, пожалуй, в город бы уехал...»

Очевидно, что Еремей находился в глубокой нерешительности, не знал, что делать, куда идти, что покупать, что исправлять в одеже, сапоги ли, или шинель, или шапку Я предложил сму водки — он любил ее, — но в эту трогательную минуту он отказался. Он решительно сказал: «Боюсь я теперь пить!» И точно, настроение его было такое, что, зайдя в теплый кабак, он не вышел бы оттуда на мороз, не оставив в кабаке всех семи рублей пятидесяти копеек. Теперь в кабаках играют в карты, и ничего не было бы мудреного, если бы Еремею пришла мысль поиграть «на счастье»... И все-таки Еремей ушел, несмотря на страстное желание остаться, несмотря на то, что ему было ужасно боязно идти неведомо куда — в холод, в рваной одежде, без денег и без сил, которых не дала природа. Ушел, потому что даром кормить его никто не будет. Надел рваную шапку, взял палку, крякнул как-то в глубоком, чуть не до слез доходившем душевном расстройстве и пошел неведомо куда. Я стоял у окна и видел, как Еремей удалялся к лесу, ступая рваными сапогами по занесенной снегом дороге, шел, сгорбившись и вытянув вперед длинную, обмотанную тряпками шею...

— Такое уж ему, должно быть, счастье! — сказал Иван Ермолаевич о Еремее. — Кто же виноват-то, что он не работник. Ведь этого переменить нельзя... А задаром кормить никто не станет. Откуда я возьму — сами посудите? Кабы мастерство какое знал, ну, еще ему бы можно было как-нибудь справиться помаленьку. А то и мастерства за ним нет... В кузню? — Слаб... Вот и вы-

ходит, что ему надо кое-как жить, перебиваться... Случаем. А чтобы постоянного жительства — этого нет... не подойдет ему. Нешто работники такие бывают!

И точно, приняв во внимание «породу» Еремея, его физические ресурсы, видишь, что для него как бы естественно, *само собой* вытекает такой, а не иной образ жизни. Он *должен* так жить; никто не в силах переделать его жизнь, никто на это не имеет возможности. Его можно жалеть, но сам он волей-неволей должен пройти именно тот самый путь жизни, который ему предопределен и который объясняется условиями, находящимися в его натуре, породе. Он *должен* поэтому кое-как шататься по свету, работать случайную работу, кое-как кормиться в случайно попадающихся не слишком бойких для работы местах, а помереть ему придется так же, как вот недавно помер в деревне бобыль. Помер он потому, что физические средства существования были в нем истощены до последнего предела, и замечательно, что имущества после него осталось *как раз* столько, сколько необходимо надо на его погребение. За шапку дали восемнадцать копеек, за остатки полушубка рубль, деньгами осталось в тряпке сорок копеек и разной мелочи (лопата, горшок, один новый лапоть) продано на несколько копеек, всего набралось два рубля восемьдесят три копейки, которые «точка в точку» разошлись на погребение — за яму, попу, гроб и т. д., даже три копейки, которые оставались, казалось, лишними, и те пришлось отдать нищему, который сидел на паперти во время отпевания. Словом, «копейка в копейку» человек рассчитался с белым светом, возвратив ему все «до копеечки», что взял от него для жизненного своего пути. Всякое сожаление, скорбь и т. д. — все это будет несколько фальшиво при такой «неизбежности» форм и жизни и смерти. Таким образом, в ту минуту, когда бобыль был зарыт в могилу, от него *ничего не осталось,* ни даже воспоминания... На чужой голове «живет» его шапка, рваные овчины перекроены и «живут» в чужом полушубке, и все это живое в иных формах уничтожает даже возможность воспоминания об умершем. Жизнь и смерть для человека, имеющего дело непосредственно с природой, слиты почти воедино. Вот умерло срубленное дерево, оно вянет, гниет, но в то же самое мгновение пополняется новой жизнью. Под гниющей

корой неведомо откуда явились и копошатся тысячи червей, муравьев; все это суетится, лазает, точит, ест мертвеца, тащит в свой дом, строится, устраивает муравьиные кучи, растаскивает его по мельчайшим частям, как у бобыля шапку, полушубок, и, глядишь, нет дерева, а есть что-то другое, и не мертвое, а живое; дерево рассыпалось, и на том месте, где оно лежало, по всей его длине, вырос крепкий мох, разнообразный, красивый, и в нем после хорошего «грибного дождя» (для грибов бывает особенный грибной дождь) — масса грибов, которые через день по появлении жарятся на сковороде в сметане... Издохла лошадь, и немедленно, не давая вам поскорбеть о погибшем работнике, она, эта самая мертвая лошадь, начинает жить новою жизнью. Сколько живых существ мгновенно воспроизводит она в один день! Какая гибель червей, устраивающих свое собственное благосостояние! В каком великолепном расположении духа стаи птиц, ворон, галок и всяких прелестных лесных пташек! Как выделывают они эти кости, доводя их, при помощи своих острых носов и содействии дождей и ветров, до степени великолепнейшей белизны. На весну — нет лошади, нет об ней капли воспоминания, потому что она вся разбежалась, расползлась и разлетелась тысячами живых существ. Недавно под полом того деревенского дома, в котором я живу, собака вывела щенят. Она прорыла под некрепким фундаментом лаз и забралась в самый дальний угол противоположной лазу части дома. Она сделала это для того, чтоб щенятам было теплей, чтоб ветер, который будет проникать под пол, чрез лаз, не доходил до них. По ночам во время снежных вьюг они сильно вопияли под полом; пробовали достать их и перенести в тепло, но это было невозможно сделать, нельзя было пролезть под пол. Но вот две ночи кряду не слыхать их писка; щенята замерзли. Несчастные существа! Они не выдержали сильных морозов и всей кучей, такие хорошенькие, маленькие — замерзли! Но не успели вы посантиментальничать и пяти секунд, как немедленно же, неведомо откуда, явилось множество сорок... Они делают под полом свое дело и веселые вылетают оттуда. Сколько между ними, по всей вероятности, разговоров, и разговоров интересных, оживленных, ежели судить по стрекотанью красивеньких птиц, стрекотанью, которому они с азартом предаются

на крыше дома, вокруг загороди, на соседних голых деревьях... Не беспокойтесь! они также делают свое дело и своим желанием и правом жить уничтожают вашу бесплодную сантиментальность.

Отрывайте от семьи людей солдатчиной, дифтеритом... поболит раненое место и заживет. Жалко бывает смотреть иной раз на деревенскую старуху, которая одна доживает век среди подрастающих внучат и правнучат. У нее нету мужа, нету двух сыновей — для нее все кончилось, как для дерева, которое срублено. Но корень у них у обоих жив, и, зная свою смерть, они должны покорно созерцать процесс собственного конечного истощения, в обилии и в безжалостности возникающей вокруг них и их последними соками питающейся жизни. Из-под умирающего пня так и прыснули молодые побеги и, зеленея своими молоденькими листьями, так и рвут из него остатки сил. Та же участь и старухи: с какой безжалостностью эксплуатирует ее привычку заботиться и любить — это новое, молодое, ребячье поколение... Не уйти ей от этой жадной до внимания белоголовой толпы, и она растет, сокрушая и разрушая старуху, и чем гуще и веселее этот человечий «прутняк», тем меньше у старухи сил, тем ближе и смерть.. Пришел сын из полка — но уж ему нет места... Матушки уж нет, она вся истратилась в молодом поколении, а он, как отрубленный сук, — не прирастет к старому месту... А мы с Иваном Ермолаевичем, подумавши и обсудив участь этого сука, скажем:

— Такая уж ему, стало быть, участь... Ведь не прирастет — стало быть, волей-неволей, а валяйся при дороге, сгнивай понемногу... Такой предел.



VIII. МИШКА

Расскажу еще один небольшой эпизод из жизни Ивана Ермолаевича, который под влиянием «новых» для меня взглядов показался мне весьма привлекательным. Иван Ермолаевич задумал учить своего сына, одиннадцатилетнего мальчика. Необходимо сказать, что потребность

учить и учиться была сознаваема Иваном Ермолаевичем в смутной степени. Обыкновенно он решительно не нуждался ни в каких знаниях, ни в каком учении. Жизнь его и его семьи, не исключая и одиннадцатилетнего сына, была так наполнена и так хорошо снабжалась знаниями, которые сама же и давала, что нуждаться в каком-нибудь постороннем указании, совете — словом, в чем-либо непочерпаемом тут же, на месте и на своем деле — даже не было и тени надобности. Но иногда, минутами, что-то неведомое, непонятное, что-то доносящееся из самого далекого далека пугало Ивана Ермолаевича. Ему начинало казаться, что где-то в отдалении что-то зарождается недоброе, трудное, с чем надо справляться умеючи. Он чувствовал собственную опасность так же, как по отдаленному звуку колокола догадывался, что где-то пожар и кто-то горит; и тут он догадывался, что есть какая-то беда, хоть и не знал доподлинно, кто горит и где и в чем беда. И в такие-то минуты он говорил: «Нет, надо Мишутку обучить грамоте. Надо!» Удивительно странные обстоятельства приводили его к этой мысли. Однажды во время косьбы зашли мы с ним в луга, арендуемые немцами курляндцами. Попался нам курляндец, сидит он на копне сена и что-то ест. Поглядели, ест рыбу. «Какая это рыба?» — спрашивает Иван Ермолаевич. «Салака!» — «Дай-ко отведать». Немец дал, Иван Ермолаевич поглядел на рыбу, повертел ее в руках, померил, откусил, пожевал и спросил: «Почем?» Немец сказал цену. Иван Ермолаевич доел рыбу, поблагодарил, и мы пошли дальше, и тут-то, ни с того ни с сего, Иван Ермолаевич вдруг вздохнул глубоко-глубоко и сказал: «Нет, надо Мишутку учить! пропадешь, верное слово, пропадешь! Ишь вон какую рыбу-то ест!» Или тоже поедет он куда-нибудь из дому, на мельницу, на станцию, наглядится там разных людей, наслушается в трактире за чаем разговоров разных и, подавленный всею массою их новизны, сделается как-то суше, жестче в обращении и твердит: «Надо! вот уберемся, отдам учителю».

Но как только Иван Ермолаевич оставался дома, делал свои домашние дела, так все это в нем исчезало; он забывал, почему вдруг ему вздумалось чему-то учить Мишутку. Словом, только какой-то неприятный гнет, кото-

рый он ощущал вне дома, какие-то неприятные, недобрые веяния времени, которых он никогда не мог бы высказать мало-мальски в определенной форме, только это и приводило его к мысли о необходимости учить сына. Иногда он заходил посоветоваться на этот счет и со мной. Но я уж до такой степени проникся взглядами Ивана Ермолаевича, что и сам не мог хорошенько определить, зачем собственно необходимо учить Мишутку? и главное, решительно не мог представить себе того, чему бы именно нужно было его учить. Поэтому в разговорах об учении мы с Иваном Ермолаевичем только твердили одно: «надо!» Он, чем-то угнетаемый, сидит, мрачно задумавшись, и твердит: «Нет, надо, надо!» И я ему отвечаю тем же: «Да, надо, Иван Ермолаевич!» — «Как же?» — говорит он, очевидно пытаясь подкрепить свои слова какими-нибудь основательными доводами, но обыкновенно ничем не подкрепляет, а так на слове и останавливался. Затем, помолчав довольно долго, вновь восклицал: «О-х, надо, надо. Нельзя без этого!» И я отвечал ему: «Да уж без этого... как же? Разумеется, надо!» — «А я-то про что ж? Я про то и говорю, что — надо! Больше ничего!» — «Конечно, нужно! Чего же тут?»

Таким образом мы разговаривали с Иваном Ермолаевичем иногда очень долго и расходились, чувствуя ужаснейшую тяжесть на душе. «Надо, надо!», а сущность и цель Ивану Ермолаевичу неизвестны, непонятны, а я уж ленюсь разъяснять их, да и призабыл, чем именно это *надо* следует оправдать.

С величайшею неохотою и как бы тяжестью на душе Иван Ермолаевич приводит намерение свое в исполнение. Уж давно убрались с хлебом, уж давно прошла осень, и начал устанавливаться зимний путь, а он все не везет Мишку к учителю, раздумывает, к кому отдать. Сначала думал было отдать учительнице, но на станции ему разъяснили, что учительница ничего не стоит.

— Ты сам посуди, — говорили ему, — ну что она, баба, может? Ведь учение дело серьезное, ведь, братец ты мой, возьмем хоть твоего Мишку, ведь его обломать — ведь тут надобен какой учитель-то? Поди-ко, сшиби с него дурь-то! Ты думаешь, это легко? Нет, брат, запотеешь! Тут надо вот как: чтобы ни-ни, ни боже мой!.. Ну, где же тут бабе? Нет! Советую тебе учителя разыскать, которого

посурьезнее — вот это так! Да чтоб он твоего Михайлу с первого слова осадил, чтобы без послабления, чтобы вогнал его в правило, установил в точке, остолбил его с бацу — вот из него дух-то этот, храп-то мужичий и выйдет вон! вот (показывает кулак), чтобы — аминь! ну тогда он очувствуется! А так-то из него в два года мужицкого духу не выбьешь... сделай милость! Я по себе знаю! Бывало, отец меня с глаз не спускал, как я стал учиться: так и стоит с палкой! как чуть отвернулся — я марш через забор... И что ж? Драл! да зато я теперича его поминаю добром, да! А кажется, как драл-то! До самого училища от дому неотступно, бывало, с хворостиной провожает. Чуть оглянусь — раз! .. Чуть в сторону — два! Бывало, боем, чисто одним боем, в школу-то вбивал! А то — бабе! Захотел ты от бабы порядку!

Таким образом, решено было отдать Мишку учителю. Иван Ермолаевич нарочно съездил в одну из ближних деревень, где была земская школа, уговорился с учителем, и, наконец, настал день, когда надо было везти Михайлу в школу. До этой минуты на все разговоры об учении Михайло обыкновенно не отвечал ни одного слова. «Вот, — скажет Иван Ермолаевич, — скоро в школу повезу, смотри, учись!» Михайло молчит, не отвечает ни слова. Мальчик он был бойкий, веселый, разговорчивый, но как только дело или разговор касался школы, Михайло делался как каменный: не огорчается, не радуется, а смотрит как-то осторожно... В день отъезда Иван Ермолаевич сказал, наконец, с тяжелым вздохом:

— Ну, Михайло, сейчас поедем. Мать, одень Мишку-то!

Мать одевала его и плакала. Иван Ермолаевич также чуть не рыдал, не понимая, из-за чего должно происходить все это мучение. Но Михайло хоть бы словечко.

Спросят его: «Рад ты, что в школе будешь учиться?» — Молчит.

Спросят: «Чай, не любо в школу-то идти?» — Опять нет ответа.

Но в самый день отъезда Мишка дал-таки свой ответ. Он скрылся в ту самую минуту, когда все было готово, когда уж работник подвел запряженную лошадь, когда и Иван Ермолаевич оделся и Мишку одели. Все время Мишка был тверд и молчалив, как железный, сам Иван Ермолаевич тяготился этим отъездом в школу гораздо

больше, чем Михайло. Иван Ермолаевич мучился этим отъездом, Мишка же только молчал. И вот в то время, когда Иван Ермолаевич нехотя и с глубоким сокрушением стал влезать в сани и со вздохом произнес: «Ну, Михайло, полезай, брат», — оказалось, что Михайлы нет. Покликали, покричали — нет ответа. Принялись искать — опять нигде нет; оглядели все чердаки, все углы в доме и на дворе — нет Михайлы! Иван Ермолаевич сильно затревожился. «Ведь спрашивал дьявола, — сердился он, — хочешь в ученье или нет? ведь молчит, как камень, дубина экая, а вот убег! Уж попадись ты мне, я из тебя выбью ответ!» Но этот гнев немедленно же сменялся в родительском сердце состраданием, и Иван Ермолаевич, видимо, глубоко сожалел, что затеял всю эту «музыку». «Жил бы, мол, так, вокруг дому, к работе привыкал, а то вот. . .» К вечеру мысли Ивана Ермолаевича окончательно склонились в пользу того, что всей этой музыки затевать было незачем. Надвигались сумерки, а Мишки не было. Всеми, не исключая работников, овладело глубокое уныние, которое сменилось искреннейшею радостью, когда один общий знакомый мужик из соседней деревни уж темным вечером привез Мишку домой. Все обрадовались, забыли всякие разговоры об ученье, всякие намерения «пробрать» и т. д. Спрашивали только, «не замерз ли», «чай, голоден», а работники, так те откровенно высказывали свое одобрение: «Ловко ты, Мишанька. . . Право, ловко! . .»

Мишка чувствовал себя победителем и как бы вырос и окреп за эти несколько часов бегства. Тотчас, как только его привезли, он переоделся, переобулся и в несколько минут обегал весь двор, заглянул в хлева, сараи и т. д., точно желал удостовериться, все ли на своих местах, все ли по-старому, все ли благополучно. Мишку уж и не спрашивали, хочет он учиться или нет.

С неделю Иван Ермолаевич и не заикался о школе и ученье, он приходил в себя, у него были хлопоты с сеном, ему было не до того. Но опять пришлось ему побывать в людях, на станции, в городе — и опять он воротился с тревожными мыслями. «Нет, беспременно надобно учить. Ничего не поделаешь, не такое время». . . И опять стал ожесточаться на Мишку. «Ну уж теперь я тебя туда завезу,— говорил он о Мишке,— ты у меня не убежишь. . . Я уж теперь знаю. Разговаривать не стану».

И точно, Иван Ермолаевич перестал говорить с Михайлом о своем намерении, но вместе со мной заключил заговор. Не говоря никому ни слова, мы выберем любой день, посадим Мишку в сани и поедем в другую деревню за двенадцать верст, близ станции железной дороги. Там мы его сразу и заточим в школу и водворим в квартире. Там есть у Ивана Ермолаевича знакомые, которые будут присматривать, приглядывать, а в случае чего и по затылку дадут — ничего, выдержит! скотина добрая...

Мишка ничего не подозревал, когда Иван Ермолаевич приказал заложить лошадь, объявив, что едет на мельницу. Он, как и всегда, помогал запрягать, причем любил дернуть лошади морду и вбок и кверху, и точно большой мужик загоготать на нее, и т. д. Когда лошадь была подана, Иван Ермолаевич внезапно объявил Михайле, находившемуся в избе: «Одевайся, со мной поедешь». Михайло побелел как полотно, почувствовал, что схвачен врасплох, но ни слова не сказал, оделся; тут подоспел и я; посадив Михайлу в средину между нами, мы тронулись в путь. Михайло молчал как каменный, но однажды взглянул на меня, и в этом взгляде я заметил ужасное негодование. Он не знал, куда едем, но подозревал. По хорошей зимней дороге мы «духом» долетели до деревни, где была школа, и обделали все дело не больше, как в один час. Как раз против школы нашли квартиру у вдовы-старушки, внучки которой также учились в школе, дали задаток, повели Мишку к учителю, переговорили с ним, также дали задаток, после чего учитель сию же минуту взял Мишку и увел в школу, где уж сидело и жужжало человек сорок малых ребят. Переход от деревенской, интересной, понятной жизни к непонятной и скучной школе, от знакомых людей, где Мишка начинал уж считать себя «большим», «парнем», в среду незнакомых, чужих ребят был необыкновенно быстр и резок. Мишка хотя и был крепковат на нервы, а когда учитель усадил его в самую середину школьной толпы, малый «загорелся», вспыхнул, смутился и оторопел...

— Это самое и надо! — сказал Иван Ермолаевич, когда мы выбрались из школы. Он и сам был испуган школой не меньше Мишки. — Так и нужно прпрямо под обух! Скорей оботрется. . Оглушить его этак-то — он и пообмякнет... Это слава богу, что так — прпрямо об земь!

Ничего, пущай! — закончил Иван Ермолаевич, и мы поехали прочь от школы.

По дороге заехали мы к кузнецу, которого звали Лепило и который вместе с тем был и коновал. У него находилась на излечении лошадь Ивана Ермолаевича. Лепило сделался коновалом как-то совершенно нечаянно, потому что ему это занятие «подошло». Он был кузнец, ковал лошадей, и всякий раз мужики спрашивали у него советов, не знает ли, отчего лошадь хромает, что такое вот тут, на ноге, у ней пухнет и т. д. Лет пять Лепило отвечал на эти вопросы: «Не знаю!», «Почем я знаю?» и т. д. Но потом помаленьку да полегоньку стал он давать и ответы: «Пухнет? Это пухнет.. опух такой бывает. от этого». Или: «Хромает? Это она хромает от болезни, болезнь такая есть». А потом стал и лечить. Помогла и надоумила его в этом деле жена. «Чего ты? — сказала она. — Кому ж лечить-то, коль не тебе? Бесперечь ты при лошадях, да тебе не лечить? Кабы коновалы были — ну, так. А то только пользу свою опускаешь!» — «А и в самом деле!» — подумал Лепило и стал помаленьку приучаться к делу; как известно, тряпка, самая обыкновенная, коль скоро ею завяжут рану или вообще больное место, уж сама по себе представляет как бы лекарство или медикамент — и вот Лепило стал лечить при помощи тряпки и всякой дряни, какая только попадалась «округ дому». Не ходить же ему за десять верст в аптеку, да и что бы он мог там купить? Поэтому всякую нечисть двора, все он мазал на тряпку, иногда перемешивал одну нечисть с другой и опять же мазал на тряпку. Иной раз жена вытащит на вьюшке сажи, или золы, или вообще какой-нибудь совершенно никому ненужной дряни и скажет ему: «На!..» Лепило знает, что означает это краткое изречение, и валит сажу или золу в приготовленную дрянь. Единственные средства, употреблявшиеся им и действительно могущие назваться средствами, были крепкая водка, купорос, скипидар, а в последнее время керосин. Каленое железо «само собой» уж должно было считаться в числе средств Лепилы как кузнеца: ничего нет легче раскалить железную полосу и ткнуть в больное место. А между тем это — тоже лекарство, и никогда не даровое.

Заехали мы к Лепиле, поглядели больную лошадь, к ноге которой была привязана тряпка с лекарством выше-

описанного приготовления, зашли, кроме того, в лавки кое-что купить, часа два пили в трактире чай, грелись, разговаривали и воротились домой шажком уж часу в первом ночи.

— Мишка прибежал! — было первое слово, сказанное женой Ивана Ермолаевича, когда мы подъехали к крыльцу его избы.

И я и Иван Ермолаевич были несказанно изумлены. Иван Ермолаевич вылез из саней и молча пошел в избу; я также молча пошел домой; было уже поздно, и поэтому с Иваном Ермолаевичем я увиделся только утром.

— Это его учитель прислал... Грифель вишь... книгу какую-то надо... бумагу.

Потолковали мы насчет расходов и порешили отвезти Мишку и послать учителю деньги, чтобы купил грифель и все, что нужно. Отправили Мишку на следующий же день с работником. Но утром через день Мишка опять явился.

— Ты зачем?

— Хозяйка прогнала. Напилась пьяна, стала драться, погнала вон... Не пимши, не емши...

Михайло рассказал возмутительную историю о поступках хозяйки.

Все жалели его, особенно же жалели, что он и сапоги и ноги истрепал. Но Мишутка в моменты своих кратковременных возвращений не обращал, повидимому, никакого внимания ни на сожаления о его ногах, ни на самые ноги. Едва прибежав из дальнего путешествия по снегу, он немедленно же пускался осматривать, все ли цело, все ли так, как было при нем в родном его месте. Бегал в коровник, в свиной хлев, к овцам, к лошадям, в сарай, в баню к уткам; все это он делал лихорадочно, поспешно — прибежит, откроет дверь в хлев, в коровник, оглядит, пересчитает, захлопнет дверь — летит в сарай и там все пересмотрит, перепробует, рукой пощупает; словом, не нарадуется на свои родные места, в которых ему, очевидно, дорога каждая порошинка.

На следующее утро поехал с Мишкой сам Иван Ермолаевич, так как надо было разобрать дело. По его отъезде пришел работник и сказал мне:

— А не будет Михайло учиться, нет, не будет!

— Почему же?

— Не к тому привержен. У него есть приверженность

к хозяйству, лошадей любит, скотину; а это ученье не по нем — не будет! Я уж знаю его характер. Таперича, ежели ему лошадью править, снопы возить, так он трясется от радости. А это ученье — нет. Ведь он мне сам сказывал, что на хозяйку-то наплел, насказал облыжных слов. А все из-за того, чтобы отец его отдал к Лепиле на квартиру, потому что там наша кобыла. Он сам сказывал: «Как, говорит, я увидел нашу рыжую, как она стоит с больной ногой, вспомнил дом, так и упер из училища». Нет, не будет, не такой парень.

Иван Ермолаевич воротился в глубоком унынии. Мишка все наврал — и на хозяйку и на учителя. Учитель и не думал его посылать, а хозяйка, ввиду такой бессовестности, отдала Ивану Ермолаевичу назад деньги и отказалась держать Мишутку. Волей-неволей пришлось поместить Мишутку к Лепиле, но при этом Иван Ермолаевич «оттрепал» его за волосы.

Но этим мучения не окончились; дня через два мужики, воротясь со станции, объявили, что Мишка там трется вокруг вагонов, помогает подводить лошадей и заслуживает тем всеобщие похвалы. Но что ужасно — жалуется мужикам на жестокое обращение отца: бьет, выгнал из дому; просит приютить и жалуется самым лютым врагам Ивана Ермолаевича, срамит его не на живот, а на смерть перед людьми, ничего не стоящими. Иван Ермолаевич вышел из себя и немедленно же пустился ловить Мишутку, и тут началась борьба. Только что Иван Ермолаевич настигнет его, положим, у вагонов, Мишка — под вагон, а Иван Ермолаевич, в ужасе, что его раздавит, не знает, что делать. Из-под вагона Мишка пускается в бега. Иван Ермолаевич узнает это от какого-нибудь встречного мужика и едет разыскивать, но и разыскать не было возможности, потому что Мишка так умел насказать про отца, что его прятали, скрывали — «нету у нас!» Дня три подряд Иван Ермолаевич возвращался домой без всякого успеха, но с увеличившимся ожесточением. «Погоди, мошенник, я тебя тоже поймаю! Придешь, при-и-дешь, мошенник, уж я тебя тогда употчую». Мишка, должно быть, и сам чуял беду, но не сдавался, а только еще неутомимее выказывал свое сопротивление. Откуда у него брались силы, чтоб без устали целые дни давать концы по десяти-двенадцати верст —

уму было непостижимо. Наконец-таки словили и привезли... К этому времени на Мишку все были до того ожесточены, он так много насрамил, налгал на отца и мать, такую пустил про них худую славу, что появление Мишки вызвало уж не радость, а единодушное восклицание отца и матери: «Драть!» Розги были припасены, и едва Мишка появился в избе, как Иван Ермолаевич крикнул работнику: «Держи-кось его, Федор!» Но Федор наотрез отказался и ушел вон; не драть, а хвалить мальчишку надо бы было, по его мнению, за такие молодецкие подвиги и за такое образцовое сопротивление какому-то учителю. Работница тоже отказалась и убежала, и по тем же причинам. Тогда взялась держать мать. Мишка ужасно орал, молил и вопиял, но дранье было беспощадное.

Это-то дранье и было его окончательной победой; сорвав зло, Иван Ермолаевич немедленно утих и крайне удивился, что все это мучение произошло из-за какого-то ученья. Он решительно уж не мог понять, зачем оно нужно Мишке, несомненные достоинства которого, выказанные во время всей этой истории, выступили теперь со всей яркостью; нежелание учиться исчезало совершенно перед этим упорным желанием жить в крестьянских условиях, перед этой любовью к «крестьянству», выражавшейся в любви к скотине, к нашей рыжей кобыле, в этом неудержимом стремлении «домой», где дорога каждая курица, утка. С каждой минутой Иван Ермолаевич убеждался, что в Мишке растет надежный представитель его семьи, работник, привязанный к «крестьянству» неразрывными узами, и недавнее негодование заменилось весьма скоро восхищением.

На другой день Иван Ермолаевич, придя поговорить со мною и рассказав о Мишке, о том, как ему досталось за все, постепенно перешел к похвалам его упорству, крепости, неподатливости, силе физической, удивительной в эти годы. Иван Ермолаевич с восхищением говорил: «Ведь почесть что полтораста верст отмахал взад и вперед в эти дни-то...» Словом, с хозяйственной, земледельческой, крестьянской точки зрения Ивана Ермолаевича, Мишка выходил отличнейшим парнишкой, из которого выйдет отличнейший мужик... Мишку хвалили и одобряли все, работники в особенности, и главным образом за то, что, кроме всех вышеизложенных крестьян-

ских достоинств, Мишка умел «насолить». Таким образом, в этом множестве похвал, расточаемых всем понятным качествам крестьянина-работника, обнаруженным Мишкой, без следа исчезало и его уменье лгать, лишь бы добиться своего, и его беззастенчивость срамить незнакомых людей, даже отца родного, для того же опять, чтоб добиться своего. За это Мишка был выдран — и все это позабыто. С этих пор и до настоящего времени Иван Ермолаевич не упоминает об учении, а Мишка опять тот же, как был; все у него зажило, и, как ни в чем не бывало, он попрежнему целые дни толчется около коров, овец, косьбы сена, жнива...

IX. УЗЫ НЕПРАВДЫ

Таким образом, благодаря Ивану Ермолаевичу, влиянию его взглядов и всей его жизненной обстановки, я незаметно перенес мои интересы из удушливой области интересов русского образованного, не мужицкого человечества — из области, где размышления и беспокойства человека не сопровождаются соответственными поступками или где поступки не сопровождаются соответствующими им размышлениями; где, наконец, зачастую приходится поступать вопреки «соответствующим» размышлениям, я, проникнутый до некоторой только степени земледельческими идеалами Ивана Ермолаевича, вступил в благословенную сень, где, напротив, все взаимные отношения, весь обиход жизни держатся исключительно на поступках, непременно сопровождающихся только теми размышлениями, которые поступкам соответствуют вполне, где даже и признака нет такого рода размышлений или беспокойств, которые бы не имели в результате поступка или которые бы исходною точкою не имели какого-либо совершенно ясно видимого, ощущаемого поступка... Не знаю, в гору или под гору шел я, переходя из одной области в другую, но знаю положительно, что переход был благодетелен; огромная область тлетворных беспокойств заменилась малым районом вполне определимых и удо-

влетворимых нужд, и все во мне и вокруг меня стало яснее, чище, здоровей, покойней.

Но все это благополучие (а это состояние было воистину наиблагополучнейшим состоянием) было, увы! мгновенно разрушено, разрушено в один краткий миг.

В одну из тех приятнейших минут, когда я, удивляясь своему «оздоровлению», недоумевал, как это можно существовать, думать, тревожиться, словом — жить не поступая, или поступать не думая, или поступать «вопреки», — Иван Ермолаевич привез со станции целый ворох газет. Я положительно стал уже отвыкать от интереса к этим большим листам бумаги, начиная уже совершенно соглашаться с тем директором одного банка, который не принимал в обеспечение ссуд никаких, даже самых капитальных изданий, говоря: «Если бы вы представили просто бумагу — мы бы приняли, бумага — товар. Но книга... газета... это уже *испорченная бумага...*» Благодаря Ивану Ермолаевичу я был уже так далек от всего, что в этих бумагах пишется, как бы находился за тридевять земель в тридесятом царстве... Все это где-то там, далеко... далеко... и главное, совсем-таки не касается нас с Иваном Ермолаевичем. Но старая привычка к большой бумаге заставила меня пошуметь этими огромными листами, пошуметь так, от нечего делать. И вот тут-то на мое глубокое несчастие два-три факта из текущей действительности почти мгновенно унесли меня от этой деревни, от этих хлевов, посевов, жнитва, косьбы, полушубков, сох, борон, армяков и т. д. и т. д. в мир фраков и сюртуков, в мир жгутов вместо эполет и эполет с жгутами, в мир красных и иных околышей, облегающих головы всевозможных партий, направлений, мнений, поступков, не сопровождающихся соответственными мнениями, и мнений, не сопровождающихся поступками. Словом, я очутился в образованном обществе.

Тщетно старался я возвратить утраченное спокойствие — убийственные газетные листки разверзли уже начавшую было заживать душевную язву, и я уже не мог оторвать своей мысли от картины, представлявшей «положение» так называемого образованного человека и общества, в котором он вращается, общества, в котором, говоря словами апостола Павла, «сердца исполнены горькой желчи и в узах неправды».

Удивительнее всего то, что об этом пребывающем в узах неправды не мужицком обществе заставил думать меня исключительно мужицкий процесс, напечатанный в судебной хронике одной из газет, привезенных Иваном Ермолаевичем. Процесс этот всем известен, и пересказывать я его во всей подробности не буду. Характернейший признак процесса — сопротивление крестьян властям: приехал судебный пристав описывать имущество крестьян за неплатеж долгов помещику, и крестьяне оказали ему сопротивление. Пристав начал палить из пистолета, одного убил, троих ранил и убежал. Крестьян судили, обвинили, наказали и все по порядку. Но роли мужиков и не мужиков во всей этой истории в высшей степени оригинальны, по крайней своей противоположности. В течение *двадцати* лет мужики преследуют одну совершенно реальную, определенную цель, выражая ее в требовании увеличения земельного надела. Двадцать лет *без передыху* они твердят одно: *«земли мало!»* В течение шестнадцати лет из двадцати они ходят с этими простыми словами по всем инстанциям, заполненным немужицким народонаселением; ходят в управу по крестьянским делам и в управу земскую, ходят к предводителю, к председателю, к исправнику; ходят в присутствие, в канцелярию, в комиссию; через шестнадцать лет, наконец, им привозят план на «всю землю», которая, по их мнению, им нужна и которою они всегда пользовались. На плане действительно изображена та самая земля, какая им нужна. За план этот они платят деньги, и не кому-нибудь, а самому становому приставу, который вручил план именно *им,* а не помещику, по мнению крестьян с 1861 года оттягавшему часть принадлежащей им земли. Получив план, крестьяне входят во владение, как видно, в полном сознании права и в полной уверенности в этом праве: у них «плант», за который отданы деньги, и они желают пользоваться только той землей, которая *«на плану»,* — чужого им не надо. Но тут-то, когда, повидимому, кончились все мучения, все хождения и траты на просьбы и канцелярии, крестьян начинают убеждать, даже «внушать», что план этот *ничего не значит,* что план этот должен бы быть вручен им в 1847 году, тридцать пять лет тому назад, хотя того плана, настоящего плана, который следовало им иметь после 1861 года,

им не дали: даже уставной грамоты не выдали. Имея все основания не верить этим «увещаниям» и внушениям, ибо опять-таки у них в руках план, за который заплачено и который вручен становым, крестьяне не могут понимать ни исков к ним помещика, не могут думать даже, что они должны; решительно не понимают оснований, по которым является пристав в сопровождении почти шестидесяти человек вооруженного народа и начинает хватать поросят, а потом палит из пистолета. Даже находясь на скамье подсудимых, они продолжают твердить: «мало земли», и продолжают не понимать всей этой путаницы. Не поймут они ее и в арестантских ротах и даже на каторге в Сибири. Несомненно, что они люди темные, что они не могут разобрать, какой привезли им «плант», что значит вот эта линия, оттененная синей краской, что значат эти А, В, С и т. д. Но цель их ясна — «земли мало!» С этой мыслью они шлялись по судам, с этой мыслью были на скамье подсудимых, с этой мыслью будут сидеть в арестантских ротах. Так же ли просто и ясно выражали свои требования или давали ответ на такое простое, ясное заявление, как: «мало земли», и те многочисленнейшие учреждения, наполненные не мужиками, к которым крестьяне обращались? Сказали ли они просто и решительно: «Нет тебе земли! Не будет!..» И вообще преследовали ли они какую-нибудь определенно поставленную, по отношению к крестьянам, свою, не крестьянскую цель? Но вот именно этой-то ясности, простоты и твердости в поступках немужицкого общества и нет в отношениях к обществу мужицкому. Сию минуту, сидя в арестантских ротах, мужики знают, что «земли, *стало быть,* не дадут!» Но ведь *не дать* ее господа образованные люди могли еще в 1861 году, то есть двадцать лет тому назад, и это принесло бы, как увидим ниже, несомненную пользу как мужикам, так и помещику. Но вот на эту-то решительность, определенность в поступках образованная половина процесса и оказалась неспособною. В подлинном процессе сказано, что с 1861 года по 1877 год, то есть в течение шестнадцати лет, крестьяне на свои просьбы не получили никакого ответа, не получили даже плана и уставной грамоты. Но на деле они непременно получали ответы, и притом, наверно, всякий раз при посеще-

нии инстанций, наполненных образованными людьми. Им отвечали примерно так: «Еще не рассмотрена просьба... приходите через два месяца...», или: «Председатель не приезжал... уехал в Петербург...», или: «Рассматривается... вчерашний день доложено. .» Так говорили мелкие сорта образованных людей. Но несомненно, что и крупные сорта также удостоивали их разговором... Не раз «застигали» они председателя врасплох, где-нибудь на подъезде, даже на улице; не раз застигали они и предводителя где-нибудь в швейцарской, или в магазине, или на подъезде церкви, и всегда эти господа удостоивали их ответом: «Знаю. Знаю. Вам сказано, что пришлется бумага. Все будет в свое время... Еще не рассмотрено — кажется, говорят вам русским языком!» Или: «Будет, будет рассмотрено... Не вы одни... И кроме вас целые сотни таких же дел. Нельзя вдруг. Вас уведомят» и т. д... Иногда, так лет через пяток, их ошарашивали вопросом: «А почему не представлена уставная грамота?» — «Да мы не получали, батюшка!» — «Как же так не получали? Не может быть! — Иван Иванович! Вот не получали уставной грамоты. .» — «Успеть нельзя-с! ..» — «Ну, а без уставной грамоты ничего нельзя. Что ж я буду делать, не зная, в чем дело? Ты вот старый человек, ходок, ну рассуди ты сам, ну что возможно сделать без уставной грамоты? Погодите! Получите грамоту, тогда и можно входить с прошением, ходатайствовать. Что же я могу сделать теперь? Который раз вы совершенно понапрасну являетесь, отрываете меня от дела...» — «То-то бы грамоту-то надобно!» — «И надо погодить! Нельзя всем вдруг, вы не одни в уезде. Ведь тут не тысячи человек работают. всем вдруг угодить нельзя. Надо ждать.. А тогда и приходить!» Таким образом, ответы были и, как видите, ответы, даже разъясняющие крестьянам их темноту; но, с другой стороны, можно также вполне справедливо заключить, что ровно никаких ответов и не было, ибо до сей минуты, несмотря на разъяснение необходимости иметь уставную грамоту, этой самой грамоты крестьяне все-таки не получили...

Становой пристав, вручивший или, вернее, «всучивший» крестьянам «плант», поступал еще рельефнее в смысле отсутствия определенности в поступках. Он привез план собственно для вручения г-ну помещику. Явясь

в его дом, он сказал: «Вот план. по размежеванию... позвольте получить пятьдесят рублей за составление!» — «Какой план?» — спросил помещик. «План по размежеванию 1847 года». — «Да на какой он мне чорт, этот план? Теперь 1877 год, с тех пор прошло тридцать лет, совершилось освобождение крестьян, тут в плане должно быть означено что́ — их и что́ — мое... Мне надо план 1861 года, а 1847 года мне не нужен. Куда мне его...» — «Но как же-с, пятьдесят-то рублей?» — «А мне какое дело? Привозили бы его в 1847 году, тогда бы вам и уплатил старый владелец. .» — «Так не благоугодно?» — «Нет, не благоугодно...» Почесал становой за ухом, подумал и пошел к мужикам: «Не возьмут ли хоть они. Ведь они все добиваются какого-то плана. Так ли, сяк ли, а пятьдесят целковых — привези!» И вот он стал убеждать мужиков принять план. «Вот, — сказал он, — план на *всю* землю». Слово *всю* он вставил собственно потому, что знал симпатию крестьян к этому слову. «На всю *нашу* землю?» — спросили крестьяне; тут становой подумал и придумал такой ответ. «Да! — сказал он совершенно твердо и прибавил: — на всю, которая находилась в вашем пользовании при прежнем владельце». — «Старинной, стало быть, нарезки!» — «Да! — тоже твердо ответствовал: — план старинной нарезки!» — «Как в прежнее время было?» — «Как в прежнее... Это план старый; именно как в прежнее время!» Таким образом, становой тоже давал ответы, не молчал, и притом давал ответы правдивые! Что он сказал? — «Это план старой нарезки». Разве он солгал, что ли? Он сказал крестьянам сущую правду... Надо ему пятьдесят-то рублей получить... Разве он виноват, что они *не так* его поняли? и т. д. Но кроме этих официальных образованных людей, даже помещик, с которым тягались крестьяне, и тот не выказал в этом деле спасительной твердости. Ведь и он мог привести «к одному знаменателю» своих противников еще в 1861 году, и притом по закону, а главное, двадцать лет знал бы, что делать, то есть находился бы в положении совершенно определенном. Стоило только твердо и решительно определить и установить свои права, а он-то, лицо, прямо заинтересованное в ясности постановки дела, действует почти так же, как становой и вышеупомянутые инстанции образо-

ванных людей. Он совершенно нерасчетливо позволяет крестьянам путаться в неосуществимых надеждах — двадцать лет; молчит, как будто ничего не понимает, — когда становой «всучит» мужикам ненужный план, думая вероятно: «пускай, пускай, попутаются с ним... приду-ут!» И в конце концов из всей этой нерешительности, то есть отсутствия решимости и смелости предъявить свои права и цели в полной ясности и простоте, вышло нечто неперевариимое по срамоте внутреннего содержания. Поступая в этой тяжбе помещика с крестьянами решительно и прямо, все действующие в этом деле лица, и мужики и не мужики, никогда не пришли бы к тому жестокому, бессмысленному и разорительному для обеих сторон результату, к которому пришли теперь. Держали ли «образованные люди» руку помещика? Как будто бы и держали; они вот не препятствовали крестьянам путаться и не давали им прямых ответов; смотрели на это сквозь пальцы. Но, с другой стороны, они и разорили помещика; они на двадцать лет остановили правильность его хозяйства, и теперь, хотя арестантские роты и доказали мужикам, что, *стало быть, не будет* и что, следовательно, им приходится поклониться насчет земельки помещику, приходится пойти к нему в батраки, но помещик ничуть от этого не выиграл: он окружен населением недоброжелательным, населением, которое ему приписывает теперешнее свое разорение, — населением, думающим, что он двадцать лет мутит их, заставляя тратиться и разоряться... Будут у него работники, и работники деловые, но не дай бог жить с такими работниками..

С другой стороны, выказали ли ясно и твердо те же самые образованные люди свое намерение привести мужика к одному знаменателю, указать ему «точку» и на этой точке утвердить на веки веков, чтобы на веки веков мужик знал и эту точку и «свою линию»? Нет, не решились и на это. Правда, нельзя сказать, чтобы они помешали мужику запутаться, остаться в дураках, но они нерешительностью поддерживали в нем фантазии. Они говорили: «погодите... все сделается, получите бумагу... план, план — план. без плана ничего нельзя... план на *всю* землю... прежняя нарезка... как прежде...» Таким образом действуя, они не только не искоренили вредных иллюзий, но положительно, можно сказать,

развивали и поддерживали их. Таким образом, в конце концов получилось не просто разорение одной стороны и устроение другой — как это было бы при решительности и решимости в образе действий, — а разорение обеих сторон и кроме того ожесточение: мужики ожесточены на помещика, помещик на мужиков, и оба вместе потеряли и веру и уважение в образованных, «не мужиков», которые поставили их обоих в такое нелепое положение. Нам даже кажется, что твердое и ясное определение мужицкой «точки» и мужицкой линии в этом деле не разорило бы мужиков: они бы, зная в первые же дни после 1861 года, что *не будет* земли, давно бы, хоть и скрепя сердце, покорились своей участи и уж давно приспособились бы к тем условиям, в которые их поставило бы решительное «не будет!» Они бы стали тратить деньги не на бесплодные тяжбы, а на хозяйство, на аренду земельки в людях, а иные разошлись бы по заработкам, по чужим местам и людям. Теперь же они отуманены, оскорблены, истощены вконец, теперь они *несправедливо* измучены и совершенно справедливо ожесточены.

А сами образованные люди, не обретшие определенных целей для своих поступков, разве они лучше чувствуют себя, чем ожесточенный владелец или ожесточенный мужик? Спросите-ка их о состоянии духа, и они скажут вам: «ад!», то есть в душе-то у них — ад кромешный. Да и в самом деле, разве в глубине души каждый из них может считать себя чем-либо иным, как не вполне потерянным человеком? Разве все эти председатели и предводители могут чувствовать к себе какое-либо уважение, раз они решатся подумать о своих поступках по совести? Разве становой пристав, всучивший план, не сознает себя обманщиком, из-за которого разорены вконец три деревни неповинных людей? А прокурор, который решился всех этих явно невинных людей обвинять, который решился обвинять даже жену неповинно убитого мужика, разве может он убедить самого себя, что, делая это, он делал справедливое дело? Ничуть и никогда. Все они носят внутри себя горькую желчь и все чувствуют себя в узах неправды. Мало этого, сознание своей нравственной неправды, нравственной муки все эти люди не мужицкого звания выказывают постоянным желанием оправдания и всегда даже рады тому чело-

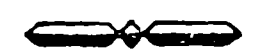
веку, который вызовет их «на откровенный разговор», начнет выводить «на чистоту», конечно без свидетелей. В такие минуты оказывается, что все они вполне понимают свою вину, а главное, оказывается, что они действовали *так,* даже как бы на пользу тех, кому вредили. Почему, например, вы думаете, они шестнадцать лет не давали мужикам никакого определенного ответа? Да просто потому, что они жалели мужиков, хотели «оттянуть» роковую минуту, потому что владелец, с которым мужики тягались... Боже мой, как расписали они владельца! Председатель, так тот, по собственным его словам, «имени» этого человека не может слышать равнодушно, и утроба его готова лопнуть от негодования всякий раз, как он услышит это имя. Мало того, что все они, не исключая станового пристава, который убил человека ни за что ни про что и который на суде заявил, что ему было *жаль* хватать поросенка, подлежащего описи, мало того, что все они *сознают* свою вину, — в искреннейшие минуты, когда сознание собственной душевной срамоты почему-либо выступит особенно сильно, — все они публично даже готовы проклясть себя, осрамить себя, а народ, этого самого мужика, ими запутанного, возвеличить, пасть пред ним.

Но и в такие, казалось бы, искреннейшие минуты в жизни он проклинает себя точь-в-точь так, как я проклинал себя в предыдущей главе под названием «Не суйся!» Там я проклял себя (конечно, только *для образчика),* повидимому, беспощадно. Не смешал ли я там себя с грязью? Смешал и уничтожил; но это только повидимому; если же вы разберете подробно, то увидите, что параллели, которые я брал между мной и Иваном Ермолаевичем, самые злостные и неправильные. Я там говорил: что я такое? Я вот читаю газету, а Иван Ермолаевич делает что-то, совсем на газету не похожее; я беспокоюсь бог знает о чем, о пустом, а Иван Ермолаевич беспокоится не о пустом. и т. д. Продолжая эти злостные параллели, можно унижать себя примерно так: я, дармоед, ношу сапоги, а он, труженик, — лапти; я, бессовестный человек, ем ростбиф, а он, чистосердечный человек, — ест снетки с песком и т. д. В таком роде можно проклинать себя сотни лет, и все-таки никакого вреда от этого мне не будет, равно как и пользы не будет Ивану

Ермолаевичу. Что бы мне стоило, если уж я так раскаялся чистосердечно, проклясть себя *в самом деле,* сказав, например: «я — бессовестный человек потому, что знаю очень много секретов, которые бы улучшили жизнь Ивана Ермолаевича, но, мол, бессовестность запрещает мне их открыть ему; он тогда плюнет на меня и уйдет, а мне надо, чтоб он секретов-то не знал и работал на меня». Этого-то вот, настоящего-то, я ни за что не скажу, а проклинать себя таким вот манером, как показано в образчике, могу сколько угодно, хоть каждый день перед ростбифом. Иван Ермолаевич из этих проклятий, будьте уверены, не сошьет шубы, нет, не сошьет! .. Таким образом, в то время когда Иван Ермолаевич говорит мне: «земельки», я, как бы не слыша этого, валяю сам себя нехорошими словами, пушу себя ужаснейшим образом, но определенный ответ Иван Ермолаевич узнает не от меня, а не иначе как в арестантских ротах, которые и ответят ему совершенно категорически: «не будет!» Так я проклинаю себя. А как я хвалю мужика? О, тут я (а со мной и все вышеупомянутые не мужики) дохожу почти до восторженного состояния; я преподношу Ивану Ермолаевичу такие дары, что у него нехватит духу и пикнуть мне насчет земельки... Во-первых, я валю к его ногам *всю* цивилизацию всех веков и народов и изображаю ее так, что иначе, как «паршивою», наименовать ее невозможно; в прошлой главе *для образчика* я привел некоторые приемы, употребляемые при проклятиях цивилизации. Душа поющего хваления мужику, будучи поражена антихристовою печатию, не может и в этом случае поступать вполне совестливо и просто. В приведенном образчике под цивилизацией поименованы кабаки, извозчики, пьянство, наклонности к разрушению семейных порядков, показано, что «от цивилизации» Алексей бьет жену, и т. д. Словом, взято множество свинств, и все они наименованы цивилизацией, которая поэтому сама собой уже оказывается свинством. В проклятиях цивилизации, умышленно представляемой в виде свинства, я с успехом могу выдвигать на сцену и скрежетать зубами и при словах «пиджак», «кадриль», «петровская папироска»... все у меня сойдет с рук, как у деревенского кулака сходит с рук тухлая рыба, гнилая мука, линючий ситец. В этом роде

я могу греметь годы, и в то же время, во имя антихристовой печати, опять-таки останусь как рыба нем насчет *секрета*. Ведь, говоря по совести, я знаю же, что цивилизация выдумала массу добра для человечества; ведь по сущей совести я знаю, что моя-то личная жизнь значительно облегчена, услаждена благодаря этой настоящей цивилизации; но мне жаль открыть Ивану Ермолаевичу секрет, потому что когда он «раскусит», так он меня непременно прибьет за то, что я ему все врал. И вот в этом-то пункте, в открытии-то настоящего секрета, я нем как рыба... «Земельки бы...» — слышится тот же глас, но кроме попрания цивилизации, в лице пиджаков и папиросок, у меня есть еще прием, которым я, не давая ответа на прямой вопрос, могу, однакож, с успехом заткнуть рот вопрошающему и в то же время облегчить сердце, наболевшее неправдой и полное горькой желчи. Прием этот заключается в следующем: тот самый мужик, которого привели к разорению мои же приемы, основанные на нерешимости открыть секрет, которого я, благодаря антихристовой печати, разъедающей мою совесть, шестнадцать лет обманывал, которому я «всучил» план, в которого палил из пистолета, которого упек в острог, которого пустил по миру, — этот-то самый продукт моей бессовестности и бессердечия, этот-то самый стыд мой, олицетворенный стыд, делается предметом гимна. Этого нищего я начинаю воспевать не как собственный укор, а как идеал всего, что есть наилучшего на белом свете. Я сравниваю его со Христом, который в рабском виде исходил всю землю нашу; мил мне этот босой, исхудалый, истощалый человек, мил этот ворот, разодранный у рубашки, эти заплаты, эта крайняя бедность, у которой ни кола, ни двора, ни куриного пера и которого кончина — в овраге близ большой дороги или в лесу... Я даже так умею ухитриться, что это-то безропотное существование, эту кротость нищего солью с собственною своею кротостью в покорности судьбе, с тем, что я тоже терплю всю жизнь и не ропщу, что я, подобно ему, *безропотно* слушающему отказ в подаянии, *безропотно* исполняю приказ ловить поросенка, стрелять в мужика, обвинять невинного, разорять бедного, — что *оба* мы терпим; что мы *оба* одно и что из обоих нас вместе выходит одна триумфальная арка.

Но, несмотря на то, что страдания и нищего мужика и мои — реальны, действительны, правду, простую правду я умею показать хвалимому и оплакиваемому мною мужику все-таки только при помощи арестантских рот.



X. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таковы были возмущающие душу впечатления, принесенные мне газетами и исходившие от «не мужицкой» части русского общества. Но неумолимые газетные листки принесли недобрые вести и из народа... Что эти вести суть прямой результат того образа действий по отношению к народу образованных людей, на изображении которого я останавливался в предшествовавшей главе, — в этом не было, конечно, никакого сомнения; но результаты все-таки не теряли своего безобразия, несмотря даже и на смягчающие и объясняющие их обстоятельства. Укажу на те из этих безобразных явлений, которые непосредственно вытекают из действительности. Известно, что во время голода на обсеменение полей и на прокормление в течение зимы крестьянам выдаются заимообразные пособия. При этом, как удостоверяют корреспонденции из голодных губерний, происходят такие вещи: «крестьянские общества во время неурожая медлят своими заявлениями, опасаясь круговой поруки. Более зажиточные крестьяне, полагая, что в случае нового неурожая они вынуждены будут платить за бедняков, часто противодействуют приговору о круговой поруке или же если и дают на него свое согласие, то под условием тоже получить ссуду и на свою долю, хотя бы *им было это вовсе не нужно»*. Бывало также, что при дележе ссуды на долю бедняков доставались такие небольшие деньги или количества хлеба, что они не видели в них надежной помощи, спускали без толка на какую-нибудь несущественную нужду или в кабак. В «Новом времени» писали из слободы Покровской (Самарской губернии, Новоузенского уезда), что, отказавшись от казенной субсидии, крестьяне

решили закупить хлеб на мирские суммы (богатая слобода), но разделили его не между нуждающимися, а между всеми поголовно, и притом *по душам*. Такого рода известий появляется весьма много в газетах, и мы уверены, что они являлись бы *отовсюду*, если бы *эта* сторона общественных порядков современной деревни должным образом интересовала и деревню и общество. Явления эти поистине можно считать безобразными явлениями. Судите сами: в деревню привозят хлеб или деньги, рассчитанные по количеству *недостаточных* семей. Предположим, что в деревне двадцать дворов, из которых недостаточных, то есть таких, которым *именно и нужно пособие*, пять. И вот мир, не желая *отвечать*, не может дать им этой ссуды, а начинает ее делить, основываясь на том: «ежели мне придется отвечать, так пущай же и я получу на свою часть». Начинается дележ, и притом *по душам*, то есть у богатого мужика пять душ — ему «больше всех» из нищенской муки; у среднего три — ему на три. А вот человек без души — так ему, разумеется, ничего и не останется. Даже нет того мерила, по которому он может получить хлеб. Единственное мерило, это *отвечать*! А он, например Еремей, чего ему отвечать? и чем? Он просто голодный — ну, а это не резон для таких серьезнейших мирских дел. Премудрость этих дел и венчается достойным образом: «Хлеб оказывается у тех мирян, которым он *не нужен*, а кому он *нужен*, у того его нет или оказывается столько, что лучше всего отнести его в кабак».

Но вы, пожалуйста, не заключайте из вышесказанного, что мы с Иваном Ермолаевичем какие-нибудь звери. Слава тебе господи, кажется, что бога мы помним, знаем, что́ значит грех — не маленькие. Совесть тоже у нас есть. Нельзя без этого. И пожалуйста не думайте, что все хромоногие солдаты и их мальчишки перемрут с голоду, а мы будем настолько жестоки, что равнодушно и хладнокровно отнесемся к этому зрелищу. Иван Ермолаевич, надо понять это, *не мог* иначе поступить, не мог сделать как-нибудь иначе это дело, которое вас возмущает. Ведь в самом деле, разве мало за что Иван Ермолаевич *отвечает?* А тут приходится отвечать за хромоногого солдата, который пред этим двадцать раз надул того же Ивана Ермолаевича. Хромоногий солдат даже овчинника надул, доброго,

сердечного человека. Посовестится ли он теперь? Очевидно, что он по своей природе возьмет хлеб, съест его, а Ивану Ермолаевичу придется за него расплачиваться. Вот почему Иван Ермолаевич и берет хлеб, который ему не нужен. Но вместе с тем он и не злодей, он помнит бога, совесть и грех. Хлеб он точно взял, сколько ему пришлось по разделу, и привез домой, свалил его в амбар и ждет той минуты, когда лично ему ненужный хлеб он должен будет отдать нуждающемуся едоку.

Наутро лай собак свидетельствует, что едок приближается к жилищу Ивана Ермолаевича.

Идет это *ничто,* нуль, и ведет за руку *дробь* — мальчишку, и несет подмышкой *целое* — поросенка.

Это есть хромоногий солдат.

— Здорово! — говорит Иван Ермолаевич.

— Здравствуй, Иван Ермолаевич.

Солдат устанавливает деревяшку на настоящее место. Молчание.

— Что, погода как? — спрашивает Иван Ермолаевич.

— Ку́ра! Не приведи бог... Чуть было не завяз в снегу-то...

Опять молчание.

— Вот что я тебе хотел, Иван Ермолаевич... Не возьмешь ли ты у меня мальчонку?

— Зачем?

— Да что, братец ты мой, ведь зарез мне!

— Кто же тебя зарезал?

— Кто! Чать сам знаю... Чать уж так... Ничего не поделаешь... В этом-то главная причина, есть нечего! Вот, например, какое дело...

Молчание.

— А кто, — спрашивает не без глубокого негодования Иван Ермолаевич, — кто меня по весне с мальчонкой-то посадил?

— Постой! Погоди ты... послушай ты моих слов, что я тебе скажу... О весне...

— Что о весне? О весне я слушал твои слова, верил, а ты как со мной поступил?

— Как я с тобой поступил-то?

— Д-да! Как ты со мной оборудовал?

— Как? Я-то? Ты о весне, что ли? Так еж-жели ты хочешь по совести, по чести — знать, так я тебе скажу...

Изволь, я тебе скажу, коли ты ежели хочешь этого, чтобы знать, изволь, вот какова есть моя утроба, видишь вот! Какова есть самая моя утроба, так расшиб-би меня нечистая и разорви мои черевы, ежели я тебя...

И т. д.

. .

Иван Ермолаевич не зверь, он взял мальчишку и дал хлеба... Но на следующую весну, даже ранее весны, именно в тот самый момент, когда солдату опять стало нечего есть, он «обманом» увел мальчишку домой, перепродал его другому, и другого надул так же, как и Ивана Ермолаевича... Сердит Иван Ермолаевич *на народ.*

— Строгости нет! Избаловался народ, ослаб, никому поверить на грош нельзя.

А солдат тоже не весел:

— Так я тебе, толстомордому, и дался... Ишь ты! За мою же муку да норовит слопать моего мальчишку! Ловок! Ловки вы, грабители, толстобрюхие... Оттягали хлеб-то, мироеды анафемские... Вам бы только самим, а бедному человеку — шиш! Пог-годи, любезные... Я вас произведу...

Во втором из приведенных случаев дележа дело выходит еще выразительнее.

Там покупают хлеб сами, на мирской счет, и делят по душам. Большей частью хлеб покупают тут же, на месте, у своих достаточных односельчан. Получив за хлеб деньги, достаточные односельчане, при дележе по душам, получат назад и самый хлеб, едва ли не весь сполна. Таким образом, Иван Ермолаевич, получив за хлеб деньги, потом получив и самый хлеб, раздает его (не зверь же он какой в самом деле?) хромоногим бездушным существам и в обеспечение (ведь ему отвечать-то, хотя он и получил уже деньги) получает труд как самих существ, так и ребят, приемлет, кроме того, поросят и гусей.

Есть за что, как видите, и хромому погрозиться. Не без основания и он говорит:

— Погоди, ребята, я вас произведу-у!

Заключение, к которому привели меня размышления, внушенные газетными фактами, были следующие: «Нет,— думал я, — Иван Ермолаевич не виновен... Ни в чем, ни в чем не виновен. Верный своим взглядам, основанным на непреложных для него началах, он несет их сквозь

толпу явлений жизни, не им созданных; он всячески отстаивает их, и не его вина, если на пути этого шествия ему приходится драться, да еще с своим братом... общинником. Нет, он в этом не виновен! Но я, русский образованный человек, я виновен самым решительным образом; я виновен тем, что до сих пор, двадцать пять лет, не нашел в себе решимости по совести признать, что Иван Ермолаевич уж не крепостной, не раб, и что я, бывший барин, теперь завишу от него, хотя бы только потому, что его — миллионы, что теперь даже из желания нажиться я *должен* действовать так, чтобы удовлетворять насущным потребностям Ивана Ермолаевича. Я должен строить дорогу преимущественно в видах Ивана Ермолаевича, если хочу не быть его разорителем, я *должен* устраивать промышленное предприятие не иначе, как в видах, главным образом, миллионной массы, если, во-первых, не хочу разориться, а во-вторых, если стыжусь разорить. Но именно этого-то последнего я и не стыдился и даже не стыжусь, пожалуй, и теперь. Напротив, я умышленно старался его затмить, расстроить, не давать ему ни науки, ни земли, ни малейшего облегчения в труде. Я так знакомил его с цивилизацией, что он только кряхтел от нее. За всю эту неискренность Иван Ермолаевич и наказывает меня тем, что начатое мною расстройство его быта практикует и в деревне, собственными руками разрушает то, на чем, если бы только я мог *решительно* стать на сторону устроения, а не разрушения, действительно можно бы создать *крупное* общинное хозяйство, в котором бы не было людей, не имеющих права на хлеб, и в котором нашел бы место работника (за деньги, не беспокойтесь!) и образованный человек. Но так как я был труслив, своекорыстен и нерешителен, то Иван Ермолаевич и накажет меня тем, что покроет землю уже не кротким, а сердитым нищенством и внесет в общество вместо утаиваемой мною цивилизации те взгляды на человеческие отношения, которые мы с ним применяли к пастуху».

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

I. ИВАН БОСЫХ

Морозный зимний день в полном блеске. Час одиннадцатый в исходе. В незамерзший кусочек полузаметенного снегом окна вижу я, как на широкий двор, примыкающий к тому деревенскому дому, в котором я живу, вошел крестьянин Иван Петров, по прозванию «Босых».

Вижу я, как ленивою, почти болезненною поступью подошел он к куче кое-как наваленных в углу двора поленьев, которые Иван взялся расколоть на дрова, как он, вместо того чтобы приняться за работу, принялся обеими руками крепко-накрепко царапать свою голову, держа подмышкою шапку, как потом, нахлобучив эту самую шапку на голову, потолкал кучу поленьев ногой, обутой в рваный валяный сапог, и как, опять-таки вместо того чтобы взяться за топор, стал разминать плечи, стараясь достать кулаком до средины спины... Вижу я все это и знаю, что Иван находится в самом мучительном состоянии, — знаю, что он болен «со вчерашнего», что он вчера крепко выпил, что если сегодня он и появился около дров, то уже поздний час прихода на работу, когда люди собираются обедать, означает только желание выпросить рубль серебра на опохмелье. И точно, поколотив кулаком поясницу и между лопатками, он полез в карман серого подпоясанного армяка за махоркой и потом, растирая ее на ладони, уныло поплелся в кухню. Здесь, как мне также уж достоверно известно, он долгое время будет курить, а чтобы завести общий разговор, сообщит, что «вчерась» у него вытащили в кабаке деньги, и, возбудив этим общее

сочувствие, долго будет разговаривать о своем расстройстве, о том, как он жил на «вокзале», о том, как он поправился; сообщит множество сведений о том, как лечить такую-то и такую болезнь, как ловить барсуков, как прививать яблони, и в конце концов, не имея сил долее сопротивляться мучительному недугу похмелья, скажет: «нет, видно, ноне я не человек», — и пойдет ко мне просить рубль серебра, говоря, что у него внутри жжет и дерет, ест и сосет и что, очувствовавшись, он придет завтра до свету и все переделает с одного маху. И это также давно мне известно: знаю я, что, очнувшись, Иван Петров делается совсем другим человеком и что в такие — к несчастию, редкие — минуты нет в деревне такого другого мужика, который был бы так, как Иван, «зол» на работу, то есть так к ней пристрастен и так ею оживлен.

Иван Петров принадлежит к тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, как Россия, классу деревенских людей — классу, народившемуся в последние двадцать лет, — который волей-неволей приходится назвать «деревенским пролетариатом».

Этот новорожденный пролетариат решительно мог бы не существовать на нашей земле, если бы миллионы мероприятий, направленных в сторону народа, дорожили народным миросозерцанием, по малой мере в таких же размерах, как и его платежной силой. Для того, чтобы махнуть рукой на землю и предпочесть своему дому дом питейный, вполне достаточно хотя бы только той нелепицы в крестьянских «правах», вследствие которой крестьянин, сегодня бывший присяжным, судьей и великодушно оправдавший несчастного человека, давший ему жизнь словами «нет, не виновен», на другой же день после свободного проявления такого большого «права» может быть выпорот в волостном правлении *до крови* за то, что, встретившись под хмельком со старшиной, нанес ему оскорбление словами: «ах ты, курносый заяц!»

Чтобы молча и безропотно вращаться только между такими полюсами крестьянских «правов», и то надо отказаться от всякой нравственности, от всякой духовной жизни, от всякой возможности жить по своему разуму. Но этот пример только капля в море того *коренного* расстройства, которое размывает самые коренные основы народного миросозерцания, вырабатывает человека «без

перспективы» и «без завтрашнего дня», стремится сделать работника и раба из человека, который по самому существу своей природы *не может* существовать иначе, как с сознанием, что он «сам хозяин».

Посмотрите вот на этого Ивана Петрова, по прозванию Босых: он человек сильной породы, он легок, ловок и умел в работе, жена его умная, сильная и ловкая работница, когда-то красавица; земли он может иметь сколько понадобится; но кроме «хозяйства» он еще и плотник, весьма хороший для деревни, и сапожник; да и просто как поденщик — колоть ли дрова, прессовать ли сено и проч. — он мог бы, получая не менее семидесяти копеек в сутки на хозяйских харчах, существовать безбедно, а он вот бросил хозяйство, бьет жену, жена ходит жаловаться, плачет; дети его, трое ребят, по целым дням шляются в грязных лохмотьях по деревне без всякого призора, и неизвестно, кормит ли их кто-нибудь. Изба его, в ряду тех новых «крестьянских» изб, в которых вы видите кисейные занавески, венскую мебель и часы под колпаком, представляет собою верх безобразия: она вся почти развалилась; вместо стекол — тряпки и какие-то лохмотья; а по постройке избы и служб вы видите, что дом был «богатый»; сараи протянулись сажен на тридцать; столбы везде дубовые, аршина по два в обхвате. А сам хозяин? Спросите о нем у авторитетных деревенских людей, все отзовутся о нем самым неодобрительным образом: он три раза продал одно и то же сено трем разным лицам, а деньги пропил; он набрал «под телушку» в трех лавках и не отдал нигде — телушку продал на сторону, а деньги по обыкновению пропил. Его секли в волости несколько раз — и за грубость перед начальством, и за недоимки, и по жалобе жены, которую он после этого суда жестоко избил в поле, возвращаясь домой. «Не давайте ему денег, ни боже мой, не давайте вперед!» — советует вам экономный деревенский житель. «Ни на волос не верьте!» — говорит другой житель, уже обманутый Иваном. А между тем когда Иван «очувствуется» на неделю, на две, что это за славный, добрый, умный человек! Сколько у него юмора, наблюдательности, нежности, великодушия, насмешки над самим собой, сколько юношеской душевной свежести! Что же валит его пьяным, с опухшим лицом, ничком в мокрую, грязную канаву, без сапог, без одежи

и заставляет целые ночи подставлять свою широкую спину под дождь и ветер? Вся деревня помнит его родителей, все говорят, что когда-то «Босых» были первые хозяева, что Иван и жена жили прежде дружно, работали «за первый сорт»; все согласны, что очнись он, ему цены не будет, что у него «золотые руки»; а он точно умышленно махнул на все рукой, обманывает, буянит и, как нищий, шляется в поденщиках, да и то только для того, чтобы выработанное пропить в кабаке.



II. РАССКАЗ ИВАНА БОСЫХ

Теперь пьянство Ивана превратилось уже в болезнь, а эту болезнь, угнетающую не одного Ивана, а целые массы таких же, как и он, непостижимых в Русской земле деревенских пролетариев, сам народ охарактеризовал словом «ослаб». Физически Иван, как и сотни ему подобных «ослабших» мужиков, не только здоров и силен, но прямо могуч: стало быть, слабость его имела не физические, а какие-то другие источники. Вот о причинах этой-то «слабости», «ослабления» и бывали у нас с Иваном весьма частые разговоры, долгое время не приводившие ни к каким благоприятным результатам, а иногда прямо сбивавшие с толку, особливо такого человека, который привык и приучился объяснять народное расстройство почти исключительно материальными несчастиями, бедностью, налогами и т. д. Приведу для примера один из таких разговоров.

— Скажи, пожалуйста, Иван, отчего ты пьянствуешь? — спрашиваю я Ивана в одну из тех ясных и светлых минут, когда он приходит в себя, раскаивается в своих безобразиях и сам раздумывает о своей горькой доле.

Иван вздыхает глубоким вздохом и с сокрушением произносит почти шопотом:

— Так избаловался, так избаловался... и не знаю даже, что и думать. И лучше не говорить! Одумаешься, станешь думать — не глядел бы на свет, перед богом вам говорю!

— Да отчего же это, скажи, пожалуйста?

— Отчего?.. Да все оттого, что... *воля*! Вот отчего... своевольство!

Так как ответ этот ставит меня в недоумение и я решительно не могу понять, почему «воля» может губить человека, то Иван, чтобы рассеять мое недоумение и объясниться обстоятельнее, прибавляет:

— От жизни от свободной, вот отчего!

— Что же это значит? — спрашиваю я в полном недоумении.

— А то значит, как жил я на вокзале, получал я тридцать пять целковых в месяц, народу имел под начальством десять человек, доходу мне каждый божий день с вагону уж беспременно рубль серебра, а сочтите-ка, сколько в зиму-то вагонов отправим? Ну вот тут-то я, значит, и забаловал...

Слово «забаловал» до такой степени не подходит к сорокалетнему мужественному бородатому мужику, что не понимаешь даже, как он может в объяснение своего поведения употреблять такие выражения, приличные только разве малому ребенку. Но Иван не находит другого точного выражения.

— Вот и стал баловаться... При покойнике тятеньке, бывало, капли в рот не брал. Убьет, если узнает, на смерть уколотит своими руками... Да и после тятеньки, когда уж оженился, своим хозяйством стал жить, и то дозволял себе — когда угостят, да на праздниках, да иной раз со скуки — стаканчик. Все опасался и покуда чего было — берегся... Ну, а уж тут, на вокзале, как стала мне воля, стало мне, значит, раздолье, стал я — одним словом, коротко сказать — барин, тут-то я и пошел... Жрешь, бывало, целые сутки, а все до верху нехватает... Я как сейчас помню, с чего начал: у дорожного мастера Ивана Родионовича именины были на Ивана Постного. Ну он мне и налил виноградного стакан — «портвин» прозывается... Я как двинул его — понравилось. Я и давай... А там и коньяк, лимонад. Вот с этих самых пор и завел себе язву. А отчего? — Все от воли!.. Все от непривычки, от легкой жизни... Вот отчего! Бывало, денег полны карманы набью... Ну, и стал через это самое вроде последней свиньи...

Таким образом оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обилие денег», то есть все то, что необходимо человеку для того, чтоб устроиться, причиняет ему, напротив, крайнее расстройство до того, что он делается «вроде последней свиньи».

— Отчего же ты деньги-то на хозяйство не тратил, а на пьянство? — спрашиваю я.

— То-то и есть, не привычны мы.. Какое тут хозяйство, когда совсем стало жить свободно? Делай что хочешь — никто не попрепятствует. Тут, одним словом, можно вконец избаловаться.

Так как Иван видит, что объяснения его ничего не объясняют и что я все-таки не мог взять в толк, отчего хорошая жизнь превращает человека в свинью, то он старается пояснить мне свою мысль примером, к чему в разговоре вообще довольно часто прибегают крестьяне. Привожу этот пример, зная, что он едва ли что уяснит читателю.

— Потому что, — говорит он, — природа наша мужицкая не та.. Природа-то у нас, сударь, трудовая. Я скажу вам примером. Был у нас тут по суседству барин, господин Подсолнухов, хозяйствовал. Вот хозяйствовал, хозяйствовал, видит он, что доходу ему нету, задумал он молочным делом заняться. Наша скотина ему не по нраву пришлась — коровенки наши точно — худы, шаршавы, — дай, думает, заграничную корову выпишу. Выписал. Идет телеграмма, едет корова из-за границы, немец ученый провожает. Видим, ведут чуть не на цепях — эдакая верзила, сажень вверх да полторы вдоль. Урядник даже шапку снял... Что рога, что глаза, что прочее все — страсти господни! Великан, Еруслан Лазаревич... Очистили ей скотник, настлали соломы, пришла она и легла, эдак, на бок. А немец лампу потребовал на ночь. Вот хорошо, лежит она таким манером и ест. Только бабы подкладывают ей под морду корм. Ест, а молока не дает. «Что же это, говорю немцу, она молока-то не дает?» — «А это, говорит, она отдыхает, так как, говорит, из-за границы и все в вагоне, то она утомлена и поправляется своим здоровьем. .» — «А долго ли, мол, она будет поправляться?» — «Да с месяц места пройдет». Ладно. Попробовали было ей нашего мирского быка порекомендовать — куда! Как глянул на нее, какая она есть

великолепная, испугался, как заяц: понял, что не ему с мужицким рылом соваться, — и давай бог ноги... Едва за двенадцать верст чужие мужики поймали. А она тем временем отдыхает все. Все ест, вздыхает и ест... Наконец уж, видно, совесть ее взяла, дает молока, и целое ведро. Вот барин и говорит: «Видишь, говорит, Иван, какое же сравнение с нашими коровенками». — «Ну нет, говорю, барин, по ейному корму наша скотина много способней». — «Как так?» — «А вот как: сосчитайте, сколько она у вас съела и много ли по корму молока дала? Она хоть и ведро дает, да ведро-то это больно много стоит. А кабы вы корм-то, что она одна съела, роздали нашим десяти коровенкам, так все-то вместе они вам в десять раз больше этой одной верзилы дали б». Тут немец и говорит: «Она, говорит, не такой породы, чтобы только о молоке думать; она и об себе думает, она ест для своего удовольствия, — посмотри-кось, какое у ней мясо-то. .» Вот после этих слов я и говорю барину: «Видите, говорю, господин, ан и оказывается, что наши коровенки как раз по нашей природе и породе приходятся... Мясо нам не требуется, своего удовольствия она знать не знает, а живет только из-за работы; что ест, то отдает, а об себе не думает. Родилась она для работы и живет весь век в ней — вот вся и жизнь ее». Вот и человек этак же бывает разный. И вот наша крестьянская порода то же самое: мы круглый год и всю жизнь не покладаючи рук работаем, да так в работе и живем.. Я вот попробовал от крестьянства отбиться — чуть было не опился... А другому что легче, то лучше; что ничего не делать, то и приятно... Вот у нас на станции еврейчик был Шнап... все он там толкался в разных местах и все на пустом норовил рублишко нажить: там барыню провожает, там мужику укажет, как и куда пройти... Ну и дают — кто рубль, кто гривенник... А он все прячет, все копит. «На что, говорю, копишь?» — «Карьер хочу делать». — «Какой такой?» — «Деньги наживать!» — «Зачем?» — «Лавку открывать!» — «А как откроешь?» — «Опять деньги наживать!» — «А как наживешь?» — «Еще больше буду наживать!» — «А как совсем уж много будет?» — «Опять буду еще больше стараться»... Вот и гляди на него. «Пойдем выпьем!» Нейдет, копейки

не истратит. А по-нашему, по крестьянству, для хозяйства еще, пожалуй, можно понажить деньжонок, а так... наживать да наживать — так это я даже и в понятие-то не возьму... Шнап-то вон этот из грошей капитал делает, а вот я как позабыл крестьянство-то, от трудов крестьянских освободился, стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно что щепки... Только и думаешь, куда бы девать, и кроме как кабака ничего не придумаешь... Чего! Я уж вам во всем буду каяться... (Иван говорит шопотом.) Тр-р-ри мамзели завел! Закон забыл! .. Перед богом говорю... Воля! Свобода! Только и думаешь, как бы что... Тьфу! До такого дошел забвения, даже стал наших, своих же братий, мужиков притеснять... И с чего! — Просто совести не осталось... Придут, бывало, с холоду, разыщут в трактире, кланяются, просят сено отправить — второй, мол, день ждем, проелись, а концов не сыщем.. Мне бы, кажется, только сказать подручному: «Михайло, дай им вагон!» — а меня точно нечистая сила начнет разламывать... Сидишь за бутылкой, ломаешься и говоришь: «Изыскивайте способо̀в». — «Да каких же, батюшка, способо̀в-то искать? Ходили-ходили, везде машины свистят, дым дымит, того и гляди раздавят... Уж мы и так измучились». — «Изыскивайте! говорю, сумейте понять, кто вам надобен. .» — «Да ты, отец родной, ты...» Ломаешься, ломаешься, бывало, уж кто-нибудь из публики вступится, скажет мужикам: «Да всуньте вы ему, подлецу, три целковых в горло. Каких ему еще способо̀в надо!» Ну уж тут поневолишься, сделаешь.. Жена придет, бывало, облаешь. По крестьянству она мне нужна, а на свободе у меня особенные баловницы есть... Что мне с ней, с мужичкой, делать?
Ведь вот до какого дошел своевольства! И верите, как распьянствовался я до последнего предела, как дошло дело до начальства, да как приехал начальник дистанции, да ка-а-к дал мне (лицо рассказчика вдруг просияло) хо-о-орошего леща, да как начальник эксплуатации набавил мне (детская радость разлилась по лицу его) в загривок, да как в подвижном составе наколотили мне бока, — так я, братец ты мой, сотворил крестное знамение, да точно как из могилы выскочил, воскрес, да по морозу, в чем был, без шапки, — домой! По полям, по сугробам, по задворкам, как птица, двадцать пять верст

без остановки пропорхал и не видал, как середь своего двора очутился. Очутился я на дворе гол и наг, и все у меня в разорении, а рад был — истинно, как из мертвых воскрес. Слава тебе, господи! Слава тебе, царица небесная! Опять я — человек, опять я сам себя отыскал... Пал жене в ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работать, хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану человеком. .» И уж принялся же я в ту пору! И все-то мне мило — и пашня, и соха, и борона, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и забор, и колода... Все — точно родные, друзья дорогие, кровные... Гляну, гляну — страсть какое разоренье, а у меня только дух бодрей... Что вижу — сколь много работы, что вижу — работать не переработать, то мне и охоты больше, то и силы прибывает... Так вот какая наша крестьянская природа! А там и работы не было, и всякое удовольствие, и деньги, а точно безумный сделался, всю душу-то по грязи истаскал, как свинья свое брюхо... А отчего? — Все воля!

Этим непонятным сопоставлением слов «воля» и «нравственное падение» Иван и начинал и оканчивал свои беседы со мною и, как видите, не только не разъяснял моих недоумений, но значительно их преувеличивал.



III. РАССТРОЙСТВО

Не раз заходил у нас с Иваном разговор на ту же тему, то есть на тему о том, отчего он спился, отчего расстроился, что нужно крестьянам, чтобы было лучше, и т. д., и всегда разговоры эти не приводили ни к каким удовлетворительным результатам. Ответы и рассказы его были всегда неинтересны, очень часто утомительны своим однообразием или, напротив, ставили в недоумение, объясняя пьянство выражениями «воля» или «баловство» и т. д. Происходило это оттого, что Иван часто вовсе не упоминал о том *главном*, что давало этим сухим и утомительным разговорам глубокий (на мой взгляд)

интерес, а я, как человек посторонний подробностям и сущности народной жизни, не понимал этого главного и пропускал мимо ушей такие слова и фразы, произносимые Иваном мимоходом, как всем давно известные и понятные, которые именно одни только и могли осветить мне тьму и путаницу наших неинтересных разговоров. Вот почему я не буду передавать этих разговоров в их «последовательном беспорядке», а приведу их тогда, когда читателю будет можно понять их, и для этого остановлюсь на том разговоре, который приведен выше.

Иван рассказал самую обыкновенную историю: на каждом шагу, от всех хозяев — от всех, кто имеет дело с наемным человеком, — вы слышите то же самое, то есть что пьют потому, что «избаловались»; потому, что «воля»; потому, что «некому смотреть за порядком», «нет страху».

— Помилуйте, — слышите вы поминутно, — чего еще им нужно? Рабочий получает семьдесят копеек в сутки на хозяйских харчах, два раза чай — ведь это не маленькая плата! Зимний день в наших местах короток — в восемь часов утра еще темно — приходят рабочие в девятом часу, работают с разговором, с цыгарками до двенадцати, часа полтора уйдет на обед, а там, глядишь, в четыре часа и ночь. Скажите, пожалуйста, что еще надо? Нет, поработают до обеда, уйдут в кабак, завтра совсем не пришли, а если станешь задерживать деньги дня по три, по четыре для их же пользы — ропот, требуют; отдашь — пропьют!

Доля правды в этих рассуждениях есть несомненная. Крестьянин, работающий дома, никогда не выработает таких денег, хотя работает целый день. Учитель, нанятый обществом, получает три рубля в месяц, с обязательством всю зиму учить человек двадцать маленьких детей, которые являются буквально до свету и, пообедав, опять сидят с учителем часов до шести. Родители нарочно посылают маленьких детей в школу, чтоб они не мешали дома, и одно уж пребывание в обществе этой шаловливой толпы в течение по крайней мере восьми или девяти часов — дело весьма нелегкое; однако, повторяю, учитель получает три, много пять рублей в месяц, да и то родители обижаются, что «мало учит», рано домой отпускает. Кроме этого, жизнь учителя — скитальческая. Он живет

в деревне на пастушьем положении, то есть ходит обедать и ночевать из двора во двор, и бывают частенько случаи, что иная чистоплотная баба выгонит из избы и учителя и учеников, которые явились к ней «по очереди», — выгонит вон, прямо на мороз. Сравнительно с таким трудом и неудобствами вознаграждение учителя хуже, чем нищенское, так как всякий нищий, точно так же как и учитель, найдет ночлег в чужом доме, найдет и кусок хлеба, но деньгами соберет гораздо более того несчастного гривенника, который платят (и всегда с задержками) учителю. Вознаграждение, получаемое дроворубом или прессовщиком сена, и труд их не могут идти ни в какое сравнение ни с трудом, ни с вознаграждением учителя — так этот труд легок и так это вознаграждение велико. Прессуют сено не менее четырех человек. В то время, когда один кидает его в пресс, а другой утаптывает ногами, двое других курят цыгарки и разговаривают разговоры; а когда, в свою очередь, они принимаются за работу, то есть начинают рычагами поднимать исподнюю доску пресса, первые двое принимаются за цыгарки. Кроме того, работа приостанавливается, если пойдет снег, ударит сильный мороз: пойдет кто-нибудь к хозяину «увспроситься», работа стала. Мужик по нужде продает сажень дров за рубль, а распилить и расколоть берут рубль двадцать. Кабаки и трактиры полны, и здесь идет питье пива, водки, даже коньяку и «портвину». Наряду с тем почти всеобщим мнением, что вырабатываемые деньги идут почти целиком в трактир, вы услышите и сетование о том, что много народу, крестьян, бросают пашню. «Балуются», хозяйством не занимаются: «выпоит теленка», продаст за сорок целковых — и пошел кофеи да чаи распивать; а земля брошена, податей не платит. Вообще люди хозяйственные, строгие, непьющие определят вам характерную черту современной деревенской жизни выражениями: «ослаб народ», «распустился», и в подтверждение этого скажут, что «против прежнего народу стало легче, денег ему приходит больше, но что так как нет строгости, то деньги идут прахом». Скажут, что «наш» (подстоличный) народ мог бы и подати заплатить и жить хорошо, так как опять-таки средства для этого есть — сено, например, продают в Петербурге почти так же дорого, как хлеб, лен и т. д., — но что он

«избаловавши», «распустивши», «ослабши». Да и помимо показаний этих сведущих деревенских людей сами вы, посторонний человек, видите, что непроизводительная трата денег среди крестьянства в самом деле велика. В огромном большинстве расстроившихся хозяев значительнейшая часть заработка идет не на хозяйство, а на трактир, на пустяки, картежную игру, мотовство.

И что удивительно, мотовство, расстройство *начинается* именно *от более легкого*, чем крестьянство, заработка; рассказ Ивана, по прозванью Босых, свидетельствует о том, что он, Иван, начал терять всякий смысл существования по мере того, как ему становилось «легче», по мере того, как в руках его оказывались такие деньги, каких прежде он и во сне не видал. Человек, из-за «расстройства» отправившийся на заработок и получивший хорошее место и деньги, как будто позабыл, что́ с ними надо делать, начинает швырять деньги, как щепки. Он говорит: «все — воля». Это непонятно; но еще менее понятно и следующее обстоятельство.

Однажды, прочитав в газетах о том, что какой-то пензенский помещик «на свой страх» ввел в соседней деревне общественную запашку, я не мог не поговорить об этом обстоятельстве с кем-нибудь из знакомых крестьян. Пришлось разговаривать с Иваном, который был в этот день трезв и первый попался мне на глаза. Помещик завел общественную запашку с тем, чтобы, облегчив процесс труда крестьянам, приобрести сэкономленное ими время в собственное распоряжение и иметь рабочих, которые бы, как говорится, «не разрывались», одновременно работая по найму и на себя, но, отработав свою часть на общественной пашне, были бы совершенно свободны. Работы общественные устроились посменно: одни работают на помещика, другие — на пашне. Всякая смена ждет своей очереди. В известии об этом было прибавлено, что облегчение и скорость труда до того пришлись крестьянам по вкусу, что тому же способу обработки общественных полей последовало в тот же год более двухсот окрестных деревень.

Хоть я и давал себе зарок не говорить с крестьянами об их крестьянских распорядках, так как в большинстве случаев такие разговоры совершенно бесплодны и ни к чему практически-путному не ведут, но на этот раз при-

мер двухсот деревень соблазнил меня. «Как бы хорошо было, — сказал я, — если б и у вас завелись такие порядки: всякий, даже самый последний нищий, калека, который теперь побирается у вас под окнами, тогда бы мог иметь общественный хлеб, так как непременно мог бы что-нибудь делать в общей работе. Рассчитать все можно до ниточки. Вот этот солдат безногий теперь побирается, потому что у него нет ни кола, ни двора, ни земли, ни скотины, а тогда он мог бы, положим, стоять в риге и считать, сколько привезено снопов, или под уздцы лошадь водить за тебя, например, Ивана, а ты, отработав свою часть — положим, дня два — пашни, был бы свободен, работал бы у помещика, и деньги бы чистые пришли домой. А потом, сколько тратится земли на эти межники, канавки? То ли дело по очереди взодрать землю сразу? Ведь косят же какие огромные луга и успевают скосить в один день, потому что принимаются сразу все, а тут на хлебе каждый бьется один целые месяцы без отдыху, отрывается на чужую работу, оставляя свою. Иной раз хлеб не выспевает, потому что поздно посеян. Почему же, — спрашивал я, — сено можно косить всем миром и разделить копны поровну и без обиды, а нельзя того же делать с хлебом? А какое облегчение! Теперь ты работаешь на своей десятине один, а тогда из ста душ будут каждый день работать, положим, только десять человек, и все-таки твоя десятина обработается в десять раз скорее; так и у других. Девяносто человек (по очереди) всегда свободны и могут делать что угодно. Наемная работа только выгода, потому что, работая по найму, ты уж знаешь, что хлеб у тебя будет. Да и о бедных и бессильных надо подумать, а при такой работе можно». Тут для большей убедительности я припомнил Ивану про некоего конокрада Ручкина. Ручкин был чистый злодей для множества деревень во множестве уездов. Он безжалостно разорял мужиков, угоняя лошадей, и издевался, буквально тиранил и брал с них что только хотел. Не раз его сажали в острог, отдавали под суд, но «неопытные» начальники, на которых за это весьма ропщут крестьяне, не зная дела, выпускали его, потому что злодей Ручкин на суде оказывался, по их «неопытности», белей голубя. Например, лошадей он прятал обыкновенно в лесу, а когда на суде его спрашивали, зачем он был

в лесу такого-то числа, то Ручкин отвечал: «За грибами». — «А лошадь как очутилась в твоих руках?» — «Да я вижу, чья-то лошадь бродит, дай, думаю, привяжу и спрошу потом мужичков, чья такая. Поди, иной бедный смучается искамши». — «А деньги ты брал за лошадь?» — «Ваше благородие, ведь мне пить-есть надо! Ну, а кабы пропала лошадь-то, кабы медведь съел, неужто лучше было бы? И неужто он разорится, ежели что даст мне на бедность? ..» После таких речей Ручкина освобождали и водворяли на место жительства. Здесь, «с сердцов» на односельчан, он принимался свирепствовать еще беспощаднее. А между тем свирепствовал он истинно по нужде: Ручкиным прозывали его потому, что у него *не было одной руки.* Долгое время я слышал: «Ручкина убить, утопить мало»; «злодей, аспид» и т. д. И только случайно узнав, что «Ручкин» не фамилия его, а прозвище, я спросил: «Почему его так называют?» — «Да руки у него правой нет, у мошенника, одной левой злодействует», — отвечали мне. Конечно, Ручкин мог бы просто и смиренно нищенствовать, но не всякому это по характеру, и Ручкин из-за калечества предпочел злодействовать. Возвратившись два раза из острога, он стал решительно всем страшен. Начальство сельское его трепетало. Встретившись как-то в поле без свидетелей со старшиной, он спросил его: «Что, Петр Семенович, много ли сена накосил?» — «Да пудов тысячи полторы. Тебе-то зачем знать?» — «Да хотел я у тебя деньжонок потребовать. . .» — «За что такое деньжонок?» — «Да. да ведь это я прошлый год у Козявкина сено-то сжег. . .» И больше ничего Ручкин не прибавил, только засмеялся, «как чорт». Старшина вынул пять рублей и дал. Жаловаться нельзя — нет свидетелей, да и судьи боятся Ручкина; а не дать нельзя — сожжет. По мнению обывателей, остается одно — убить его тихим манером, как собаку. Лодочник-перевозчик объявил, что он его утопит, и кажется, что все ожидали этого не с сожалением.

Так вот об этом-то Ручкине я и завел речь в подтверждение тех бесчисленных выгод, которые могут произойти из общественной работы. «Ручкин этот, — говорил я, — сделался не вдруг злодеем, он должен был как-нибудь существовать без руки, а нищенствовать не хотел. При теперешних ваших трудах вам впору только справиться

с своими нуждами, а тогда вы *можете* и о других подумать. Даже даром могли бы тогда кормить Ручкина. Да и надобности нет даром-то кормить: Ручкин и с одною рукой может помочь в работе. Тебе, например, некогда снопы возить — Ручкин пойдет. Лошадь твоя, а труд — его. Все это ведь рассчитать можно. . .»

На этом Иван прервал меня. До этой минуты он меня слушал, и, как мне казалось, внимание его усиливалось, так как я постарался всевозможными доводами и сравнениями показать ту огромную разницу в удобствах жизни, которая произойдет в случае перемены теперешнего хозяйства на то будущее, о котором шла речь. Но при моих словах: «лошадь твоя, а труд его» — молчаливо и неподвижно внимавший мне Иван точно проснулся и проговорил:

— Н-ну нет. . . Хороший хозяин не доверит своей лошади чужому.

И, энергически тряхнув головой, прибавил не менее энергически:

— Чтоб я доверил, например, свою скотину чужому человеку? Сам бы ушел, а мою скотину? Да позвольте вам сказать. . .

И мгновенно какое-то необычайное оживление охватило его. Какая-то масса соображений, задевавших его «за живое», вдруг овладела им, и он, сверкая глазами, заговорил:

— Отдай я чужому свою скотину? Помилуйте! Да позвольте сказать, вы вот говорите: делить хлеб. . . Хлеб в наших местах без назему не родится. . . Позвольте узнать, как же по вашему плану будет с навозом?

— Будут возить, как и теперь. Ведь теперь покупают назем?

— Это верно. Что так, то так. . . Но позвольте сказать. . .

— Ну и тогда так же рассчитать. Теперь воз — тридцать копеек, и тогда — по возам, а вместо денег — хлеб. Вы пахали, возили навоз — вам и за пашню и за навоз.

— Да не про то я говорю, это действительно учесть можно; а как уравнять назем — вот о чем мои слова! Теперь я везу назем конины, а другой какой-нибудь плетется с коровьим — какое же может быть тут равновесие?

Я не знал, что сказать, потому что никогда не предвидел такой тонкости.

— А другой, — все более и более входя в интерес предмета, горячился Иван, — а другой объявляется с свининым — тут как сыскать правду?

— Да не все ли это равно?

— Все равно-с? — Ну это уж извините. Кониный или коровий, или возьмем птичий или же свининый — тут, окончательно сказать, небо и земля, а не все равно... Коровий назем дает хлеб метелкой, он топорщится, и зерно у него легкое. Птичий... Да за что же я, позвольте вас спросить, имея в своем хозяйстве, например, кониный или гусиный, например, самолучших сортов, — за что же я должен, что он там, мошенник, ворует лошадей и ему Сибири, каналье, мало, — за что я, коль скоро у меня в хозяйстве все как следует, должен хлеб получать с мусором?

— Да ведь много ли тут разницы?

— Да позвольте! Лошадь я отдай, хлеб мне с помесью — за что?

— Зато всем лучше.

— Да лучше я ему и другую руку переломлю, чтоб он не воровал; а то, помилуйте, все у меня в хозяйстве припасено, а тут мне с свининого да с коровьего. Да тьфу! За что? За что я должен пострадать... через подлецов или как прочих негодяев? Нет, не выйдет этого... Да нет, нет! Это и думать даже... Помилуйте, лошадь.. да как же можно, чтоб я, хозяин, доверил кому-нибудь?.. Навалят мне на пашню неведомо чего, а я при своем при полном... Нет, не выйдет!.. тут с одним наземом греха наживешь... Или взять так: я привез кониный, а сосед куриный... Ну возможно ли ему — сами вы подумайте, возможно ли ему — дать согласие, что хотя бы даже и с кониного получить? Ведь куриный, птичий, все одно червонец... За что же он должен?.. Да нет, нет! Тут никаких способо́в нет... Как можно! Какой же я буду хозяин?

Миллионы самых тончайших хозяйственных ничтожностей, ни для кого, как мне казалось, не имевших решительно ни малейшего значения, не оставлявших, как мне казалось, даже возможности допустить к себе какое-либо внимание, вдруг выросли неодолимою преградой на пути

ко всеобщему благополучию... Горячность, даже азарт, какой овладевал Иваном во время этого монолога, доказывали, что эти ничтожности задевали его за живое, то есть за самое чувствительное место его личных интересов. Слушая его, я не возражал, но только дивился: человек, который при «хорошей жизни», «на воле», «на свободе» не жалеет денег на пьянство, не находит возможности чем-нибудь наполнить свое существование кроме распутства, — человек, который «швыряет», как барин, деньги, когда ему легко жить, — вдруг, как скупец, дрожит над каким-то куриным наземом, не соглашается уступить зерна, ежели оно возросло на ненадлежащем удобрении... Человеку *легко* — он «ослаб», пропадает и пропивается; человек отказывается от *облегчения* в труде, и во имя чего же? Во имя каких-то ничтожнейших мелочей!.. Он рад, когда начальник дистанции дал ему по шее и из легкой жизни опять ввергнул в трудную. В чем же тут тайна?



IV. ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

А тайна эта поистине огромная и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски-кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, — народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли,* покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* ослушания ее *повелений,* покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование. У актера, который играет Мефистофеля или Демона, до тех пор лицо будет казаться огненным, покуда оно будет освещено огненным светом; наш народ до тех пор *будет* казаться таким, каков он есть, до тех пор будет обладать теми драгоценными качествами ума и сердца — словом, до тех пор будет иметь тот тип и даже вид, какой имеет, пока он весь, с головы

до ног и снаружи до самого нутра, проникнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери сырой земли. Погасите красный фонарь — и лицо Демона перестало быть красным. Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь».

Я чувствую, до какой степени топорно и грубо высказано мною то, что я хотел сказать, но явления народной жизни, в которых власть земли над человеком имеет первенствующее значение, до такой степени многочисленны и важны и вместе с тем выражаются в такой массе ничтожнейших, повидимому, мелочей, что в них немудрено запутаться и затемнить основную мысль, которую мне бы хотелось высказать. Вот почему мне и думается, что, быть может, и следовало даже определить эту мысль грубыми и резкими чертами.

Земля, о неограниченной, могущественной власти которой над народом идет речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля, а именно та самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи, та самая, которая лежит в горшках ваших цветов, черная, сырая, — словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля. Могущество этой персти, «праха» с глубочайшею силой и простотой указано еще в стариннейшей былине о Святогоре-богатыре. В сущности, это даже и не былина, а загадка, но загадка, в которой таится вся сущность народной жизни.. Все содержание этой коротенькой былины состоит в следующем: Святогор-богатырь выехал во чисто поле гулять. Выехал он просто так, без всякой задней мысли (обыкновенно богатыри выезжают собирать дани, выходы), выехал прогуляться, поразмять кости, силой с кем-нибудь помериться.

По моей ли да по силе богатырской
Каб державу мне найти, всю землю поднял бы.

Никакой, однако, подходящей, к сожалению богатыря, державы на пути не встретилось, а встретился ему «прохожий» мужичок с сумочкой за плечами. «Едет Святогор рысью, а прохожий все идет передом. Во всю прыть не может он (Святогор) догнать прохожего. Закричал тут Святогор, да громким голосом: «Гой, прохожий человек! подожди немножечко — не могу догнать тебя я на добром коне».

Прохожий послушался Святогора, остановился, снял из-за плеч сумочку и сложил ее на землю. «Наезжает Святогор на эту сумочку; своей плеточкой он сумочку пощупывал: как уреслая, та сумочка не тронется. Святогор перстом с коня ее потрогивал: не сворохнется та сумка, не шевельнется. Святогор с коня хватал ее рукой, потягивал: как урослая, та сумка не поднимается. Слез с коня тут Святогор, взялся за сумочку; он приладился, взялся руками обеими, *во всю силу* богатырскую натужился, от натуги по белу лицу ала кровь пошла, а поднял суму от земли только *на волос,* по колена ж сам он в мать сыру землю угряз. Взговорит ли Святогор тут громким голосом: «Ты скажи же мне, прохожий, правду-истину, *а и что,* скажи ты, *в сумочке накладено?»*

Взговорил ему прохожий да на те слова:

— *Тяга в сумочке от матери сырой земли.*

— А ты сам кто есть? Как звать тебя по имени?

— Я Микула есть, *мужик,* я Селянинович, я Микула — *«меня любит мать сыра земля».*

Вот и вся былина-загадка, и опять, как видите, слову «земля» нельзя придать никакого значения, кроме буквального. «Тяга» в этой самой натуральной земле — той самой, которая у вас в цветочных горшках, — оказывается столь огромной, что с ней не в силах совладать богатырь, которому ничего не стоит разнести в пух и прах, от нечего делать, целую «державу». Этот богатырь, ухватившись «обеими руками», из всех сил натужившись, едва-едва мог только на волос поднять мужицкую сумочку — ту ношу, которую народ носит за плечами, и так легко, что богатырю не догнать его на добром коне.

Читая эту былину, некоторое время недоумеваешь, почему и зачем неведомый автор ее, цель которого была показать «тягу земли», заставляет богатыря догонять прохожего пешехода. Но, вчитавшись в былину, видишь,

что все в ней глубоко обдумано, все имеет огромное значение в понимании сущности народной жизни: тяга и власть земли огромны — до того огромны, что у богатыря кровь алая выступила на лице, когда он попытался поколебать их на волос, а между тем эту тягу и власть народ несет легко, как пустую сумочку. Все это так именно есть и до сего дня.

Сначала скажем о тяготе и власти. Вот сейчас из моего окна я вижу: плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой, — что̀ будет, неизвестно решительно никому. Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля и как она будет в состоянии сделать... И вот человек в полной власти у этой тоненькой травинки. Ведь она только через год, почти день в день, принесет на мужицкий стол ломоть хлеба, но может и не принести — она сама во власти каждой тучки, каждого ветерка, каждого солнечного луча... Сколько перемен, неожиданностей, случайностей и огромных последствий, сопутствующих этим неожиданностям! Для этой травинки, для того, чтоб она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях. Нужна работящая жена, которая могла бы участвовать в этой массе труда, нужна скотина, уход за скотиной, нужны орудия и т. д., и все это для этой травинки.

Представьте себе, что выйдет, если мы, оценив результаты в деньгах, дадим этих денег любому крестьянскому двору втрое больше, чем он вырабатывает в течение года, — что выйдет? Образуется не семья трудящихся, занятых людей, а толпа ртов, у которых вся жизнь — сплошная пустота, что мы и видим в семьях, где живут, как говорится, «на готовые деньги»; тогда как владычествующая над ним земля и труд, к которому она обязывает, наполняют все его существование, объясняют ему необходимость и надобность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления. Жена крестьянина, которая в крестьянстве неоцененна, при готовых деньгах, при отсутствии крестьянского земледельческого труда

теряет вдруг все свои достоинства; она оказывается просто дурой, дубиной, деревом, которое будет мешать везде, куда только ни сунется. Вот почему так противны те из крестьян, которые вылезли к деньгам, отделились от труда, живут на готовое: скучнее, пошлее этой жизни трудно себе представить. Что за глупые разговоры о людях с песьими головами, о Махмуде персидском или, как теперь, о «панье» и «портвине». Кто не знает наконец, сколько глупого «форцу» вносит крестьянин, поживший в трактире, в лакеях и т. д. А ведь он пьет, ест готовое, спит в тепле и деньги получает; у него «часы анкерные»; но кто не испытывал к этим типам самого полного отвращения? И этот же пустомеля и остолоп тотчас начинает возвращаться к образу и подобию человеческому, как только возвращается к труду земледельческому, то есть когда *теряет необходимость* выдумывать свои интересы, наполнять себя нравственно чем попало и когда власть земли и труд, к которому она обязывает, наполняет все его существование содержанием не выдуманным, без его усилий, без его желаний, наполняет своею властью без его участия и воли.

Таким образом, у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: «Чего ты хочешь, тюрьмы или розог?», то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля, не дожидается: нужно косить — сено нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная *легкость* существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «меня *любит* мать сыра земля».

И точно любит: она забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато *он и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что не отвечает: он убил человека, который увел у него лошадь, — и невиновен, потому что без лошади нельзя приступить к земле; у него перемерли

все дети — он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою жену — и невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, через нее стало дело, стала работа. А хозяйка-земля требует этой работы, не ждет. Словом, если только он слушает того, что велит ему земля, он ни в чем не виновен; а главное, какое счастье не выдумывать себе жизни, не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл глаза! Дождь на дворе — *должен* сидеть дома, вёдро — *должен* идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвечая,* ничего сам *не придумывая,* человек живет только *слушаясь,* и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь*, не имеющую, повидимому, никакого результата (что выработают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе.

Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и в конце концов кормить желудями свиней? — Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключается, что он *просто растет,* просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд — это и есть жизнь и интерес жизни, а результат — нуль.

Вам, например, петербургскому интеллигентному чиновнику, жизнь не так легка: вы работаете в министерстве до пяти часов поденщину, чтобы выработать *средства к жизни,* вы делаете *ненужную* вам работу; что такое для вас лично горе вдовы кабатчика, Евдокии Миломордовой, которая пятый год со слезами умоляет защитить ее от опекуна, который при разделе дома завладел четырьмя окнами, а ей дал три, тогда как ей следовало еще пол-окна, — что вам до этого? А вы должны сидеть, класть резолюции, усовещивать опекуна на основании статей закона, грозить ему. Вы делаете это из-за средств к жизни, а для вашей личной жизни все это не нужно совершенно. Жизнь для вас — особь статья: Сарра Бернар, Зембрих, почести, политика, то есть нечто совсем особое от вашего труда. Детей, например, вы должны воспитывать (чтобы не испортить) вдали от знакомства с вашими служебными и общественными интересами.

Вы трудитесь, надеясь на какой-то результат. Словом, ваша жизнь разбилась на полосы, в которых нет связи. Вы в департаменте совсем другой, чем дома или в театре. А крестьянин-земледелец везде один и тот же: он трудится и живет интересами этого же труда, и в этих же интересах *сам собой,* без учителя, воспитывается и его ребенок. Результат вашей жизни, положим, хоть плотная банковая книжка; банковая книжка пахаря тут же всегда с ним — в его радости, что вёдро, что «овсы» взялись шибко и т. д. Вам нужен, кабинет — *для себя,* салон — для общества, классная — для детей. И везде все разное и думается, и говорится, и делается; для пахаря-мужика нужна *одна* изба, потому что все живут одним — землей, у всех один труд — земледельческий, все говорят и делают одно — то, что повелит мать сыра земля!

Недавно пришлось мне разговаривать с одним старым-престарым крестьянином, который вырастил и пристроил всех детей, похоронил жену, сдал землю в общество, так как сил работать у него уже нет, и пошел странствовать по святым местам. И о чем же вспоминает этот старик, стоящий на краю гроба? Что бы ему вспомнить двенадцатый год, осаду Севастополя или какое-либо иное знаменательное событие, свидетелем которого он был? — Нет, он вспоминает только землю.

— Жалко было бросать-то? — спросил я.

— Вот как жалко, сказать не могу... И-и, матушка родная!..

И буквально с плачущими нотами в голосе продолжал:

— По де-вя-но-сто мер хлеба се-я-ал!.. Ов-вес у меня крестецкий, тя-а-желый-претяжелый... Бывало, до свету примутся мои бабы жать, что огнем палят...

«Девяносто мер» — это такая, должно быть, была прелесть, такой простор наслаждению! Сарра Бернар, когда будет старой старушкой, вероятно с таким же умилением будет вспоминать восторги, которые она вызывала в массах зрителей, какое испытывал этот старик, вспоминая время, когда он сеял де-вя-но-сто мер, вспоминая крестецкий овес и «своих баб», которые так были «завистливы» на работу, что принимались за жнитво до свету.

Когда между мною и стариком шел разговор (мы сидели на улице, дело было в конце лета), вдруг вдали

на деревне грянул звонкий девичий хор; старик поднял голову и, слушая песню, сказал:

— Ишь горло-то дерут! Урожай ноне... Бог послал...

Хор зазвенел еще звончей и громче.

— Картофь, должно, господь уродил ноне, — прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения.



V. НАРОДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

И опять я знаю, что сказанное мною сказано грубо и топорно, но опять-таки повторяю, чтобы хоть как-нибудь разобраться в том запутанном нравственном состоянии, которое переживает народ и которое таит в себе огромные несчастия, необходимы грубые, топорные черты, чтобы резче разграничить необходимое для народа от гибельного. Итак, приводя в порядок все до сих пор сказанное, я думаю, что мало ошибусь, если скажу, что двухсотлетняя татарщина и трехсотлетнее крепостничество могли быть перенесены народом только благодаря тому, что и в татарщине и в крепостничестве он мог сохранить неприкосновенным свой земледельческий тип (он *изнурялся физически* на барской работе, но делал ту же работу, что и для себя), цельность своего земледельческого быта и, главное, *земледельческого миросозерцания*. Не нагайки, не плети, не драпье на конюшне, не становые или урядники, ни тем паче пятнадцать томов законов с двадцатью томами примечаний — держали его в повиновении, развили в нем строгую семейную и общественную дисциплину, сохранили его от тлетворных лжеучений, а деспотическая власть «любящей» мужика матери-земли, обязывавшая его тяжким трудом и вместе с тем облегчавшая этот труд, делая его интересом всей жизни, давая возможность *в нем же* находить *полное* нравственное удовлетворение. Кроме этого, едва ли я ошибусь много, если скажу, что и *община* наша только потому, как говорится, устояла и только до тех пор, прибавим мы, устоит, покуда членов ее соединяет *однородность* земледельческого труда,

однородность надежд, планов, волнений, забот, *однородность* семейных и общественных обязанностей.

Я вовсе не хочу сказать, что *однородность* эта обязательна была и есть для характеров, дарований, умов, нервов. Напротив, над однородностью труда и вытекающего из него миросозерцания — ум, талант, сила, дарование имели полный простор, но проявлялись-то они *в одном* и том же деле, хотя и различно. Эту одинаковость и однородность труда, не мешающего проявлению дарований, надо принимать в расчет и при оценке нравственной силы наших артелей: у нас если пойдут рисовать поднос с огнедышащею горой, так с того места, где нарисован первый поднос, и пойдет по линии верст на четыреста — все деревни и все люди в деревнях примутся малевать тот же поднос с огнедышащею горой. Тут дело в том, что все хотят равняться только в средствах труда: у всех одна и та же краска, одно и то же железо, один и тот же рисунок; на этой одинаковости и конец равнению. Дальше этой одинаковости идет талант, физические преимущества, ум, проворство, случай: раньше встал, прежде других вышел на базар, купец-покупщик попал добрей. Едва ли не преувеличено мнение некоторых исследователей общины относительно размеров той опеки, которую община накладывает на своих членов почти в каждом поступке. Не знаю. Искал я этой опеки и нашел, что действительно иногда общины запрещают своим членам продавать «навоз на сторону», а других опек что-то не видно. Сироту берет не община, а кто-нибудь из нее, добрый человек, — берет *сам,* без помощи и приказания или совета мира. Навоз действительно нужен в хозяйстве. Такие слишком уж одинаковые во всех отношениях общины не существуют даже в животном царстве; даже у стерлядей, по свидетельству рыболовов, существуют «десятники», которые посылаются стерляжиным обществом искать места для метания икры. Волжская рыба сазан, тоже живущая своими сельскими обществами, имеет и выборных, и ходоков, и депутатов; они обыкновенно идут впереди «общества» и, подойдя к заколу, который ставят рыбаки поперек рек, начинают пробовать крепость его носом, потом налегают боком, потом пробуют перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладывают обществу;

мирской сазаний сход решает «взять» закол всем миром, и точно, все стадо с страшною стремительностью бросается на закол и ударяет в него всем своим коллективным рылом. Многие погибают насмерть, а другие проскальзывают в брешь и спасаются.

Не говоря уже о том, что некоторые из мирских поступков нашей деревни, ввиду вышеприведенных примеров (которых можно бы привести множество), теряют некоторую долю своего значения, эти примеры, взятые из рыбьего быта, говорят, что даже и в этом быту нет сплошного во всем равенства и одинаковости, тем паче нет и никогда не бывало его в общине крестьянской, человеческой. Но опять-таки *земледельческий* труд, жизнь *в земледельческих* условиях и, главное, *земледельческое* миросозерцание смягчали эти резкости всевозможных неравенств просто потому, что делали их всем понятными. Возьмем вопрос самого жгучего неравенства — богатство и бедность. Богачи всегда бывали в деревне; но я спрашиваю, чем и каким образом мог разбогатеть крестьянин-земледелец и как и отчего мог обеднеть? — Только землей, только от земли. *Он не виноват,* что у него *уродило,* а у соседа нет; *не виноват* он, что он силен, что он умен, что его семья подобралась молодец к молодцу, что бабы его встают до свету и т. д. Тут — счастие, талант, удача; но счастие, талант, удача — *земледельческие,* точно так же как у соседа земледельческая неудача, отсутствие силы в земледелии, отсутствие согласия семьи, нужного для земледелия. Тут *понятно* богатство, *понятна* бедность, тут никто ни перед кем не виноват. Это не то, что теперь, когда Иван Босых, силач и весь созданный для земледелия, нищенствует, а мужичонко, которого перешибить можно плевком, богат без земли и без труда, на который он не способен. Такое богатство, которое у всех на виду, которое всем понятно, — извинительно, и ему можно покоряться без злобы. Чем виноват этот богач-земледелец, у которого земля уродила потому, что на нее *пал дождь,* а на мою не пал, и я обеднял? Завтра на *мое* счастие ударит *грибной дождь,* высыпет в лесу масса грибов, и я не поленюсь встать до света и собрать их, пока другие спят. На мое счастие попадутся белые грибы, а ведь они — рубль двадцать фунт; это счастье может посетить и меня, как посетило

соседа. Точно так же я *не могу* роптать и на то, что сосед умней, проворней, сильней, дальновидней. Он и я — мы делаем *одно* и то же дело, только по-разному, по-своему, как кто может и какое кому счастье. Это взгляд, которому учат также земля и неразрывная с нею невозможность сопротивляться велениям природы, с которою человек неразрывен, имея дело с землей и живя земледельческим трудом. Но тот же самый человек, который без зависти и злобы переносит богатство, понятное ему и объяснимое с точки зрения условий собственной жизни и миросозерцания, ожесточится и со злобою будет взирать на такое богатство своего соседа, которое он, во-первых, *не может понять* и которое, во-вторых, вырастает вопреки всему его миросозерцанию, без труда, без дарования, без счастья, без ума.

Вот это-то и есть язва теперешней деревенской жизни, но о ней мы будем говорить самым подробным образом во второй половине этих заметок; там же, и с возможно большею обстоятельностью, мы остановимся и на другой, также важнейшей черте народной жизни, о которой в настоящем отрывке не сказано ни слова почти умышленно — не сказано для того, чтобы по возможности ярче выставить самое основание народного миросозерцания и власть, которую играет в нем земля. Это другое, важное в народной жизни, есть *народная интеллигенция, всегда, во все времена существовавшая в народе, но теперь незаметная.*

Принимая от земли, от природы указания для своей нравственности, человек, то есть крестьянин-земледелец, вносил волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций дремучего леса, слишком много наивного лесного зверства, слишком много наивной волчьей жадности. Мужик, который убил жену, потому что она «мешает» в хозяйстве, слаба, не работяща, ленива и, может быть, зла, — согласно лесной морали, был прав и, согласно ей, *не чувствовал* себя виновным; но чем же виновата убитая, что она слаба, больна, нравственно несчастна и т. д.? Вот эту, не зоологическую, не лесную, а божескую правду и вносила в народную среду *народная* интеллигенция. Она поднимала слабого, беспомощно брошенного бессердечною природой на произвол судьбы; она помогала, и всегда *делом,* против слишком жестокого напора зоологи-

ческой правды; она не давала этой правде слишком много простора, полагала ей пределы. Интеллигенция эта ни капли не похожа ни на графа Судак-Огратанова 12-го, который «с сотнею» казаков разбил многочисленного неприятеля, не походила на поэта, бряцающего на казенной лире подвиги означенного графа, ни на государственного мужа, написавшего сто томов разных полезных законов, не походила ни на нынешних становых, председателей, урядников, гласных, волостных старшин и т. д. Ни на что подобное она не походила, потому что тип ее был тип *божия угодника.* Но это не тот угодник, который, угождая богу, заберется в дебрь или взлезет на столб и стоит на нем тридцать лет. Нет, *наш народный* угодник хоть и отказывается от мирских забот, но живет только для мира. Он мирской работник, он постоянно в толпе, в народе, и не разглагольствует, а делает в самом деле дело. Народная легенда о Николае и Касьяне как нельзя лучше рисует этот тип *народного* интеллигентного человека. Касьяну, как известно, праздник бывает только в четыре года раз (в високос), а Николаю — множество раз в один год. Отчего так? Оттого, разрешает этот вопрос легенда, что когда Николай и Касьян пришли давать богу отчет, после того как они были на земле между людьми, то Николай оказался весь испачкан грязью и в изорванном платье, а Касьян пришел франтом. Вот бог и решил, что Николай все время работал, толкался в народе, хлопотал, а Касьян только разговаривал, за это и положил праздновать Касьяну в четыре года раз, а Николаю в год чуть не двадцать раз. Вот такой-то тип и есть тип *народной* интеллигенции, и дела такого угодного богу и народу человека как нельзя лучше подходили к общим условиям земледельческого быта: они были нужны, настоятельны, — и такой работник, как мы видим, был. Теперь нет в народе такого типа, такого работника, никто не пачкает своего платья из-за чужой беды. Все добрые дела обязались делать земские собрания за умеренное вознаграждение. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, так как и труд — уже не труд и жизнь одновременно, а только труд.



VI. ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Задавшись целью определить значение в народной жизни и миросозерцании «земли» и «земледельческого труда», я должен бы был теперь же, то есть тотчас после общих рассуждений об этом предмете, перейти к примерам, к проявлению, если так можно выразиться, *«земледельческой мысли»* народа в частных, семейных, общественных делах. Все это и будет сделано мною впоследствии в отдельных отрывках; теперь же, ввиду того что мне в этом общем очерке современной земледельческой жизни необходимо говорить о таких явлениях, которые самым безжалостным образом расшатывают и разрушают весь строй народного труда и миросозерцания, я ограничусь несколькими случайными примерами, касающимися «власти земли», только для того, чтобы виднее было, что именно творится в народной жизни в настоящее время.

Итак, чтобы не далеко ходить за этими примерами, возьмем первое, что попадется под руку.

Берем, например, один из новогодних календарей; там, в отделе примет и замечательных событий, обратите внимание на те из них, которые «замечательны» для народа. Возьмем 6 января, «крещение». В отделе замечательных событий «для господ» ничего не показано. 3 января показано, что умер граф Румянцев, канцлер, покровитель наук и просвещения, и заключен мир и договор в Андрусове в 1667 году и в Бахчисарае в 1681 году; затем ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го ничего особенного не случилось. А вот в отделе народных «замечательных» событий значится целых *семь* замечательных примет, именно: «Яркие звезды под крещение — много родится белых ярок». «На крещение день теплый, будет хлеб темный». «Коли идут на воду в туман, будет много хлеба». «На крещение метель, и на святой будет метель же». «На крещение снег хлопьями — к урожаю» (цвет будет хорош). «Если на крещение в полдень (вот какая точность!) *синие* облака — к урожаю». «Если на крещение звездная ночь — урожай на горох и ягоды». А затем так и пошло без перерыва на целый год, вплоть до будущего крещения, — у господ идут: взятие, покорение, одоление и т. д., а у крестьян: «На Трифона звездно — весна поздняя».

«На Евдокеи снег — урожай». «На Евдокеи погоже — лето пригоже». «Коли грачи дружно на гнездо летят — дружная весна». «Каковы на Алексея ручьи — такова и пойма». «На благовещение дождь — родится рожь, мороз — урожай на грузди, гроза — к теплому лету и орехам, мокро — к грибам». «Апрель сипит да дует — тепло бабам сулит, а мужик глядит, что-то будет». «Марья — заиграй овражки, зажги снега». «Коли на Юрья березовый лист в полушку, на успение клади хлеб в кадушку». «Если на Николу заквакают лягушки — хорош будет овес». «На Луку полуденный ветер — к урожаю яровых».

Святые и чудотворцы также переведены на крестьянское положение: св. апостол Онисим переименован в Онисима-овчарника, Иов многострадальный — в Иова-горошника; св. Афанасий Великий, архиепископ александрийский, имя которого «нераздельно соединено с историей христианской церкви в IV веке, так как он — один из самых ревностных защитников благочестия против лжеучения Ария», переименован просто в Афанасия-ломоноса, потому что около дня его имени, 18 января, бывают самые страшные морозы, от которых кожа слезает с носа. Св. преподобно-мученица Евдокия, отличавшаяся в молодости тем, что «пленяла красотой юношей и жила во грехе», а потом, по увещанию некоего Германа, обратилась к истинному богу, именуется «Евдокея-плющиха, подмочи порог», так как 1 марта, день ее празднества, тает, плющит снег и т. д. Герасим — грачевник, Ирина — рассадница, «на Кузьму — сей свеклу», Лукерья — комарница (13 мая), Леонтий — огуречник, Акулина — гречишница и т. д. и т. д. Таким образом, весь год — триста шестьдесят пять дней имеют каждый бесчисленное множество примет, и хотя эти приметы не имеют для вас, образованного читателя, никакого значения, даже смысла, но земледельческую народную мысль они достаточно-таки характеризуют. Сколько нужно внимательности, а следовательно, и траты собственной мысли, примечая, например, цвет облаков в полдень в крещение, находить в этом связь с урожаем, который может определиться в августе, то есть через семь месяцев! «Если на крещение в полдень синие облака. . .» Может быть, эта примета ровно ничего не означает, но неужели же, чтобы создать эту примету, чтоб августовский хлеб привести в связь с цветом обла-

ков в крещение, да еще в полдень, не надо было много и своеобразно думать, и притом думать именно «земледельчески»? Один уж этот пример, взятый, повторяем, совершенно случайно, — а таких примеров мы могли бы привести поистине великое множество, — один он может показать, до какой степени крестьянин тратит много внимания на природу и землю и на все, что с ними связано: мало отметить день какою-нибудь приметой — отмечается даже час, полдень, отмечается цвет облаков, ночью отмечается блеск звезд и т. д. И это на каждый день в году и едва ли не на каждый час. Можете представить, что об одном хлебе, об урожае или неурожае начинают примечать тотчас после посева: уж в октябрьских приметах значится: «коли лист (опадающий) ложится вверх изнанкой, будет урожай». В ноябре «снегу надует — хлеба прибудет», а «коли лед на реке становится грудами, будут и хлеба груды». В декабре «большой иней, груды снега — и хлеба будет много». *«Коли снег привалит вплоть к заборам*, будет неурожай; коли не вплоть — урожай». «Иней на деревьях — урожай». «Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе». 25 декабря ясный день к урожаю; небо звездисто — к приплоду скота, ягодам, гороху. «Коли тропинки черны, уродится гречиха». Чего стоит хоть бы вышеприведенная примета — *коли снег привалит вплоть к забору и коли не вплоть!* Едва ли банкир и капиталист в такой же степени тщательно изучает все случайности, которым могут подвергнуться его бумаги, как тщательно изучает крестьянин мельчайшие подробности случайностей природы, обусловливающие успех его труда и всего благосостояния. Но мало того, что каждый день в году и почти каждый час в течение дня запримечены, объяснены и осмыслены сообразно земледельческим условиям жизни; мало того, что запримечено и объяснено появление каждого облака, дождя, снега, их свойства, вид, даже цвет (облака); мало того, что все святые, чудотворцы, апостолы переименованы сообразно земледельческим условиям быта народного: самое священное писание, если послушать деревенских толкователей его (не говорю о раскольниках и сектантах, которые толкуют его весьма широко), кажется, только и написано для того, чтобы доказать крестьянам, что «приидет царь (такой-то) и даст землю». Непонятный,

запутанный текст «Апокалипсиса», который с такой охотой читают деревенские грамотные люди, в толкованиях этих последних получает совершенно неожиданно самый ясный смысл, потому что все оказывается написанным насчет того, что земли будет вволю... Везде, где попадаются слова: «и соединиша», «и соединихом», «и соединих», — уж непременно дело идет насчет земли. «И соединих»... вот это и есть это самое, толкует толкователь: «Как у нас теперь наша земля отошла и буерак с прутняком отошел, то вот и пишется, что «приидет» и присоединит все опять же к нам...»

— А не сказано, что сначала отойтить от нас должна?

— Как же не сказано-то! Вот...

И тотчас отыщется место, в котором сказано: «разрушу», «расторгну», и потом отыщется другое место *после* «расторгну», в котором сказано: «и соединих».

— Вот так и есть: сначала отобрали, а потом отдадут обратно.

Отыскиваются указания в «Откровении», имеющие чисто местный характер. Например, вот в этой деревне крестьянскую землю раскидали в три разных места, а в другой она только в двух местах, и каждая деревня непременно найдет в «Апокалипсисе» указания, касающиеся земельных особенностей каждой. Одна отыщет, что «трие воедино», а другая — «воедино да будут двоие», и все это с глубочайшею верой и благоговением... Однажды, разговаривая с таким старичком-толкователем, я спросил его:

— Ну а у меня отберут землю *тогда?*

— А у тебя сколько земли? — спросил старичок.

— Одна десятина.

Старичок подумал, переспросил, как и у кого куплена, и, подумав еще, сказал:

— Тебе *тогда* должна быть прирезка.

И подумавши еще, прибавил:

— Тебе тогда *должны* еще четырнадцать десятин нарезать...

И об этом даже сказано в писании. Даже то обстоятельство, что земли *в то время* будет на душу по пятнадцати десятин, и то предусмотрено в священном писании, и толкователь обещается указать место в «Апокалипсисе», где именно эта цифра указана. Вы представьте

себе в этом толкователе седого, истомленного трудом, ходьбой по добрым людям (у него перемерла семья) старика, представьте, что каждое слово в его толковании о земле говорится с истинным благоговением и с таким же благоговением слушается, — и вы, быть может, задумаетесь над этою чертой страстного ожидания земли народом. Она нужна не только как хлеб — хлеб можно достать на поденщине (теперь дворники получают в Петербурге по тысяче рублей, и все-таки думают о деревне и земле), — но как основа всего рисующегося в народном воображении светлого будущего, как основание единственно безгрешного труда, как источник таких человеческих отношений, в основании которых лежит «добровольное» повиновение друг другу, — отношений, всего менее допускающих «человеческий» произвол, *ввиду всеобщего и неизбежного повиновения* несокрушимой, непобедимой, таинственной и непостижимой власти.

VII. ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ

Теперь посмотрим, в какой степени это, имеющее для народа огромное значение, стремление к земле удовлетворялось в прежние времена и удовлетворяется теперь.

Рискуя быть причисленным к разряду заскорузлых крепостников, я должен сказать, что при крепостном праве наше крестьянство было поставлено по отношению к земле в более правильные отношения, чем в настоящее время. Я не говорю о несправедливом труде, который нес крестьянин на своих плечах, о его вековой жажде высвободиться из-под этого гнета и т. д. — все это не может быть предметом настоящей статьи, предмет которой — только значение для крестьянина земли. И в этом отношении крестьянин имел земли гораздо больше, чем теперь; не ошибемся, если скажем, что земли у помещичьих крестьян было вдвое более против теперешнего. Кроме того, всякий помещик, если он не был безумным или выродком, вроде, например, Измайлова и других

подобных ему зверей, *из личной выгоды* должен был поддерживать в своих крестьянах все, что делает их настоящими крестьянами-земледельцами, так как только крестьянин исправный и есть исправный плательщик помещику, который жил его трудами. Глядя на крестьянина как на бессловесное животное, помещик, хотя бы самого грубого и дикого нрава, должен был кормить это человеческое существо, почитаемое им за скотину, чтоб она возила, чтоб она работала, чтоб она давала ему доход. В смысле получения этого дохода было организовано все деревенское управление, наблюдалась тщательно сила семей; по этой силе распределялись налоги и барщина; во имя *хозяйственных целей* вот эта пара одиноких лиц мужского и женского пола соединялась насильственным браком, и образовывалось земледельческое рабочее тягло; во имя хозяйственных целей вот этот неспособный в хозяйстве человек брался во двор, а другой — вор и пьяница — шел в солдаты. Силы людские, имевшиеся в распоряжении помещика, всячески экономизировались в смысле хозяйственной выгоды.

Эта хозяйственная организация деревни до сих пор еще весьма сильна в сознании деревенских стариков, помнящих крепостное право. До сих пор оценка человека только по его успеху или неуспеху в работе не только играет большую роль в крестьянском мнении вообще, но служит даже для достижения целей деревенских эксплуататоров новейшего типа. Как известно, а может быть, и неизвестно читателю, в настоящее время телесные наказания при волостных правлениях не только не умаляются в своих размерах, но, напротив, с каждым годом возрастают. Крайне жаль, что новорожденные провинциальные издания относятся недостаточно внимательно к суровой действительности, переживаемой народом. Ни плана, ни программы, мало-мальски выработанной и обязательной для корреспондентов, ничего нет. Такое замечательное явление, например, как торги на лесные и земельные участки, на которых крестьяне могли торговаться обществами без залогов, в высшей степени важно, как опыт борьбы кулака с целым сельским обществом, а между тем оно не вызвало ни одной корреспонденции, ни одной цифры. Дранье на волостных судах также проходит без малейшего внимания, а дранье — непомер-

ное... Мы уверены, что если бы кто-нибудь дал себе труд просмотреть решения волостных судов (мы уже не говорим — разобрать подноготную мотивов этих решений) и сосчитать число высеченных, положим, в осенние только месяцы, — так положительно волос встанет дыбом даже у аракчеевских ветеранов. Я сам был свидетелем летом 1881 года, когда драли по тридцать человек в день. Я просто глазам своим не верил, видя, как «артелью» возвращаются домой тридцать человек взрослых крестьян после дранья — возвращаются, разговаривая о посторонних предметах.

— Да неужели их драли? — спрашивал я старосту, который, возвращаясь после этого «присутствия», зашел ко мне папиросочки покурить.

— А то как же? .. Я сам троих «приставил».

— Да за что же?

— А за то, что заслуживают... Не храпи, не пьянствуй... Мало ли у них блох-то! ..

Осенью самое обыкновенное явление — появление в деревне станового, старшины и волостного суда. Драть без волостного суда нельзя — нужно, чтобы постановление о телесном наказании было сделано волостными судьями, — и вот становой таскает с собой суд на обывательских. Суд постановляет решения тут же, на улице, словесно, а «писать» будут после. Писарь тут же. Вы представьте себе эту картину. Вдруг в полдень влетают в село три тройки с колокольчиками: на одной — становой, на другой — старшина с писарем, на третьей — шесть человек судей; все это почтенные Несторы-летописцы, Дафаны, Авироны, Авраамы и... Хамы, между прочим. Разумеется, эти Авироны не виноваты, по крайней мере в тех размерах, как это кажется с первого раза, — их таскают силой и для формы. Въезжает эта кавалькада, и начинается немедленно ругань, слышатся крики: «Розог!»... «Деньги подавай, каналья!»... «Я тебе поговорю, замажу рот»...

И опять приходит свидетель и, делая папироску, рассказывает:

— Ка-ак вжикнул, сразу кровь пошла...

— Да неужели же опять драли?

— А как же?.. Который заслуживает, храпит, пьянствует... Только не всех... Сейчас деньги явились...

А которые оставши не сечóны, тем отстрочка на две недели дана... Ну а между тем *все к розгам подписались...*

— Это что же такое?

— Драть, *в случае не принесут денег...*

И, помолчав немного, он прибавил:

— Смородины нарезали... на розги-то!

Впоследствии читатель увидит, почему «невозможно» не драть. До тех пор, пока простая, искренняя внимательность, простое, но искреннее желание отнестись к человеку по-человечески, просто, совестливо войти в его нужду и в *самом деле* (повторяю, в *самом деле*) удовлетворить ее — не осветят наших темных дней, дранье не прекратится. Но хоть оно и неизбежно (эту неизбежность докажут вам волостные старшины и становые пристава), а нельзя не принять в соображение, что этот посев ежедневной и ежегодной жестокости, как и всякий посев, должен, непременно должен дать всходы, плоды. Но едва ли они будут похожи на смородину. Кстати здесь сказать, что и теперь уже есть признаки выражения народом нетерпения; рассказывают про одного волостного старшину, который «осмелился» попросить станового не ругаться скверными словами в присутствии волостного правления, а это худой признак для любителей смородины. Наконец тот самый староста, разговоры с которым я привел выше, недавно сменен обществом раньше срока. Еще бы годик, и он был бы «на самом лучшем счету» — так он усердно «приставлял» в волость и до такой степени относился к народу «без внимания». Замечательно, что когда я спросил его, кто подвел под него интригу — старик или молодой, то он с огромным негодованием ответил:

— Молодой, пес его дери!..

И прибавил:

— Ну да я всех их разыщу. Погоди!

А и самому этому человеку нет сорока лет. Он молод, силен, здоров, умен, но есть в нем какое-то невольное стремление отделиться от мужиков... Крестил его, извольте видеть, какой-то высокий сановник, случайно заехавший в ихнее место на охоту, крестил, подарок сделал и точно печать наложил: не может мужик не считать себя чем-то особенным. Наконец вот еще любопытная

черта. В старостах он не пробыл и года; до этой должности он был простой мужик и рыболов. В течение нескольких месяцев начальствования ему попали земские деньги на овес: он не утаил их, роздал всё, как следует, но он их *только подержал* у себя (буквально) лишнюю неделю и вот теперь, посмотрите, выходит в капиталисты. Покупает «у мужиков» солому по 15 копеек за пуд, а продает по 35 копеек. Стал отправлять вагоны в Питер. Недавно отправил шесть вагонов (обертывать бутылки иностранных вин). И я уверен, что угроза его односельчанам, выраженная фразой: «Погоди, я их всех найду!» — осуществится... С другой стороны, я тоже знаю, что и односельчане тоже не дремлют и тоже произносят коекакие фразы насчет этого нарождающегося купца, бормочут что-то насчет «произведем», «так ты и выскочил в купцы...» Но чем все это кончится, не знаю.

Прошу читателя извинить меня за это длинное, прямо к делу не относящееся, отступление и возвращаюсь к соображениям по поводу телесного наказания. Не раз я становился втупик перед этим явлением. Я никак не мог понять, каким образом можно положить на пол, раздеть и хлестать смородиной вот этого умного, серьезного мужика, отца семейства — человека, у которого дочь невеста.

— Да неужели же их силой кладут на землю? — спрашивал я у того же старосты, который готовился быть на хорошем счету.

— Коё — сило́м валят, коё — сами ложатся. Вот ноне (когда секли тридцать человек) сами всё.

— Да неужели это правда?

— Да чего ж мне лгать-то? Так один по одному и ложатся.

Впоследствии я понемногу ознакомился с теми гнуснейшими, своекорыстнейшими побуждениями, которые действуют в этой, ничего хорошего не обещающей, свалке. Увидел много самой звериной злости, прикрывающейся законом, но в то же время я узнал, что и не звериная злость, обыкновенно скрывающаяся, и не насилие прямое и грубое дают одному человеку право бить другого, а хозяйственные доводы. Староста «приставляет» мужика к розгам не за то, что хочет ему отомстить за обиду (он об этом умолчит), а за то, что тот не внес шести рублей, тогда как *мог бы* внести. В правлении, где

решают число ударов и где человек приготовляется раздеваться, вы слышите разговоры о сене, которое продано за столько-то, упреки, что из этих стольких-то рублей пропито больше, чем следовало.

— Сено теперь сорок пять копеек, это нам известно! — кричат судьи. — Ложись-ко!

— Коли бы по сорок-то пять я взял, так я бы и внимания не взял говорить! — оправдывается виновный. — Я тебе честью говорю — по двадцать восемь копеек!

— Полно зубы-то заговаривать — по двадцать восемь! Знаем мы очень прекрасно. Твое сено — первый сорт. Ослеп ты, что ли, за двадцать восемь-то отдавать?

— А забыл, дождик-то сколько погноил... на Илью-то? Есть в тебе совесть?

— На Илью!.. Знаю я Илью. Ложись-ко без хлопот. Погноил!

Какое бы адски своекорыстное побуждение ни руководило всей этой жестокою комедией (ниже мы увидим пример проявления своекорыстия в такой жестокой форме), всегда пункт, на котором держатся судьи, и вина, которую может сознавать виноватый или которую *навяжут* ему, потому что знают, что он только *в этом* смысле и может кое-что понимать, — всегда исходный пункт для всей этой операции — преступления *хозяйственные:* «продал телушку, а купил зеркало» и т. д., что уж доказывает фанаберию и т. д. Нет никакого, конечно, сомнения в том, что в этой жестокой комедии участвуют и другие мотивы, но самое понятное и самое доступное пониманию во всем этом бессмысленном безобразии — это *вина против своего хозяйства.*

Кстати, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, скажу теперь же о том своекорыстии (деревенском), которое умеет прикрываться всевозможными способами, меняя шкуру сообразно тем настроениям высших «командующих» классов, которые входят в моду в данную минуту.

Приходит ко мне одно из «благонадежных» крестьянских лиц, стоящее на отличном счету у начальства. Подати у него всегда взысканы, мужики снимают шапки при проезде всякого начальства и вышколены им для «декорации преданных поселян» превосходно. Сам он — умный и, как увидим ниже, «добрый» человек; но мода «на муг-

ную воду», на трескучий вздор, прикрывающий своекорыстие, совершенно его извратила. Он знает одно, что сильна и властвует только палка, и добивается он только того, чтобы в результате получился более или менее жирный кусок пирога. Но, зная это, он превосходно понимает, что поступать открыто невозможно, и поэтому, руководствуясь общим жизненным настроением, поступает вполне прилично, законно и даже либерально. Люди подобного типа отлично собезьянили всю интеллигентную внешность своих воспитателей, административных педагогов; но педагоги эти ошибутся, если подумают, что в этой внешности есть что-нибудь в самом деле искреннее. Увы, старая пословица — «каков поп, таков и приход» — до сих пор остается глубоко справедливой: раз учителя не уважают человека, а норовят только поживиться на его счет, прикрывая свои частенько не только несправедливые, а прямо жестокие действия всякими законными, либеральными или охранительными доводами, — и ученики вышли такие же, с тою только разницей, что они, как простые деревенские люди, не привыкшие к пустякам, буквально уж не сделают *ни единого* бесцельного поступка. Вот на днях такие «надежные» маленькие сельские Капгеры поднесли адрес и альбом мировому судье. Они отлично выразили в адресе свои чувства, преданность. Альбом стоил рублей двести. Вы думаете, тут в самом деле чувство? Нет, тут «заручка» на «предбудущие времена», в случае попадется на какой-нибудь плутне или понадобится пристращать «должника» по знакомству. «Что ж, он в самом деле хороший человек? — спрашивал я благонадежного. — Вот здесь, в адресе, сказано: «и ваше неустанное попечение о благосостоянии» — что ж, в самом деле он внимателен к народу?» — «Как же, в самом деле. Очень даже внимателен... Служил в земстве, так не забыл в свое имение дорогу проложить...» Вот вам и «выраженные чувства». Или: я только что говорил о телесных наказаниях; народ не всегда доволен этим способом взыскания и ропщет на старшину и на начальство. И действительно: прикрываясь террором господ становых, «немедленным» взысканием и невниманием к просьбам погодить, пока «станут цены» на тот или на другой продукт, многие из таких «благонадежных» людей скупают во время этого террора за бесценок и сено, и телушку, и рыбу и потому улучшают свое

благосостояние, так что человек несведущий, наслышавшись о бедности деревенской, въехав в деревню и встретив расфранченного парня (из числа улучшивших свое благосостояние вышеупомянутым способом), говорит: «Какое... бедность! Я сам видел мужиков с часами, бархатный жилет... Чистое лганье — эта литература». В деревне это лганье оказывается, однако, для всех, на счет которых явились часы и жилеты, совершенно ясною правдой и возбуждает недовольство, пока скрываемое. Незнакомый с деревенской подноготной видит в этих серебряных часах только серебряные часы, а знакомый с нею, напротив, видит не часы, а лошадь или сто пудов сена. Для него ясно, что в кармане этого франта спрятана целая лошадь, купленная по нужде и перепроданная за дорого, а вовсе не часы «с двум доскам».



VIII. ЖАДНОСТЬ

Научившись устраивать свое благосостояние вышепоказанным образом, человек не может уж отстать от этой «привычки». Правда, он может, как Сютаев, просветлеть духом и сразу порвать несправедливые путы, но покуда Сютаевы — исключительные люди, единичные личности. Обыкновенный деревенский человек, переходя от земледельческого благосостояния к возможности благосостояния денежного, по наивности почти детской, переносит в эту новую для него область старые земледельческие взгляды. Как земледелец, он «травки» не оставит на поле, не устанет нагнуться за ней, срезать, привезть, обмолотить и т. д. Он привык, чтобы «кроха» не пропадала. Будет ли он упускать не крохи, а хорошие «случаи», как вышеупомянутые террористические аукционы? Настоящий земледелец-крестьянин до сих пор чуждается их, как греха; но тот, кто уж *отведал,* неудержим. И в новых «привычках» он будет стремиться дойти до последней крохи, взять все, что идет в руки. А между тем недовольство, возбуждаемое этой системой, явное; он,

«наученный» новому способу богатеть на счет бедности соседа, как крестьянин знает, что сосед ропщет, что он таит злобу и, пожалуй, задумывает «поступить своим средствием». Остановиться — нет силы, а стало быть, надо подавить в соседе злобу каким-нибудь понятным и *резонным для соседа* образом. Сосед думает: «дерете, чтобы наживаться» — и вот, чтоб искоренить в нем связь между драньем и наживой, изобретается подходящее средство. В один прекрасный день становой пристав, разгневанный тем, что старшина хоть и дерет, но не получает результатов — подати идут слабо, по обязательствам и постановлениям волостных судов не платят, — сажает в темную *самого* (о небо!) старшину. Это надолго уничтожает в обиженных мирянах-пахарях возможность логического мышления. «И *ихнему* брату *тоже* достается, — думает простодушный сосед. — Ишь ведь, *самого* старшину запер...» Стало быть, старшина не все сам командует — ихнего брата тоже «подбадривают». Арест старшины успокаивает соседа, но старшина, возвратившийся из-под ареста, неумолим. Под ногами теперь у него твердая почва.

— Вы что ж, анафемы, со мной делаете? Докуда будет эта ваша подлость? Когда вам добром говоришь, рыло воротите, а я за вас сиди в холодной, не пимши, не емши! У меня сена за три-то дня погноено на сто рублей. (При этих словах все сознают свой грех.) Чем я буду кормить скотину? (Опять все «чувствуют».) Плевать мне на ваше жалованье-то — только от дому отбиваешься, «возжамшись» с вами, с пьяницами, да страмишься в холодной из-за вас, анафем... Я вам добром говорил, так не слухали, — н-ну теперича уж не па-тирьпллю! Теперича стану пас-ссступ-па-а-ать!

И, конечно, — ложись!.. Но знаете ли, что это за канальская штука? Конечно, сажают становые и «взаправду», но очень часто старшина, явившись к становому, по-приятельски говорит: «Пришел к вам с просьбой». — «В чем дело?» — «Ни много, ни мало: посадите меня в холодную. Избаловались мои мужичонки, способóв нету! Не платят, пьют... Ничего не поделаешь. Обколотил все руки. Ворчат... Сажайте — по крайности тогда я уж произведу... Всё же они почувствуют»...

Становой делает «проформу», и старшина, числясь в холодной (с течением времени все *это* узнается и оценивается по достоинству), пьет чай у знакомых купцов, а спать идет в холодную. Я сам пивал чай у себя в доме со старостами, которые тоже для получения права свирепствовать числились в «холодной». Предположим, что маневр этот производится в видах государственной пользы; но, получив право свирепствовать, новообращенный свирепствует заодно и в видах собственной пользы. Тут «под одно» случай хороший взыскать и с «упорного» мужичонки за лошадь и с другого за обиду («ах ты, заячий твой нос!»). Тут уж во всем *воля* пострадавшему «за вас, канальев!» Но, повторяем, со временем все это разберется, оценится по достоинству и принесет плод.

Разговаривал я однажды с таким «новообращенным» человеком, и долгое время он мне доказывал, что они — пьяницы, обманщики, мошенники и т. д., что дранье — единственное спасение.

— Да может, у них в самом деле денег нет? — спросил я.

— Есть у них деньги, у анафем. На пьянство есть, а на дело нет! Послушайте их, канальев, так они вам наскажут. .

И так далее.

Но через несколько дней то же лицо явилось ко мне и заговорило такие речи:

— Стала выходить газета, и начальство просит писать о нуждах. Вот я и хочу туда пустить штучку...

— О чем же?

— О запасных магазинах. Земства побуждают к магазинам, а в то же самое время... Да вот я тут нацарапал.

Нацарапано было между прочим следующее: «Так как крайняя бедность населения и недостаток даже совершенно в пропитании и чем прокормиться, то не в состоянии уделить даже какой-либо крохи, не токмо...» и т. д. Словом, крайняя нищета препятствует устройству магазинов.

Мне бы следовало спросить: «как же так нечем прокормиться, когда несколько дней тому назад вы же говорили мне, что у них есть?» Но я не спросил. Увы, я уж знал из предшествовавших опытов, что значит в данном

случае христарадничеcкий тон, принятый «надежным человеком». Будь в самом деле, а не посредством палки, хорошо, толково и заботливо устроено народное продовольствие, не было бы надобности в земских филантропических подачках, крайне для «земледельца» разорительных и крайне выгодных для деревенских не-земледельцев. Ведь этому не-земледельцу отлично известно, что будущую весну в руках его (опять только «подержать») будет тысяч 20 рублей денег на раздачу овса. Во-первых, он купит его у себя самого «по хорошей цене» (цены достигли необыкновенных пределов, так что при всем старании я мог приобрести куль по 7 руб. 20 к., а в прочих местах покупали по 7 руб. 30 к.), купит у «нужных» господ, у родни и т. д. Все это он раздаст крестьянам в полной точности. Уж будьте уверены, что ни одна овсинка не будет спрятана: «нà — смотри, считай!» И все обыватели скажут: «верно», пересчитав все, каждую овсинку буквально. Мешки даже вытряхнут и палкой выколотят, и то «все верно». Но в то же время он будет требовать подати («что ж, мне опять в холодную за вас идтить?»), и мужики будут ссыпать этот же овес — иные полностью, а иные частью, и не ему, а какому-нибудь «подручному», «конпаниону», да и не по 7 руб. 20 к., а по 5 и 4 рубля. Но это только часть операции, а вот осенью начнется настоящее дело. Мужикам придется отдать за овес по 7 руб. 20 к.; а так как он на рынке в эту пору 4 рубля, то, отдавая натурой, мужик везет не куль, а почти два: вот тут-то этот овес и покупается «новообращенными» крестьянами, у которых есть деньжонки. И староста и старшина говорят: везите овес ко мне, а я внесу деньгами. Отдавши «натурою» почти вдвое, мужик к весне непременно будет без овса: это как бог свят. И тут пойдут донесения: «Бедственное, даже и совершенно конечное неспособие к пропитанию, и не в состоянии обсеять поля, а потому ходатайствуем о пособии от земства». Земство высылает деньги, а на эти деньги старосты и старшины опять покупают *у себя* овес, но не по 4 рубля куль, а по 7 руб. 20 к. или по 8 рублей. Заплатив осенью восемь рублей, «новообращенный» весной получает за них шестнадцать, то есть процент, невозможный ни для какого самого алчного капиталистического предприятия... Получает и пишет: «только

старанием и неусыпною ревностию укупил овес по 8, а даже и по 10 не отдавали...»

— Однако, — сказал я одному из таких «крестьян», — проценты вы, господа, дерете на свои деньги необыкновенные! Ведь это более чем рубль на рубль...

— Н-ну, батюшка, — весело играя веселыми глазами, с шутливым и даже шутоватым смирением отвечал он, — где уж нам наживать такие деньги!.. Это вот у вас в Питенбурхе все только и слышно (густым басом): рубль на рубль, рубль на рубль, рубль на рубль, — а у нас по-деревенски, по мужичьи-то, хошь копеечку-то господь бы батюшка, отец наш, дал нажить на копеечку, и то мы рады-радехоньки... А то рубль на рубль!.. Хошь бы копеечку-то какую ломаную на копеечку нажить, и то уж эво как мы создателя-то благодарим!.. Хе-хе-хе...

— А бывает, что и на полушку наживают рубль, по-деревенски, не то что рубль на рубль.

— Да вы чего изволите сумлеваться? — уж серьезно, а не шутливо сказал мне этот же собеседник, когда я ему сказал, что даже и скромность наживы копеечка на копеечку не уменьшает огромного вреда этой операции: ведь нажитую копеечку теряет сосед, и притом буквально ни за что, ни про что. — Вы чего же сумлеваетесь? Разве я ему не настоящую цену даю? Ведь цена за куль — четыре, и я даю четыре. Овсом ли он отдаст, деньгами ли — все одно, у него руки пустые будут. Вины тут нашей нету...

Во всяком случае вина — в тех порядках, которые довели не только деревни, а целые губернии, то есть огромные массы деревенских людей, до попрошайничанья зерен на посев. Припомните только что рассказанную историю с овсом. Земство слышит жалобы на недостатки зерна: «нечем обсеменить поля», — и удовлетворяет этой нужде. А между тем видит, какая масса всевозможных ехидных оборотов производится под прикрытием этой нужды. Существует мнение, что земства обязаны и должны стараться всячески распускать в народе деньги; думают, что раз пущено в обращение между народом два-три десятка тысяч рублей, они сейчас же принесут пользу, оживят и души и карманы. И точно, оживают, но оживают единицы в прямой и огромный ущерб сотням и тысячам. До сих пор мы читаем в газетах всевозмож-

ные проекты о переустройстве местного управления, и везде «деревня», сельское общество принимается как нечто совершенно особенное от всего государственного тела. Это так же справедливо, как если б я, отрезав от моего платка маленький кусочек, стал уверять, что кусок этот совершенно не такого свойства, как платок, что большой кусок платка — одно, а маленький — совсем другое. Правда, при словах: «сельское общество», «сельский сход» — воображению преобразователя представляется только «староста», получающий 36 рублей в год, и нет никакой возможности представить себе здесь, в сельском обществе, какое-нибудь более или менее интеллигентное амплуа, а следовательно, и мало-мальски приличное содержание. Другое дело — волость: там волостные старшины получают по 600—1200 рублей в год, тут, стало быть, можно и позаботиться о благе народа и контролировать... А между тем в этой-то ячейке, именуемой «сельское общество» (которое все рекомендуют оставить в полной неприкосновенности, как святыню и как место без окладов), таится ничуть не меньше беды, чем во всем огромном теле страны. Ведь пора же знать, что сельское общество тогда только было в самом деле самоуправляющеюся крестьянскою общиной, когда основанием средств к существованию всех ее обывателей были земля и исключительно для всех одинаковый земледельческий труд. Какие же это общинники теперь, если сосед наживает на соседе капитал, скромную деревенскую копеечку на копеечку? В земледельческой общине я и мой сосед — мы можем богатеть и беднеть только сообразно нашим успехам в одном и том же труде — в земледелии; мы богатеем или беднеем от нашей сноровки или неуменья, от удачи или неудачи, но богатеем или беднеем *не друг от друга*, а только от себя и от своего счастья. Теперь же сосед, взявший мой овес по существующей цене и перепродавший его земству весной за двойную цену, явно наживается (при посредстве невнимательного земства) на мой счет, кладет в карман мои деньги, берет их за овес, моими трудами добытый. Если бы развивались и укреплялись в народе общинные начала, основанные на земледелии, то в случае недостатка зерна крестьяне заняли бы у соседей это зерно и отдали бы зерном. И тут есть нажива, но опять-таки понятная,

извинительная. Но земство (я охотно верю, по наивности) само вводит зло, не вникнув подробно во взаимные отношения современных общинников, образовавшиеся на расстройстве земледельческого труда и порядков. Я охотно верю, что оно даже — из уважения к деревенской «общине» — не хочет совать туда своего носа: «пусть, — думает оно, — *хоть тут* народные печати остаются неприкосновенными» — и не прикасается; хотя именно тут-то и надо прикоснуться, и не для того, чтоб испортить или ввести зло (что делается теперь), а именно вывести его оттуда. Надо узнать просто, внимательно, добросовестно: есть ли у крестьян достаточно земли? Сколько они в силах платить? Сколько на них лежит бездельных ртов? Нет ли тут кого, кто жрет своих соседей и только облизывается да утирает рукой лохматый рот, и т. п. Все это необходимо знать, чтоб отделить земледельцев от людей денежной наживы, чтобы налоги распределить без обиды. Теперь, не прикасаясь к новым деревенским осложнениям, не мешаясь «в ихние» порядки, «командующие» классы требуют только денег и любезно говорят: «Живите, живите как хотите! Мы вас не будем трогать, потому что и окладов у вас нет подходящих, да, наконец, надо же, чтобы хоть это зерно сберегло́сь от язвы»... А зерно-то, которое лежит на самом низу, в сырости и под страшною тяжестью нужды и неизвестности (во всем), всего более и страдает. Мой сосед, нажившийся на моем овсе, *вдвое воротивший свои сто рублишек,* платит за две души... И я, который *вдвое потерял,* тоже за две души плачу. Виноват ли я, что я беднею, а он богатеет на *мой* счет? Правильны ли такие налоги? И не должен ли я питать дурное чувство к этому соседу, обогащающемуся на новый образец, *без личного труда?* Ведь он мои, мои, мои труды-то похитил! Как-то в одной газете я читал грозную статью против другой газеты, осмелившейся сказать: «Не разнуздывайте зверя». Всей статьи, где сказаны эти слова, я не читал и не знаю, в каком смысле они сказаны; но в виду вышеприведенного примера позволю себе спросить: добрые или злые, человеческие или зверские побуждения воспитываются в народе такими новостями, как возможность богатеть на счет трудов соседа и его нищеты? Как вы думаете, доброе ли во мне рождается чувство к этому соседу, у которого

в жилетном кармане, в виде часов «с двум доскам», я вижу мой пот и кровь — тот самый овес, который упал в курсе под осень? Прежде таким образом наживался только барин, но не *на мой* счет, а на *наш* общий счет и труд. Сосед наживался только *своими* руками, умом, силой и т. д.; теперь же он наживается *на мой* счет, что я отлично и вполне ясно вижу. Какие же чувства воспитываются во мне таким явлением? Разумеется, не добрые, не гуманные... «Попадись он мне, — думаю я, — так я ему тоже покажу, как на чужой счет богатеть...»

В подтверждение того, что расстройство «земледельческой деревни» — именно в имущественных отношениях «суседей» друг к другу, — обратило на себя внимание и других наблюдателей, позволю себе привести выписку из статьи г. М. Громницкого, напечатанной в «Русских ведомостях»: «Теперь вот что у нас происходит: в первых числах декабря в деревне (Пензенской губ.), в которой я живу и которая сравнительно благоденствует, из амбара одного крестьянина со взломом замка увезено ночью около четырех четвертей ржи. Затем, в ночь на 12 декабря, в той же деревне оказались сломанными замки в трех амбарах, и из одного увезено до десяти четвертей ржи. *Вся деревня поднялась на ноги,* потому что это — событие *небывалое,* старики *не запомнят ничего подобного;* непрочь многие из крестьян попользоваться на счет «барина», *но чтобы крестьяне* воровали *друг у друга* — это явление весьма редкое. Есть целые деревни, где вам скажут, что *этого* у них *никогда не бывает.* За три года я знаю только один случай, да и то кража совершена двумя пьяными». Подчеркнутые здесь фразы, как мне кажется, представляют наилучшую характеристику деревенского расстройства: воруют *друг у друга* — вот это и есть цвет и плод *неравенства в средствах наживы, вторгнувшегося в трудовую земледельческую среду.* Если появился человек, решающий украсть у соседа, вместо того чтобы попросить, поклониться, как бывало в старину (старинная интеллигенция *открыто* вопияла: «помогай бедному» — и сулила за это прощение грехов), то значит, что уже явилось сознание о возможности неправедной, небезгрешной наживы. Евреи были избиты именно потому, что наживались чужою нуждой, чужим трудом, а не вырабатывали хлеб своими руками. Евреи —

специалисты по части биржевой игры, но, как видим, и наши серячки не прочь от того, чтобы полакомиться даровою наживой. Евреи несдобровали — и наши серячки жалуются «на народ», что «никаких нет способо́в», «воля», «драть надо». Евреи жалуются в Англию на мужиков, *наши* действуют в волостных судах, справляются «своим средствием» при помощи всяких изворотов, о которых мы говорили выше: садятся добровольно в холодную, чтобы быть в «своем праве»; доносят о «бедственном положении народа» и т. д.

Но можете представить, что и тут, в этом омуте мутной воды и поедания ближнего, и тут главный двигатель и цель — устроить свое земельное хозяйство, вырвать из чужих рук, добыть всякими правдами и неправдами и реализировать не в чем другом, как только в хорошей скотине (много назему — земля хороша), в арендовании земли, в покупке хороших семян.

Однажды разговорился я с этим самым «благонадежным лицом», о котором говорено выше и которое, несмотря на уменье действовать «по-новому», как я уже сказал, не чуждо проявлений самой простой крестьянской доброты... Разговорились мы о тех же самых вопросах, о которых идет речь и в настоящей статье, и мало-помалу разговор наш принял самое искреннее направление; договорились мы до того, что и благонадежное лицо согласилось, что «времена — тяжелые» и что в народе — расстройство, много греха.

— Мне бы только до конца трилетия дотянуть — бог с ним совсем и с жалованьем. Перед богом... Положим, что маленько оно мне подмогло в хозяйстве — ну и будет!.. Только одно зло ростишь на себя. Того и гляди — либо сожгут со зла, либо сгубят... Бог и с ними...

И опять мы говорили про настоящее, прошлое и будущее.

— Ну а что же будет? — спросил я. — К чему все идет?

— Не знаю, — сказало лицо, задумавшись серьезно.— Не знаю, как для вас оказывает, а по мне так к старине дела склоняются.

— То есть?

— Да, то есть... Ведь это и в писании сказано... То есть... должно так выдтить, что... Здесь (для пояс-

нения своих слов он отмахнул правою рукой сверху вниз) тяпнул топором заметку на этом дереве, а через пять верст (и опять он отмахнул левою рукой также сверху вниз) опять тяпнул на другом дереве... Вот и владай!..

Итак, вот что таится в глубине этих хитросплетений, плутовства, пронырства. Заимка самая первобытная рисуется его воображению... Лес дремучий манит его, и вот он, этот «благонадежный» человек, воображает, что будут времена, когда достаточно тяпнуть топором тут и там, чтобы «владать». Положим, что такие речи говорятся так, зря, без расчета, но уж одна возможность того, что они таятся в типах деревни даже новейшей хищнической формации, говорит ужасно много в пользу того, как велика

Тяга в сумочке от матери сырой земли.

IX. ПРОШЛОЕ ИВАНА БОСЫХ

Если существует тип деревенского биржевика — человека, наживающегося на счет соседа, то, разумеется, должен существовать и сосед, весьма недовольный этим способом наживы. Если у биржевика есть «средствия», помощию которых он достигает своих целей, то и у соседа, «теряющего на курсе», тоже есть такие собственные «средствия», помощью которых он старается обороняться от неминуемой гибели... Лучшим для нас представителем этого последнего типа будет тот самый Иван Босых, о котором была речь в самом начале этого очерка. Не раз разговаривали мы с ним о его житье-бытье, и вот какой однажды разговор произошел между нами по этому поводу.

— Что же, — спросил я его, — после того как тебя с железной дороги выгнали, принялся ты за работу?

— После того я вот как было взялся с радости-то, как медведь начал ворочать вокруг дому! Только трещит да клюкает! Да не долго поработал так...

Он махнул рукой.

— Отчего же?

— Да так! .. Уж раньше было мое хозяйство все в расстройстве, в разбросе, да и настояще избаловался насчет вина. Захватит, затоскуешь — и выпьешь... Н-ну, а уж попала муха — какая тут работа? С вина хозяином не будешь — иди спи... А хозяйство стоит... Так и пошло день за день, слабей да слабей, вот и достукался до поденщины...

— Да отчего же сначала-то у тебя расстройство вышло?

Иван задумался и, вздохнув, сказал:

— Как сказать? по-нашему, по крестьянству, особливо по нонешнему времени, и даже очень просто можно разориться вконец... Поколела у тебя скотина — и ступай по миру... В прежнее-то время наш дом, семейство наше — первые были хозяева по крестьянству. Что скот, что народ — один к одному, на подбор были подобраны... И теперича, извольте поглядеть, что от старой постройки осталось: столбы под навесом дубовые, два аршина в обхвате, крепче чернодубу... Сейчас жги его столбом, так в сутки пожару не добьешься... Говорить не остается, какие были крестьяне — прославленные, прямо скажу, не похвастаюсь, были. Нас «босыми» прозывают потому, что мы все, весь наш род, первые были силачи, чистые истуканы подобные. Уж на что я, испивши, избаловавши, самый последух, а и то, ежели пойдет на спор, подбодрюсь, так не одну, две десятины дерну подыму. «Босыми» нас прозвали потому, что когда пошло в моду сапоги носить, так дедушка мой покойник — царство ему небесное! — никак не мог сапога надеть на ногу. Первое, что нога у него как столб какой, прости господи, или вот как тумба какая; а второе, как надел сапог — ступить не может; неловко, ноги горят от жара. А вот босиком так в трескучий мороз десять верст пройдет, только дым от ног идет... Или, например, бывало, на спор пойдет дело, так он, дедушка-то, по стклянкам от бутылок голой подошвой хаживал, и то ничего: «все одно, говорит, как по облаку хожу, ничего не чувствую»; а надел сапоги — захромал: жаром ноги займутся! .. Вот отчего нам название такое — Босых! .. Я-то уж самый младший из семьи, я дедушку помню уж совсем слабого, перед смертью. А которые помнят, так рассказывают, что, бывало, захворает чем, занедужает — никогда на

печку не лез, а зимою ли, летом ли — прямо в бор, кости поразмять, да там, в бору-то, топором того натворит, страсти поглядеть что! Чисто медведь с волками дрался — столь много наломано, нарублено, навалено... Размается на работе, раздымет его всего, а прибежит домой, рубаху мокрую снял — и здоров. Только всего и леченья его было! А что касаемое по хозяйству, так уж тут вот на эстолько, на булавочную головку ошибки не давал. Чтобы сделать так, зря — ни во веки веков, ни в большом, ни в маленьком. Бывало, невесту какому из братьев возьмется выбирать, так целую зиму ездит по деревням, выискивает. За двести верст заезжал, и уж выберет бабу — одним словом! Уж ежели которую он выбрал, выспросил, высмотрел, одобрил, так уж та баба завсегда на редкость и на работе и по нраву. А родит ребенка, так прямо с годовалую овцу; взял его на руки — книзу прет и тянет. Вот какое было семейство! Отборное, первых кровей из всей округи было. Вот за это-то самое, за нашу породу, наше семейство и было у барина на примете; в солдаты из нашей семьи барин никого не отдавал, а все отсаживал в другие свои деревни на раззавод племя... То девку возьмет — парня ей купит под кадриль, Еруслана какого-нибудь, в Самарскую губернию отсадит, то брата с женой, с сыном в курень. . Так и растыкал всех поодиночке. Остался я один с бабой и с дедом, а отец с матерью и бабушка в холеру померли. Дедушка-то уж совсем на моей памяти плох был, а все норовил вокруг дома с топором потукать или так потоптаться. Пришло ему время помирать — в самых последних годах зачуял он смерть — стал ночей бояться. «Боюсь я, говорит, ночей, страсть боюсь!» Целую ночь, бывало, на крыльце сидит — ждет, скоро ли свет... А чуть светок, чуть петух где-нибудь, и забормочет: «Слава тебе, господи! Жив, жив я.. Вот и солнце красное... Ах ты, боже мой. Свет и день! Жив, жив, жив. .» И спать ляжет, когда уж вся деревня проснется, народ зашумит, заговорит — тут ему не страшно. «Тут, говорит, я не боюсь помереть. Тут — на миру...» И поплакивал старичок, очень поплакивал! Бывало, кой-как, уж кой-как мученски мучается зиму-то, весны ждет: а пошел капель, стало пригревать, так и польют из глаз слезы-то. Жаль, всего жаль! Пуще всего — работать ничего не мог.

На пашню поглядит — зальется, зальется... А пашню-то нашу всё обрезывали да обрезывали, и двор-то поосел. Я один, заведение большое — одному-то и не под силу... Там завалилось, там упало... Плакал он, покойник, много плакал: а все пока силы были, все топтался, шамкал, приказывал да советовал. Ну, однакож, и помер... Днем помер — недаром бога молил... Как сидел на солнышке, так и заснул, кончился... А тут скоро и освобождение пришло. Пришлось мне новые порядки узнавать... А новые-то порядки нашему брату трудноваты. Первое, что при барине мы знали одно — работу; что скажут, то и делали: навалим ему хлеба, свезем в город, деньги он возьмет и уж как сам знает, так и путается с начальством, — а тут то тот, то другой тормошит... Да, деньги... Они хоть и не велики, да добывать-то мы их непривычны... У меня маменька-то во всю жизнь денег разобрать одну от другой не умела, дай ей копейку или двугривенный, ей все одно, потому хозяйством жили, все свое... Только деготь да соль да что-нибудь по мелочи... Да и то все — либо дедушка, либо тятенька... Н-ну, а тут изволь доставай. А кроме того земельки мало — гораздо меньше супротив прежнего стало — и выгон ушел от нас — пришлось нанимать у чужих людей, платить опять деньги. Вот и пришлось в люди идти поклониться. Глядишь, тот тормошит, рублевку теребит, другой: кой-как собьешься, отдашь с прибавочкой. Там прибавочка, тут прибавочка — ан и самому-то то там нехватит, то тут не натянешь...

И затем Иван рассказал, как он запутался в те самые тенета деревенских биржевых операций, о которых говорено выше и которых я здесь повторять не буду. Запутывался он каждую минуту, но по капельке, по копеечке, полагая, что это — что-то временное, случайное, тяготился этим по-детски, наивно, скучал и вдруг очнулся, потерял наивность неопытного ребенка и понял, что *это* — не случай и не на время, а что это — такой порядок.

Произошло это следующим образом:

— Долго ли, коротко ли идет время, подошла сибирская язва, стала валить скот... Вертинар приедет, расковыряет шилом больное место и — уехал! «Мне, говорит, не успеть, заболело сто тысяч голов, а я один на

четыре уезда, жалованья мне рубль — того и гляди сам поколеешь с голоду». Ну мы и не взыскиваем... Валит скотину — на̀ поди! Остался и я без всего. Повалило у меня двух коров, да к штрафу присудили за шкуры. Кабы мы были крепостные — ну, пошел к барину, поклонился бы, он бы и дал мне лошадь, потому какой же я буду мужик без лошади? Ну а в нонешнее время поди к соседу, плачь... Ей-ей, иной плачет! Смеху достойно сказать: эдакой верзило и — плачет; а ведь сущая правда... Просишь, просишь ковригу-то, зальешься... Я однова̀ сам удивился: запищал даже с огорчения, словно заяц несчастный, не то что заплакал, — а ведь во мне без малого шесть пудов весу. Вот нужда-то до чего доводит!.. Вот в эдакое-то время толкался, толкался я вокруг наших, свойских мужиков, которые хозяйством покрепче: коё самому нужно, коё не дает — задолжал я ему раньше. Нет ничего мне справки!.. А время идет, и пора стоит рабочая... Хоть волком вой без лошади-то. Вот я и надумал идтить к сестре — за сорок верст от нас сестра была выдана моя... Муж-то ее по дровяному делу служил, жалованье получал — значит, при заготовках был — ну, и деньжишки кой-какие водились. Вот я к нему: «дай, мол, лошадь». А крут был парень, и уж он мужицкое рыло стал воротить. Ломался, ломался — ну тут сестра подвыла за меня — дал. Поставил цену в тридцать пять рублей — отдать весной... А по совести сказать, дал он мне одра; не то што тридцати, а и двадцати — какое! пятнадцать рублей и то напросишься... Ну что будешь делать? Взял, еще в ножки поклонился. «Продай, говорит, сено — куда оно тебе? Оставь на одну лошадь, а остальное мне отдай. А свалишь в нашем месте» (у такого-то). Назвал мужика, тоже к нему под кадриль подходит: сено тюкует, и часы, и все... А деньжонки-то требуются: коров нет; все купи, ребятишкам молока. Отдал ему сено по десять копеек и приставить обязался к тому мужику, которому он наказывал. Вижу, приехал в нашу деревню, поговорил с мужиком эстим, Парфенов прозывается. Потом оба зашли ко мне; зять и говорит: «Приставляй сено Парфенову, а за расчетом ко мне ходи». И Парфенов говорит: «Ко мне, говорит, приставляй»... Вот я и стал приставлять... Еще я забыл сказать вот что: как приезжал этот зять-то, зашел

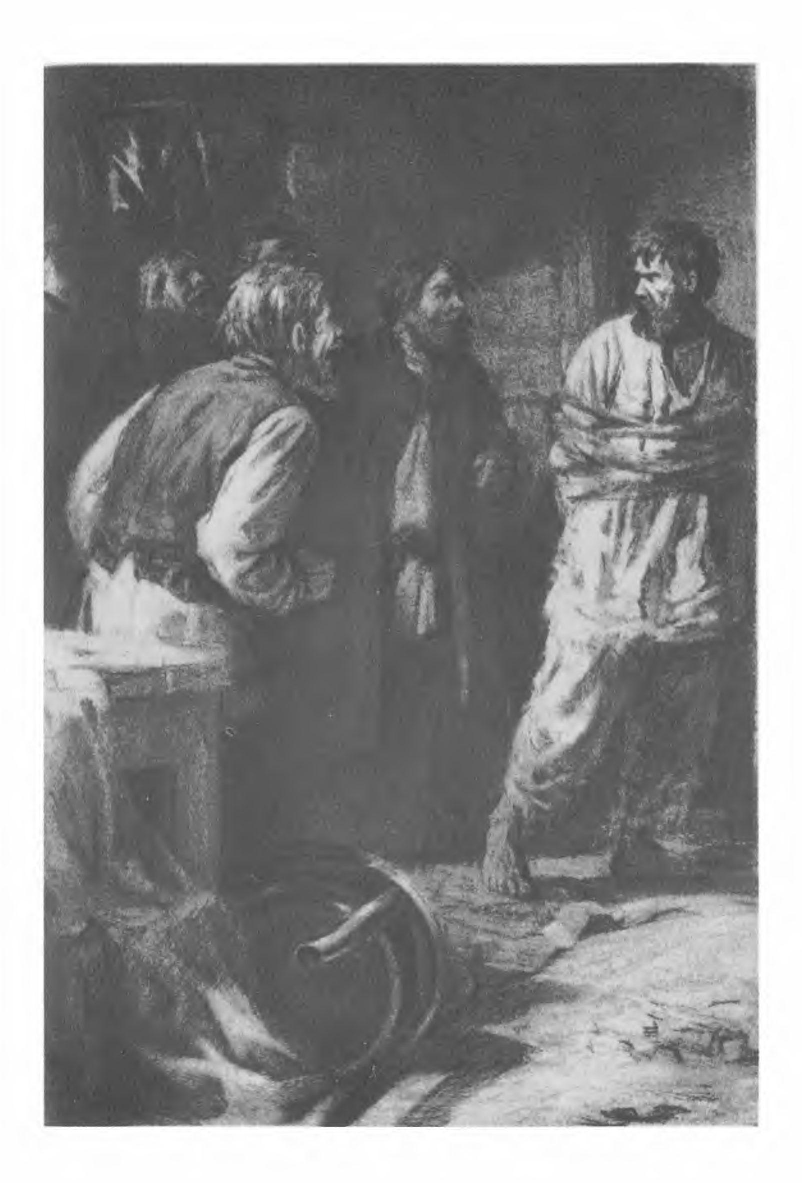
он ко мне на двор, увидал теленка: «Отдай, говорит, мне, на что он тебе без матки-то?» А и то, что без матки трудно: делаешь месятку, одной муки сколько слопает, а муку я в ту пору вскоре с рождества покупал... Отдал я ему теленка за пять целковых. Староста тут подскочил: они, дьяволы, за двадцать верст носом слышат, коли покупщик на двор зашел и деньги из кармана вынимает, — два целковых отмотал от пятишной в подати... Ну, пес с ним!.. А недоимки на мне действительно уж эво сколько!.. Вот ладно, стал я сено приставлять... «Приставил» четыре воза к Парфенову, а Парфенов тюкует да в сарай кладет. Натюковал он пятьдесят пудов. Еду я к зятю за деньгами — стало быть, приходится мне получить пять рублей... Приехал я к зятю, а его дома нету. Сидит сестра.. Ну поздоровкались, поговорили, представил я записку, выдала она мне пять рублей... Представил я еще пятьдесят пудов, опять поехал и опять зятя нету; сестра только дома... Сидит сестра и говорит: «А мы твоего теленочка продали. Вчерась телятники были, за двадцать пять рублей купили»... Вздохнул я от этих слов, потому и поили-то они его всего две недели; кабы у меня корова была, так вот они, двадцать пять рубликов, в моем бы кармане были. Вздохнул я и промолчал. Разговорились и про сено; сказывает она мне, что и сено ейный муж в Питер «приставляет» в казармы, по сорока копеек, а за прессовку Парфенов по четыре копейки получает... «А перевозка почем?» — «А перевозка, говорит, тоже по четыре обходится до Питера». И опять я вздохнул.. Я-то вот за сто-то пудов всего десять целковых получил, а зятю-то восемьдесят целковых пришлось. Ну прессовка восемь — ан все же моих денег у него шестьдесят рублей... А труды-то мои, косьба-то моя, и сушка, и гребли мы тоже с бабой — а всего десять целковых... За что так? — думаю... Пошел я к Парфенову и говорю: «Так и так. Ведь это, братец мой, убыток; давай мне хоть пятнадцать копеек, я тебе приставлять буду». Парфенов говорит: «Я бы и рад, я бы и двадцать дал, коли бы у меня в Петербурге места были знакомы. А то местов-то нет. Я уж, брат, за ними вот как старался уследить по Питеру, куда они девают сено, все ноги оттоптал, под заборами прятался — чуют, канальи, путают по Питеру... Ходишь, ходишь за ними,

со следу не спускаешь, а чуть мигнул не так — его и нет, как в воду канул. Дьяволы — одно слово!» Пошел я, думаю: уж разыщу же я себе другого покупателя. Пошел на вокзал, толкался там двое суток, нашел. «Вози по двугривенному, сколь хошь!» Ну тут я вышел, да с радости и объявил Парфенову-то. А Парфенов-то — в обиду: «Ты, говорит, от меня хлеб отнимаешь... Я бы прессовкой-то все попользовался сколько-нибудь, а ты чужим...» — да и объяви зятю. А зять не в себе стал. «Как, обманывать? ..» Прибег ко мне. «Подавай лошадь!» Это чтобы мне возить не на чем было. Ну, я уперся, говорю: «Лошадь куплена, деньги жди до весны... Бумаги у нас, мол, с тобою нет, а сделано дело на совесть, по бессловесному договору — ну и жди...» — «Давай сейчас! .. Эй, Парфенов, бери лошадь! Зови работника!» Я вижу, идет дело на сурьез, загородил ворота в скотник, стал спиной к двери, и, признаться, осердился я... А был я немного выпивши, потому получил я с нового-то приятеля задатку, вот с радости-то я и пропивал рублишко, вчера да сегодня... Вижу я, хотят ломиться в дверь, осерчал... «Да ты что, говорю, тут орешь-то? Какая тебе лошадь? Да я, говорю, и весной-то денег тебе не отдам, потому ты и так на моем сене да на теленке получил. . По-божьи-то с тебя еще надо больше тридцати рублей мне получить, а нежели ты с меня.. Чуть не сто целковых *на мне* нажил, да отдай я ему лошадь, а сам иди по миру... На-ко!» Тут пошла брань, свара: что он злей, то и я... Приступают все они — Парфенов, работник — прямо к горлу, я и ткни, отпихнись! .. «Чего, мол, грабить лезете, пошли прочь! ..» — «А, коли так — в суд!» И подал зять на меня в волостной суд по оскорблению его личного мордобою и по взысканию за лошадь: либо тридцать пять рублей, либо лошадь назад. А Парфенов-то — судья... Ну и прочие судьи у зятя были присоглашены. Пивцо, винцо и все прочее... Приговорили так: за оскорбление личности двадцать ударов, а лошадь отобрать. Я на суд не пошел. Приходит ко мне десятский и говорит: «Иди в волость!» — «Зачем?» — «Драть будут!» — «Ну, я и не пойду». — «Не пойдешь?» — «Нет, говорю, не пойду. Скажи им, чтобы кого-нибудь другого выдрали, коли есть охота». Тут меня взяло зло. Как так! Это что ж такое? Меня теперича может драть

свой же брат мужик? Еще барин нас дирал — ну это господское дело; как была неправда, так и прошла. А тут меня будет драть всякое свиное рыло за то, что я ему не даюсь, охотой к нему в пасть нейду? Ну нет, не дамся!.. Так меня все это рассердило, пошел я в кабак, царапнул косушку и думаю, что творится. Сидит солдат — разговорились. Рассказал я. Посоветовал: «Не давайся». Потом спрашивает: «А много ль за тобой недоимки?» А на мне недоимки накипело вот как: над головой на три аршина, с боков по два аршина, да в землю сажени на четыре с лишком. Сказал я ему это, он обрадовался. «Ничего, говорит, не бойся! Недоимка — это наше спасение. С нас ее потому и не снимают, что жалеют нас: снять ее — все равно догола раздеть; тогда эти канальи нас голыми руками брать будут. А как окружен ты недоимкой со всех сторон — и вверх, и вниз, и с боков, то и сиди ты спокойно, как бы в неприступной крепости, потому что продать ежели у тебя скотину, так деньги должны идти в казну, а не им, живорезам, а живорезу — что казна?.. Коли не ему, так и не надо. Уж коли у тебя продадут лошадь да в казну деньги возьмут, так уж он и знает, что ему не с чего взять будет. А так-то, без аукциона, все, может быть, ты что-нибудь отдашь, все ему надежда... А ты вот как, я тебе скажу: ничего им, живорезам, не отдавай, а продавать тебя для казны они сами пожадничают. Сиди, братец ты мой, в этой самой глубине; недоимка — твоя защита. Все одно как в шубе сиди. Казна-матушка потому нас покуда и не раздевает. А то бы мы все как тараканы померзли». Так мне стало весело от этих слов! Выпили мы тут еще, и стало мне хорошо. Думаю, коли казна ждет, так живорезы и подавно должны повременить. Да опять я и не должен за лошадь — и по совести, и по-божьи, и всячески. Я ему предоставил на сто рублей моего собственного трудового — будет с него. А то еще драть... За что? — за то, что подороже хочу сено продать? Ведь вот анафема! Как вспомню, что меня драть хотят за мое же добро, так — хоть что хошь — тянет в кабак да и на! Однако прошло дня два, опомнился, очувствовал, думаю — примусь за хозяйство: лошадь — моя, теперь сено по двугривенному — стало быть, и коровенку куплю. И все в той состою надежде, что защитит меня недоимка. Солдат сказал: «сиди в недоимке, как во дворце,

никто не посмеет!» и присоветовал: «а в случае чего, запирайся кругом — нет закона, чтобы сило́м брать. Ответят». Вот я и сижу во дворце-то. На третий день глядь — тройка: старшина, зять, десятский... к Парфенову. Я сейчас на запор: ворота, сарай, конюшню, дом — все запер. Сижу с женой, ребятами под окном, смотрю, что будет. Потолковали они у Парфенова — вижу, идут ко мне всей гурьбой. Парфенов с ними и еще человека четыре мужиков. Подошли; старшина и говорит: «Отпирай!» Я не отпираю. «Ты думаешь, говорит, что мы тебя не достанем? Ты думаешь, мы судов на тебя будем дожидаться? Ну нет, братец! У нас против вас, канальев, и свои средствия найдутся. Отпирай ворота добром! Лучше будет!» Я не отпер. Сижу, гляжу, что будет. Знаю, что против закону нельзя им идти... «А коли не хочешь добром, так мы и сами справимся. Ребята! — сказал старшина, — принесите дубину хорошую». Побежали мужичонки к Парфенову, выволокли четверо еловое дерево, аршин шесть длины да вершков двенадцати в корню, в отрубе. «Дуй!» Подхватили все, размахнулись, раз-два-три — ворота вдребезги так и разлетелись. Тут я вижу, что уже без совести пошло дело. Вышел на двор: «Что вам будет угодно?» — «Подавай лошадь!» — «Она в поле!» — «А! — сказал старшина, — в поле... Ну-ко, ребята, возьмите дубину!» Опять подхватили, раскачали — хлоп в скотник. Так дверь и вбухали в нутро. Лошадь там. «Возьми!» Зять взял лошадь и увел к Парфенову, а старшина говорит: «Не хотел добром, хочешь нахрапом, так мы также можем. Ты думал, своим средствием отвернешься — ну и мы своим средствием. И помни. А выдрать — выдеру... А ежели хочешь жаловаться в вышнюю инстанцию, так сделай милость: теперь тебе двадцать определили, а тогда сто двадцать всыплю...» С тем и ушли. Остался я без лошади, и такое меня взяло зло, такая лютость, точно бес меня осенил. Жена было заголосила, а я ее бить. Перед богом, сам не помню, как рука поднялась! Теперь я без лошади и без коровы, и сено не на чем возить, и драть грозятся — кипит у меня все нутро, огнем палит... Завыла она. Я — раз ее в грудь, а брюхатая была; и это, что брюхается-то она не во-время, тоже меня озлило, я ее и... Стала она кричать, а я злей да злей; побелело у меня в глазах от злости... Прр-ямо в кабак! Жрал, жрал, сено

кабатчику обещался отдать за пятачок пуд, только давай вина. Допился до бесчувствия, вышел, упал в канаву, мордой в лужу и лежу... Долго ли, коротко ли лежал, стало мне холодно. Открыл глаза — месяц на небе. Девки поют на деревне... Встал, пошел к кабатчику, вымолил стаканчик и пошел домой. Иду, гляжу, у Парфенова огонь. И зять, и старшина, и компания. Вино в бутылке, самовар — угощаются. Не могу сказать, что такое случилось со мной, а только как увидал я это, прямо и повернул к Парфенову. Ввалил я к ним в грязи, без сапог — пропил их — и прямо к старшине: раз его по роже — да к Парфенову, да к зятю... Дал им всем по хорошему лещу и сел... Тут было поднялось... и-и, боже милостивый, что! Но я уж был в азарте. «Убью, говорю, анафемы! Вина давайте, и только!» Проснулась в ту пору во мне наша бòсовская сила: кажется, убил бы с одного маху. Но только они догадались, что опасно меня теперь трогать, отступились, погнали за старостой, за понятыми... А я прямо к столу, выпил из бутылок, да пустой бутылкой в зеркало, да чайную посуду на пол... Сбежался народ: повалили, связали и — в холодный амбар. Подали на меня в суд все трое. Старшина — тот к мировому подал. Зовут к ответу; не пошел, стал пьянствовать. Выходит резолюция — драть. Зовут. Не пошел. Три раза приходили. Плюнул в морду десятскому, а не пошел. Насудили, анафемы, с трех-то морд — до ста ударов с прежними... Я все не иду. Спасибо, еще народ есть добрый — не выдают... Вот я и промаялся кое-как до покрова и все больше пил... Тут уж и новый мой знакомый, с которого я задаток под сено получил, и тот стал грозиться судом. А на чем я повезу сено, коли лошади нет? И кабатчик требует то же самое сено — я его пропил ему.
Не глядели бы глаза на свет белый. После покрова слышу — колокольчики! Заливаются соловьями. Вкатывают в деревню на трех тройках: старшина, пристав, суд... Екнуло мое ретивое! Прямо ко мне на двор, вошли в избу, собрали народ. «Подати!»... Так меня притиснули, не выскочишь из избы-то... Тут стали носить подати, а старшина говорит: «Вот, ваше сиятельство, этот крестьянин (я) четыре раза присуждался к наказанию, во-первых, за оскорбление зятя, потом меня, потом Парфенова и опять же зятя. Двадцать раз его звали — сопротивляется,



не идет. Позвольте привести решение в исполнение... Да и податей к тому же не платит». Вот тут меня и растянули!.. Тут я и потерял свой смысл, и стыд, и совесть. Лежу и, верите ли, *себя боюсь*. Перед богом, себя боюсь! Боюсь подняться, боюсь пошевелиться, потому убил бы кого-нибудь, на смерть бы размозжил, кто подвернулся бы в ту пору. Наконец, того, вижу, что живорезы в лакомство вошли, говорю: «Будет!» И так это сказал, что перестали ведь, анафемы... Ну вот с этого времени я и потерял себя. Всего себя потерял! Все мне тоска, свет не мил, двор пустой... Только и есть кабак. И воровать даже стал. Сено продал в двадцать мест, а все — прахом, прахом... Слабей, слабей, так и пошел ко дну. До того дошло, что и жена стала жаловаться на меня суду... За это мне решенье выходило — двадцать ударов, а я ее за жалобу опять трепал... Таким родом и исподлел я и развратился. Уж как я обрадовался, когда барин один, на даче поблизости жил, подмог мне немного работишкой, дал прочухаться, а потом и на станцию определил... Коли б мне опять такое место, я б уж знал, как справиться, — ну а теперь...

Иван замолк и с изменившимся, побледневшим лицом проговорил, понизив голос:

— Теперь того и жду, что случится что-нибудь худое.

— С кем?

— Да со мной... Того и жду, что в тоске какой-нибудь сделаю вред.

— Отчего же ты так думаешь?

— Уж знаю я...

Иван замолчал. На лице его было выражение какой-то суровой таинственности.

— Домовой у меня по ночам воет на крыльце — вот что я вам уж без всякой утайки объясню.

Я мог только сказать:

— Неужели?

— Верно я вам говорю... Как меня тогда разорить, то есть лошадь-то когда отняли, так он тоже выл, а теперь так, верите ли, каждую ночь воет без устали. Всю ночь с женой, с ребятишками трясемся... Выйдешь в сенцы ночью-то, а он сидит на крыльце, эдак вот обеими руками голову обхватит, да как замотает башкой-то

из стороны в сторону, как зальется... Мороз даже по коже дерет! Перед богом вам говорю!.. Уж верно, что-нибудь со мной недоброе случится... Уж очень я обозливши... Тоска меня сосет... Враг шепчет все... Уж на что-нибудь подстроит он меня... Быть мне на каторге — вот что я думаю.

— Ну какой вздор! Какие домовые!

— Как какие?.. Нет, уж сделайте милость! Мы очень знаем эти дела-то. При покойнике дедушке у нас домовые жили двое; я их сам своими глазами видел... Так они жили тихо.

— Своими глазами?

— Вот как вас вижу, так и их видал... Да и сейчас я вижу его...

— Ну какой же он?

— Домовой-то? Да обыкновенно уж домового мы подразумеваем под чортом — ну и вид у него...

— Какой же у него вид-то?

— Как сказать? Мутный он весь какой-то...

— Глаза есть у него?

— Да, и глаза *должны быть*. Ведь он ходит — должен же глядеть-то.

— А ноги?

— У него всему надо быть, только что не видишь; а видишь только, что есть он вот тут или тут... А так сказать, чтобы вид какой у него — не могу... Я раз пришел на сеновал, а он лежит — спал, должно быть.

— И ты его видел?

— Своими глазами.

— Ну так на кого же он похож?

— Да на домового же и походит.

— Одет он во что-нибудь или нет?

— То-то нельзя этого знать... А видишь только, что тут он... Вроде как тень, такой мутный, лежит, и сено сквозь него видно.

И тут у нас начался самый детский разговор. Я только мог дивиться, какая детская наивная душа сохраняется в этом сильном и добром человеке, в котором запутанная жизнь может накапливать почему-то только зло, только негодование...

X. ЗЕМЕЛЬНЫЕ НЕПОРЯДКИ

Картины, которые невольно ложатся на бумагу, до того непривлекательны и до того тягостны как для читателя, так и для записывающего их, что мы не будем более делать этого. Довольно знать, что как бесцеремонная жестокость мужика разживающегося, так и нарождающаяся жестокость сердца в мужике разоряющемся имеют один и тот же источник — расстройство земледельческих порядков. Все в глубине души сознают, что земля — одна только непоколебимая и прочная основа благосостояния, что земледельческий труд — один только безгрешный, святой труд, складывающий все частные и общественные отношения земледельцев в безгрешные, безобидные формы. Понято ли достаточно значение земли во всем обиходе крестьянской жизни? Возвращаясь опять к фактической стороне дела, видишь, что земли мало — вполовину меньше, чем нужно, — видишь, что никакой, необходимой при новых условиях крестьянской жизни, хозяйственной системы не выработано. Какой-нибудь сенной пресс, который должен быть таким же общественным достоянием деревни, как пожарная труба, который должен облегчать труд всех земледельцев, составляет источник огромного дохода для единиц: вот этот Парфенов купил пресс и может ничего не делать, обирать мир. Конечно, Парфенов может покупать что ему угодно, но и мир должен иметь свой пресс, свою молотилку, для того чтобы труд облегчился для всех, чтобы не было ненужного зла.

Помимо недостатка земли, стройность и прочность земледельческой семьи нарушается не вполне правильной воинскою повинностью. При старой так называемой очередной системе прежде всех должны были идти многосемейные — для большой семьи не так трудно лишиться одного работника, как для маленькой потерять его. Теперь возможны случаи, когда большая семья остается невредимой, а маленькая вконец разоряется. Пролетариат, воспитываемый новою модой наживы денег с своего соседа, увеличивается и этим обстоятельством.

В старину этот пролетариат волей-неволей сидел на помещичьей шее, в виде дворни, в виде «учеников», отданных в городские мастерские. Наконец, огромная масса

такого негодного в деревне народа отдавалась в солдаты и, вследствие долгого срока службы, возвращалась назад в самом незначительном количестве. Я знаю, что все это сидело на народной же шее, я знаю, что старая солдатчина ужасна, и надеюсь, что никто не припишет мне желания возвратить это прошлое; я говорю только, что, так или иначе, пролетариат деревенский был прибран из деревни, не толкался в ней, не мешал мужику быть земледельцем. Теперь не только такой жестокой приборки нет, но, напротив, даже и мысли нигде ниоткуда не проникает о том, что «не надо разводить» пролетариата и что необходимо устроить по-божески. Срок службы хоть и короток, но солдатчина портит человека, и, воротясь, он мешает: он — плохой работник.

Затем старая хозяйственная система была правдивей, с своей корыстной точки зрения, к народу и по отношению к налогам. Богатый всегда платил больше бедного, хотя бы у обоих их считалось по одному тяглу. Теперь же за одно и то же количество душ платят и семьи огромного денежного богатства и семьи огромной земледельческой нищеты. Кроме того, какая система в том, что в этих двух деревнях совершенно разные платежи: одна деревня платит 1 руб. 60 коп. в год, всего-навсего, а другая — 19 рублей с души? Или почему вот эту половину реки одна деревня сама отдала в аренду рыбакам и получает за нее деньги, а другая не может поймать и окуня, потому что половина реки, прилегающая к ее берегу, тысяча лет тому назад подарена монастырю и монастырь сам сдает ее в аренду? Тысяча лет тому назад монастырские владения никого не стесняли, а теперь они прямо расстраивают население... Неужели все это не может быть устроено просто, внимательно, по совести? Глядя на все это, не понимаешь, как можно каким-нибудь эпитетом определять такое запутанное землевладение, тем паче таким, как «община». Тут самая грубая неряшливость. Бог знает что, но только не община.

Вспоминая постоянно крепостное право, я полагаю, что читатель не заподозрит меня в сочувствии ему. Я только говорю, что при крепостном праве была система, что хотя на человека и смотрели как на рабочую только силу, но обязаны были, в видах получения от нее пользы, удовлетворять ее в ее существенных потребно-

стях. Теперь человек деревенский — не скотина, не животное: он, слава богу, человек в самом деле, живая человечья душа; а между тем, как мы видели из приведенных выше примеров, хозяйственная-то земледельческая организация его была оставлена в полном расстройстве и невнимании, а человеческая — вовсе ничем не удовлетворяется.

Столетие тому назад Тихон Задонский мог с церковной кафедры публично, при всем народе, говорить такие слова: «Явное *хищение* есть то, когда кто чужую вещь насильно отнимает, как то делают: 1) Разбойники, кои насильно другого грабят. 2) Властелины, которые у своих подчиненных, а сильные у немощных отнимают нагло имение, дом, землю и проч. или принуждают их продать себе то, что они продать не хотят (зять Ивана Босых), или продать малою ценою. 3) Сему хищению подвержены продавцы, которые в крайней другого нужде, например во время голода, хлеб не продают, разве за несносную цену. Сюда подлежат и те, кои, видя другого нужду, взаем не дают денег, или хлеба, или чего другого, разве требуя неправедной лихвы и росту» и т. д. Повторяю, сто лет тому назад *можно было публично,* с кафедры большого губернского города, *прямо, открыто и безбоязненно говорить* о правде человеческих отношений. Подите-ка пикните теперь об этой правде не только в губернском городе, с кафедры собора, а в деревне — посмотрите, чем отплатят проповеднику за эту смелость господа Парфеновы, Ивановы зятья, волостные старшины и т. д.

Вот в числе молящихся находится господин Пуговкин, лесопромышленник. Он нанимает мужиков возить из лесу дрова и платит им с сажени; только сажень у него *своя,* именно — не три, а четыре с вершками аршина. «Только *сажень у меня, ребята, своя»,* — говорит он. Попробуйте-ко публично сравнить его с явным хищником, да он вас за это буквально сотрет в порошок! Говорить публично *о таких* вещах — разве это не бунт? Вот почему современный иерей предпочитает сидеть дома, либо ловить рыбу, либо от скуки очинит перо, да потом и примется выводить отличнейшим почерком: «Милостивый государь, господин Иоганн Гофф! Употребив,

совокупно с тещей, одержимой воспламенением всех суставов, двадцать пять бутылок вашего мальц-экстрактного препарату, с благоговением прилагаю еще 3 рубля»... А рядом зять порет Ивана Босых за то, что тот хотел сено продать подороже...

XI. ШКОЛА И СТРОГОСТЬ

Деревенская школа, деревенский учитель, как, вероятно, известно всякому живущему в деревне, не пользуются особенной симпатией деревенского населения. Конечно, есть много превосходных учителей, умеющих возбудить к себе страстную и искреннюю любовь учеников, и скажем даже, что огромный процент народных учителей составляет наилучший элемент современной деревенской интеллигенции — элемент, в среде которого почти исключительно приютились остатки исчезающей из обращения идеи самопожертвования и служения на пользу ближнему; но все-таки мы должны признать, что современное деревенское население не чувствует к школе того расположения, которое оно должно было бы чувствовать. Поговорив с любым из крестьян, то есть земледельцев, о современных порядках, нуждах, переменах и ожиданиях и перейдя потом к разговорам о школе, об училище, вы непременно услышите два постоянно слышащиеся мнения, «что ничему не учат» и «что нет строгости». С немужицкой точки зрения, оба эти мнения одинаково несправедливы: во-первых, потому, что учат гораздо большему, чем учили в старину по псалтырю; а во-вторых, роптать на недостаток строгости в училище в то время, когда рука родителя не задумается дополнить по этой части дома то, чего, по его мнению, не сумела сделать школа, оказывается делом решительно неосновательным. А между тем весьма нередко ропот на то, что «ничему не учат» и что «нету строгости», иногда переходит из области простого, затаенного неудовольствия на практическую почву и выражается в том, например, что некоторые деревни прямо отказываются платить сбор (от 10

до 25 коп.) на школы, который они сами же мирским приговором обязались платить. Факты подобного рода весьма часты, и с первого взгляда кажется, что они не представляют собою ничего другого, кроме доказательства глубокого народного невежества и косности; на самом же деле выражения: «ничему не учат» и «нет строгости» имеют, если только дать себе труд добиться их подлинного смысла, как раз обратное значение, то есть совершенно определенно указывают высоту народных требований по отношению к науке — высоту, которой школа не удовлетворяет. С этой точки зрения, выражения: «ничему не учат» и «строгости мало» получают иной смысл, а слово «строгость» перестает значить то же, что «за волосы» или «ложись».

Но позвольте, скажет читатель, давший себе труд прочитать предшествовавшие главы настоящего очерка, — какая же нужна школа и наука мужику? Разве в этой жизни, основанной на «власти земли», власти, все проницающей, все устрояющей и все в народной жизни уясняющей, — разве там есть место какой-нибудь книжке и какой-нибудь науке? Зачем она тут? Зачем сюда соваться и разрушать удивительную стройность ни в каких указаниях (кроме указаний природы) не нуждающейся жизни? Все это читатель имеет право напомнить мне, и все это, с своей стороны, я готов бы был повторить и подтвердить в более, насколько возможно, сильных доказательствах и фактах, если бы мною руководило не столько желание предаться изображению трудовой жизни «без греха», сколько другое, более настоятельное желание, чтоб эта безгрешная жизнь, золотые зерна которой рассыпаны по всей русской земле, не была обречена на непрестанное пребывание в навозных кучах и чтоб эта драгоценность не была разменена на медную монету... Что это точно жизнь без греха и что это точно драгоценность, мы будем говорить тогда, когда отделаемся и раз навсегда покончим с вопросом о том, что именно надобно делать, чтобы драгоценность эта не была промотана и не пошла прахом.

Ввиду этой цели мы в первых главах нашего очерка и хотели в грубых чертах выяснить себе, в чем именно заключается эта драгоценность, которою обладает народ и которую жаль промотать. Об этой тайне народной

силы, об этом *каком-то* залоге, таящемся «в недрах», об этой неуязвимости народного миросозерцания и силы духа мы, особенно в настоящее время, слышим на каждом шагу, но, к несчастию, решительно не видим мало-мальски определенных очертаний этой народной тайны.

Лет тридцать тому назад Герцен написал об этой тайне народного духа следующее: «Мне кажется, что есть *нечто* в русской жизни, что выше общины и государственного могущества; это *нечто трудно уловить словами и еще труднее указать пальцем.* Я говорю о *той* внутренней, *не вполне сознательной силе,* которая столь *чудесно* сохранила русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным татарским кнутом и западными капральскими палками, — о *той* внутренней *силе, которая* сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина под унизительным гнетом крепостного состояния, — о *той,* наконец, *силе* и вере в себя, *которая* жива в нашей груди. *Эта сила* ненарушимо сберегла русский народ, его непоколебимую веру в себя — сберегла *вне всяких форм и против всяких форм».*

Что же это такое за сила? Как видите, такого огромного дарования писатель, как Герцен, не только не может указать пальцем на эту силу, но не может даже выразить ее словами. Эта сила, чудесная, таинственная, в то же время не вполне сознательная, сохраняет русского крестьянина и под кнутом, и под палкой, и в крепостном унижении — словом, вне всяких форм и против всяких форм. Что она такое, неизвестно, — она только чувствуется, и хотя понять и уловить ее нельзя, тем менее можно указать пальцем, но *она* все-таки сберегла русский народ, и сберегла вместе с верой в себя. Тридцать, тридцать пять лет тому назад даже человек такого огромного знания, таланта и дарования мог только чувствовать эту народную тайну, но мог и не касаться ее пальцем просто потому, что для этого необходим был мелкий утомительный опыт, необходима была черная работа в самой глубине, у самых корней этой народной тайны. Но повторять те же таинственные слова: «сила», «та таинственная сила, которая», «дух, который непоколебим», «сила, которая устояла» — словом, повторять восторженным голосом это бесконечное «которая», к кото-

рому можно прицепить все, что угодно, — повторять это в настоящее время нам кажется уже решительно невозможным. Так или иначе нам надо знать, что *это такое,* что не проймешь ни палкой, ни кнутом, что вне форм и против форм сберегло русский народ и его веру, живой ум, открытое лицо и т. д. Чтобы разъяснить себе этот вопрос, прикоснуться к нему пальцем, назвать его словами, мы решаемся спуститься в самую глубь мелочей народной жизни, идем в избу, прямо к представителю этой силы, и так как на прямой вопрос: «отчего вас невозможно пронять и отчего, несмотря на татарские кнуты и капральские палки, вы сохранили открытое лицо и живой ум» — ответа мы не получаем, то, разумеется, надо самим нам перерыть все, что ни есть в избе, в клуне, в хлеву, в амбаре, в поле... Работа мелочная и неприятная... Право, господин благосклонный читатель, — утомительная и, право, неприятная! Вы вот всё жалуетесь, что нет изящной словесности, всё только о мужике пишут. Во-первых, это неправда: вы имеете ежемесячно массу литературных произведений, написанных вовсе не о мужике, и притом весьма изящно. А во-вторых, зачем вы читаете об этом мужике и, главное, зачем вы полагаете, что писания эти надо причислить к изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее в оглавление, ведь и там сказано: «заметки», «отрывки»... — какая же это словесность? Это просто черная работа литературы, а с словесностью, вероятно, надобно покуда повременить. Пишущий эти строки, виновный до некоторой степени в литературных огорчениях читателя (один провинциальный критик пишет: читатель хочет *десерта,* а ему всё о мужике), и сам бы рад был радехонек почитать что-нибудь хорошенькое, да все что-то не видно...

Трудна, неприятна и утомительна эта черная литературная работа, а делать нечего, надобно работать. Мы вот всё твердим: «сила», «дух, дух, дух», «она самая, которая», которая чудесным образом сберегла, сохранила и т. д., а что это такое — не знаем, и может случиться, как это и случилось, что сила таинственная и чудесная, сохраняющая неприкосновенность человека под палками и кнутами, вдруг не сохранит его под ударом рубля. Ведь вот все вытерпел народ — и татарщину и неметчину,

а стал его жид донимать рублем — не вытерпел! Ну как что-нибудь еще случится непредвиденное? Почем знать? А ведь если все твердить: «та, которая», так ведь ровно ничего нельзя ни знать, ни предвидеть. Вот поэтому-то, несмотря на огорчения читателей и критиков, желающих «десерта», мы и решаемся спуститься к самым недрам и корням народной жизни... И здесь, после миллиона недоумений, миллиона ошибок, терзаний, мы, наконец, радостно видим, что кое-что из этой тайны неуязвимости открылось нам.

Оказывается, что «сила», которая сохраняет человека под кнутом и палкой, которая сохраняет у него, несмотря на гнет крепостного права, открытое, живое лицо, живой ум и т. д., получается в этом человеке *непосредственно* от указаний и велений *природы,* с которою человек этот имеет дело непрестанно, благодаря тому что живет особенным, разносторонним, умным и благородным трудом земледельческим. Оказывается, что не только наш крестьянин-земледелец, но решительно крестьянин-земледелец всех стран, всех наций, всех народов точно так же неуязвим во всевозможных внешних несчастиях, как неуязвим и наш, раз только он почерпает свою мораль от природы, раз только строит свою жизнь по ее указаниям, раз только повинуется ей в радостях и несчастиях, то есть раз только он — земледелец, так как нет такого труда, который бы так всецело и непосредственно, и притом каждую минуту и во всем ежедневном обиходе зависел от природы, как труд земледельческий. Припомните, чего-чего ни перенесли французы, итальянцы, турки, славяне, немцы и т. д.; но если мы дадим себе труд разыскать в землях, населенных этими народами, то, что называется нетронутою цивилизацией, деревней, так мы непременно найдем то же самое миросозерцание, что и у нашего крестьянина, конечно видоизмененное по внешнему выражению, сообразно климату, темпераменту, породе и т. д. Но решительно везде, *точно так, как и в нашей деревне,* мы не найдем *никаких следов* воспоминаний о каких бы то ни было гнетах и бедствиях. Наш крестьянин сохранил открытое лицо и живой ум, несмотря на татарское иго, шпицрутены и крепостное право. А французский настоящий нормандский или бретонский мужик сохранил разве воспоминание о нашествии римлян, о на-

шествии варваров, о бесчисленных войнах и драках, в которых погибли миллионы его предков? Итальянский пахарь наверное не помнит *всей* (!) римской истории, точно ее и не бывало. А сколько перерезано турок, и что же? — Лицо у них улыбающееся и к мордобитию расположенное во всякое время. Во время сербской войны с поезда русских добровольцев на одной из австрийских железных дорог свалился в пьяном виде русский крестьянин-доброволец. Поезд ушел, а крестьянин, очнувшись, увидел себя в какой-то мадьярской деревне. Через две недели, однако, он с другим поездом добровольцев добрался до Пешта и рассказывал о своем приключении. «Что же ты делал эти две недели?» — спрашивали его. «Что делал!.. Как есть нечего, — найдешь работу!» — «Что же ты работал?» — «Да все: дрова колол, воду возил — все, что по крестьянству следует». — «Но ведь ты не знаешь ни слова по-мадьярски, как же ты разговаривал?» — «Да чего мне разговаривать-то? Дадут в руки топор да подведут к дровам, так я и без разговоров знаю, что мне топором не щи хлебать, а дрова рубить. Разговаривать!.. Поставят к лошади с плугом, *само собой* и видно, что надо пахать, а не в карты играть или, например, кофий пить»... Такое родство в воззрениях земледельцев всех стран, мы уверены, вполне существует.

Эту неизменность основных черт земледельческого типа накладывает на крестьян всех стран света неизменность законов природы, которые, как известно, также «устояли», несмотря на то, что в Риме были Нероны и Калигулы, а у нас — злые татарчонки, Бироны, кнуты, шпицрутены. Неизменно, на том же самом месте, как тысячи тысяч лет назад, так и теперь, стояло солнце; как и теперь, оно заходило и восходило в тот же самый день и час, как и в «бесконечные веки»; могли сменяться тысячи поколений тиранов, всяких людей, нашествий, но тот человек, которого труд и жизнь обязывали быть в зависимости от солнца, должен был оставаться неизменным, как неизменным оставалось оно. Возьмите нашего крестьянина из любой земледельческой деревни: он находится и сейчас *точь-в-точь* в таких же условиях жизни и под теми же самыми влияниями, как и тот скиф, портрет которого вы можете видеть в книге Вайца и который буквально точь-в-точь похож на нашего «мужика»: тот же самый

камень обходит сохой и теперешний мужик, какой обходил сохой скиф, и как древнейший предок теперешнего мужика, обходя камень, говорил: «ишь, идол, разлегся на самой дороге, возись тут около него», — так и теперешний мужик, поровнявшись с камнем, не преминет вымолвить: «и нелегкая же тебя повалила на это место, неладная дубина!..» Река, солнце, месяц, весна, осень, трава, деревья, цветы — все до последней мелочи природы было *точь-в-точь* то же самое, что и в «бесконечные веки». *Это* было неизменное. От *этого* зависела жизнь, в *этом* — тайна миросозерцания. *Это* можно назвать и указать пальцем.

В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненна и особенно пленительна та *правда* (не *справедливость*), которою освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность. Тут все делается, думается так, что даже нельзя себе представить, как могло бы делаться иначе при тех же условиях. Лжи, в смысле выдумки, хитрости, здесь нет, — не перехитришь ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя, — а стало быть, нет ее и во всем жизненном обиходе. В этом отсутствии лжи, проникающем собою все, даже, повидимому, жестокие явления народной жизни, и есть то наше русское счастье и есть основание той веры в себя, о которой говорит Герцен. У нас миллионные массы народа живут, не зная лжи в своих взаимных отношениях, — вот на чем держится наша вера. Впоследствии мы постараемся рассказать несколько самых, повидимому, возмутительных жестокостей в народной жизни, и все они, с точки зрения миросозерцания, воспитанного неизменными законами природы, окажутся неизбежными, а люди, совершившие их, чистыми сердцем, как голуби.

Но хоть в природе и все — правда, но не все в ней ласково. Посмотрите-ка, какой веселый лес на горе, какие там веселые «птичек хоры» или какой он молчаливый и торжественный ночью, а между тем в то время, когда он молчит, и в то время, когда он весь поет и зеленеет, какое идет в нем поедание друг друга! Вы не услышите ничего, кроме едва-едва приметного писка то там, то сям. Кто-то кого-то ест, а потом, веселый и довольный, «с светлым лицом» и губами, на которых не заметно крови, идет в свое семейство... Лес не помнит своих прародителей, которые

в первый раз были срублены во время татарского ига, а второй раз во времена «немецкой бюрократии», и прет из их сгнивших корней свежими стволами — прет потому, что слушает солнца, нельзя ему не выпирать, коли оно его тянет, и некогда вспоминать прародителей. Не вспоминает и этот волк съеденной овцы и не виноват, конечно, в этом; да и сыч этот, съевший яйца в чужом гнезде, тоже только облизывается и хвалит творца. Все поедает друг друга каждую минуту, и все каждую минуту родится вновь... Родится, цветет, поет, только писк-то вот этот, который по временам слышится кое-где, вот он-то очень неприятен и щемит то заячье, то овечье, то птичье сердце. А в человеческом обществе, поставленном к природе в слишком неразрывную зависимость и не имеющем возможности жить иначе, как по тем же самым законам, как живет вышеизображенный лес, этот писк и вопль человеческого существа ужасен и жалок необыкновенно, потому что тут жестокое друг над другом совершают люди, а не звери, не бессловесные животные. Повторяем, и в этих жестокостях неизбежная правда: заедят непременно слабого, заедят *не зря*, а непременно вследствие множества неотвратимых резонов, — заедят, и все будут невинны; но и сердце, которое содрогается от этого человеческого писка, частенько переходящего в стоны, также содрогается не без основания. Любители охоты говорят, что собаки, обладающие особенно развитым чутьем, никогда не бегают по следам дичи, а бегут в стороне. Происходит это от того, что запах дичи на следу так сильно бьет собаку в нос, что она теряет обоняние, не слышит запаха дичи, тогда как со стороны, сбоку следа, запах дичи она слышит отлично. Вот также и насчет сердца человеческого: один дерет с другого шкуру — и не чувствует; ему довольно знать, что нельзя иначе... А другой, и издали глядя на это зрелище, не только сам ощущает боль сдираемой кожи, не только чувствует страдание обдираемого человека, но имеет даже дерзость считать этот неизбежный акт возмутительным и жестоким, имеет даже дерзость закричать издали: «что вы делаете, проклятые!» — хоть и знает, что они не виноваты.

Человек с таким сердцем, с таким чувством и чувствительностью и есть, как мы думаем, человек интеллигентный. И такой человек всегда был, присутствовал в самой

среде *народной массы*, работал в ней не во имя звериной, лесной правды, а во имя высшей божеской справедливости. Наши интеллигентные прародители были так умны, знали, должно быть, так хорошо народную массу, что для общего блага ввели в нее «христианство», то есть взяли *последнее слово*, и притом *самое лучшее*, до чего дожило человечество веками страданий. И слово это, проповедывавшее высшую степень самоотречения, они не побоялись внести в среду людей, которые «звериным обычаем живяху». Общество, которое жило таким образом, очевидно было вовсе не приготовлено к восприятию такой непривычной новизны; ему бы, если верить нынешним нашим руководителям, надобно было пережить весь смрад развалившегося мира, прежде чем вкусить христианство. Но наши прародители, повторяем, знали свой народ, хотели ему добра и, как люди, которые сами близко жили к природе, знали, что такое значит жить «звериным обычаем», — знали, что звериному обычаю незачем переживать всевозможные благообразные изменения этого обычая, раз уж есть нечто лучшее, высшее всего этого зверинского благообразия. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человеческое сердце, взяли христианство, и притом в самом строгом, не подслащенном виде... Теперь мы роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе, в национальных и европейских мусорных ямах...

Итак, в русской народной массе всегда был интеллигентный человек. Он, вооруженный христианскою идеей, шел безбоязненно в массу народа, которая жила звериным обычаем. Частенько его колотили дрекольями, но он не унывал и неустанно твердил одно: «не сдирай шкуры с ближнего!» Этот интеллигентный человек был настоящий работник народный, и работник практический; чудеса наших угодников весьма не блещут разнообразием; да настоящие интеллигентные работники в народной среде, зная эту среду за практическую, и действовали также практически. Когда одного из проповедников христианства жители нынешнего города Владимира выгнали из города, он не унялся, а поселился неподалеку от города в лесу и здесь, не надеясь успеть с звериными сердцами родителей, стал приманивать к себе молодежь. Молодежь также отлично знала, что соловья баснями не кормят.

Знал это и проповедник и счел необходимым, прежде нежели начать проповедывать, привязать их к себе угощением: стал он до отвала кормить молодежь кашей; после каши молодежь стала уж слушать его волей-неволей, а потом поняла и увековечила его память. Все наши наиболее чтимые угодники непременно были самые практически-деятельные, добрые, чувствительные люди. Тихон Задонский покупал мужикам семена, земледельческие орудия, хлопотал за них в тюрьмах. На эти расходы он истратил все, что имел: даже перину продал; часы карманные тоже продал; после его смерти осталось денег 14 рублей ассигнациями. Этот прекраснейший образец человечности (по страстности и вниманию к положению ближнего, по негодованию на условия его темноты и, главное, по пониманию христианства) не мог довольствоваться важным саном архиерея и правом поучать стадо словесно, — он добровольно отказался от архиерейской кафедры и удалился в монастырь, где ему представлялась возможность вмешаться с своею деятельною любовью в народную среду.

Эта интеллигенция «угодников божиих» внесла в народную русскую массу бездну всевозможной нравственной и физической опрятности (посты, браки в известное время года и т. д.). Но главное-то — они старались «*развить эгоистическое сердце человека* в сердце *всескорбящее*, обобщить его разумом и в свою очередь оживить им разум...»[1] Вот эта-то тенденция — превратить эгоистическое сердце в сердце всескорбящее — и была положена в основание народной школы, училища, основанного на псалтыре, и т. д. Цифири учили плохо, были бирки, а землю мерили (да и сейчас мерят) лаптями, «носком в пятку». Но воспитание сердца было настойчивое; учеба была тиранская, но касалась она не расчета, не выгоды, не простого, ненужного знания, а проповедывала ту самую «строгость» к самому себе и к ближним, которая нужна и важна в человеческом обществе вопреки той правде дремучего леса, в которой оно обязано жить. Человек чувствовал, что эта правда жестока, несправедлива, и хотел сдержать ее «строгостью» справедливости. Худо ли, хорошо ли, а эта проповедь

---

[1] Как настоящая, так и предшествовавшая цитаты из Герцена заимствованы из книги Н. Страхова «Борьба с Западом».

нравственных обязанностей человека к человеку проповедывалась и лежала в основании старой школы, когда люди жили звериным обычаем. Ничего практически полезного, в смысле реализации этого учения о «божественном» в каком бы то ни было виде выгоды или удобства, — эта школа не давала; напротив, она учила прямо необходимости в некоторых житейских отношениях нести убыток — подавать нищим, убогим, жертвовать на храм и т. д. А между тем такую школу народ почитал за серьезную, гораздо более серьезную, чем теперешняя, где можно узнать массу чисто практически полезных сведений об удобрении, навозе и т. д. Практической пользы в хозяйстве, в доходе, не могло быть ровно ни от какого чтения или заучивания наизусть, например, псалтыря. Всякий знал, что из этих рыданий псалмопевца «не сошьешь шубы», а долбили, и плакали, и наказывали за неуменье выдолбить, потому что видели нравственную необходимость глядеть на себя и на окружающих не с одной только точки зрения дремучего леса. «Божественное» знакомило с нравственными обязательствами и задачами человека. Худо ли, хорошо ли знакомило, а знакомство давало по крайней мере возможность знать, что *это* — что-то серьезное, важное, хотя и не прибавляет в доходы ни копейки, а, напротив, убавляет.

Вот эту-то божескую правду народ и считал важною в старинной псалтырной и часословной школе. Теперь же, когда времена значительно изменились, когда нет татарина, барина, когда общественные и частные отношения в народной среде осложнились, облеклись в новые формы, — этой высшей точки зрения на окружающее и нет в современной школе. Нет той науки о *высшей правде*, которая бы дала *теперь* человеку возможность сказать себе, что справедливо и что нет, что можно и что нельзя, что ведет к гибели и что спасает от нее. При осложненности современных отношений в народной среде эта наука о высшей правде должна бы значительно раздвинуть пределы переработки эгоистического сердца в сердце всескорбящее, то есть, говоря проще, должна бы прямо, смело и широко касаться самых жгучих общественных вопросов — тех самых вопросов, до которых додумалась и дошла человеческая *всескорбящая* мысль в ту самую минуту, которую мы переживаем. «Как! — воскликнет читатель, — вы

хотите, чтобы в школе разговаривали о труде и капитале, хотите, чтобы так называемые общественные, проклятые вопросы были поставлены в школьном ученье на должную высоту, чтобы все деревенские мальчишки рассуждали о пролетариате и т. д.?» А почему же нет? Что это за запрещенный плод? Почему эти жгучие вопросы не могут быть поставлены прямо, широко, сделаться достоянием общественной мысли? На чем основано невозможно жестокое гонение всякой малейшей попытки показать народу ряд огромных общественных задач, которые к тому же решать так или иначе будет этот же самый народ? Отчего «жгучие вопросы» должны быть недоступны этому крестьянскому юноше, который по выходе из школы будет и семьянин и общественный деятель, гласный, судья, присяжный, или — нищий, вор, грабитель, убийца и т. д.?

Я решительно не понимаю и не могу придумать ни единого веского мотива, который бы хотя мало-мальски объяснял такое необузданное преследование разговоров об общественных вопросах в народной среде. Да не только в народной, а и в так называемом интеллигентном обществе вопрос о богатом и бедном, поставленный так прямо, как он поставлен, например, на картинке о богатом и бедном Лазаре, — и то почти невозможен без некоторого внутреннего страха за будущее того ребенка, который сумеет понять этот вопрос в существующих формах. Между тем если б мы имели практическую смелость наших прародителей, которые, как мы знаем, брали для своего народа последнее слово того *исключительно* справедливого и *хорошего*, до чего додумалась человеческая мысль, так мы именно не должны бы были бояться прямо, без всяких экивоков, смотреть в глаза тому положению, которое переживает человечество старше нас в настоящую минуту, безбоязненно отделять зло от добра и брать для нашего народа исключительно только последнее, не страшась того, что оно, быть может, и не придется иному по вкусу. Чтоб яснее было видно, что мы считаем злом и что добром, приведем следующие два примера.

Как известно, при открытии банка Бонту его святейшество папа Лев XIII взял для поддержания репутации этого банка акций на 50 тысяч франков. Подержав их у себя некоторое время, святой отец почуял, что дела банка ненадежны, и поэтому, улучив удобную минуту,

когда акции банка, купленные по 400 франков, достигли цены 2400 франков, продал их и таким образом ни за что, ни про что положил к себе в стол 250 тысяч франков чистого барыша.

В тот самый день и в том же самом нумере газеты, в котором было напечатано это радостное известие, среди разных ежедневных мелочей было рассказано такое происшествие: недалеко от Кенигсберга, в одной прусской деревне, крестьянка зарезала своих пятерых детей и сама хотела утопиться; но так как близ той деревни, где она жила, речка была мелкая, то она имела мужество перенести свое горе и отчаяние до Кенигсберга, на расстоянии пятидесяти верст, и там бросилась в глубокую реку. Ее вытащили, а когда привели в чувство и стали расспрашивать о причине ее жестокого поступка с детьми, ее отчаяния, то она сказала в свое оправдание (!), что она *выбилась из сил* на работе. Муж ее, изувеченный в последнюю славную франко-прусскую войну, не мог работать. Вся тяжесть труда лежала на ней, и вот она, измучившись, *выбившись из сил* (буквально!), решила выйти из жизненных тисков таким решительным и ужасным образом.

Вот, как нам кажется, самые характерные черты ненавидимых нами европейских порядков. Раз человеческое общество дожило до возможности иметь в своей среде такие крайности существования, как существование деревенской бабы, *выбившейся из сил* от работы для насущного хлеба, и человека, который «заработал» в одно мгновение, не шевельнув пальцем, 250 000 франков, — раз существуют воззрения, вследствие которых поступок папы не считается предосудительным (наверно, множество людей скажут: «ловко, отче, сумел, во-время!» и т. д.), а поступок женщины, доведенной до отчаяния, *преступлением*, раз все это есть и раз все это связано между собою рядом каких-то, всеми признаваемых за неизбежное, оправдательных доводов, не трудно видеть, что общество это таит в глубине своей смертельную язву огромной неправды, что шаблонные оправдательные доводы — ложь, обман, то есть не трудно видеть ту *правду*, которая видна из-за этой лжи человеческих отношений.

Теперь спрашивается, если мы знаем (а наше русское счастие и состоит в том, что все это мы можем и видеть и знать, не развращая себя развращающим опытом) —

если мы знаем, что такие порядки в результате сулят несомненнейшую гибель обществу, их выработавшему (что мы тоже отлично *знаем*), то почему же у нас нехватает способности на ту простую практическую правду, которою обладали наши прародители, вводя христианство в сознание народных масс, чтоб *открыто* не признать этих порядков ложью, чтоб *открыто* не взяться за ту правду, до которой дострадалось человечество и которая виднеется из-за этой лжи? Хотим ли мы, чтобы такие же порядки развивались в массе нашего освобожденного народа? Хотим ли мы, чтоб он *со свежим аппетитом* возлюбил эти порядки? Если не хотим, то нам нечего бояться положить правду в основание народного образования, нечего бояться ввести в школы «строгость» в разработке проявления этой правды — дома, на улице, на сходке... И вот за эту-то науку, касающуюся строгости, то есть высшей правды среди новых, сложных общественных отношений, сложившихся в современной народной жизни, народ наш и был бы несомненно благодарен школе и сказал бы непременно: «да, учат добру». А этого-то и нет! Есть все, кроме возможности говорить о высшей справедливости человеческих отношений. И вот в школе скучно и учителю и ученикам...

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой заключительной главе нашего очерка, оказавшегося, как мы сами хорошо сознаем, весьма неладно скроенным и не вполне крепко сшитым, мы хотим, во-первых, сказать два слова в объяснение этой «неладности» очерка и, во-вторых, договорить то, что в нем не было еще договорено. Желание отметить значение в народной жизни «земли», о которой крестьянин вопиет не только с экономической стороны, но и со стороны нравственной, то есть показать, что земля нужна ему не только для того, чтобы быть лучше сытым (что тоже крайне бы желательно), но и для того, чтобы сохранить все свое миросозерцание, чтобы развить и укрепить на основании его свои

семейные и общественные отношения, свою мысль, свое чувство и т. д., — это желание было возбуждено в нас теми многочисленными мероприятиями, направленными к улучшению и устроению народного благосостояния, о которых мы благодаря газетам имеем целые десятки известий. Жадно интересуясь, в качестве деревенских жителей, всеми этими известиями и радуясь, что «наконец» «что-то» «как будто» «в самом деле» затевается хорошее, мы в то же время, и тоже в качестве деревенских жителей, не можем не видеть, что обилие мероприятий и обилие известий не блещут знанием народной действительности, не отделяют главное от третьестепенного или вовсе ненужного, разрабатывают вопросы несущественные, оставляя в стороне самые насущные, толкуют о стропилах, когда не выстроены еще и стены, строят печку на том месте, где еще нет дома, и т. д. С нашей деревенской точки зрения нам кажется, что если бы прежде всего, прежде вопросов о народном пьянстве, самоуправлении, «уездной проблеме», всесословной волости, был поставлен на очередь и хоть *мало-мальски* удовлетворительно разрешен вопрос земельный, то не было бы даже и надобности выдумывать такую укупорку бутылки водки, которая бы заставила пьяницу провозиться над этою бутылкою год, прежде чем получилась бы возможность добыть из нее одну рюмку, не было бы надобности в выдумках пятнадцативерстных расстояний одного кабака от другого и других бесплодных, а иногда и смешных проектов. [1] Нам кажется, что будь разрешен только этот главнейший, существеннейший вопрос народной жизни, вопрос благосостояния и нравственности, как немедленно же, будто свежим и сильным дыханием ветра, стало бы «относить» и от кабаков, и от волостных судов, и от «общественных» помойных ям самоуправления тучи того смрада, который над ними навис и который гнетет их и давит. Смрад этот, который не дает ни дышать, ни думать и который, смеем уверить читателя, не будет разогнан никаким образом, если на него будут, как веером, махать тем или другим

[1] В одном из №№ «Сельского вестника» напечатано мнение о мерах против пьянства, принадлежащее перу какого-то крестьянина. Этот мудрец предложил такую меру: сделать кабаки без дверей на улицу. На улицу должно выходить крошечное окно, в которое можно было бы просунуть бутылку.

замысловатым проектом, сам собой исчезнет как дым, рассеется в пространстве, «яко воск от лица огня» растает от одного только добросовестного удовлетворения насущнейшей народной нужды и от добросовестного признания тех последствий, которые выльются в известные требования и произойдут после того, как *главное* будет удовлетворено.

Вот для того-то, чтобы показать, что «земля» — *главное* не только по отношению к народному брюху, но и по отношению к народному духу, к народной мысли, ко всему складу народной жизни, мы и задумали написать небольшой очерк, который бы касался этого значения земли, по возможности сжато и кратко, чтобы тотчас же перейти к действительности и показать, до какой степени значение это не принимается во внимание, как оно исковеркано неразборчивыми и ничем не отражаемыми внешними влияниями. Но когда мне пришлось сосредоточиться на второй половине моей задачи, то есть показать значение земли, земледельческого труда и морали, заимствованной непосредственно от природы (благодаря этому труду), в области проявлений народного духа, — задача моя вдруг приняла размеры неподобающие, огромные. Брак, семья, народная поэзия, суд, общественные заботы и т. д. и т. д. — словом, все стороны народной жизни оказались проникнутыми этими влияниями и моралью труда земледельческого, во всем оказался его след, везде стала видна черта, начало которой — в поле, в лесу. Быть кратким не представлялось возможности. Быть пространным не было подготовки — вот и пришлось говорить обо всем понемногу.

Говоря о многосложности возникшей предо мной задачи, я вовсе не хочу сказать этим, что народная жизнь и жизнь крестьянская представились мне в виде чего-то совершенно особенного от жизни остального человечества, что «крестьянство» — это каста, не имеющая ничего общего с остальным человечеством. Вовсе нет. Крестьянин — такой же человек, как и все; но все его общечеловеческие потребности, желания и нужды удовлетворяются своеобразно, на свой образец — удовлетворяются из известного источника, имеют известный цвет, вид и форму, и все это благодаря одной главнейшей черте, лежащей в основе его существования, именно земледельческому

труду. Никто не ходит голый, все носят платье для того, чтобы не было холодно и чтобы не было срамно́, но не все носят одинаковый костюм. Жизнь и труд крестьянина требует *непременно* такого костюма, который он носит; он *непременно* будет пахать в лаптях или босиком, потому что *должен* это делать. У него есть превосходные смазные сапоги с бураками, но земля и труд на ней требуют, чтоб он, отправляясь в поле, разулся и надел лапти. Если чрез миллион лет уцелеет на свете тот же самый плуг, тот же род труда, та же добыча хлеба, то крестьянин того времени все-таки пойдет в поле «разумши» и в одних худеньких штанишках... С другой стороны, я также хорошо понимаю великосветского франта, почему он не является в лаптях и армяке к английскому посланнику на бал. (А вот чиновника, который, как слышно, хочет надеть на себя мужицкий армяк и, пожалуй, лапти, я понять не в состоянии.) Таким образом, как видите, одна и та же потребность в одежде удовлетворяется в разных формах, сообразно особенностям жизненной обстановки. Вот эти-то особенности в удовлетворении общечеловеческих потребностей крестьянина и отличают его от остальных пород человеческих (чиновник, купец, поп, барин и т. д.). Все они — люди, все они имеют одни и те же потребности, но не одинаково их удовлетворяют. Потребности те же, но не те же формы, порядок и размеры удовлетворения.

Вот эти-то особенности форм, порядка и размеров удовлетворения общечеловеческих потребностей нам и желательно выяснить в народной среде с точки зрения главнейшей основы всего строя народной жизни, с точки зрения власти над крестьянином земли. И дело оказалось в высшей степени многосложным и трудным. С точки зрения «власти земли» одни только отношения мужчин и женщин друг к другу в семье потребовали бы долговременной разработки и усиленного труда. Чтобы показать на незначительном примере, до какой степени любопытны *изменения* и перестановки в удовлетворении одних и тех же человеческих потребностей в среде крестьянской и в среде некрестьянской, приведем следующий пример. Кому не известно существование в среде столичного и вообще недеревенского общества типа, известного под именем «мышиного жеребчика»? С другой стороны, также все знают, что и в деревне существовал, а по глухим местам суще-

ствует и ныне тип «снохача». Повидимому, эти типы весьма похожи друг на друга. Мышиный жеребчик и снохач, во-первых, оба старики и, во-вторых, оба *пристают* к молодым женщинам. Оба они — развратники, дело видимое. Побуждения их одни и те же и удовлетворяют их они одним и тем же способом, то есть пристают к молодым девушкам и женщинам. Но посмотрите на условия жизни одного и другого и вы увидите, что в обоих, повидимому, одинаковых явлениях *все то же*, а вместе с тем все *не то*. Что такое мышиный жеребчик, какова его биография? Волею судеб мышиный жеребчик — человек, принадлежащий к привилегированному сословию, человек обеспеченный. Хороший корм, нетрудная жизнь сделала то, что он созрел рано и уже в шестнадцать — семнадцать лет начал срывать цветы удовольствия; по мере того как он рос, и цветы удовольствия разнообразились. Срывались они и в Петербурге, и в Париже, и в Вене, и т. д. Таким образом, чем более подвигался тип, имеющий преобразиться в жеребчика к старости, тем более он истощался, изнашивался, превращался в тряпку. Достигнув пятидесятилетнего возраста, он уже совершенная развалина; ему надо румяниться, носить корсет; ему уже ничего не остается, как заняться, «наконец», делами, занять «пост», сочинять проекты об «оздоровлении корней», отдыхая от трудов в грезах и затеях испорченной фантазии. Он развратен, у него мысли развратные, он в самом деле развратитель... Что же такое снохач? Какая его биография? — Прежде всего, в качестве крестьянина, ребенка крестьянской семьи, он стал думать о *деле* не в пятьдесят лет, а в пять, много восемь лет. Пяти лет он *играючи* загонял кур, в восемь лет он *играючи* приносил дров, за десять верст бегал как ни в чем не бывало к отцу в поле, в лес, а с десяти лет уже стал *помогать* подержать лошадь, распрячь, сбегать за пять верст в поле «обратать» буланку. Таким образом, в то время когда физические силы будущего жеребчика шли на срывание цветов, силы будущего снохача шли в труд, тратились в работу — сначала в работу *играючи*, а потом и в настоящую — и чем дальше, тем больше. Юношеский организм жеребчика истощался, юношеский организм крестьянина, напротив, укреплялся. Работа требовала только деятельности организма; она поглощала те четыре фунта хлеба, которые он стал съедать

в течение суток, когда только начал работать в настоящую, а настоящим работником он уже наверное был в пятнадцать лет. Он рос, а перед ним только расширялся круг труда, круг заботы: в шестнадцать лет у него заботы было уже вдвое более, чем в пятнадцать; в восемнадцать он уже — ради заботы о хозяйстве, ради того, что круг работ хозяйственных расширился, что стал ему не под силу, — женился, но женился не для цветов удовольствия, а для того, чтобы приобрести бабью силу опять тоже для труда (вот в это время он, пожалуй, был похож на развратника). Дети еще более озаботили его, легли на его плечи новым бременем, размеры физического труда еще более расширились, и если он не свалился, то потому, что организм его могуч и крепок... К двадцати пяти годам у него уже *свои* дети, которые тоже начинают играючи загонять кур, носить дрова, бегать с поводом за лошадьми, и ему начинает становиться легче. Ребята подрастают, а вместе у родителя сокращается его трудовой день, ему уж есть время «покалякать» на улице, а года два тому назад ему калякать не было времени. У него растут свои работники — и с каждым днем ему легче и легче. Устоявший в борьбе с таким многосложным трудом, как земледелие, организм его *начинает жить на себя.* Из четырех фунтов хлеба, которые ест крестьянин, не все уже тратится в труд, а остается и на себя, на свое удовольствие и благополучие. К тридцати годам будущий мышиный жеребчик уже все испытал, уже истощен, уже скучает, тогда как крестьянин, отбившись от тяжких трудов, развив и укрепив свой организм, только-только начинает входить в силу, и чем дальше от тридцати лет, тем больше у него досуга, тем меньше труда и тем больше возможности мужать, расцветать, жить. Мышиный жеребчик, чем ближе к старости, тем слабей и серьезней (о делах думает, об оздоровлении корней), крестьянин же, чем ближе к тем годам, которые для жеребчика уже старость, тем ближе к расцвету; как дуб, чем старее, тем крепче и развесистей, так и крестьянин, одолевший тридцатилетнюю трудовую борьбу и тяготу, тем веселей, юней, здоровей, разговорчивей, чем тяготы этой меньше, чем больше досугу, сна и т. д. Таким образом, к пятидесяти годам крестьянин, сумевший выйти здоровым и невредимым из-под гнета непрестанного труда, непрестанной заботы, непре-

станного обременения мысли расчетом, оказывается не только не сморчком, как мышиный жеребчик, а человеком вполне цветущим, сильным, крепким, как дуб, а главное — при этих-то условиях получает, благодаря подрастающему поколению своих детей, возможность жить *на себя* и для себя, *а не для труда и хозяйства*. Параллель между мышиным жеребчиком и снохачом будет, таким образом, следующая: человек, имеющий быть мышиным жеребчиком, начинает влюбляться и срывать цветы удовольствия с самых ранних лет, постепенно дряхлеет и, утрачивая способность любить, суживает свои помыслы относительно женщин до самых мелких побуждений чувственности. Крестьянин, имеющий быть снохачом, напротив, с самым узким своекорыстием сходился с женщиною в юности, сходился ради тоже удовольствия облегчить свой труд и также большею частью без любви; ежедневный труд, после которого он спал как зарезанный, который потреблял огромную массу его сил и иногда (как мы увидим ниже) прямо требовал в хозяйственных целях воздержания и целомудрия, и вместе с тем — те же требования того же воздержания со стороны, так сказать, церковных порядков (что мы тоже увидим ниже) — требования, весьма часто совпадающие с требованиями успешности труда, — все это не давало человеку тратиться, истощаться и изнашивать чувство, но, напротив, как бы замораживало, оставляло его неприкосновенным вплоть до минуты облегчения труда, отдыха и процветания. Своекорыстный расчет по отношению к женщине — участь жеребчиков в старости — пережит крестьянином в юности.

В огромном большинстве случаев он сходился с женой не по любви, а ради личного удобства. В настоящее время в деревнях, как, вероятно, известно читателю, распространен обычай выходить замуж и брать жен уходом. Часа в два зимней молчаливой ночи по селу или деревне несутся саночки, а в них мужчина и женщина. Если вы спросите, что это такое, вам ответят: «Парень девушку увез с посиделок». Лошадь он добыл самую лучшую, промчался стрелой... Но не всегда в таких романтических приключениях главную роль играет искренняя любовь мужчины. Во-первых, большинство свадеб «уходом» или «увозом» совершается для того, чтоб избежать свадебных расходов, которые, по малой мере, обошлись бы рублей

в шестьдесят. Родители обыкновенно знают, когда и с кем уедет их дочь, знают это и жених, и невеста, и родители жениха. Делается это для того, чтобы дать родителям право (и то только для формы) сказать: «коли ушла без спроса, так и нет тебе ничего». Но кроме этого и жених большею частию не бескорыстен — берет он жену *без приданого* не всегда исключительно по любви, а частенько и из расчета. «Помилуйте, — говорил мне один из таких молодых супругов, — посылал-посылал из Петербурга отцу деньги, а теперича приехал, ни зерна в доме нет — все пропил. Думаю, бог с вами совсем, хоть вы и родители... Взял жену, *по крайности будет кому деньги беречь.* Пошлешь — уж, надеюсь, не размотает... Все свой человек...» Вот очень частенько из таких-то побуждений и совершаются браки крестьянами в самых молодых летах. Из десяти браков прошлой зимы никак не менее половины сделаны именно во имя самого сухого расчета. Парень женится, «*привяжет к себе*» жену, поживет неделю — и в Петербург. Едет в спокойном состоянии духа: «привязал» — и «будет кому деньги посылать»... До святой он уж не будет дома, потому — «пост», «мы чтим закон» и т. д., а после святой опять уйдет до осени, потому — «дачи начинаются», «торгуем по дачам: зелень, фрукты... да и жене много работы в поле, в огороде... Не до этого, помилуйте!..» Осенью придет, принесет деньги, опять недельку поживет — и опять пост, опять невозможно: «закон», надо в Питер, «зима, торговля...», «уж опять, стало быть, до мясоеда. .»

Итак, «одно и то же» в жизни будущего жеребчика и снохача расположено и пережито не так и не в одинаковом порядке. У одного расцвет по части цветов удовольствия в юности, у другого — в старости; один, приближаясь к старости, тощает, изнашивается, другой в эти же годы только что входит во вкус жизни, а истощался он в самом раннем возрасте. У одного чувство мертвеет и сохнет по мере одряхления, у другого оно сохло и черствело, даже прямо находилось в замерзшем состоянии в ранней юности. В такой разнице вы не можете не видеть влияния труда, в условиях которого живет крестьянин. Почему же это пробудившееся чувство не обращается на жену, а на постороннее лицо? — Да потому, что жена, как

и всякая деревенская женщина, уж старуха к этому времени. Она была взята как работница, она рожала, нянчила, варила, стряпала. Женский труд в крестьянской семье и хозяйстве ужасен, поистине ужасен. Глубокого уважения достойна всякая крестьянская женщина, потому что эпитет «мученица», право, не преувеличение по отношению почти ко всякой крестьянской женщине. Есть бабы глупые и бабы умные, но добрых и мучениц несравненно более.

Снохач скверен тем, что жертвы для своего баловства выбирает тут же, в своей семье. Но это происходит потому, что, во-первых, бабы эти — *свои* (экономия), и, во-вторых, потому, что и другим обывателям также нужны *свои бабы* и что девушки нужны парням для работы, а вовсе не для потехи стариков. Старики поэтому соединили воедино и рабочую силу женщины и потеху. Экономия тоже!.. В настоящее время, когда земледельческие порядки более или менее расстроены, когда иной раз парню нельзя жениться потому, что и одному «не с чем взяться» и «не у чего быть», стало много холостых мужчин и женщин. Крепким старикам, расцветающим годам к пятидесяти, всегда можно поэтому найти девушку, которую «не возьмут», за которой не погонятся (в былое время и барин бы из расчета продал куда-нибудь девку или же из того же расчета прикупил бы где-нибудь дешевого мужчину и женил его на лишней бесприютной девке, приобретя себе таким образом новое тягло и плательщика). Вот почему теперь встречаются очень часто такие влюбленные пары. Старик живет с молодой девушкой, какой-нибудь сиротой. Незачем ему теперь быть снохачом. Теперь он может делать это открыто.

Недавно жена одного из таких влюбленных стариков, как дуб расцветших годам к пятидесяти, пригласила колдуна с тем, чтобы он отворожил ее мужа от его возлюбленной. Колдун взялся сделать дело за пять рублей, но прежде всего пожелал видеть эту возлюбленную. Сделано было так, что эта девушка, не зная, что на нее смотрят, должна была пройти с подругами мимо того дома, где сидели колдун и жена влюбленного старика. Девушка прошла мимо, колдун поглядел на нее, увидел, что она в самом деле красива, подумал и сказал:

— Нет, сударушка, не могу я тебе службы сослужить! . Нет, не могу отворожить!

— А уж мне тебя хвалили-хвалили! — обиженно сказала обиженная жена. — Стало быть, только языком болтать умеешь!

Чтобы сохранить за собой авторитет и репутацию колдуна и не обидеть несчастной женщины, сказав ей прямо, что соперница ее приворожила к себе мужа красотой, опытный и хитрый мужик не обиделся словами своей заказчицы, а подумал и, покачав головой, сказал со вздохом:

— Не могу, не могу, сударыня. Ведь это *я сам* твоего мужа-то и привораживал к ней! Вот беда-то! Ведь она (любовница) пришла ко мне, назвалась его женой — «приворожи», говорит. Я сдуру-то и присмолил его к этой псовке на веки веков. Теперича не то что пять рублей, а давай ты мне миллион, так и то я отодрать его не в силах, — вот ведь какая оказия-то!

Возвращаясь к речи о том, как многосложна работа изучения семейных порядков крестьянского дома, я должен повторить уже сказанное выше, что порядки эти, находясь в зависимости от требований и влияний земледельческого труда, осложнены еще требованиями и влияниями церковными, которых я никак не смешиваю с влияниями «народной интеллигенции» (о ней говорю выше), наиболее всего олицетворяющейся типами также с религиозным оттенком. Церковные требования и церковные влияния также, как мне кажется, весьма много значат в крестьянской жизни, даже в отношении правильности обихода; мясоеды, посты иногда *как будто* (утвердительно я не могу говорить, потому что не знаю наверное и мало об этом думал) *подходят* к условиям земледельческого труда и как будто *помогают* тому, чтобы человек *не вредил труду*. Повторяю, я ничего не могу сказать на этот счет обстоятельного, но знаю, что, например, обилие свадеб в так называемый рождественский мясоед, то есть между рождеством и масленой, *не вредит* земледельческим работам, потому что бабы будут рожать осенью, после работ Кажется, что огромный «великий пост», как будто нарочно поставленный перед весенними месяцами и отодвигающий свадьбы к апрелю и маю, также

не вредит работам: бабы опять будут рожать зимой. Наконец, посты осенние, тоже довольно длинные и притом поставленные в такое время, когда народ отработался и когда он может жить «на себя», тоже как будто не лишние в целях хозяйственных... Посмотрите в самом деле: положим, брак состоялся в рождественский мясоед, ребенок родился осенью, после уборки хлеба, когда крестьянину можно бы и отдохнуть, но тут, во-первых, баба поправляется и, во-вторых, один за другим два поста — успенский и рождественский, так что опять — «до рождественского мясоеда», и, стало быть, опять баба свободна в рабочую пору. Конечно, в нынешнее время, говоря языком стариков, — «воля»; но что, например, посты влияют на семейные отношения, это, судя по разговорам тех же стариков, не подлежит сомнению. Я помню, как один наблюдательный старик критиковал недостатки приходского священника.

— Тоже иерей! — иронически говорил он. — Поглядеть на него — свят! Выйдет с проповедью — сладкоглас, больше ничего. А наместо того оказалось, что на словах-то он хоть и апостол, а на деле-то кобель пестрый.

— Как же оказалось?

— А так. Пошли на крещенье воду святить, гляжу я, что мой батя не в себе? Рвет и мечет, комкает, бормочет, спешит сломя голову. Кое-как свертел молебен, бегом домой. Что, мол, такое у него? Ан, оказывается, жена рожала, стало быть в самое крещенье... Ну, как узнал я это, тут я и подумал: нечего сказать, похож на апостола. Да таких делов даже и мужик пьяный себе не дозволит. Родила в крещенье... Есть ли тут совесть в человеке?

Ровно ничего не понимая, я с изумлением спросил:

— Да что ж тут такого? Как же не родить? Что за беда?

— А вот какая беда: ежели на крещенье кончился девятый месяц, так сочти-кось на пальцах, когда первый-то был? Считай-ко назад девять-то месяцев. Ан и окажется — апрель! А в апреле-то что? — Пост великий!.. Ну где ж тут совесть? Да окромя того, как разобрали наши бабы это дело, как подвели число под число, день ко дню — хвать, и вышло: чистый четверг! А считаются

учители! .. Выйдет с проповедью — и то и другое, абие, абие, думаешь, невесть что... А тут вот как! .. Я уж тогда, признаться, сделал ему вопросик. Встретился, поздравил с новорожденным, да и говорю: «Что, мол, отче, никак у вас с матушкой по календарю ошибочка вышла? .» Понял, ускользнул от меня в калитку, яко дым... Да и матушке тоже я упомянул. Сгорела со стыда! .. Вот они какие законники! «Братие, абие», а на деле-то и вышло абие — бабие! ..

Извиняюсь пред читателями в не совсем скромном содержании приведенного разговора. Привести мне его было необходимо, ввиду того что он очень «подходит» к вопросу, о котором идет речь. Насколько церковные влияния совпадают с влияниями хозяйственными и земледельческими в условиях, регулирующих семейные отношения крестьянина, я не могу сказать положительно, так как не имею нужных сведений. Я знаю только одно, что какое-то влияние церковные порядки имеют на семью, и не могу не догадываться, что иногда влияния эти могут совпадать с влияниями на те же семейные отношения условий труда. Что же касается собственно этих последних земледельческих влияний и требований, то они также *несомненны*, но также требуют разработки. Существование в крестьянском быту желания сохранить женщину для возможно большего количества рабочих дней — желания, чтобы «баба» в трудную рабочую пору «страды» была здорова, не лежала в родах и не была брюхата, — несомненно. Так называемые женские болезни терзают огромное большинство деревенских женщин. Кому раньше стала известна «спорынья» — докторам или деревенским женщинам — я не знаю, но знаю, что она играет в жизни огромного большинства крестьянок весьма значительную роль. Несколько лет тому назад мне пришлось написать рассказ, где есть черты, касающиеся тех сторон крестьянской жизни, о которых мы теперь говорим. Позволю себе привести его здесь как *отдельную вставку:* а так как в рассказе этом, помимо тех черт, которые непосредственно касаются обсуждаемого нами вопроса, есть множество других черт, вовсе не касающихся данного вопроса, то мы и поместим его как совершенно самостоятельный отрывок.

(*Из записной книжки*)

...Всякий раз, когда мне приходится встречаться и говорить с крестьянином Гаврилой Волковым, мне почему-то непременно приходит в голову такая мысль: «Не дай бог дожить до того времени, когда этот Гаврила даст волю той скрытой покуда в душе его злости и недовольству, которые теперь выражаются только в сухом, постоянно жестоком выражении глаз и губ и в тоне его голоса. Дай он волю тому, что у него скрыто в глубине души, — и это скрытое немедленно олицетворится в виде могучего, ожесточенного и беспощадного верзилы с огромной дубиной, поднятой надо всем светом, без разбора». Человек этот, могучий физически, несомненно наделен сильной умственной энергией; но то переходное время, которое мы переживаем, благодаря тому, что переживание это тянется неумеренно долго, и тому, что, несмотря на неумеренную длинноту, оно, как на грех, не дало никакой солидной пищи общественному уму, так как именно умственная-то жизнь за весь этот томительный период времени всего более встречала неожиданностей, неожиданных препятствий в своем развитии, — благодаря этому ум Гаврилы только расстроен, расшатан: разлакомлен надеждами, слухами и разочарован в них другими, противоположными этим надеждам и слухам явлениями и тоже слухами. «Деньги» — вот *самое верное* среди продолжительнейшей сумятицы и толкучки противоречивых, а главное — почти всегда неопределенных явлений жизни, которые эта жизнь давала ему. Ему теперь около сорока лет. В ранней юности он жил при крепостных порядках, но уже носился слух, что их не будет.. Слухи росли, росли и ожидания... Слабела напряженность в труде и убеждение в ее необходимости: ведь все это кончится, будет новое, разумеется, лучшее... Кончилось... Барин заложил имение в банк и уехал. Очевидно, кончается прошлое. Барский дом стоит пустой. А труд стал тяжелее прежнего, земли меньше, расходов больше. Понадобился посторонний заработок. В доме, при жизни крутого отца-хозяина, между тем шел старый порядок, царил деспотизм отца. Отец отбирал деньги, зарабатываемые братьями. Один зарабатывал больше, а другой — меньше, зарабатывали на разном, а жили под властью отца равно; это тоже как будто хуже

прежнего — прежде работали одно. . Не оказывалось толку от того, что барин уехал и дом его запустел; не оказывалось толку и от усиленных трудов на стороне — их поедали другие; ненужным оказывался отцовский деспотизм во имя того, чтобы держать крестьянство. Богатеть «от крестьянства» вышло из моды, — стало входить в моду богатство от «обороту», от денег. . . Это богатство, богатство кулацкое, может не сеять, не жать, а оборачиваться капиталом и жить припеваючи. Это — новый тип достатка. И вот у Гаврилы новый червь точит душу: у него столько семья переела заработков, что он, ежели бы пускал их в «оборот», давно бы был такой же почетный член деревни и жил бы в таком же достатке, как и вот этот Черемухин, который начал обороты с медного алтына. А семейный деспотизм давит, и все без толку: с крестьянством, с овсом и сеном, с пашней не угнаться за Черемухиным, а семейный деспотизм не уменьшается, а растет, потому что растут платежи, растет количество требующихся денег, растет необходимость труда, чтобы не растратиться, иначе Черемухин слопает. . . Все, что ни переживал Гаврила, все *только раздражало:* ждали воли, думали, будет лучше, а стало хуже, трудней. . . По-настоящему отец должен бы был его отпустить, дать ему жить своим умом, на свой заработок, а он не только не пускает, но гнетет все сильней и сильней — боится расстройства. Несмотря на усиленные труды, расстройство это в то же время оказывается возможным каждую минуту. Околей лошадь — надо кланяться Черемухину, а тот в руки заберет, опять худо. А вот Черемухин и в руки может забрать, и гнета над ним нет, и труда адского нет, и нужды не знает. Что это такое? Где источник этой почему-то бесплодно-трудной жизни, нисколько не увеличивающей ни благосостояния, ни свободы? Иногда Гаврила и другие его братья каждый поодиночке пробовали было протестовать против отцовского деспотизма, но оказывалось, что деспотизм этот силен и можно за него сыновей драть. Зло накапливалось на душе Гаврилы: зло на отца, на труд, на платежи, на Черемухина, зависть к легкой наживе, гнев на малоземелье, на всевозможные хозяйственные платежи. . . Работай, плати, а ни себе, ни всему дому толку не видно. Одно только понял Гаврила хорошо и ясно, это то, что *деньги* — и выход и решение вопроса о всех за-

труднениях. И, стало быть, только бы их добиться... С деньгами можно никого знать не хотеть, купить, выкупить, продать и опять купить.

Наконец умер деспот-родитель. Гаврила немедленно отделился с семьей. Надежда на земледельческий труд у него была потеряна и подорвана, а приходилось именно жить этим трудом, и притом уж одному, то есть опуститься под гнетом страшного труда, и зачем? — чтобы только перебиваться со дня на день... А Гаврила привык знать, что он принадлежит к богатой семье. Он вырос в семье, которая когда-то богатела только трудом рук своих, считалась богачами между тружениками, а теперь богачами стали Черемухины, а он из богачей попал в нищие — круглый год в грязи, в нужде, в работе без отдыха, без толку и без конца...

Жажда «выбраться», «выбиться» сосредоточила все его помыслы и помыслы его жены, тоже энергической, суровой женщины, на деньгах. Всякими способами добывать деньги, а там будет видно... Всякое «шаромыжничество» было для Гаврилы только способом. Вот Черемухин прессует сено и везет в Питер, наживает деньги. Рассказывают, что там в тюках и гнилое идет за хорошее, — где там видеть, что внутри тюка, — и Гаврила сейчас же перенимает, платит за прессовку и начинает эксплоатировать именно «гнилье». Он разыскивает места, успевает привезти два-три воза хороших, потом вдруг сбывает массу гнилья и исчезает.. Такие вещи он успешно повторяет с двумя-тремя разными лицами и в разных местах Петербурга... Вот у него и деньжонки есть, маленькие, «чуть-чуть». Но вдруг его накрывают с этим сеном в Петербурге, волокут в часть, составляют протокол, мызгают по судам. Он врет, лжет; но все-таки сидит в темной, остается без сена и без денег. Мошенничество не только не увенчалось успехом, но пошло прахом. Между тем он знает и по опыту других и по личному опыту, что оно увенчивается иногда успехом. Разозленный неудачей, он, с энергией усиленного ожесточения за обиду и пропажу денег, вновь принимается за измышления и тоже шаромыжничает. Он пристально слушает, за что дают деньги, как их добывают... Петербургские события вносят в народную массу множество неясных и раздражающих слухов... Вот однажды идет Гаврила по казен-

ному лесу с ружьем, видит едет какой-то барин тоже с ружьем, а в тележке утка валяется убитая. Моментально все, что было неясного и злобного в душе и голове Гаврилы, сосредоточилось в зверском желании «поймать барина и представить»... «Ведь это — господа всё... Награда... В казенном лесу. За начальство... Отлично — награда». И Гаврила, несмотря на то, что он был такой же посторонний казенному интересу человек, как и тот барин, который ему встретился, напал на него, как разбойник, отнял ружье, утку, забрался на козлы и, взяв вожжи в свои руки, примчал его в деревню... «Без билета, в казенном лесу! Просвидетельствуйте! Барина поймал!» — орал он на всю деревню с явным желанием наделать шуму и сраму... Барин бросил все и уехал. А Гаврила, вместе с другим мужиком, караульщиком казенного леса, помчался в лесную контору. Он гнать лошадь не жалел, торговался с лесником насчет награды, но пуще всего был чему-то рад — рад тому, что «схватил», «отнял», «приставил». Скоро оба они предстали пред лесничим, который, выслушав восторженное донесение Гаврилы, сказал: «Я посоветую барину, чтоб он предал тебя, дурака, за самоуправство уголовному суду, — вон, разбойник!» А леснику сказал: «Лови мужиков, когда они лес воруют, а не господ, когда они уток стреляют. Мужиков по крайней мере сечь можно, а что я возьму за утку? Что ж я из-за утки-то врага, что ль, буду наживать? Дурак!» Гаврилу точно притянули к суду, но барин помиловал его, и он же еще кланялся барину, прося прощения, тогда как внутри его клокотала злость и на барина, и на начальство, и на свою глупость. «Нет, — решил он уж давно в глубине души своей, — грабить надо, больше ничего».. И эта жадность, алчность к овладению чем-то... чужим, разумеется, а главным образом — деньгами, стали расти в нем с удивительною быстротою и упорством. А рядом с этими побуждениями алчности, как это ни странно покажется читателю, в Гавриле и в его жене, которая понимала мужа с одного взгляда, стал в той же мере развиваться какой-то аскетизм скупости... Копейки не тратилось на чай и сахар, ни одной папироски не выкурил Гаврила, ни одной рюмки вина не выпил с тех пор, как вырвался он из дому и отделился. Ни с кем и ни одного слова Гаврила не скажет без того, чтобы

не рассчитывать на какую-нибудь выгоду. Если он зашел к вам, то уж *так или иначе,* будьте уверены, он *заставит* вас дать ему денег. Именно *заставит* вас покориться тому, что он вас непременно надует. Он не просидит лишней секунды без толку; в случае крайней неудачи он выпьет три самовара, просидит пять часов молча и уж непременно что-нибудь тем или другим образом получит или добьется чего-нибудь от своего посещения. Без дела он вас не знает и даже не узнает. Глядя на это злое лицо, на эти жесткие глаза, при которых потуги улыбнуться «по-крестьянски» только трогали вас больше, чем это лицо и глаза, чуешь, что какая-то недобрая сила гнездится в этой душе, и кажется, что темная ночь, глухой безлюдный переулок, пьяный седок с деньгами и удар шкворнем по голове — не раз мелькали в этой энергической и темной голове, как дело «настоящее» и как решение вопроса. Питая в себе такие идеи и планы, Гаврила все-таки принужден заниматься «крестьянством»; работает он шибко, хотя и мрачно. Маленьких детей у него трое.

Таков Гаврила теперь, в настоящую минуту, когда он уже прошел огонь, воду, медные трубы и «чугунные повороты» всевозможных расстройств труда и духа, которые сделали и в деревне модным хищническое направление жизни и мысли. В то же время, к которому относится наш рассказ, Гаврила еще не уверовал так бесповоротно в высокое значение проходимства, а только чуял, что оно — главное; сам же скрепился на жадности, на расчете, на скупости. Каждый кусок сахару, каждая охапка сена, каждое полено, щепка — все употреблялось с аптекарскою точностью; он знал, что может дать ему его труд и земля, знал вперед на целый год, что ему придется есть и пить, знал, как и на что будут употреблены деньги, полученные им за телку, которая еще не появлялась на свет, даже не думала появляться. .

Вот в такую-то минуту, «рассчитав» все свои средства, однажды после уборки хлеба Гаврила увидел, что к будущей весне ему «нехватит» столько-то и столько-то и что недостающее необходимо где-нибудь и как-нибудь выработать. Он решился идти в извозчики в Петербург. Сначала он надеялся работать просто с своей деревенскою телегой, перевозить с дач господ и заработать к зиме сани; рождество, масленица, казалось ему, выручат его

к весне. Он решил ехать и стал собираться. Необходимо сказать, что уже после того, как Гаврила с женой отделились, условия труда стали накладывать на них разные обязательства, во имя которых требовалось все больше и больше, как мы видели, необходимости расчета и скупости; вот в это-то время они — и Гаврила и его жена — *порешили не иметь детей* до поры, до времени. Жена Гаврилы, о которой необходимо сказать подробно, была энергическая, страстная женщина. Она была красива, статна, но после раздела, поняв трудность положения и всегда с одного взгляда понимая планы и намерения мужа, всю свою энергию и всю свою страстность сосредоточила на том же, на чем сосредоточился и муж: выбиться, догнать и перегнать всех, кто давит и стремится повредить ближнему, закабаляя его во имя нужды. Ввиду этого скупость и расчетливость мужа достигли в жене высшей степени развития: он был строг и расчетлив, а она стала расчетливее в сотни раз более и в сотни раз скупее. Решение не иметь детей иссушило ее: она стала худа, суха, молчалива, — но муж видел, что она понимает необходимость решения и относится к нему в миллион раз расчетливее, чем он. Между ними установились какие-то молчаливые отношения. Они много молчали друг с другом, но друг друга отлично понимали, затаив одни и те же мысли.

Перед отъездом в Петербург Гаврила, несмотря на свою сухость душевную, почувствовал, что ему «жалко» оставлять семью, жену... Накануне дня отъезда (он собрался выезжать ночью) он так «соскучился», что, лежа на полатях, не выдержал тоскливого чувства и робко шепнул жене, хлопотавшей под полатями с ребятами и другой мелкой домашнею работой: «Авдотья, подь-ка сюда!»... Но Авдотья, хоть и слышала эти слова, не показала вида; она только громче застучала какой-то посудой, громче заговорила с ребятами, громко хлопнула дверью, выходя в сени, и долго не возвращалась. Воротившись, она легла спать с детьми, не дав мужу никакого ответа, и притворилась, что крепко заснула. Да и муж успел уже «очувствоваться» и не повторил приглашения. Он уже успел «высчитать», что чувственность его могла бы сильно повредить расчетам. Во-первых, получился бы лишний рот, который отнял бы Авдотью от работы, и когда?.. И это он высчитал: оказалось — в сенокос...

В два часа ночи Гаврила встал, запряг лошадь и сказал жене: «Ну так, значит, отписывай, коли что...» Жена ответила: «Ладно... Отписывай, все ли благополучно». Заперла ворота и принялась за дело.

По приезде в Петербург Гаврила неожиданно узнал, что ему незачем вырабатывать городского экипажа, что такие экипажи отдаются хозяевами извозчичьих дворов напрокат, от 50 копеек до 1 рубля в день, и что он, следовательно, может сейчас же сделаться самым настоящим извозчиком. Деревенская лошадь и костюм извозчичий, который он мог, сообразно со средствами, приобрести только самый плохой, обязывали его быть ночным извозчиком, а не дневным. Это обстоятельство познакомило его с свойствами пьяной, темной петербургской ночи и, как кажется, положило начало любви к темным ночам и глухим переулкам. Петербургская осенняя или зимняя ночь, этот конец дневной вытяжки, лганья и вранья, — это время «воли», которым пользуется подтянутый в течение дня Петербург для того, чтобы люди не видали под покровом ночи, каков он «неподтянутый» и как много скрыто всякого смрада в глубине этой выдержки и вытяжки, — этот ночной Петербург окончательно уронил в мнении Гаврилы «господ», положив в его душе начало наглой бесцеремонности. Не раз пьяные «господа» с барышнями по ошибке давали ему десятирублевую бумажку вместо рублевой, и он привык не стыдиться и не упускал случая попросить «еще» на водочку. Пользуясь ночною темнотой, не раз надували и его, и он старался наверстывать тем же. В общем дела Гаврилы шли хорошо; он не ожидал даже таких барышей. И вот однажды вез он «из клуба» каких-то двух седоков, барина и барыню. Они, видимо, подгуляли, были веселы, кричали оба: «Извозчик, пошел, погоняй, прибавим!», и подъехали они к какому-то подъезду, соскочили опрометью (кажется, это была гостиница), ушли... Оглянулся Гаврила, а на сиденье дрожек — муфта. Был октябрь в начале, и холода, иногда со снегом и морозом, одевали петербургских жителей в теплые платья. Не долго думая, Гаврила припрятал мягкую муфту за пазуху и погнал лошадь от подъезда. Возвратившись на квартиру часу в пятом утра и распрягая лошадь, он при свете фонаря вытащил из-за пазухи находку и стал ее рассматривать: муфта оказа-

лась новенькая и, должно быть, дорогая — таких мехов Гаврила не видывал. Но кроме самой муфты внутри ее нашлось маленькое портмоне, которое Гаврила едва мог открыть, употребляя на это почти лошадиную силу, и в котором оказалось денег более сорока рублей. Да и портмоне-то, кажется, серебряное. Находка была, очевидно, большая, ценная. Но что с ней делать? Показать на квартире? Скажут: представь в полицию. Продать? Скажут: украл, и как бы совсем не отобрали. Он спрятал ее под половицу в сарае, подняв ее и выцарапав руками яму. Яму эту он засыпал снегом, и, несмотря на то, что никому не пришло бы в голову, что под половицей что-то есть, он не спал всю ночь. Всю ночь он думал, как быть, и, наконец, решил запрячь лошадь в телегу, ехать в деревню, отдать находку жене... Может быть, летом наедут господа на дачи... Да и сама баба, может, что выдумает. Необходимо ехать, потому что здесь, в Петербурге, находка может пропасть, отлучка же не продлится более трех суток.

Выждав денька два, покуда убедился, что никто не ищет потерянного, Гаврила запряг лошадь в телегу и уехал в деревню, спрятав находку на груди... Через день он был в деревне, а еще через день уехал обратно в Питер, но в этот промежуток, под впечатлением находки муфты, денег и портмоне и вообще под впечатлением некоторой удачи, одинаково действовавшей как на Гаврилу, так и на его жену, отношения мужа и жены утратили некоторую долю официальности. «Ах, — думал Гаврила в дороге, — никак по числам-то не выйдет»... То же думала и Авдотья... Несколько раз и мужу и жене приходило в голову, что незачем бы было случиться тому, что вышло против всяких расчетов. И точно, расчет Гаврилы оказался ошибочным. Едва он воротился в Петербург, как узнал, что в газетах была объявка, что приходил городовой и расспрашивал, «не находил ли кто» таких-то и таких-то вещей. Неожиданный отъезд его в деревню был принят во внимание, во-первых, товарищами по промыслу, которые и стали толковать о находке и подозревать Гаврилу. Городовой опять пришел, стал выспрашивать Гаврилу и так настойчиво, что Гаврила струхнул. Попробовал было он отделаться без взятки — городовой потащил его в квартал для допроса; попробовал было он от-

делаться двугривенным — городовой пять раз кряду оштрафовал его за всевозможные нарушения порядка: за то, что стал у панели, не сидел на козлах, за то, что шел посреди улицы рядом с дрожками. Пришлось дать сразу синюю ассигнацию, чтоб утихомирить малое начальство. Не в руку Гавриле пошли святки и масленица. На святках цена за прокат саней поднялась втрое, поднялись в цене овес и сено. Народу из деревень понаехало множество, и выручка была плохая. Пьяные отнимали множество времени на хлопоты: возит, возит Гаврила иного по переулкам, а тот только мычит, а ничего не говорит; привезет в квартал и уедет без денег. На масленой наехали тысячи чухонцев и сразу уронили цену до ничтожных размеров; пришлось гонять лошадь до упаду. Не посчастливилось и с погодой: утром снег, а ночью поезжай на дрожках, плати вдвое — и за сани и за дрожки... В конце концов, когда Гаврила возвратился в деревню (великим постом), выручка его вместе с находкой только-только оправдывала те расчеты и надежды, которые он имел в виду, отправляясь на заработок. А Авдотья была уж беременна, и, как видите, это обстоятельство являлось теперь не подходящим ни к каким расчетам. Родить она должна в июне, в самую рабочую пору: надо ходить за ребенком, надо поправляться. Нанять работницу?.. А сочти-ко, сколько это стоит.

В июне Авдотья родила, к ужасу мужа и жены, двоих девочек. Это было так глупо и ни с чем не сообразно, так расстроивало все планы, что мужу и жене стало даже стыдно. Они опять замолкли и молча делали свое дело, молча понимали друг друга. Обе девочки лежали в одной люльке, завешенные пологом; Авдотья ходила на работу, оставляя присматривать за ними свою же маленькую шестилетнюю дочь. Та качала их, когда запищат; но они были тихи, они все спали... Авдотья придет с работы, уйдет за перегородку, нальет рожки и даст их ребятам, задернув занавеску. Но что она делала, это пришлось узнать мне совершенно случайно, и я был так поражен тем, что увидел, что, говоря по совести, не желал бы передавать этого виденного читателям. Но делать нечего, надобно досказать до конца. Случайно пришлось мне зайти в избу Гаврилы, когда ни его, ни жены не было дома. Зачем я заходил, не помню хорошенько.

Войдя в избу и узнав от девочки, что родителей нет дома, я совершенно случайно заглянул в люльку... Две девочки лежали головами врознь; лица их были необыкновенно красны, как кровь, а рты были раскрыты, как у голодных птенцов. Чмокнув сухими губами, дети опять, как только возможно шире, раскрывали рты, тяжело, прерывисто дыша, как бы от пожирающего внутреннего жара. Я нагнулся: от детей несло водкой... Водка была в рожках. Дети умерли в ту же ночь. Они были лишние, появление их нарушало расчеты и весь обиход труда. И вот их уже теперь нет.

Не буду говорить, почему я не мог вмешаться в это дело и почему вообще у нас редко можно вмешиваться постороннему лицу в чужие, хотя бы и зверские дела, не говоря о полной невозможности вмешательства в так называемые общественные дела, очень и очень часто прикрывающие собою адское своекорыстие и неправду. Я опять-таки только сожалею, что мне пришлось написать эту ужасную сцену. Но она — сущая правда. «Почему, — говорили мне не раз, — вы берете *только* такие возмутительные явления? Неужели в народной жизни нет явлений светлых и теплых?» Двадцать раз я отвечал, что есть такие явления во множестве, но я не могу касаться их в очерках, посвященных явлениям *расстройства* народных порядков. Я волей-неволей обречен на подбор этих ужасов, которые, впрочем, сами лезут в глаза, потому что в господствующем течении народной жизни в «настоящую минуту» я вижу расстройство, приток дурных явлений непропорционально великих сравнительно с явлениями устройства и расцвета душевного добра... На этих людей я не только не смотрю как на зверей, но думаю, что это убийство двух собственных детей — результат множества сложных и, главным образом, не благотворных, а ожесточающих влияний; убийство, затаенное в глубине души, убийство вынужденное, будет отмщено Гаврилой и его женой на ком-нибудь или на чем-нибудь. Мне хочется сказать, что таких явлений, как и множества всякого зла, для русского народа ненужного, гибельного, могло бы не быть... Но я об этом говорил уже не раз и, насколько мог, убедительно...

Этот тяжкий эпизод хоть и не говорит собственно о давлении земледельческого труда на семейную жизнь,

но указывает, что обстановка земледельческого труда, особливо в настоящее время, когда труд этот вообще расстроен, обязывает человека к известным «расчетам» даже в самых, повидимому, неуловимых семейных отношениях, — что обстановка эта может иногда *приказать* человеку сделать то-то и то-то, а «глядя по человеку» будет и исполнение этого приказания.

Вот плотник Никанор засыпан ребятами выше головы. Он и жена его — добрые люди, им есть нечего, а она, добрая мать, утешает голодных детей сказками про Дмитрия-царевича, который был красив, силен, умен и точь-в-точь походил красотой и силой на ее Васютку, который так доволен, что он похож на царевича, что и есть не просит, а сидит с вытаращенными от удовольствия глазами, на которых еще не просохли слезы от голода... Вот они не сделают этого, хотя Никанор в пьяном виде и колотит жену до полусмерти, чтоб «убавить» в ней эту «силу жизни», которая, невзирая ни на что, плодится, множится и знать ничего не хочет, не страшится никакой нужды, согреваемая какой-то неиссякаемою добротой... И доброту-то эту Никанор хочет в пьяном виде убавить в своей доброй бабе побоями... Она худеет, ходит разодранная и оборванная, с голою грудью, но продолжает родить и быть доброй. Сирот они оставят целую кучу..

Из этих примеров хоть отчасти можно видеть, как сложны и многосторонни те оттенки особенностей семейных отношений, которые складываются в народной среде под влиянием условий земледельческого труда. Не менее любопытны и поистине пленительны и те черты стройности и здоровой правды отношений, которые слагаются под влиянием того же благородного труда в семьях, где условия этого труда случайно благоприятны. Говорить об этих поистине завидных семьях, не приводя в параллель с удивительными типами людей труда других типов, людей обеспеченности и смертной тоски, — нельзя, а этого опять-таки не упишешь в незначительном очерке. Вот почему мы и оставляем разработку подробностей нашей задачи до более благоприятного времени, а теперь, чтобы досказать до конца нашу мысль, мы вынуждены сузить нашу задачу до ее первоначальных размеров.

С этой узкой точки зрения мы потому придаем «земле» огромное значение не только в жизни всего русского

народа, но, как увидит читатель, и всего русского общества, что «земля» и ее значение, в наиглавнейших и крупнейших особенностях Русской земли, выступают *ярко* и ясно видны нам среди других характеристических черт, также, быть может, имеющих значение в объяснении «русского типа», но не так ярких, не так ясных и не так неотразимо понятных, как земля и ее власть. Когда нам говорят: «русский народ... как один человек, от Перми до Тавриды. сплошная, однородная масса, один дух, один нрав, один характер, по одному мановению» и т. д., мы верим этому, потому что видим это; но когда захотим объяснить себе причины этой однородности и сплоченности, то *первое,* что бросается в глаза *само собою,* — это однородность условий жизни, основанных на однородности труда. От Перми до Тавриды, у стен Кремля, у стен Китая — везде одна и та же соха Марья Андреевна, одни и те же ожидания весны, лета, зимы и осени, одна и та же зависимость от природы и т. д. Несомненно, существует в глубине этой массы множество и других черт духовного родства, но мы говорим опять-таки, что *самая главная* из них, самая, если можно сказать, *первая* из них — это земля и труд на ней.

Нам говорят о высоком значении наших общинных деревенских порядков; мы читаем восторженные похвалы высшей справедливости общинных приговоров, решений. И в то же время нас сбивает с толку действительная деревенская жизнь настоящего дня, которая поминутно дает факты самого поразительного невнимания к общественным или общинным интересам. Мы хотим разобраться в этой путанице; идем на сходку, внимательно слушаем, что такое там говорится, и видим, что опять-таки там, где дело касается земледельческого труда и земли, от которой он в зависимости, действительно все выработано до высшей степени и точности и аккуратности; видим, что в этой области труда все *понятно* всему земледельческому миру, все строго разработано, что тут мирская мысль много работала; видим, что, сообразно этому пониманию труда, и суд деревенский справедлив и строг в этой только области; тогда как в таких вопросах, которые не касаются этой сферы народных знаний, и сход, как бы он ни галдел (это тоже похваливают), кривит иногда душой не хуже интеллигентного акционерного собрания, и суд подкупен,

и продается мирской интерес... В сфере земледельческого труда нельзя обсчитать общинника на вершок земли, нельзя наложить одной сотой лишних податей, нельзя потому, что тут — главный центр, на котором в самом деле, всурьез, сосредоточено общинное внимание; а в то же время можно за ведро вина простить старшине тысячную растрату, можно за два ведра угощения накинуть старшине сто рублей лишнего жалованья, можно из-за угощения или из страха наказания постановить неправое решение в пользу кулака против бедняка и т. д.

Вообще, к какой бы группе явлений народной жизни мы ни прикоснулись, *первое*, что мы замечаем и что уясняет нам эту группу явлений, — это земля, земледельческий труд. Мы потому так пристально выслеживаем одну только эту черту, что желаем показать, как велика ломка, как много осложнений может произойти от того, если *эта, одна только эта сторона* народных нужд не будет удовлетворена в должной мере; как несправедливы те радетели о народном благе, которые решаются сказать, что земельные порядки, существующие в настоящее время в народе, удовлетворительны, не требуют улучшений. Подробности расстройства земельных отношений завели бы нас слишком далеко, да, наконец, мы уж и касались этих подробностей в предшествовавших главах, и нам кажется, что если читатель припомнит, что было говорено по этому поводу, и все, что было сказано в доказательство значения земледельческого труда в жизни народных масс, то ему не будет казаться неосновательным наше желание, чтобы народу дано было в этом смысле все, что ему потребуется...

Но это не все. Дайте землю, дайте и интеллигенцию, а главное — не удивляйтесь, не пугайтесь того типа интеллигентного человека, который дает сама жизнь, который должен быть таким, а не иным, потому что такова страна и люди, среди которых он живет. Нет никакого сомнения, что страна, которая вся держится главным образом земледелием, должна вся сплошь, сверху донизу, носить печать главнейших типических черт, налагаемых главнейшим сословием на другие. В России народные мужицкие черты должны быть первенствующими, и нам не стоило бы большого труда разыскать их в сферах, повидимому, весьма отдаленных от сохи. Но мы не будем

делать этого, чтоб опять не осложнять нашей задачи, а остановимся на самых этих чертах, которые мы почитаем исходящими прямо из народных масс и которые в массах этих являются как результат близости их к природе, к голой зоологической правде, обязательной при земледельческом труде.

И эти главнейшие черты, общие всему русскому обществу, мы укажем тоже грубо и в обрез, иначе опять будет трудно выбраться на дорогу. Черты эти и раньше нас и лучше нас отмечались в русской литературе, а потому мы предпочитаем лучше взять хорошее готовым. Типическим лицом, в котором наилучшим образом сосредоточена *одна* из самых существенных групп характернейших народных свойств, без сомнения, есть Платон Каратаев, так удивительно изображенный графом Л. Толстым в «Войне и мире».

Какие же это типические, *наши* народные черты? «Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на нее, *не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких, но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком.. Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю ласковую к нему нежность, ни на минуту бы не огорчился разлукой с ним*»...

Откуда, как не из самых недр природы, от вековечного, непрестанного соприкосновения с ней, с ее вечною лаской и вечною враждой, могли выработаться такие типичнейшие черты духа? «Он никогда не любил»... «Он ничего не значил сам по себе» — вот черты, которые мы ежеминутно встречаем в нашем народе и которые прямо вошли в его душу от реки, от травы, от земли, леса, солнца. Мать-природа, воспитывающая миллионы нашего народа, вырабатывает миллионы таких типов, с одними и теми же духовными свойствами. «Он — частица», «он сам по себе — ничто», «он любовно живет со всем, с чем сталкивает жизнь», и «ни на минуту не жалеет, разлучаясь»... Такая частица мрет массами на Шипке, в снегах Кавказа, в песках Средней Азии... «Жизнь его, как отдельная жизнь, не имеет смысла». Эта, не имеющая смысла, жизнь, не любя никого отдельно, ни себя, ни других, годна на

все, с чем сталкивает жизнь... Все может сделать Платон: «Возьми и свяжи... Возьми и развяжи», «застрели», «освободи», «бей» — «бей сильней» или «спасай», «бросайся в воду, в огонь для спасения погибающего!» — словом, все, что дает жизнь, все принимается, потому что ничто не имеет отдельного смысла, ни я, ни то, что дала жизнь... В Крымскую войну таких Платонов умирало без следа, без жалобы — тысячи, десятки тысяч. Двадцать тысяч их легло на Зеленых горах в один день. Сотни тысяч их умирает ежегодно по всей России — безмолвно, безропотно, как трава, и сотни тысяч, так же как трава, родятся... Все это черты чисто *наши*, родные, российские — черты той страны, где десятки миллионов ежедневно слушают мать-природу, в которой, как и в них, нет исключительной любви, нет смысла в отдельном существовании камня, дерева, ручья... Это все — наше, но это не все.

А тот тип, который гонит Платона и по горам и по степям? Тот, кто заставляет его и спасать и губить? Тот, кто неотступно следует по его пятам, глядя, как он мрет тысячами, и только облизывается, видя, что от этих смертей увеличивается и толстеет его карман? Разве это не наш тип? Разве не «ничтожничество», сознаваемое Платоном, воспитало его, развило, раскормило, раздуло его страсть к произволу, к «ндраву» до громадных размеров? — Нет, именно Платон, именно его философия, именно его безропотное, бессловесное служение «всему, что дает жизнь», выкормила у нас другой тип хищника для хищничества, артиста притеснения, виртуоза терзания... Отделять эти два типа друг от друга невозможно — они всегда существовали рядом друг с другом.

Но в далекую старину между ними, как мы уже говорили, виднелась третья фигура, третий тип — тип человека, который, во-первых, «любил» и, во-вторых, любил «правду». Безропотно, как трава в поле, погибающий и, как трава, живущий Платон, однако, думал, что «бог правду видит, но *не скоро* скажет». И умирал, не дождавшись этой правды. Третья фигура, о которой мы говорим и которую мы называем народной интеллигенцией, именно и говорила эту правду; худо ли, хорошо ли, но она заступалась за Платона против хищника, которому сулила ад, огонь, крюк за ребро.

Как же обстоят дела теперь? — Теперь мы видим только две фигуры — Платона и хищника. Третьей фигуры — человека, который бы мог заикнуться о той правде, которую бог видит и которую говорит устами людей, — нет и в помине. Напротив, всё на стороне хищника. На стороне его земельное расстройство масс, расстройство душевного удовлетворения их трудом; расстройство это гонит их к хищнику внутренне обессиленными, сознающими свое ничтожество гораздо сильнее, чем сознавал его Каратаев.[1]

---

[1] Кое-что недоговоренное в предыдущих очерках было досказано впоследствии в рассказе, который хотя и носит самостоятельное название, но написан на ту же тему о власти земли. Этот рассказ: «Из разговоров с приятелями» следует ниже.

ИЗ РАЗГОВОРОВ С ПРИЯТЕЛЯМИ

(На тему о «власти земли»)

I. БЕЗ СВОЕЙ ВОЛИ

1

. . . .Слава богу, зима стоит настоящая, снежная, морозная, с вьюгами и сугробами. Хорошо побыть, пройтись и проехаться на свежем, холодном воздухе, хорошо и дома посидеть во вьюгу и пургу, жарко растопив печку и взяв в руки хорошую книгу.

В один из таких вьюжных вечеров, как-то на днях, я и один мой приятель мирно коротали время, попивая чай, читая, кто книгу, кто газету, и испытывая самое современнейшее из удовольствий, удовольствие нестеснительного молчания. В особенности с этим «удовольствием» освоился мой приятель, так как жизнь накопила у него на сердце немало горя, и всякий раз, когда он говорил, слово его было невеселое, очень часто желчное, а иногда почти истерически негодующее. По натуре это был человек добрый и мягкий, но судьбе угодно было заставить его жить в таких условиях, где эти качества, особливо мягкость, не требовались, и не только не требовались, но не доставляли ничего, кроме горя и душевной отравы. Он начал жить сердцем и умом в то время, когда отмена крепостного права налагала даже на самые заскорузлые натуры обязательства знать и видеть, что все это старое крепостное *кончилось* и что теперь *ничего этого не будет*. Приятель мой принадлежал не к заскорузлым натурам и не поневоле думал, что все это кончилось, а верил в это и знал это по сущей совести. Он начал жить, думая, что *теперь* все пойдет «по-хорошему», тихо, смирно и благородно; думая, что «тихо, смирно и благородно» и есть то новое, что началось и что устранило старое, не тихое,

не смирное и не благородное. Однако «по-хорошему» не вышло, развилась ненасытная алчность и жестокость своекорыстия, и навстречу им пришла жестокость мести. Приятель мой, с своими тихими планами жизни «по-хорошему», с ассоциациями «хороших людей», с ссудными товариществами, со школами и чтением мужикам «Хоря и Калиныча», оказался совершенно ненужным в этой битве «на чистоту»; но оставаясь «между» господствовавшими течениями жизни, был измолот ими, как зерно между двумя жерновами, был, если можно так выразиться, не съеден жизнью, а изжеван, измят ею, но так измят, что в нем не оставалось буквально живого места ни в теле, ни в душе. Обилие всевозможного рода жестокостей, встреченных им в течение жизни при решении вопросов, иногда самых гуманных, жестокостей, иногда совершенно затмевавших цели, во имя которых пускались они в ход, доходивших до виртуозности в преследовании человека, так, зря, без разбору, испугало его. Он не то чтобы перестал верить в светлые и теплые дни, а отвык, боялся думать об этом, чтобы не получить какого-нибудь нового удара по незажившему, избитому месту. Не принадлежа к числу торжествовавших и не попав «в стан погибающих», он тем не менее много, ужасно много пережил мыслью и там и здесь, много видел и много думал о русской жизни и о русском народе, но «изжеванная» жизнь сделала то, что мысли его были несколько односторонни и, сколько можно судить, сосредоточивались на решении вопроса: «почему из всех благ, материальных и нравственных сокровищ, доставшихся русскому человеку даром, не выходит ничего, кроме взаимного мордобития?» Решение этого вопроса, а также боль тела и боль духа, подаренные ему неудачным опытом жизни, заставляли его с особенною внимательностью останавливаться на мрачных явлениях жизни, явлениях, режущих нервы. А так как это больно и неприятно, то Протасов — такая была фамилия у моего приятеля — предпочитал молчать; молча шагал по целым часам из угла в угол, молча курил, или, вернее, ел углом рта мундштук папиросы, и когда говорил, то речь его была неласкова, почему вместо Протасова его почти все знакомые называли Пигасовым, памятуя одно из действующих лиц тургеневского романа. В настоящее время Протасов ехал в Петербург хлопотать

о каком-нибудь «местишке» в какой-нибудь железнодорожной конторе, так как небольшое именьице, доставшееся от матери, в котором Протасов проживал последние годы с женой и тремя детьми, плохо кормило его большую семью и, кажется, было накануне продажи. Проездом в Петербург он заехал ко мне, и вот уж два дня как мы занимаемся с ним самым успокоительным и самым дружеским молчанием. Вероятно, промолчав еще таким же приятным образом день или два, Пигасов (так называть его почему-то всем его знакомым кажется правильнее) взял бы шапку, надел галоши, пожал бы мне руку и молча как приехал, так и уехал бы в Питер; но неожиданно случилось обстоятельство, которое развязало ему язык, и развязало так, как, может быть, не случалось десятки лет.

Обстоятельство это не заключает в себе ровно ничего чрезвычайного. Дело только в том, что наш молчаливый дуэт, обещавший окончиться мирным и молчаливым сном под шум метели, был нарушен появлением нового, но не молчаливого, а, напротив, весьма разговорчивого лица. Ничего особенного не представляет и это новое лицо, но сказать о нем два слова необходимо. Это был молодой малый, или, лучше сказать, «парень» лет двадцати, по фамилии Березников. Происхождения он был купеческого, и лет десять тому назад отец его торговал красным товаром в одном из окрестных тихих уездных городков и здесь же десять лет назад умер, оставив вдове и сыну небольшой деревянный дом и флигель с лавкой. Мать Березникова не продолжала торговли, лавку продала, дом подновила и отдала под помещение уездной управы, а сама стала жить с сыном во флигеле. На деньги, которые остались от продажи лавки и которые получались с управы, жили они не богато, но и не бедно; мать молодого Березникова занималась тем, что пила чай, плакала, ходила в церковь да баловала своего сына, а сын рос и ничего не делал. Но что-то помешало ему сделаться саврасом, шатуном, полюбить трактир, биллиард и кулацкую наживу; какая-то врожденная. деликатность отталкивала его от этого, и хоть он ничего не делал, но хотел что-нибудь делать, и притом хорошее. В настоящую минуту это был дюжий, здоровый и сильный парень, который делал и думал то, что заставлял его делать случай, хотя случай этот,

повторяю, никогда не отзывал его ни в кабацкую, ни в кулацкую компанию. Единственный сын у матери, он не подлежал воинской повинности, не нуждался в куске хлеба, был совершенно свободен, здоров и силен, но вопрос «что делать?» тем сильнее угнетал его в деревенской и уездной глуши, что «нажива», которою этот вопрос разрешается всего чаще, не прельщала его.

— Что мне делать? Скажите, пожалуйста! — иногда как бы в изнеможении вопрошал этот здоровый и румяный юноша, неожиданно явившись из каких-нибудь странствований, которые он любил делать пешком и даже бегом!

— Да вы что бы хотели делать?

— Да чорта мне хотеть? Кабы я хотел, я бы не спрашивал. . .

— Вы что знаете?

— Да ни чорта я не знаю! . .

— Так какое же вам дело? Ничего не знаете и ничего не хотите.

— Так неужто мне пропадать?

— Ну, возьмите какое-нибудь место. . . на железной дороге. . . в управе.

— За каким же чортом?

— Ну все-таки будет занятие!

— Да за каким же чортом мне это занятие? Жрать? Так у меня и без него есть, что есть: пошел к матери, похлебал щей — вот и все, а строчить там в конторе или в канцелярии всякую ерунду — зачем это? Мне надо знать, что я пользу делаю кому-нибудь, тогда я согласен. . .

— Так подумайте хорошенько, может и выберете какое-нибудь дело. . .

— Уж я думал и вижу, что камень на шею да в воду — одно! Впрочем, нет ли у вас книг каких-нибудь? Я хочу читать. Надо читать дозарезу, одно спасенье. . . Дайте мне книг, пожалуйста, сколько у вас есть.

После таких разговоров Березников уходил домой, унося с собой целый ворох книг, связав их собственным кушаком (он ходил в русском платье). Книги были всегда самого разнообразного содержания и собранные кой-как: третья часть одного сочинения, вторая другого, тут и роман с иностранного, и брошюра об уходе за скотом, и

толстый отчет земского собрания. Нахватав всего этого так, зря, без разбору и толку, и притом второпях, под давлением мысли о неотложнейшей необходимости читать «дозарезу», — он немедленно же стремился удовлетворить этой необходимости, немедленно уходил домой «читать» и пропадал на неделю, на две. Чрез две недели он приносил ворох прочитанных книг и на вопрос: «Ну, что?» отвечал: «Прочитал всё.. башка трещит, бог знает, до чего. Все хорошо и любопытно, — а точно кирпичами голову заложило... чистая смерть! Уж я дрова сегодня рубил целый день — никак в чувство не приду». Заходил разговор о систематическом чтении, о том, что *так* читать нельзя, что от такого безалаберного чтения может получиться отвращение к книге. Березников всегда соглашался, говорил: «да-да-да, верно», но прибавлял: «только уж после.. теперь у меня башка ничего не примет... теперь я пойду проветриться... тут у меня есть знакомые охотники на тетеревов»... И уходил, пропадал опять неделю, две-три, принося потом целый ворох всевозможных, хотя и в высшей степени беспорядочных рассказов и наблюдений.

— Ну теперь опять давайте книг.

Но систематическое чтение никогда не удавалось; препятствовали этому живые встречи с людьми. То, идя домой с книгами, Березников встретится с овчинниками и так заинтересуется их бытом, мастерством и разговором, что пристанет к ним и проживет, «протаскается» с ними до тех пор, пока не пропадет интерес, не станет скучно и опять не нападет унылая минута с неразрешимым вопросом «что делать?». То встретится с учителем и вздумает сам готовиться держать экзамен, натащит домой Ушинского, Корфа, Евтушевского, но какая-нибудь новая встреча с какими-нибудь голубятниками или столярами увлекала его к живому наблюдению, и начатое приготовление в учителя ничем не оканчивалось или во всяком случае откладывалось в долгий ящик.

Несмотря на беспорядочность жизненного опыта, исполненного случайных встреч, мало-помалу кое-что из вычитанного им переходило в личные наблюдения и иногда объясняло даже то или другое знакомство, например с учителями, с мастеровыми. Хотя и крайне беспорядочно и безобразно, но голова Березникова работала, вычитанное переносила в жизнь, а виденным проверяла прочитанное.

Но в конце концов в голове этой царствовал все-таки хаос и беспорядок, не приводивший его ни к чему определенному, кроме какой-то страсти переменять место, чтобы не скучать, не томиться бездельем. Знакомых и отцовских и своих много было у него и в городе и по деревням, между учителями, священниками, крестьянами и в особенности между крестьянами, занимавшимися каким-нибудь мастерством: портными, бондарями, дубильщиками, валяльщиками, и везде он не был чужой, потому что приходил «любопытствовать» и любил болтать сам. Корыстных целей в нем никто не видел, а побалагурить всякий был непрочь; да кроме того Березников и не надоедал своими посещениями и не всегда был праздным зрителем того, что делают люди: он всегда готов был подсобить, и не только в чем мог, а и в том, чего не мог.

— Ну-ка ты, парень, чего сидишь-то, лясы точишь, поди-ко принеси дров, видишь, хозяйка хворает, а нам недосуг! — скажет ему какой-нибудь овчинник среди беседы о том, о сем, и Березников не только притащит охапку дров, но и наколет их еще на двое суток вперед.

— Добрый парень! — вот что говорили про него знакомые, и мы скажем про него то же самое.

2

Так вот этот-то Березников и явился неожиданным гостем в то время, когда мы с Пигасовым проводили время в дружеском молчании, попивая чай и шумя кто газетой, кто листом книги. Березников явился весь в снегу: снег был на шапке, на сапогах и на полушубке.

— Здравия желаю! — сказал он весело и, сняв шапку, просыпал с нее на пол клочья снегу. — Вот и мы... незваные, непрошенные. Не хуже буду татарина? Можно ночлегу попросить?

Как ни дружески молчали мы с Пигасовым, но появление нового лица, в котором притом же не было скуки для обоих нас, было весьма приятно.

Через пять минут Березников уже разделся, снял полушубок и в одной красной русской рубахе сидел за стаканом чая, проглатывая огромные куски булки. Я познакомил его с Пигасовым, но Пигасов, который, по его же соб-

ственным словам, сторонился всего веселого, — потому что отвык от него, — не особенно обрадовался появлению нового гостя, от которого уж слишком веяло какой-то беспричинной радостью молодости и физической силы. Вежливо поздоровавшись с Березниковым, он отодвинулся немного от стола с газетой в руках, молча уткнулся в чтение и, как кажется, даже старался не слушать разговора, который начался у меня с Березниковым.

— Ну, — сказал я, — рассказывайте!

С Березниковым всегда начинался разговор именно этой фразой, потому что всякий промежуток между нашими свиданиями ознаменовывался тем, что Березников, уходя от меня, попадал случайно в какую-нибудь совершенно новую среду, о которой и приходил рассказывать при следующем свидании. На этот раз Березников не сразу ответил на мой вопрос. Он ел и, занятый этим делом, только кивал головой, как бы говоря, что много есть о чем рассказать.

Покуда в его руках была булка, никакого разговора между нами происходить не могло; но вот булка съедена, Березников отряхнул крошки с подола своей рубахи и сказал:

— Не знаю, с чего и начинать.. столько всего видел! Две недели работал с рыбаками.. вот народ-то! Лучше этого народа, кажется.

Березников вдруг остановился, как бы что-то вспомнив важное, и торопливо сказал:

— Да! Что же я? Самого главного-то и не говорю... Ведь антихрист народился! В народе удостоверяют об этом самым положительным образом.

— Где же? у нас народился, в России? — спросил я.

— Определенного на этот счет сказать не могу... Какое-то царство называют. Так вот в этом-то царстве есть князь, и живет у этого князя повар. Повар-то этот и есть корень всему делу. Во-первых, он постоянно работает в белых перчатках, а почему — это после узнаете... А вовторых, необыкновенно любезен, ласков и добр...

Пигасов, как я уже сказал, старавшийся не слушать разговора, однакоже оставил газету, подвинулся к столу и стал слушать Березникова.

— Когда этот повар «в белых перчатках» нанялся служить на княжеской кухне, то немедленно же стал

всячески угождать и *делать добро* прислуге. Есть у него деньги — отдает, помогает, а княжеская прислуга разнесла о доброте повара весть в народе и довела до сведения самого князя. Князь узнал о доброте своего повара и полюбил его, а когда повар узнал, что князь его любит, то воспользовался этою любовью также на благо народа. Прислуга, как я сказал, разнесла о нем весть в народе; к повару стали приходить со своими нуждами истопники, конюхи, потом городские извозчики, дворники, чернорабочие и вообще масса черного народа — мужиков; всякий рассказывал ему и плакал над своим горем, и повар всякому выхлопатывал по его желанию: кому землю, кому дом, кому скотину, кому деньги. Никто из мужиков не уходил от повара необлагодетельствованным. Так дело стоит в настоящую минуту; повар в белых перчатках служит у неведомого князя, и слава о его доброте, о его милости к мужичкам, к простому бедному человеку растет не по дням, а по часам... Но скоро, лет через двадцать, произойдет такой случай: князь, у которого живет повар в белых перчатках, созовет в гости к себе прочих всех китайских и ефиопских князей; повар, как любимец князя, будет служить гостям, стряпать и подавать кушанья, и вот тогда-то, в один из таких роскошных обедов, один из князей спросит: «Отчего это у вас повар постоянно носит белые перчатки?» — «Ах, боже мой, ответит князь, я этого и не заметил!» И скажет повару: «Отчего, любезный, ты ходишь постоянно в белых перчатках?» Повар ничего не ответит на это, только в первый раз сделает недоброе лицо; тогда князья и разные султаны станут просить, чтобы он приказал повару снять белые перчатки... Князь исполнит желание гостей; он будет приказывать повару снять перчатки до трех раз: сначала лаской, а потом и с гневом. Два раза повар ослушается приказания, а третий раз, тоже со страшным гневом, исполнит; он сорвет с рук перчатки, и тогда все гости, все князья и султаны в ужасе увидят, что повар — не повар, а антихрист: на одной руке у него окажется копыто, а на другой когти. Ужас блестящего общества будет так велик, что все гости немедленно уйдут из-за стола и немедленно же разъедутся; сам князь, у которого живет этот повар, также немедленно вслед за гостями соберет

все свои сокровища и уйдет из своей стороны... Между тем народ, который уже наслышан о необыкновенной доброте повара, оставшись без главы и хозяина, не найдет никого более достойным заместить разгневанного владыку, как именно этого самого повара. И вот повар сделается главным лицом в царстве, но вместо милостей народу он с первого же дня начнет проявлять необузданную жестокость... И здесь вот что в высшей степени любопытно: вы ведь помните, что он в первый раз ожесточился и рассердился, когда у него потребовали снять перчатки и стали смотреть руки... Так вот и он тотчас после того, как сделается главою, — издаст повеление *«смотреть у всех руки»*. «Вы, мол, меня осрамили с моими когтями и копытами — вы тайность мою раскрыли, так и я вам также...» И вот начнут у всех осматривать руки.
И у кого руки эти окажутся *чистыми*, нежными, без *мозолей*, тем будет очень худо... *Чтобы спастись от гибели*, все белоручки начнут *хвататься* руками *за землю*, начнут рыть ее и все-таки будут гибнуть... А так как и у мужиков мозоли будут проходить (от хорошей жизни, которую антихрист устроил им, будучи поваром), то вслед за белоручками, уничтоженными по повелению антихриста, станут уничтожать и обелорученных мужиков... Ничего, кроме гибели!.. Затем начнется пожар земли, которая сначала превратится в медь, потом в серебро и, наконец, в золото. Тут воскресение мертвых и суд... Вот какая история! Итак, первое самое важное известие я сообщил... Теперь второе — рыболовы...

— Позвольте одну минуту,— перебил Березникова Пигасов. — Эту легенду об антихристе я на своем веку слышал несчетное число раз; антихрист всегда является в ней в разных видах, но всегда решительно, во всякой из легенд он всегда ознаменовывает свое пришествие *добрыми делами*. Он всегда завоевывает симпатии народа, делая ему приятное, облегчая ему жизнь... Почему это — зло, гибель, несчастие и вообще последние дни, кончину мира народ полагает после того, как жить будет необыкновенно легко, исполнятся все желания, снимутся все тяготы?.. И ведь это постоянно так,—продолжал Пигасов.—Антихрист постоянно начинает свою злодейскую карьеру тем, что благодетельствует и помогает бедняку, униженному и оскорбленному, а потом губит его именно этим облегчением

жизни. Ведь еще на днях было напечатано в газетах сообщение о подлинном факте, как в Смоленске бедные люди стали считать какого-то доброго барина за антихриста, потому что он делал массу добрых дел: давал взаймы без отдачи, покупал корову вдове. Даже полиция встревожилась... Еще я помню, что Аракчеева народ стал считать антихристом и оказывал ему особенное упорство в тех случаях, когда он хотел действовать не палкой, а лаской. У одного мужика в той деревне, которую граф хотел обернуть в военные поселения, пропали деньги, кажется, рублей тысячу. Мужик был влиятельный, и граф, чтобы склонить его на свою сторону и чтобы засвидетельствовать пред всей деревней о своей доброте, выхлопотал у государя всю пропавшую сумму и при велеречивой бумаге препроводил в деревню для передачи чрез местное начальство обокраденному мужику. Но как только в деревне стала известна эта *милость* и *доброта* графа, так немедленно же он и прослыл за антихриста. «Ишь заманивает! Не бери этих денег, не касайся, боже сохрани!» Так и препроводили ему велеречивую бумагу с деньгами обратно!.. Что значит это? Отчего это *облегчение жизни* от бремени несчастия, горя и труда и одновременно с «*облегчением*» — гибель неразрывны в понятиях крестьянина?.. Отчего самый настоящий, заправский крестьянин никогда не променяет своего «трудного» житья на легкое житье барина или купца? Вот это меня ужасно интересует.

— Так отчего же это? — спросил Березников в раздумье и вдруг прибавил с неумеренным оживлением: — Оплетают его, вот он и боится... Ему дадут рубль, а сдерут вдесятеро! Так он и пятится от филантропии-то...

Пигасов призадумался.

— Оплетают-то оплетают, это так... Но ведь я говорю про такие явления в крестьянской жизни, которые, напротив, прямо облегчают жизнь и снимают с плеч тяготу явно, видимо для всех и безо всякого обдирания. Нет, мне кажется, что тут есть нечто иное!.. Ты (обратился Пигасов ко мне), помнится, что-то писал про власть над крестьянином — и если помню, то и над его умом и волей — труда земледельческого... Там у тебя много напутано всякого вздору — уж извини по приятельству, — но есть и доля правды.. Действительно, мне кажется, что крестья-

нин живет, лишь подчиняясь *воле* своего *труда*... А так как этот труд весь в зависимости от разнообразных законов природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но без всякого с его стороны усилия, без всякой *своей* мысли... Вынуть из этой жизни гармонической, но подчиняющейся чужой воле, хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заменять своей человеческой волей, своим человеческим умом... а ведь это как трудно! как мучительно! Возьмите вы человека *своей* воли, своей мысли — скажем так: культурного человека — сколько он мучился, сколько страдал, а чего добился? Добился ли сотой доли того гармонического существования, которым пользуется *так*, не беспокоясь и не думая, крестьянин? Культурный человек — это человек, выгнанный из рая неведения, из рая, где всякая тварь служила ему (как служит теперь нашему мужику) под условием не касаться древа *знания*. Его выгнали в пустыню, в голую, безжизненную степь, на полную волю. И в обиде на неправду, а также и в гордом сознании силы своего ума (ведь он вкусил от древа-то) он, вероятно, сказал, уходя из рая: «Так будет же у меня *мой собственный* рай, да еще лучше этого!»... И вот над созданием этого рая он и бьется несчетное число веков. Ему не служат твари — он сделал своих: локомотив его бегает лучше лошади; он выдумал свой собственный свет, который будет светить и ночью; он переплывает океаны в своих, собственным умом выдуманных ихтиозаврах-кораблях; он хочет летать, как летает птица. И, вероятно, когда-нибудь в бесконечные веки он добьется своего... Будет у него свой собственный, *выдуманный*, взятый умом и волею рай. Но как еще ужасно-ужасно далеко это время! Когда-то еще его мертвое животное, локомотив, достигнет поворотливости любой деревенской кобыленки!.. Когда-то еще его упорное желание летать птицей осуществится хотя в приблизительных только размерах того совершенства, которым *уже* обладает галка, обладает так, без всяких усилий с своей стороны, а просто так... галка так галка и есть, *взяла* да и полетела! А Надары еще лет тысячи будут разбивать себе головы и тонуть в морях, прежде нежели добьются уменья произвольно перелетать с крыши на крышу... Вот точно так же и народная жизнь...

— Как так же? — спросил в совершенном недоумении Березников. — Народная жизнь подобна галке? Что-то больно хитро!

— То есть совершеннейшее подобие галки! Если вы дадите себе труд поймать эту галку...

— Поймаю трех! — сказал Березников.

— И одной довольно... Если вы поймаете галку и рассмотрите всю ее организацию, то вы поразитесь, как она удивительно умно устроена, как много ума положено в ее организацию, как все соразмерно, пригнано одно к одному, нет нигде ни лишнего пера, ни угла, ни линии ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Не так ли?

— Надо быть ловко устроена. На то господь праведный...

— Удивительно ловко и умно устроена! Но ведь тогда любая галка — гениальнейшее существо, необъятный ум? Вот у нас часто, изучая народную жизнь, иные в высшей степени гармонические явления народного быта приписывают народному уму, и тогда он кажется необъятным... А между тем эти гармонические явления, до которых умом человек непокорной воли дойдет только через тысячи веков, существуют и рождаются просто так, как галка, как жеребенок... Неисповедимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по весне ходила по полю и махала хвостом. Она ходит и махает, потом ее начинает «пучить», и в конце концов получается прелестнейший жеребенок, в миллион раз умнее и лучше выдуманного человеком локомотива, но появляется без собственной воли, устраивается и принимает формы и строение без собственного ума, а *так*... И народная жизнь в огромном большинстве самых величественнейших явлений удивительна, стройна, гармонична, красива *просто так*.

— Ну, знаете, — сказал, все более и более недоумевая, Березников: — это вы... чорт знает, что такое!.. Как же *так*?.. Это... чорт его знает!.. Что же это такое?

Но Пигасов, по мере того как овладевал своею мыслью, возбуждался все более и более и, не слушая Березникова, продолжал:

— Народ — это тот человек, который, по изгнании из рая непокорного собрата, предпочел остаться там... сказав себе: «ладно и так!»

— Отчего же об этом не писано? — спросил Березников.

— Да кто же писать-то будет? Выгнанный человек, человек, сказавший: «сделаю свой рай еще лучше», тот выдумал печатный станок и записал свои страдания и мучения, свою душевную муку, а этот, оставшись в готовом раю, рассчитал, что лучше «повиноваться». Сказано: «не касайся древа *знания*!» — он и не касается... И до сих пор не касается... И ничего! Живет! И все звери и птицы служат ему и покоряются; куры несут яйца, свиньи предоставляют поросят, кобыленки дарят готовыми локомотивами, бабочки приносят цветочную пыль, пчела переделывает ее в мед, черви вырабатывают чернозем. И в этом раю он только исполняет, что ему определено, довольствуясь *готовым* умом природы, и выходит в его жизни так же почти все стройно, хорошо, удивительно, как все удивительно хорошо в природе: как цветок, как галка, как пчела...

8

Пока Пигасов говорил, Березников сидел с вытаращенными глазами и ничего не понимал, только бормотал негромко:

— Это... чорт его знает... — галка!.. Чорт знает, что такое! Ничего нет! ни ума, ни воли! Ну, уж это.

И вдруг столбняк, в котором он находился от этих речей Пигасова, оставил его, и он, рассердившись, произнес:

— Что вы тут говорите? Что это еще за безобразие? Как нет ума? Я слушаю, слушаю, думаю: что такое? Совсем было очумел... Да что вы? Как же так ума нет? что вы говорите?

— Я не говорю — «нет», я говорю: «своего» ума нет. Есть великолепный, удивительный ум, но чужой, божий ум природы... А как своим, человечьим приходится действовать — увы! *Так,* не думая, «не сумлеваясь», — покорим, разобьем и сами помрем сотнями тысяч; а человечьим умом начнем действовать — не сладимся купить пожарную трубу для деревни!

— Что вы говорите! — возразил Березников. — Господь с вами! Опомнитесь вы хоть немножечко-то!..

Да позвольте, я вам приведу пример. Вот я две с лишним недели прожил в рыбной артели на Ильмене, так неужели же я не знаю, сколько там ума, какая бездна удивительных мыслей, сколько благородства? Да позвольте вам рассказать все это подробно, и вы увидите.

И Березников с жаром стал описывать рыболовную ильменскую артель. Организация ее была действительно совершенна, в полном смысле слова. Приводить здесь все подробности этой организации слишком бы затянуло рассказ о дальнейшей беседе Березникова с Пигасовым. Приведу для образчика одну только подробность, касающуюся невода. Невод плетут все члены артели по ровной части. Но так как к этому неводу, опуская его в воду, привязывают веревки и те места, к которым эти веревки привязываются, рвутся и портятся скорее тех частей невода, где нет привязей, то артельщики распределяют работу каждого так, чтобы *у каждого* приходилась часть плетения к узлу, где рвется, и часть труда там, где невод свободен от узла; словом, внимательность артельщиков друг к другу и к безобидному и совершенно ровному распределению этого труда — доказывалась этим примером блистательно. По этому примеру можно судить и об остальной организации; вся она также организована на самых справедливейших отношениях к труду собрата. Об уме, вложенном артельщиками в их дело, Березников рассказал чудеса: они астрономы, и каждая звезда на небе у них называется по-своему; каждое направление ветра также изучено и названо собственным своим именем. Словом, как организация артели, так и распределение труда и заработка, все было удивительно стройно и удивительно справедливо и умно.

— Теперь позвольте спросить вас, — горячась, сказал Березников: — где же тут и в чем видится проповедуемая вами галка или ворона какая-то? Да не только галка, а и ваш культурный человек со всеми своими потрохами гроша медного не стоит против этих мужиков. Вот недавно я брал у попа книгу об Америке, о каких-то американских сектах... Описывается там, как какие-то культурные распутники заводят тоже какие-то общины. И весь культурный ум их не в силах сделать так, чтобы общины эти обходились без распутства. Какой-то Нойес — чуть не бог, а ведь отсюда за пять тысяч верст

видно, что он весь в грязи, что даже лысина-то у него совсем подлая.. И об чем хлопочут! Не стеснять инстинкт, а чтобы детей не было. Чтобы инстинкт был — это ничего, а дети — это пролетариат, так вот и рекомендуют идти в аптеку. Из аптеки возьми на целковый лекарства против пролетариата, а инстинкт оставь! Ведь на это последний мужик плюнет, такая это ахинея и подлость.. И где же тут ваш культурный ум? и чего он стоит в сравнении с нашим мужицким умом, с нашей чистой крестьянской семьей, с детьми, сколько бы их ни родилось, и без всяких паршивых рецептов? Что вы! Нет ума! Вы меня совсем одурачили вашими разговорами!

Пигасов все время молчал и внимательно слушал. При последних словах Березникова он заговорил опять:

— Мне кажется, — сказал он, обращаясь ко мне, — что нет другого более несчастного человека на свете, как русский культурный человек. Ведь свою культурность-то, свою мысль он должен дрессировать по чужим образцам, по образцам умственной работы того человека, который, как я говорил, хочет завоевать рай своим умом. И, как я также говорил, завоевал он очень мало, почти ничего... Сравнительно же с нашим народным раем.

— Рай! нечего сказать! — перебил Березников, но Пигасов, не слушая его, продолжал:

— Сравнительно же с нашим готовым раем и вовсе мало. А между тем русский культурный человек, живя среди миллионной массы некультурного народа, невольно чувствует вокруг себя какие-то такие совершенные и широкие формы жизни, которые далеко превосходят всю его европейскую культурность. Лакей, горничная, извозчик — все одинаково дают ему чувствовать, что они выше его чем-то, что они самостоятельнее его, что они неуязвимее, чище, смелее и в миллион раз прочнее его на земле. Чувствуя это и ощущая ежеминутно, наш культурный человек в огромном большинстве случаев не знает, что делать? Все для него кажется, или по крайней мере он чует, что вся его культурность слаба, дрянна, бесплодна для этой сильной массы. И замечательно, что чем он искреннее, тем он нравственно слабее среди нашей массы. Да, в самом деле, представь себе, что он пережил, с книгой в руках, всю эпопею страдания

культурного человека и дошел до последней точки, на которой этот измучившийся культурный человек стоит. Какая это точка? Это именно, вот как говорит господин Березников, какие-то паршивые отцы Нойесы, какие-то неудающиеся коммуны, неуклюжие фаланстеры и фамилистеры. И когда он доходит до этого предела, так тут у него совершенно опускаются руки, перед ним во всем блеске и совершенстве стоит наша община, наша артель, и он говорит: «Какого же чорта (вот совершенно так же, как господин Березников выражается) сто́ит вся эта культура!» Но тут происходит удивительная ошибка: переживая *мысль* культурного человека и дойдя вместе с этою *мыслью* до последнего ее проявления, мы, встретив потом нашу общину, вкладываем в нее продолжение нашей мысли и продолжаем смотреть на нее как на продукт нашей мысли, то есть объясняем ее нашею мыслью, и, разумеется, поставив рядом какой-нибудь Нью-Ленарк и нашу деревню, видим огромную разницу в пользу нашу и начинаем думать: «Вот каковы размеры нашей мысли, вот каковы мы... Что ж будет *из нас,* если те дотолкались до какой-то казармы, тогда как мы додумались до такой прелестнейшей вещи, как община?» И ошибаемся! До казармы люди в самом деле додумались и дострадались, а община родилась сама, как цветок, как галка. Хвалиться нашей общиной, артелью — то же, что приписывать самому себе и своему уму гениальное устройство собственного своего тела, своей нервной и кровеносной системы, то же, что приписывать галке блестящий успех в умственном развитии, так как она удивительно сумела устроить самое себя и не только летает куда и когда ей угодно, но даже знает, что за пять верст отсюда мужик просыпал овес и что следует туда отправиться.

— Опять галка пошла в ход, — иронически и сердито сказал Березников.

— Да, опять!.. Или вот еще, — продолжал Пигасов, попрежнему обращаясь ко мне. — Возьми ты теперь французского анархиста. Ведь сердце кровью обливается, глядя на них. Все они неизбежно должны погибнуть, *должны,* понимаешь ли? *должны погибнуть!!* потому что сию минуту они даже не могут приблизительно очертить того «будущего», к которому идут. Перед ними тьма. Из

существующих на их глазах культурных отношений, как их ни поверни, ничего не может выйти такого, что бы сделало жизнь гармоническою; но существующие отношения тяжелы, и вот они говорят: «разрушить все, а потом видно будет». В самом деле, что могут они объявить и обещать обществу, которое будет их бить? Ничего! Ассоциацию трудящихся классов, сапожников с сапожниками, башмачников с башмачниками — какая казарма и какая скука! и результат — две копейки барыша против нынешних цен. И они знают, что это — казарма и скука, знают, что и существующее несправедливо, и вот идут *только* разрушать... Вероятно, после морей крови и страданий они придут путем огромных усилий знания и воли к тому, что ассоциация-то должна быть в одном человеке, что в нем одном должны сосредоточиваться, если так можно выразиться, все знания, все науки, все ремесла, а союз таких всесторонне развитых людей будет община, общество. То есть придут к типу нашего мужика, который *все сам,* на все руки, все может, ни в ком не нуждается и, сосредоточивая в одном себе возможность всестороннейшего развития врожденных в нем физических и нравственных сил, представляет тип «полного человека», а не башмачника, сапожника, телеграфиста... Но зато, если культурный человек после всех усилий ума, воли и знания, после всех страданий, после морей крови придет к тому же типу, который в нашем крестьянине уже есть, существует во всей красе и силе — не завоеванных им, а взятых даром, — тогда уж и самостоятельность и независимость этого своей волей выбившегося из мрака и холода мук человека будет вековечная!.. Его не сокрушит *случай,* не сокрушит дуновение ветра, как сокрушает нашего теперешнего представителя этого типа, крестьянина. Как создание божие только, он превосходен; красив и совершенен, вот как это развесистое дерево, этот клен; но если маленький топор валит огромный дуб, который валится и падает без ропота, то и нашего крестьянина, который *сейчас* служил образцом человеческого совершенства и всестороннего развития, также валит всякая малость, которая бьет его по могучему и великолепно организованному телу... Рубль... свист машины. . и глядишь — «образчик будущего» развалился прахом!..

Березников, слушая эту речь, сначала ходил взад и вперед в нетерпеливом волнении, потом замедлил шаг, наконец остановился против Пигасова, скрестил по-наполеоновски руки на широкой груди и молча стоял, ожидая окончания речи. Когда Пигасов кончил, Березников еще молчал некоторое время, наконец проговорил:

— Позвольте... галки... вороны — это я уж слышал. А вот вы не изволили ответить на мой вопрос. Я рассказывал вам про рыбную артель.. Так вот я желаю знать, как, по вашему мнению, откуда все это произошло и откуда взялись все альтруистические черты, которые мы замечаем в этой организации? Словом, кем или чем все это организовано? Народным умом или... ну, чем?

Пигасов молча выслушал этот вопрос и как-то нехотя проговорил:

— Да там у вас какую рыбу ловят?

— У нас? У нас там ловят сигов... ни более, ни менее!

— Ну, так все это и произведено, — спокойно отвечал Пигасов, — не умом, а... сигом!

И замолчал. Березников стоял против него в той же наполеоновской позе и молчал, не зная, что сказать, но смотрел на Пигасова иронически.

— Соблаговолите хотя бы краткое сделать разъяснение этой премудрой философии?

— Соблаговолю!

— Вечно буду благодарен!

— Извольте. Вы говорите — как велик невод-то?

Березников сказал.

— Отчего ж он так велик?

— Потому невод требуется для рыбы, а не для философии, а рыба сидит глубоко. Надобно ее достать, и вот почему его делают таким, а не другим.

— Ну вот, стало быть, невод делается по указанию сига!.. это раз!.. А звезды зачем вам знать?

— Звезды надобно знать потому-с, что ловля бывает ночью, и чтобы крикнуть лодке, куда она должна поворотить, надо назвать какой-нибудь признак... и вот говорят: «вороти на такую-то звезду»...

— Итак, звезды также для сига изучаются... Ну, а ветер?

— А ветер — для темных, беззвездных ночей, «вороти на такой-то ветер».

— И ветер, как видите, для сига же. Теперь позвольте мне спросить вас в свою очередь, что было бы с вашей артелью, если бы сиги вдруг исчезли?

Березников сконфузился и молчал.

— Вероятно, — продолжал Пигасов, — не было бы и артели, не было бы ни вашей астрономии, ни ваших теорий ветра, ни ваших неводов, ни ваших альтруистических чувств... Вот я тоже живу в деревне. И в ней есть речка, только мелкая, в пол-аршина глубины, сигов там нет, а водятся пискари... И там поэтому нет ни астрономии, ни альтруизма, а есть грубый эгоизм: чтобы поймать пискаря, нужно засучить штаны и почти на четвереньках ползать по реке, поднимая на реке камни и выхватывая из-под них пискарей: и эгоистически и индивидуально... У вас сиги, крупная рыба — ну, и альтруизм.

Пигасов ехидно улыбался и кусал по своему обыкновению папиросу. Березников не изменял наполеоновской позы, покачивался, расставляя ноги, и бормотал:

— Так-с! Очень прекрасно!

Пигасов молчал. Березников тоже молчал.

— А знаете, — сказал он, наконец, Пигасову: — я вас ведь опровергну.

— Пожалуйста.

— Ей-богу, опровергну.. всего как есть с ног до головы...

— Сделайте милость, очень буду рад.

— Вы долго здесь пробудете?

— Дня два-три...

— Ну, так я непременно вас разобью на всех пунктах. Только дайте мне сообразиться... А то вы совсем меня запутали с вашим словоизвержением.

— Сообразитесь!

Такие разговоры на тему о «власти земли» почти целую зиму шли между моими деревенскими приятелями и мною. Всякий раз, когда нам приходилось встретиться, заедет кто-нибудь ко мне (преимущественно Протасов) или я случайно загляну к кому-нибудь из них, — в конце концов у нас непременно произойдет разговор, касающийся деревни, народа, интеллигенции, словом, всего

того, о чем в настоящее время приходится думать русским людям всякого звания. Кое-что из этих разговоров мне кажется нелишним сообщить читателю в видах уяснения вопроса о власти земли. Передавать все, что бывало говорено на пустопорожнем деревенском досуге, и долго и утомительно. Вот почему я и выбираю из этих разглагольствований только отдельные эпизоды и сокращаю все, что к делу не относится. Разговоры идут преимущественно между мною и Протасовым, причем из них взяты только известные факты народной жизни; обоюдные же наши рассуждения по поводу их значительно сокращены. Первый из этих разговоров («Без своей воли») кончился ничем. Березников опровергать не явился. А второй состоял в следующем.



II. МИШАНЬКИ

Однажды, теплым зимним вечером, обыкновенный наш с Пигасовым разговор принял образ такого невозможного толчения воды в ступе, что мы, наконец, по безмолвному согласию сочли нужным совершенно прекратить его. Благодаря обилию только что полученных с почты газет и журналов это облегчающее друг друга молчание удалось нам как нельзя лучше. Долгое время мы молчали поистине образцовым образом. Час-два в комнате стояла мертвая тишина — только шуршали большие листы газет и периодически слышались резкие звуки разрываемой рукою Протасова (взять костяной ножик ему было лень) страницы нового журнала.

И вдруг нам обоим, и притом сразу, опять смертельно захотелось говорить. Я прочитал в газете такой факт, что вдруг как бы одеревенел и сразу перестал понимать *решительно все* (есть такие факты, и притом попадаются они частенько), а Протасов, напротив, вдруг оживился до такой степени, что я, только что было собравшись с силами после изумления, хотел раскрыть рот, чтобы поведать Протасову об ошеломляющем факте, как он, не давая мне сказать слова, быстро подбежал ко мне с книгою в руках и, хлопая ладонью по открытой странице,

почти вопиял с каким-то даже умоляющим выражением лица:

— Читай! Ради бога, читай вот это! вот! От «сих до сих».

— Позволь, — сказал было я, — я тут такой факт вычитал, что у меня даже дыхание прекратилось...

— Чи-тай! Читай, прошу тебя! — вопиял Протасов и, не обращая внимания на то, что и мне тоже необходимо было освободиться от факта, захватившего мне дыхание, совал мне в руки книгу и, тыкая в страницу пальцем, умолял:

— Читай, я тебе говорю!.. Вот именно это место! Ты увидишь потом... Вот — вот!

Волей-неволей я должен был уступить Протасову и прочитал следующее:

«...Культурное значение финиковой пальмы громадно.. Только *благодаря ей* население Аравии могло сгуститься настолько, чтобы выделить ко всем концам света те полчища, которые так далеко распространили владычество ислама. *Всемирно-историческая роль арабов прямо связани с этим* их священным *деревом:* оно одно *позволяет* держаться и странствовать в пустыне, *но оно не принуждает* человека к постоянному труду и оседлости, *позволяет* ему оставаться кочевником *и потому не ведет* его выше умеренной степени культуры и *позволяет застаиваться* целые тысячелетия *в тех же привычках, взглядах и потребностях.* На всей необъятной полосе распространения финиковой пальмы мы видим *те же бытовые порядки* и ту же косность в вещественном и умственном строе жизни. *Быть может,* самый культ ислама, который до такой степени к *этой жизни подходит,* так быстро покорил себе всю эту область и царит в ней один, как выражение этого однообразия и того *предела,* который положила человеческому *уму* природа, осчастливившая эти страны финиковой пальмой».[1]

— Довольно! — повелительно воскликнул Протасов, когда я дочитал до последнего слова, и взял из моих рук книгу. Очевидно те строки, которые он дал прочитать мне, сильно интересовали его, потому что все время, пока я читал, он, стоя сбоку меня и заглядывая в книгу, поминутно тыкал пальцем в те слова и строки, которые у меня подчеркнуты. Взяв из моих рук книгу, он не дал мне ни минуты на то, чтобы выразить свое изумление по поводу того, каким образом перечисленные достоинства финиковой пальмы так сильно могут волновать моего соотече-

---

[1] «Вестник Европы», 1882, № 9.

ственника, и заговорил, с особенной выразительностью отделяя каждое слово и на каждом слове останавливаясь:

— Видишь, — заговорил он: — *«по-зво-ля-ет»!.. «не позволяет»!.. «препятствует»!.. «не мешает»!.. «кладет предел»*! — кто? что? — Дерево! Дерево оказывается настолько властным над человеком, что не только организует его бытовые порядки, но даже создает религиозный культ, позволяет или приказывает разнести его по всем концам света, формирует личный характер миллионов масс. . . И опять, кто же этот творец и зиждитель? Де-ре-во! Дерево! Понимаешь ли ты, что это такое? И как же у нас на Руси не идти на ржаное поле и не обращаться *к колосу* за ответом на вопросы о всех, решительно о всех особенностях, даже о мельчайших случайностях русской жизни?

— Ну, — сказал я, — а вот это, вот что я сейчас прочитал в газете, любопытно, объяснишь ли ты ржаным полем?

— Что такое ты прочитал?

И я немедленно же стал рассказывать ему прочитанный факт, радуясь возможности избавиться от того впечатления, которым этот факт меня буквально ошеломил, и не заботясь о том, насколько он соответствует громадному значению финиковой пальмы, которым Протасов был поглощен.

Факт этот состоял в следующем: несколько месяцев тому назад, в один осенний вечер, по Загородному проспекту в Петербурге ехал извозчик и вез седока. И седок и извозчик, повидимому, были оба мертвецки пьяны; оба они качались то взад, то вперед, то направо, то налево, что дальше, то больше, и наконец, на повороте в какой-то переулок, куда лошадь повернула сама, так как извозчик ею уж не правил, оба седока, то есть и извозчик и седок, свалились с пролетки, один в одну сторону, другой в другую. Лошадь ушла. Седоки лежат бездыханны. По обыкновению их взяли и свезли в часть, и здесь один из них — извозчик — умер, не приходя в сознание, а другой пришел в себя и оказался фельдшером Обуховской больницы; в кармане его найдена склянка, в которой оказался хлоралгидрат; по вскрытии тела извозчика оказалось, что он отравлен также хлоралгидратом, принятым в лошадиной пропорции. Фельдшер был арестован,

и дело его не успело еще разъясниться, как в другом конце Петербурга произошло следующее: ночью сидит у ворот одного дома дворник и видит: два мужика несут за ноги и за голову третьего в бесчувственном состоянии. «Что такое? куда? кто?» — спросил их дворник, когда они поровнялись с воротами дома и хотели пронести свою ношу. «Да тут, — отвечал один из мужиков, — братан... натрескался в кабаке... Из деревни приехал, нажрался с устатку-то... несем домой... в фатеру... Пусть проспится...» — «Ну, несите!» — разрешил дворник, и мужики понесли... Стуча сапогами и цепляя ими за камни мостовой двора, понесли они свою ношу, но не в «фатеру», а прямо, через весь двор, в дальний угол, где была разверста зловонная пасть помойной ямы, и, раскачав свою ношу — «братана»-то, — ввергли его в эту яму, как какое-нибудь полено. Ввергли и ушли в «фатеру». Долго ли, коротко ли, но братана этого разыскали в помойной яме; он был мертв и, как оказалось, был принесен уже мертвым. Братана вскрыли, и опять оказалось, что он отравлен хлорал-гидратом. Эти два случая отравления одним и тем же ядом заставили следователя энергично приняться за дело, результатом чего и был судебный процесс. На процессе этом выяснилось, что жили-были в Петербурге «на фатере» мужик с бабой и надумали *«этаким вот манером»* деньги наживать... Достали сонных капель от фельдшера, растолковали двум Мишанькам, деревенским парням, как капли эти на водку «пущать» и как деньги вытаскивать из кармана, и отправили их на добычу. И вот Мишаньки принялись — вероятно, за харчи (работы ноне мало... хошь с голоду помирай!) — орудовать, но с непривычки (кабы знато, кака препорция!) стали бухать на водку извозчикам такое количество капель, что закатывали людей на смерть. Даже фельдшер, который сонные капли доставал, и тот чуть на тот свет не отправился. — «Что вы, дуроломы, — ругала их баба-хозяйка, отправляя на промысел и вручая пузырек с каплями: — дуро́м лекарство-то изводите! Ведь оно дорогое! Ведь деньги за него плачены — не щепки! Не жаль хозяйского добра-то... О-о-ох, господи батюшка! Грехи, грехи тяжкие! Бухаете по целому пузырьку — не напасешься!.. О-о-ох, отче Макарие, праведные угодники печерские, помилуй нас грешных! Берегите лекарствие-то,

безумные!..» Но Мишаньки не умели, не приобыкли и даже, может быть, со страху продолжали не жалеть хозяйского добра: угощая водкой последнюю жертву хозяйской выдумки, какого-то иззябшего на морозе извозчика (которого потом спустили в яму), один из Мишанек бухнул ему в стакан такую пропасть сонных капель, что извозчик умер в то же самое мгновение, как выпил стакан, умер сразу, не успев отереть усов, а только дохнул каким-то звуком, похожим на «у-ухх!», и грохнулся обземь, уже испустив дух. Результатом всей этой хозяйской выдумки, так беспрекословно, хотя и весьма топорно исполненной Мишаньками-работниками, было то, что, отправив на тот свет двоих человек, они выручили всего-навсего около четырех целковых, которые и предоставили хозяину «копейка в копейку». («Мне чужого не надо!» — говорит Мишанька по чистой совести, и как говорит, так действительно и делает.)

Рассказав Протасову этот газетный факт, я не мог удержаться, чтобы тотчас же не высказать моего мнения об этом нелепейшем из нелепейших и глупейшем из глупейших злодейств. Именно глупость, полное отсутствие какого-нибудь смысла или расчета в поступках этих Мишанек, этого хозяина и хозяйки и ошеломили меня, едва я только впервые прочитал об этом факте, ошеломили до того, что я сразу как-то перестал понимать, что такое творится на белом свете. Судите сами: есть ли какой-нибудь человеческий смысл поправлять свои дела, отравляя — кого? извозчиков, у которых никогда не может быть более двух-трех рублей! Настоящий злодей, рискуя каторгой, в самом деле выдумывает что-нибудь такое, что можно выразить выражением «либо пан, либо пропал». Этот же, «по мужицкому своему званию», надумал морить и грабить своего брата, ночников-извозчиков, тогда как по пальцам мог бы сосчитать, что для того, чтобы «таким манером» заработать, положим, сто рублей, нужно усеять Петербург трупами и переполнить мертвецами все помойные ямы. Самый простой расчет, казалось, говорит этому выдумщику, что затея его нелепа. Из четырех целковых, вырученных беспрекословными Мишаньками, ведь надо отдать было за лекарствие фельдшеру, надо угостить его водкой, надо водкой поить извозчиков, надо с Мишаньками поделиться, потому что они ведь стараются,

буквально «себя не жалеют», да, наконец, надо их кормить, ведь они едят по четыре фунта в день одного хлеба, да хлёбова все надо дать хоть раз-то в день, а ведь теперь все дорого («способов нету!» — говорит хозяйка). Какой же смысл и расчет? Ничего, кроме самой глупейшей глупости, увенчиваемой каторжными работами. Не отравляя и не рискуя каторгой и сознанием греха, все эти четыре человека на поденщине (если бы она случилась,) могли бы, считая по 70 копеек, заработать 2 рубля 80 копеек в сутки и были бы на миллионноверстном расстоянии от убийства, от каторги, да и щи были бы у них с мясом. Но забралась в какую-то очевидно глупую голову мысль насчет сонных капель, мысль, вероятно почерпнутая от настоящих мазуриков, в каком-нибудь темном углу, и вот она осуществляется при помощи Мишанек, осуществляется совершенно «по-топорному», безобразно глупо, бесцельно, нелепо, словом, глупо до бесчувствия. Людей валят «дурóм», коё место об мостовую, коё в помойную яму. Точно в самом деле это не люди, а дрова, и Мишаньки нанялись эти дрова валить туда, куда прикажут хозяева...

— Да! — сказал Протасов: — это документ! и документ, я тебе скажу, превосходнейший. То есть для меня и для того, о чем я теперь думаю... Отличнейший, отличнейший документ!

— То есть, отличнейший, — переспросил я его, — в пользу все того же ржаного поля?

— Конечно! Только то, что ты рассказал, надобно немного дополнить... Надобно сделать небольшую прибавочку, и тогда ты поймешь, что факт этот имеет глубочайшее значение и для ржаного поля.

— Чем же ты его дополнишь?

— А вот чем... Ты вот рассказал о глупом и жестоком поступке всех этих Мишанек. Глупы-глупы они, эти Мишаньки, и нелепы, а пришлось, случилось — исполнили, что приказано, и исполнили, как видишь, без «сумления». Как-никак, а двух человек отправили на тот свет, хоть и по-топорному... Словом, ты сообщил такой факт, в котором Мишаньки являются со стороны своей глупости и безобразнейшей умственной нелепицы. Теперь я представлю тебе этих же самых Мишанек совершенно в другом виде. Разумеется, их приговорили к каторге, и вот тут-то мы их увидим совершенно в другом виде...

Во-первых, они уж в артели — это непременно, — и здесь те самые люди, которые «без рассудку», «так, зря», спустили в помойную яму человека, бросили его так, как бросают полено, — посмотри, как они ведут себя в этой артели острожной. Погляди, например, как они едят. Вот шесть человек таких же все Мишанек, и старых и молодых, сидят за чашкой щей... В чашке, положим, накрошено мясо (некто пожертвовал по случаю благополучной неотдачи денег в скопинский банк), так вот посмотри, как они едят и эти щи и это мясо... Во-первых, сначала, для того чтобы никому из артельщиков не было обиды,— едят все шестеро одни только щи, мяса не трогают. Хлебают. И хлебают по порядку. Первый дожидается шестого, чтобы вновь опустить свою ложку. Так продолжается до тех пор, покуда в ком-нибудь из шестерых не созреет убеждение (а убеждение зреет в каждом, так как каждый наблюдает за собой и за всеми), что настал час приступить и к мясу. И вот, убедившись, что другие разделяют это мнение, артельщик стучит ложкой о край чашки. Только тогда, также по порядку, один за другим, начинают есть мясо, и точно так же, как прежде, шестой дает возможность первому вновь опустить ложку в чашку и взять кусок; кто-нибудь задумался и вместо щей с мясом взял ложкой одних щей — напомнят, скажут: «ты что ж кусок-то пропустил? ..» И куски все нарезаны точь-в-точь поровну; словом, на глоток, на каплю нет несправедливости к соседу, к щам, к мясу и к хлебу. Похожи ли, спрошу я тебя, — *эти* Мишаньки, эти товарищи, внимательнейшие друг к другу, справедливейшие друг к другу, словом, Мишаньки, дающие тебе возможность чувствовать всю прелесть братских отношений между людьми, на тех Мишанек, которые валят братанов, и валят зря (вот что главное-то!), в помойные ямы? Похожи? Нет! Совсем не похожи. Но ведь это одни и те же Мишаньки — вот что ужасно, вот что важно! вот почему факт, который ты сообщил, вместе с моим дополнением, которое я имею право сделать без малейшей тени сомнения в его справедливости, вот почему оба эти факта, слитые воедино (а они на Руси всегда слиты воедино), знаменательны; они дают русской жизни ту главную, преобладающую черту ненужного, излишнего «неблагообразия», которая делает ее в конце концов мучительной...

— Уж я не говорю, — продолжал Протасов, — собственно о деревенской жизни; здесь положительно на каждом шагу тебя то мороз дерет по коже, то душа растворяется в нежнейшем умилении. «Знаешь, говорит тебе, положим, сегодня утром какой-нибудь приятель, я был в деревне и не знаю... кажется, никогда в жизни не испытывал таких поистине благоговейных ощущений. Какая в них простота, доброта, какой светлый ум, сколько остроумия, какое терпение, какие удивительно широкие, просторные идеалы жизни!.. Я был недолго, это правда, но уж и того, что я видел, достаточно, чтоб сказать, что у нашего народа великая будущность — великая! Мы со всеми нашими интеллигентными потрохами — ноль... больше ничего, ничтожество!..» А вечером приходит другой приятель, также отведавший деревни, и вот что говорит: «Знаешь, на этих днях мне пришлось провести несколько времени в деревне, так я, ей-богу, до сих пор не могу опомниться, прийти в себя. Что я там только видел — уму непостижимо! Понимаешь ли, до сих пор не могу еще опомниться, очувствоваться, прийти в себя, а я уж больше недели как воротился оттуда... Понимаешь ли. (рассказчик переводит дух) просто — дерут друг с друга шкуру! Такого бесчеловечия, такого бессердечия я. да нет! это невозможно!» И как первый из посетителей деревни, приехавший оттуда в восхищении, заваливал тебя рассказами о самых привлекательнейших явлениях деревенской жизни, которые он видел «собственными своими глазами», так и второй преподносит факты, также виденные «собственными своими глазами», но уж потрясающие безобразием и бесчеловечностью. А сойдутся оба приятеля — еще того хуже; тут начинаются такие разговоры, в которых ничего понять невозможно. «Я, с расстановкой и с явным желанием придать каждому слову непоколебимую тяжеловесность говорит один из приятелей: сам, собственными своими глазами видел, как на сходе здоровенный мужик, которого с первого взгляда можно было бы принять за разбойника, просил у общества и кланялся ему в ноги — понимаете ли? — в ноги кланялся и у-мо-ля-л отдать ему шестерых сирот, оставшихся без отца и матери. Я сам, своими собственными глазами это видел...» — «Позвольте, возражает другой: очень может быть, что вы всё это видели...

То есть, не только «может быть», а наверно; но поручитесь ли вы, что этот благодетель, похожий на разбойника, не взвалит сирот на телегу, не отвезет их в Москву, чтобы раздать по лавкам и кабакам, и на полученные по контрактам деньги не купит для своего хозяйства сивого мерина? Я говорю это потому, что я «сам, своими собственными глазами» видел, как (желание придать тяжеловесность каждому слову начинает невольно овладевать и этим наблюдателем) родная мать — понимаете ли — родная мать, не хотела — слышите ли? — не хотела лечить родного сына, который умирал и которого можно было вылечить! — не хотела потому, что иначе старший ее сын, который ее кормил столярной работой, должен бы был пойти в солдаты! Она на моих глазах сорвала с ребенка компрессы, вылила в помойную яму лекарство и ему, живому, умоляющим голосом просившему испить: «мамынька, горит в нутре, ох, мамынька-мамынька»... совала в руки восковую свечку, как умирающему, а воды не давала... Вот что я видел собственными своими глазами!» — «Не знаю! скажет другой, впрочем, мало ли на свете злодеев и уродов. Я не только не видал ничего подобного, но, напротив, видел такие удивительные, нежные отношения матерей и отцов к детям, выше которых нельзя ничего себе представить... Да вот я вам расскажу...» И рассказывает такой факт, от которого у первого приятеля, как говорится, язык прильпе к гортани и слова он не может вымолвить. Так блистателен и великолепен факт, преподнесенный в опровержение примера бессердечия и бесчеловечия. «Не знаю, в свою очередь говорит опровергнутый: очень может быть.. впрочем, я мало знаю народную жизнь... Но мне случалось видеть.. вот что...» И вновь преподносит какое-нибудь такое деревенское изобретение, что и восторженный поклонник деревни не находит возможным сказать что-нибудь, кроме того же: «не знаю... может быть, впрочем. я так мало знаю...»

«Но это еще не все! Восторженный и ожесточенный опять едут в деревню и опять возвращаются оттуда с фактами и наблюдениями, но на этот раз с ними произошла значительная перемена. Осовел восторженный и поутих ожесточенный... «Да-а! — растягивая слова, говорит восторженный, чувствуя в голове своей какой-то

шум, точно после ошеломляющего удара:—да-а... действительно, что-то там как будто не вполне...» и рассказывает такую историю: «Помните, я рассказывал, как мне там понравилось... Я попал на передел, и мне до того они все показались благородными и справедливыми, что я положительно пришел в восторг. Вот теперь был я во второй раз и говорю одному старику, который мне особенно понравился: «Что, говорю, ведь я хочу тут жить у вас, у вас славно, просто, хорошо». Обрадовался старик: «Живи, живи, мы хорошим людям рады...» И пошел мне расписывать, где и у кого купить дом, как починить сарай и так далее... Точно о малом ребенке заботится — что я ему? Чужой человек, а он решительно каждый гвоздь предусмотрел и обдумал в том доме, который еще не куплен, и обдумал все до последнего гвоздя в мою пользу. «А баню, говорит, мы за двадцать пять целковых отхватим за мое почтение... Только *ты не спеши, не торопись, не суй денег в руки, когда не надо, а погоди, повремени...*» И стал он тут говорить не громко и даже как-то не губами говорил, а носом: верхнюю губу подтянул к носу и так сквозь щетину-то и стал пропускать носовые звуки такого содержания: «Успеется, главная причина — спешить не надо, а пообгодить да пообождать... Вот *по весне.* так тут мы с тобой такую штуку укупим, которую ежели *теперь* торговать, так шестьдесят либо семьдесят рублей отдашь, а по весне-то мы за двадцать отломим... вот что я тебе скажу!..» — «Почему же так?» — «Да потому, что *нужда, братец ты мой, нужда настигнет,* а нужда ведь, братец ты мой, — о-о-ох, как она нашего брата нажимает!.. Теперь вот у иного хлеба-то на месяц не осталось, а по весне-то и совсем негде взять... вот отчего, друг сердечный, и за двадцать отдадут, которая вещия шестьдесят, семьдесят стоит... Только уж ты слухай меня, я тебя не обману!..» Сказал он мне это наивно, добродушно, даже прямо жалел тех, кому по весне придется продавать «вещию» вместо восьмидесяти за двадцать — и вполне, вполне искренно жалел... А нехорошо, неловко стало у меня на душе. И знаете, — прибавляет ошеломленный этим фактом соболезнующего грабительства: — я стал замечать, что у них два рода разговоров: то орут, так что за двадцать верст слышно, орут во всю глотку, на миру, а то как-то как будто совсем не гово-

рят... сойдутся, пошевелят носами и усами, помычат что-то... а потом и разойдутся... Вот этот-то разговор ужасно неприятен, удручающ... Не все, стало быть, тут чисто и откровенно.. Есть, стало быть, тут дела, которые понимаются почти только обнюхиванием друг друга. И если они обнюхивают по таким делам, как вот эта баня... так, право, нехорошо что-то... Впрочем, я не знаю, я так вообще мало знаком с народной жизнью, что... вообще не знаю! Мудрено!»

«Так заключает свою речь восторженный поклонник деревни, чувствуя какую-то слабость и в голове и во всем теле и не имея возможности высвободиться из-под ошеломляющего впечатления только что рассказанного факта.

«А вот является и другой наблюдатель, вчера еще ожесточенный несказанно и почти бесновавшийся, — и он тоже как будто осовел и, раскланиваясь со своим недавним врагом собеседником, не только не сердито, а, напротив, в высшей степени умильно смотрит на него и с каким-то особенным чувством пожимает руку. Очевидно, они виноваты друг против друга. Погорячились, не зная дела. Один из них, как мы уже видели, покаялся, а скоро начинает каяться и другой:

«— Да! — начинает он, сконфуженно отирая потный (также от конфуза) лоб: — да. действительно!.. Тут, разумеется, играет главную роль незнание... Приедешь, поглядишь и позволяешь себе судить... Между тем как при более внимательном изучении.. иногда просто поражаешься фактом у-д-ди-вительной душевной чистоты!

«— Как? — восклицаю я, посторонний слушатель. — Да ты же сам вчера говорил, что там друг с друга чуть не сдирают кожу? Какая же это «душевная чистота»?

«— Я говорил и повторю.. Потому что я сам видел! но я также могу привести и такой пример: у одного моего приятеля, земского врача, живет старик, одинокий, восьмидесяти лет. Этот старик двадцать восемь лет работал на одного купца, работал буквально как вол — у него сзади на шее образовался даже твердый желвак от носки бочек с сахаром, кулей и так далее, нечто вроде лошадиной холки. Прослужил он двадцать восемь лет и должен был уйти куда глаза глядят, потому что купец как-то вдруг прогорел, стал пить и в конце концов наложил

на себя руки. После него осталась большая семья в самом бедственном положении. Старику пришлось уйти, искать места, и ушел он буквально без копейки. Ни одежды, ни хлеба, ничего буквально у него не было, когда ему пришлось выйти из этого дома прямо на мостовую, на шоссе и искать себе хлеба. И решительно, как рассказывал мой приятель, никогда ни одного упрека не слыхал он от старика насчет своей горькой доли. «Бог с ними! сами они в нужде. Грех и брать-то. . .» А ведь за двадцать восемь лет службы, считая по самой умеренной плате, и то бы пришлось старику не одну сотню получить. . . И вот эти-то сотни он терял без всякого сожаления. . . Шел слабыми ногами неведомо куда искать хлеба тогда, когда уж собирался перестать работать и, запасшись заработанными деньгами, обойти некоторые излюбленные святые места, а потом и умереть честно и праведно. . . Ни малейшего сожаления об утраченных деньгах, о нищенской старости никогда мой приятель от старика не слыхал. Но вот на этих днях устроил мой приятель для своих и для деревенских детей елку. . . Набралось много народу, мужиков, баб, парней, мальчиков и девочек. И старик приплелся, стоит в передней, выставив бороду, и, как ребенок, радуется: «каково хорошо!» Стали раздавать подарки, коробочки, всякие пустяки, и старику дали. Держит, любуется, боится раздавить. . . А есть тут у этого же моего приятеля девушка, тоже крестьянка, в услужении. И уж невеста, и ей досталась коробка, но в коробке случайно оказалась конфетка, на которой был нарисован парень. Показала она подругам — те и засмеяли: «о парнях, мол, думает, так вот парень и достался». Сгорела она при всех от стыда. «Позвольте, говорит, обменять мне его на сахарную собаку». Ей не позволили, потому что было уж очень смешно ее смущение. Да и парни также возроптали. «Ишь ты! парня на собаку хочешь менять!» Вот она, чтобы отделаться от этого смеха, и пристала к старику — променяться коробками. «На кой те ляд? Не отдам!» — «Дедушка, родименький!» Не отдает, насупился, брови нахмурил. «Пошла, не приставай!» Облапил подарок обеими руками, ощетинился, но та не церемонилась с ним, подкараулив минуту, выхватила из его рук коробку, сунула туда свою с парнем и пустилась бежать, старик за ней, да ведь как зверь! ноги-то не ходят. . .

догнать не может... схватил полено у печки, пустил вдогонку... Ну совершенные дети! Понравилась ему игрушка, и облапил как сокровище, а двадцать восемь лет труда пропали — ничего: «бог с ними»... Чистые дети!.. Нет, вы (обращается к вчерашнему оппоненту) — вы правы... Действительно, чистота души...

«— Нет, — прерывает первый из покаявшихся: — чистота, конечно... И я сам чистоту видел... но действительно иногда и шкуру, как вы говорите...

«Так вот и идет! Чистота души... шкура... Любовь к ближнему, и «забил на смерть». высшая справедливость... жестокая несправедливость — и все это вместе, все рядом и все иногда в одном и том же лице... Поди вот разбирай, где они и когда сливаются, когда расходятся, что в них «в самом деле», а что — нет... Поди вот разбери, где граница благообразия и начало неблагообразия? Чистое сердце и благообразие, чистое сердце и безобразие — вот из беспрерывного соединения явлений того и другого рода вместе и выходит то положение вещей, взглянув в которое, можешь только содрогаться. «Ты, — сказал покойный Некрасов, — и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная...» Признаки верные, но чтоб эти признаки не были пустыми словами, надо же, наконец, хоть какой-нибудь определенный ответ: в чем именно могучая? в чем именно бессильная? в чем обильная и в чем убогая? Необходимо дать себе на эти вопросы хотя бы самый грубый, но самый общепонятный ответ, иначе всякий русский человек не отделается от страшной необходимости таить в своем сердце радужные, почти детские желания и чувствовать необходимость закалять свое сердце в ожесточении... Бесплодная тягота жизни, беспрерывное ощущение неблагообразия отношений, беспрестанная тоска ожидания чего-то обещающего не добро... Право, иной раз ночью проснешься покурить и испугаешься... Чего? Да так, всего!.. Тотчас при воспоминании дня что-то начинает давить грудь, и думаешь... Чего этот прошлый день хочет добиться? Из-за чего он так ужасно и так необычайно серьезен (даже «сурьезен») и так необычайно груб, глуп и нелеп? И кто же с такою упорною настойчивостью, что называется не покладаючи рук, воспроизводит этот грубый, глупый, серьезный, нелепый день, воспроиз-

водит его без передышки целыми годами? «Ничего не выйдет!» — вот мысль, которой оканчиваются мечты ночного пробуждения и ночного страха. Я хочу знать — отчего «все это можно»? Что ж это, наконец, такое? Почему я могу «ненароком» сокрушить превосходного Мишаньку, а превосходный Мишанька может также «играючи» сокрушить меня? Как-нибудь да надо знать — что у меня есть хорошего и худого? В чем я убог и в чем я могуч? И вот я рад этому писателю, который с своей финиковой пальмой дает мне капельку возможности разобраться в моих муках».

III. «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ» ЧЕЛОВЕК

— ...И право, — говорил Протасов как-то еще в другое наше свидание, — поистине удивительно слышать иногда в нашем обществе такое краткое объяснение всего нашего положения, всех достоинств и недостатков: «Барин плох, говорят тебе, а мужик хорош, великолепен; все, что в полушубке, — все это хорошо, а все, что не в полушубке, — все это плохо!» Или еще хуже: «*Народ* хорош, а *интеллигенция* плоха!..» Интеллигенция! И слова-то этого множество разглагольствующего народа даже и не понимают путем; тогда как оно должно бы иметь самый определенный, глубокий смысл... я запомнил, не помню чье-то, превосходное определение этого слова — вот оно: «Интеллигенцию надобно понимать вне званий и состояний, вне размеров благосостояния и общественного положения. Интеллигенция среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда *одну и ту же* задачу. Она всегда — свет, и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную задачу. В поле — светят сучья хвороста, в избе — лучина, в богатом доме — лампа. Но везде разными способами задача исполняется одна и та же: во тьму вносится свет...» Вот это определение, и такой интеллигентный человек всегда был и есть в деревне.

«Расскажу тебе один небольшой пример по этому случаю. Как известно тебе, освобождение крестьян совершилось не вдруг; нужно было много усилий «лучших людей», чтобы крепостная неправда стала для общества настолько общедоступною, чтобы общество это решилось чем-нибудь пожертвовать для прекращения этой неправды. В высшем обществе работала литература и вообще люди гуманного образа мыслей, действуя такими средствами, которые в этом обществе оказывались возможными и наиболее достигающими цели; одни ходатайствовали, другие писали чувствительные драмы народных страданий, осторожно действуя на сердце и чувство читателей, состоявших из помещиков и помещиц. Так поступали интеллигентные люди, стараясь достигнуть известных целей в кругу образованного общества... Но и в деревне, и в курной избе, там, где вместо лампы горит лучина,—и там были свои интеллигентные люди, добивавшиеся *тех же самых* целей, что и интеллигентные люди высшего общества, *но по-своему*... Жил неподалеку от нашей усадьбы, я помню, один помещик, кажется, по фамилии Строев, или Устроев — хорошенько не помню, — но помню, что никто не называл его настоящей фамилии, а именовали его «Сквозьстроевым», и именовали вследствие необузданной его жестокости к крестьянам. Он владел большой деревней на большой дороге, и неподалеку от нее был его господский дом. Это был в полном смысле слова тиран. Мало ему было барщины, оброков и т. д. — всего, что надлежало получать помещику, — ему еще надобно было тиранствовать, тешить свою «удаль молодецкую», не над зайцами и лисицами только в отъезжем поле, а и над людьми. Это был маленький, злой идиот и распутник. Беспрекословным, молчаливым и угрюмым исполнителем всех его злодейств и тиранств был дворовый мужик Тихон, он и кучером был у барина. Казалось, это был не человек, а машина, стенобитное орудие, одинаково молчаливое на сожаление, как и на ненависть. «Дери», — прикажут ему, — и он дерет, дерет молча, без передыху до тех пор, пока не скажут — «будет», — а не скажут этого слова, забудут — забьет, да и по мертвому будет лупить опять же до тех пор, пока не скажут — «будет!» «Холопства», то есть потакания и одобрения барских злодейств, в Тихоне не было ни капли, но не было и пори-

цания. Что прикажут, то исполнял с точностию, а ни одобрений, ни порицаний не выражал. Самого его били и драли не раз, и тогда покорялся он этому истязанию так же беспрекословно и мрачно молчаливо, как и тогда, когда его исполнял сам. Но вот у него в один год от холеры померли жена, два сына и дочь — словом, исчезло все семейство, и он остался один-одинешенек, как перст. Вероятно, тоска одиночества навела его на мысль о «божием наказании» — припомнилось ему, как вопияли истязаемые им однодеревенцы, припомнились ему их возгласы: «кровопивец ты», «накажет тебя бог», «чтоб тебе не своею смертью помереть» и т. д. и т. д. И под влиянием этих мыслей и полного одиночества, — молчаливый, железно равнодушный Тихон стал преображаться в глубочайшего ненавистника тирана-барина. Он стал все чаще и чаще, как говорится, «храпеть» на барские приказания, затем стал прямо резко и грубо отказываться исполнять их, а когда его самого за это стали бить и драть, то он уже не молчал, а клял все и вся, во всю глотку, и не стесняясь никакими выражениями... «Изведу я тебя!» — орал он иногда при всем честном народе и грозился кулаком на усадьбу... «Дам ответ богу, — а уже за все твои кровопивства — воздам! Полностью воздам, злод-дей!» Стали его драть, стал он пьянствовать, орать, грозиться кулаками и все «надумывал» месть. И надумал. В один жгучий летний день, когда вся деревня была на работе, вспыхнул пожар. Загорелось почти мгновенно в одном, в другом, в третьем доме, потом, спустя незначительный промежуток, в другом конце деревни — и чрез несколько минут над деревней бушевала буря огня... Завидев пожар, народ опрометью бежал с полей спасать свое имущество — и тут-то ему представилось необыкновенное зрелище: погорельцы увидели Тихона, который с горящей головешкой, как безумный, метался по деревне и поджигал те строения, которых еще не коснулся пламень. «Погоди! — вопиял он в исступлении: — я тебе докажу права! Поплачешь и ты у меня! На! на! вот тебе гостинец!» — орал он и совал головешку то в соломенную крышу, то в скирд хлеба, то в стог сена. Ожесточенные несчастием мужики, увидев, что творит Тихон, набросились на него, отняли головешку, связали, стали бить и по обыкновению куда-то

«поволокли»... «Братцы! — взывал Тихон, изнемогая под ожесточенными ударами односельчан, волочивших его по земле без всякого сострадания: — это я *за вас... за всех...»* — «Анафема ты этакая! Дьявол ты проклятый! Иудино ты отродье сатанинское! — не переставая наносить удары чем попало, возражали ошеломленные горем односельчане... — Зачем же ты, поганая твоя душа, нас-то, нас-то разорил на смерть? Ведь сироты мы голые остались! ведь укрыться нечем, треклятая твоя душа!» — «Братцы! — возопил Тихон, уже чувствовавший близкую смерть: — это я за вас... чтоб вам лучше... Сожги я *его* усадьбу — он вас заставит новую строить... Новую выстроит... А теперь... *без вас он и в усадьбе должен помереть...* Что с вас взять? У вас ничего нет... и у него нет. А вас бог приютит...» И умер. Мужики опустили кулаки, бросили камни и дубины и, тяжело дыша, стояли над Тихоном, испустившим дух... Кое-как после пожара они разместились по соседним деревням и долго бедствовали, но и господин Сквозьстроев также обнищал, отощал, запутался в долгах и погиб жертвою приказной кляузы, осетившей его со всех концов и поминутно поднимавшей против него тысячу дел.

«Единомышленники интеллигентных целей рассеяны среди всех званий, состояний и положений и, несмотря на разные средства, обязательные для известного звания и положения, непременно стремятся к целям одинаковым и непременно к таким, которые бы имели результат: чтобы было лучше жить на свете. И сейчас есть в народной среде типы интеллигентные, преследующие те же цели, что и интеллигентные типы других слоев общества, но по-своему, на свой образец, хотя, к сожалению, благодаря полной беспомощности в умственном развитии, типы собственно народной интеллигенции не могут видеть свою задачу во всем объеме, толкутся в тьме пустяков и вздоров, и свету от них, «по нонишним временам», мало, а иногда и совсем не видно.. Но мы пока оставим этих людей, так как у нас совсем другая задача. Нам нужно найти границу, где чистосердечное благообразие переходит в чистосердечное же неблагообразие. Исключив интеллигенцию, которую чистосердечно благообразный Мишанька то вдохновляет, то так же чистосердечно неблагообразно искореняет, искореняет и вдохновляет «зря»,

«ненароком», «играючи» или «по ошибке», — мы будем иметь перед собою, так сказать, «оптовые» черты нашей жизни, жизни всей страны, и тут мы не минуем нашей финиковой пальмы, то есть нашего ржаного поля. . .»



IV. ПО ПОВОДУ ОДНОЙ КАРТИНКИ

— . . .Поговорим в самом деле, наконец, и о благообразии русской жизни. . . (так говорил Протасов при следующей встрече). Расскажу я тебе сначала небольшой и на первый взгляд как бы не подходящий к делу эпизод. Эпизод этот состоит в следующем: как-то вот, с неделю тому назад, был я в Петербурге и, как тебе известно, искал места. Вот в это-то время, толкаясь там и сям в ожидании всяких благ, встречал я разных старых знакомых; толковали, «балакали», и один из этих старинных знакомых затащил меня как-то случайно в мастерскую одного молодого художника.

«Поглядел я по обыкновению с каким-то деревянным благоговением на всю эту обыкновенную обстановку мастерской, дополненную по обыкновению обязательной для ничего не понимающих зрителей тишиной и молчанием, и вдруг ожил, очувствовался, возвратился в состояние здравого ума и полной памяти. Увидал я одну маленькую картинку — и она-то вот сразу вывела меня из глубокомысленного столбняка и деревянного благоговения к вещам, совершенно непонимаемым. Картинка эта ничем особенным не замечательна. Вот она: девушка лет пятнадцати — шестнадцати, гимназистка или юная студентка, бежит «с книжкой подмышкой» на курсы или на уроки. . .

«Таких девушек «с книжкой подмышкой», в пледе и мужской круглой шапочке, всякий из нас видал и видит ежедневно и уж много лет подряд, и притом в огромном количестве. Одни из нас, «из публики», просто определяют это явление словами: «бегают на курсы»; другие через пень колоду присоединяют рассуждения «о женском

вопросе»; иной почему-то произнесет слово «самостоятельность» и ехидно улыбнется. Словом, все мы, «публика», имеем понятие о том, что «бегают», что «идут против родителей», иногда «помирают не своей смертью», что, с другой стороны, самостоятельность «хорошо», что «пущай», что лучше всего «мать»; назначение женщины — «мать», а не бегать на курсы, что мозг женщины мал, что ничего не выйдет и что опять-таки как будто «хорошо». Словом, обо всей этой современной беготне, книжках, мужских шапках, непочитании родителей, пледах, очках, самостоятельности, медицине, материнстве, малом объеме мозга мы, публика, толкуем, бормочем, судим, тараторим, говорим множество шаблонных умных вещей, множество глупостей и пошлостей и в существе не понимаем того главного, существенного, что таится в глубине всей этой толкотни, беготни, рассуждений о мозге, книжках, пледах, очках.

«И вот художник, выбирая из всей этой толпы «бегущих с книжками» одну самую ординарную, обыкновенную фигуру, обставленную самыми ординарными аксесуарами простого платья, пледа, мужской шапочки, подстриженных волос, тонко подмечает и передает вам, «зрителю», «публике», самое *главное*, самое важное во всем том, что мы, «публика», изжевали своими разглагольствованиями; это главное: чисто женские, девичьи черты лица, проникнутые на картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской, светлой мысли. Я знаю, что я говорю грубо, может быть совсем непонятно, но я хочу быть хоть приблизительно точным. Главное же, что особенно светло ложится на душу, это нечто прибавившееся к обыкновенному женскому типу — опять-таки не знаю, как сказать, — новая, мужская черта, черта светлой мысли вообще (результат всей этой беготни с книжками), не приклеенная, а органическая, что она уже в крови, что если прежде, например в тридцатых годах, какая-нибудь Марья Петровна должна была предварительно разойтись с тремя мужьями, чтобы задуматься о несчастном положении женщины, и только через посредство трех «очень развитых молодых людей» могла еле-еле добраться до мысли о необходимости самостоятельности, то здесь, в этом нарождающемся «новом типе», это даже и не вопросы, и думать-то о них нечего,

так как они, повторяю, достались уже даром. Вот это-то изящнейшее, не выдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осененной не женской и не мужской, а «человеческой» мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий.

«Сначала, взглянув на эту картинку в том состоянии деревянного благоговения, о котором я говорил, я было хотел уже перенести мой деревянно-благоговейный взгляд на другие предметы и сделал было уже шаг далее, как почувствовал, что не могу двинуться, словно кто ухватил меня за полу (или словно я зацепил карманом, как иногда бывает, за ручку двери). И точно, зацепился. Не пустила картинка. Я остановился и думал, а тем временем еще подошло два-три человека посетителей и тоже поглазели по сторонам, также зацепились карманом за ручку двери, как и я, дойдя до этой картинки, и все говорили: «Д-а-а-а-а!.. Отлично!.. Вот что *так*, то *так*!» И также начинали думать, а о чем все мы думали и что такое означали выражения: «вот что так, то так», которые срывались с уст решительно каждого из зрителей, — это понемногу разъяснилось после, когда мы, выйдя из мастерской художника, где случайно перезнакомились, как-то случайно же сошлись за одним столом в соседнем трактире и стали есть.

«Вот тут-то и начались разговоры, рассуждения и пересказ тех впечатлений, которые внушила картинка. И странное дело! О картинке никто уже не напоминал, и не говорил, и не хвалил, совсем об ней и разговору не было, а все толковали о женщинах, о семейной жизни, о современной жизни, рассказывали тысячи семейных нелепиц, и во всех этих разговорах — не могу утаить — женскому полу порядочно-таки доставалось. Но подробно рассказывать я этого не буду, хотя и здесь, как и в трактире, нет дам. Вообще, если бы я хотел привести в порядок все сетования, какие я там слышал, то немного бы ошибся, если б сказал, что все они сводились к одному: именно к отсутствию в современной семье (говорилось об «обществе»), между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, такой нравственной — заметь, нравственной! — необходимости, которая бы делала союз

мужа и жены действительно нравственно-неразрывным, и чтобы из этой духовно-нерасторжимой жизни выходило бы в самом деле одно гармоническое целое. Бывают «случаи», конечно, но редко. Высказывалось такое мнение, что в женщине («общества») развито слишком много чисто женских черт, доведенных иногда до махровой красоты и махровой бесплодности, черт, нарушающих равновесие сожительства в пользу обременительной, хотя и красивой пустоты, досадной, пустой, зарождающей в душе человека семена холодного презрения. Не пощажены были, надо было также правду сказать, и специально мужские, тоже не в меру иногда разрастающиеся махровые свинства; но вообще найдено было, что такого нравственного единения, которое бы было необходимо, настоятельно нужно, неизбежно для «обеих сторон», чтобы из этого необходимого, настоятельно нужного нравственного единения выходила одна гармоническая во всех отношениях жизнь, — нет, и неизвестно, когда оно еще будет!

«Долго, очень долго шли разговоры на эту тему, но так как всему бывает предел, то, наконец, и разговоры эти кончились, и мы разошлись. Но вот что мне пришло в голову: когда-то еще в культурном обществе будет возможность выработать такой супружеский союз, где бы при полном нравственном единении мужа и жены не страдала индивидуальность каждого из них, а вот в крестьянской среде, живущей под охраною велений ржаного поля, он уже давным-давно существует и иногда в таком совершенстве, выше которого, право, нельзя себе ничего представить.

«Ведь там, в деревне-то, мужик и баба делают действительно *одно и то же дело,* и в то же время у всякого есть «своя часть», но эта «своя часть» не носит на себе для каждого из них печати той исключительности, которая давала бы возможность сожительствующим сказать друг другу: «Это не твое дело», или: «Тут ты ничего не понимаешь», или: «Я в твоем деле ничего не понимаю, а ты не мешайся в мое», как это частенько-таки бывает в сожительствах немужицкого общества, где супруг с супругой в то же время, то есть не понимая дел друг друга и «не мешаясь» в дела друг друга, ознаменовывают прочность союза едва ли только не тем, что ходят друг с другом «под руку», чего, кстати сказать, я никогда

не замечал у мужиков и баб. Всегда они идут рядом... Так и в жизни. (Я говорю о благоприятнейших условиях.) Они идут в жизни рядом, но каждый самостоятельно делает свое, хотя в общей сложности одно и то же дело. Это две руки, исполняющие одну и ту же пьесу. Мужик понимает все бабье дело и ценит бабу по этому делу: без этого бабьего дела не было бы и его дела, мужицкого; баба также понимает все дело своего мужа, да и ее дело ничего бы не значило без дела мужа. Здесь действительно полная, неразрывная связь мужа и жены в самых малейших движениях мысли; здесь нередко понимание «без разговоров», «по одному взгляду». Примеров подобного единения в так называемом «обществе» нет, потому что нет такой формы труда, организация которого, подобно организации, сделанной для человека особенными свойствами ржаного поля, давала бы возможность проявиться решительно всем — и нравственным и физическим сторонам человеческого существа. Необходимо упомянуть здесь еще об одной, весьма важной стороне мужицкого сожительства, именно о детях и их воспитании: дети не являются здесь существами, которых необходимо сдать кому-то на руки, потому что родителю, служащему в департаменте «обиняков», решительно нет времени разговаривать с ребенком о птичке или рассказывать сказку тогда, когда голова его занята мыслями «посерьезнее», а мать хотя и переворачивает по временам листы какой-то книжки, но, сколько я могу заметить, даже это весьма непоследовательное переворачивание страниц большею частию «раздражает» нервную мать. Она не может быть *беспристрастна к своему ребенку* (всё резоны) и поэтому весьма скоро прекращает это занятие, вручая собственное дитя постороннему попечению. В той же гармонично живущей крестьянской семье воспитание детей составляет также *«одно»* с жизнию родителей, и так как труд, возложенный на них ржаным полем, составляет одновременно и самую жизнь (то и другое одно — жизнь), то и воспитание детей не отделяется от общей жизни отца и матери, а составляет с этой жизнью — «одно»...

«Ничего более благородного, более отвечающего потребностям и духа и тела человеческого я не знаю другого, как то, что можно определить выражением

«крестьянский труд»! Возьми ты хотя бы просто-напросто одну физическую сторону труда: ведь в нем действительно нужен *весь* человек, такой, каким создала его природа, а не только кусок человека, не мозг, не рука, не ноги только... а весь сполна! и если ты вникнешь во все подробности этого труда, то ты увидишь, что ни одного нерва, ни одного мускула без упражнения, в условиях этого труда, не остается, раз этот мускул существует... Все работает, и работает равномерно. Нет того, чтобы, атрофируя две трети своего организма, как несчастный чиновник или рабочий, стоящий у станка, человек скоплял бы силу атрофированных членов в двойном, в тройном усиливании проявления какой-нибудь человеческой способности или недостатка. Уравновешенность духовной и физической деятельности, встречающаяся, повторяю, в нашем крестьянстве, в счастливых случаях, в полной чистоте и совершенстве, делает его поистине образцом того, к чему должен стремиться так называемый прогресс. Эта уравновешенность до такой степени иногда поражала меня, что однажды, находясь под впечатлением знакомства с одним из таких полных гармонии крестьянских семейств, я был поражен, поистине поражен образом Манфреда, когда случайно взял в руки эту поэму, возвратясь после посещения любезной мне семьи. — Что это такое? думалось мне: как так можно, чтобы *весь* человек превратился *в одно страдание,* не находил бы покоя и выл, как волк голодный, на весь свет (на Сен-Готард пробрался!): «Мне ску-у-учно! мне у-жа-сно!..» Потом я опамятовался, но впечатление было сильное. Здесь же, в этом «образчике» гармонического существования ничто не замирает и ничто не разрастается до несоответственных с благообразием уродливых размеров. Все физические и духовные способности действуют в меру, не шибко, не поражают грандиозностью, но действуют *все,* и вот эта всесторонность в общем производит и грандиозное и грациозное впечатление. Всему, даже любви, здесь отведено место «по препорции». Хотелось бы мне сказать тебе очень много вот именно по этому последнему пункту, «о препорции в любви» — вещь очень любопытная, но об этом будем разговаривать когда-нибудь.

«Я не могу не вспомнить тех юношеских, но исполненных огромнейшего неведения минут, когда я, устраи-

вая с одним приятелем в одной глухой, нетронутой цивилизациею деревне ссудное товарищество, основывал доказательства пользы, которую оно принесет, на том, что, мол, вам будет *легче:* «теперь у тебя баба сидит всю зиму, гнется над станком, чтобы выткать три аршина холста, а *тогда* (увы-увы-увы!) ты просто можешь купить двадцать аршин, и баба у тебя будет *свободна.* Теперь почему она у тебя спины не разгибает? Потому что у тебя не на что купить. Почему у тебя не на что купить? Потому что нужда тебя заставляет продать теленка за пять рублей, тогда как если бы ты имел время погодить, то теленок превратился бы в быка и стоил бы сорок целковых. Вот товарищество и даст тебе эти пять рублей, которые дадут тебе возможность погодить»... Словом, юношеская неопытность и незнание, какую огромную роль играет *именно многосложность,* именно обилие труда в сознании крестьянином нравственной полноты существования, правды его и устойчивости, делали то, что я на все лады проповедывал только какое-то огромное облегчение, необыкновенную легкость существования и представлял в ярких красках такие времена, когда никто ничего не будет делать, будет всем полная свобода; причем выходило, что при полном отдохновении будут получаться в то же время какие-то и откуда-то весьма значительные барыши... И никто из подлинных самых симпатичных мне крестьян не доверял мне, думая, что тут «подвох», что как бы чего не вышло... и стали брать деньги прежде всех люди сомнительного положения, а потом и кулачки.. И не развилось товарищество и не сплотило, а вот сектант, пробирающий нонешнее крестьянство за то, что оно отстает от работы, — сплотит в единую трудящуюся семью целую массу народа, оторванного новыми влияниями от своего хозяйства, отведавшего прелести свободного житья на деньги и натерпевшегося горя и голодовок, перемежающихся с кабацким весельем... «Бог нас и сотворил для того, — проповедует один из таких учителей, — чтобы мы работали да от трудов своих и другим помогали. Оттого-то теперь и горе всюду, что никто работать не хочет. Одни на наследство надеются, другие хороших ярмарок ожидают, и работать все не хотят... Все стали норовить, чтобы не работая жить и хлеб есть... И дорого все стало оттого, что

работающих людей мало стало: всё больше приказчики да торгаши».[1] Да! в труде — и правда и смысл народного существования; он для народа — сама жизнь. Работать и жить, труд и человек — до такой степени одно, как вот (Протасов искал сравнения) ты... и вес твоего тела... Ты не чувствуешь тяжести самого себя, между тем в тебе наверное пуда четыре есть... Эти четыре пуда ты носишь с собой везде и не замечаешь тяжести. Так и крестьянин не замечает тяжести своего огромного домашнего труда... Дай я тебе поднять на третий этаж полупудовую покупку — ты скажешь «тяжело», и если не скажешь, то почувствуешь тяжесть... Сделай я крестьянина работником, приставь, положим, к *одним* коровам — скучно ему и тяжко, пока нужда не приучит: а ведь, повидимому, за одними коровами легче ходить, чем самому делать *все*? Вот что такое для крестьянина (не забывай только, *случайно* в настоящее время имеющего возможность сохранить в чистоте и соблюсти свои трудовые желания) — этот для нас, ленивых и неправильно развитых людей, этот беспрерывный и, повидимому, каторжный труд. Это образчик правильнейшего существования и самого совершенного человеческого типа. Этот тип у нас есть... Но знаешь ли, о чем я думаю?»



V. СВОИМ УМОМ

— Я думаю о гоголевской слесарше, которая, помнишь, *сама себя высекла*? Нелепо и глупо, не правда ли? Разве возможно что-нибудь подобное? Человек взял да и высек сам себя? Однако Мишанька (Мишанька тип тоже всесословный, как и *интеллигентный* человек) и не такие вещи делает с самим собой. Припоминая подвиги Мишаньки за последние двадцать лет, я вижу, что он только и делал, что изводил этот благороднейший тип человека с лица русской земли. Что им руководило в этом бессмысленном злодеянии, решительно неизвестно.

[1] *«Как я стал духовным братом»* (из Записок штундиста).

Неповоротливым, непривычным для выражения собственных своих мыслей языком он иногда в объяснение этого безобразия бормочет: «так в Европах... Железные законы... беспременно надо разориться вразор»... А хорошенько, право, не понимает, что такое творится в Европах... А в Европах (я тебя не буду мучить разглагольствованиями) творится между прочим вот что: близ Люттиха существует образцовый фамилистер, нечто вроде отеля для рабочих; этот отель именно за свою образцовость получил медаль на всемирной выставке в Париже 1873 года. И действительно, он стоит награды: «за 1 фр. 50 с. в день рабочий может иметь два завтрака, обед и ужин; у него есть помещение, отопление и стирка белья. В отеле есть ресторан, где он имеет зал для чтения, казино, где есть музыка и где он может проводить свои вечера. Он *может иметь* стол, какой пожелает, *за отдельным столиком.* Общих столов нет. *Рабочий сохраняет таким образом свою полную независимость».*

«Понимаешь ли, так-таки слово в слово и пропечатано: *«таким образом* рабочий может сохранять *полную независимость,* не стесняясь казарменными формальностями». Полная независимость! Независимость, да еще полная — это такая победа над роковыми трудностями жизни, что изобретателя этой независимости действительно следовало наградить медалью... Рабочий освобожден от казарменной формальности, преследующей его в этих многоэтажных казармах фабрик, в общих спальнях ночлежных домов и т. д., освобожден по крайней мере за обедом: ему, наконец, отвоеван отдельный столик... и полная независимость обедать за этим отдельным столиком! Что бы сказал наш мужик, любой, на выбор взятый, если бы я стал уверять его, какое огромное счастье рабочего человека составляет этот «отдельный столик» и «полная независимость» есть такую съестную дрянь, какую пожелаешь? А между тем какую ужасную родословную имеет эта победа в европейском рабочем мире, в этом мире неустанного труда, неугасимого огня и застилающих лучи солнца туч дыма! .. В этой же самой книжице, из которой я привел тебе цитату о «полной независимости» и отдельном столике, есть прекрасное стихотворение римского поэта (конца римской республики), современника изобретения водяной мельницы...

«Рабы! — писал он (я заучил это стихотворение наизусть): — рабы, которым приказано вертеть жернова, дайте отдых вашим рукам и спите спокойно! Напрасно звонкий голос петуха возвещает утро — спите! Теперь работа молодых девушек делается наядами, и вот они прыгают на вертящемся колесе, сверкающие и легкие... Они увлекают ось (мельничного колеса) своими лучами и приводят в движение тяжелый жернов, который вертится кругом... Будем жить счастливой жизнью и наслаждаться, не трудясь, благами, которыми осыпает нас богиня»... Вот как радо было чувствительное сердце поэта тому, что с плеч раба спадает забота, тягота труда, что ему будет легче, что он может спать спокойно... Вот когда судьба раба трогала и заботила чуткие к справедливости сердца! Чуткие сердца не дремали и, несмотря на страшные разочарования в своих надеждах, продолжали беспрестанно воевать во имя «справедливости». Так или иначе, но «отдельный столик» с «полною независимостью» — *завоеван*!

«Теперь обрати внимание, как мизерен этот «отдельный столик» с полною независимостью смотреть в стену и есть блюдо, состоящее из объедков (буквально), — в сравнении с нашею крестьянскою семьей того случайно благообразного и благоустроенного вида, о каком я тебе так много говорил? Имея перед своими глазами такой тип человеческого существования, спрашиваю я тебя, какие такие утопии и теории могут быть для нас страшны, непозволительны и преступны? Ведь мы уже имеем образчик вполне независимого во всех отношениях существования, а не за отдельным только столиком, этим едва ли не последним словом практического осуществления забот о «меньшем брате»? Так именно всем нам, россиянам, кажется. Отдельный столик не представляется нам ничем, кроме подлости и бесчеловечия, тогда как у нас... И тут нам рисуется великолепный образчик крестьянской семьи, крестьянского благоустроенного дома, который во всем сам себе хозяин..

«И, однако, мы решительно неправы, предаваясь необузданной гордости по поводу «образчиков», которыми владеем *даром*. Столик — точно мизерность, но он — *победа;* он — завоевание, вершковое, но непременно завоевание в пользу справедливости... Сам по себе он —

ничтожество, но с ним действительно прибавляется в обществе мысль о полной независимости. В глубине всех этих мизерных опытов важна именно мысль о полной независимости человека. Опыт мал, но мысль велика, и мысль о независимости с каждым днем завоевывает себе большее и большее пространство и большее внимание. Мысль эта, развиваясь и укрепляясь, будет осуществляться практически, и все, что будет добыто ею, будет вековечно и прочно.

«У нас, у нашего крестьянина, эта независимость, идеал ее самой высшей пробы и самой совершеннейшей степени, есть уже, но он создан ржаным полем, а не человеком. Весь строй, все обличье образцовой крестьянской семьи, образцового крестьянского дома, о котором я говорил, — неизмеримо выше, красивей, полней, совершенней всего, что только можно себе представить по части завоеванной независимости, в виде ли она ищущей независимости женщины (с книжкой подмышкой), в виде ли столика с полной независимостью сидеть за ним отдельно и самостоятельно смотреть в стену; но эта величественность и стойкость семьи и дома, делающая их поистине образчиком того отдаленнейшего типа независимого существования, до которого еще бог знает когда добьется ищущий независимости человек, — непрочна, неустойчива, потому что источник красоты находится не в сознании человека, а вне его, в поле, в колосьях ржи... Благообразие мысли, благообразие типа даны готовыми, и вот почему благообразный Мишанька может превратиться и в неблагообразного...

«Вот тут-то, мне кажется, и кроется органическое бессилие русской интеллигентной мысли. Европейские порядки обличены европейской же мыслью во всем своем объеме. Тут уж нечего заимствовать для образца. Что такое этот «отдельный столик», это последнее слово завоеванной независимости? Сунься-ка я с ним к мужику — он меня просмеет на смерть; тут нечего взять для нас; впечатление столика так мизерно, что благообразие крестьянского дома вырастает до размеров огромного значения. Итак, с одной стороны безобразие и мизерность, а с другой — огромное благообразие; одно нам не нужно, другое слишком совершенно. Ну, интеллигентному человеку и остается убираться вон и не соваться,

не мешаться и не портить. . И действительно, ему придется убраться вон, если он будет только соваться, и портить, и мешать. А между тем есть у него огромное дело: ему надо только знать, что мы обладаем образцовейшими типами существования человеческого. Надо знать, что именно этот тип, который я тебе описал из пятого в десятое, именно и есть образцовейший. Надо всем своим существом убедиться в этом и делать все, чтобы он превратился в сознательно образцовейший и перестал быть образцовым бессознательно... Образчик этого образцового существования должен лечь в основание школы и овладеть умом и совестью всех имеющих право что-нибудь делать на общественном поприще».

VI. БЕСПОМОЩНОСТЬ

Уезжал однажды Протасов от меня в С.-Петербург и разговорился.

— Поеду я теперь по Николаевской дороге... Сколько раз на своем веку я сделал этих поездок по ней в Петербург и из Петербурга в Москву? Езжу я, замечаю перемены в постройках, замечаю перемены в вагонах, замечаю, что вырубленные леса вырастают, а дремучие вырубаются; вспоминаю старое и вижу, как я много прожил, как я старею с каждой поездкой... А вот эти маленькие девочки, которые двадцать лет тому назад, когда я впервые ехал по этой дороге, пищали под окном вагона: «Дяденька, купи цветочков! Дяденька, купи малинки! Малина хорòша!», точь-в-точь такие же и теперь, как двадцать лет, и как будто бы совершенно не стареются и такие же ростом, и лицом, и костюмом. Это, конечно, уже не те Марфутки и Лизутки... Те уж, может быть, вывезены на Преображенское кладбище по железной дороге, или разжились кулацким достатком, или пропадают где-нибудь в «заведении», а это — *другие* Марфутки и Лизутки, но точь-в-точь такие же, как и те... Точь-в-точь такое же и ржаное поле, которое их растило,

как и малина и цветочки — всё те же... Да и самая деревня точь-в-точь такая же: вон Мишанька бежит с недоуздком и кошелкой, в которой насыпано немного овса, чтобы приманить им и обратать в поле сивую кобылу, и баба точь-в-точь такая же, как и двадцать и двести лет тому назад, поднимается с ведрами от речки, и старик Силантий греется на завалинке, и девчонки песни поют на той стороне за речкой. Все то же самое, но люди уж другие, хоть точь-в-точь такие же, как и те, которые давно померли, взяты в солдаты, проворовались и или ушли в Сибирь, или разбогатели. Ржаное поле поставляет все точь-в-точь таких же людей — и дядей Силантьев, и теток Авдотий, несметные тысячи которых лежат в земле, по всем концам земли русской. А сколько они вынесли, как погибли, где и как пропали? и отчего? и как? это до ржаного поля не касается, этого не видно и не слышно и на деревенской улице... Ржаное поле имеет дело только с живым и сильным, а до мертвого, до слабого, до погибающего ему нет дела.

«Можно поэтому любоваться и этой устойчивостью деревенских форм жизни и их красотою и широтою, но объяснять их прочность и широту обилием созидающего *сознания* невозможно... Я по крайней мере не мог бы этого сделать и взять грех на душу.

«В какую бы сторону от этого благоустроенного ржаным полем типа человеческого существования, которым нельзя не восхищаться, ты ни пошел, везде ты не только наткнешься, а потонешь в фактах, которые докажут тебе, что, будь в глубине этих прекрасных форм жизни сознательная зиждительность, никогда ни под каким видом не могло бы быть тех *наивных* ужасов, которые, повторяю, немедленно начинаются, как только ты от этого главного благоустроенного типа уклонишься либо в сторону упадка, либо в сторону благосостояния.

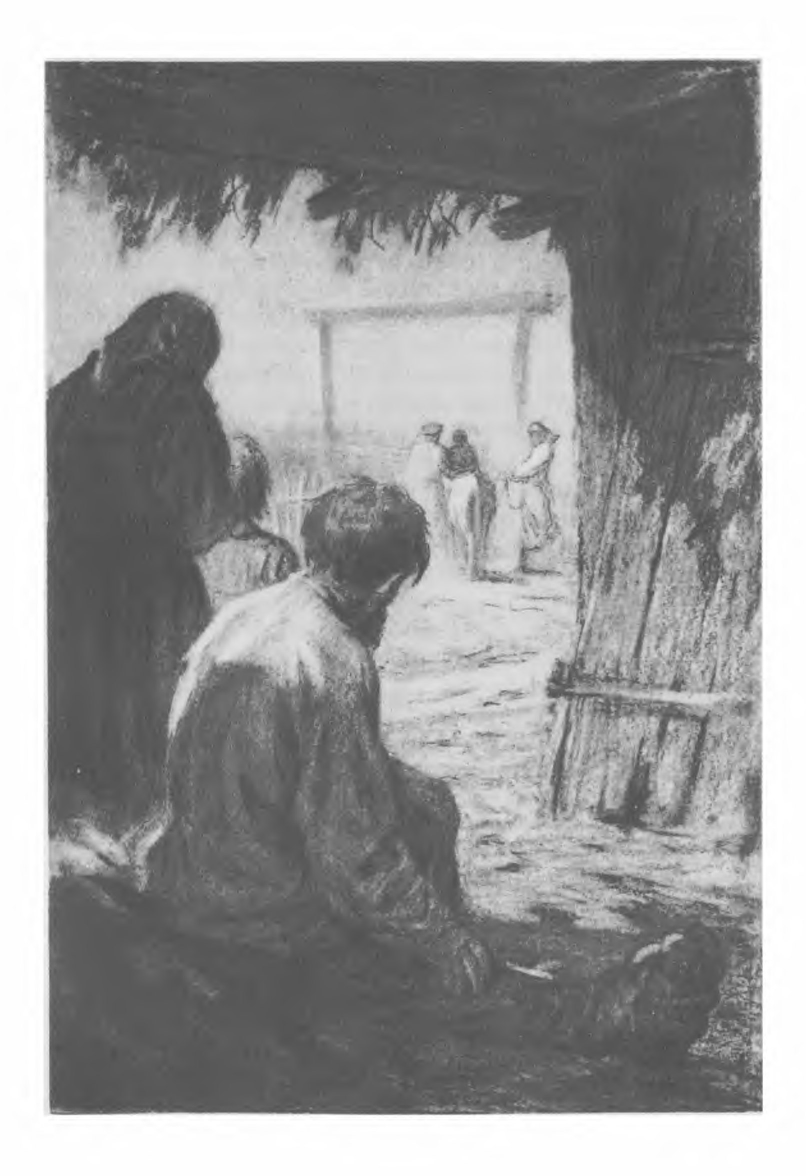
«Для человека же, *отвоевавшего* себе «полную независимость даже за отдельным столиком», невозможно утратить эту независимость, потому что право на это есть достояние его сознания, а сознание не горит в огне и не тонет в воде; оно не может отказаться от того, что приобретено, оно должно расти. Но можно все утратить там, где корень форм существования не в человеке, а вне его...

«Вот славная крестьянская семья. Муж, жена, два мальчика и девушка... Трудненько справляться мужику, но у него есть подспорье — отличная работящая жена и дочь на возрасте; ей уж шестнадцатый год. Справляются. Отец хочет взять мужа дочери во двор и подумывает об этом, подыскивает подходящих парней. Тогда бы дом был полный. Но вот отец зашиб ногу и слег: зашиб он ногу в самую жаркую рабочую пору, по весне. Соседи, люди, которых «господь не посетил» таким несчастием, люди, живущие благоустроенно, говорят, глядя на несчастие семьи: «Эко горе какое! Ах ты, горе-то, горе какое стряслось в самую-то горячую пору... Теперича им *беспременно надо* двух телок продать, надо работника нанимать! .. Вот Марьюшкиной свадьбе-то *и не бывать*!» И все точно так и выходит: две телки, которые приберегались к продаже осенью, чтобы сыграть Марьюшкину свадьбу, продаются, и Марьюшкина свадьба делается уж невозможной: не на что ее сыграть! Кое-как работник сделал, что надо, а хозяин все лежит да лежит; лечит его лекарка, прикладывает на тряпке разные составы; а ноге все хуже да хуже. А тут косьба подошла, тут уж не на что работника нанять, тут большак перемогся, встал сам, кое-как отбил косу, пошел в поле, косил и натрудил ногу пуще прежнего. В самую косьбу — большак отдал богу душу! «Ну теперь, говорят соседи, Марьюшке *надо* непременно в услужение идти, деньги матери присылать, теперь уж ее *никто замуж не возьмет*... Ах, горькие горькие! ..» И точно; опять все точь-в-точь так и выходит. Теперь Марьюшку нельзя взять, ничего у нее нет — это первое, а второе — войти к ней в дом нельзя, куча народу: двое братьев малолетков, старуха, да свои дети пойдут — как тут справиться одному? Нельзя. А нужны подати, нужна земля, без земли пропадай, нужен работник, и вот Марьюшка едет по машине... Она ничего не умеет городского, и ей нужно все в себе переделать, начиная с костюма; сколько лет она должна биться, чтобы выработать себе платье, в котором не стыдно было бы служить в порядочном доме, башмаки, которые при петербургских лестницах изнашиваются необычайно быстро, огнем горят... Теперь представь себе те бесчисленные случайности, как обольщение, рождение ребенка и возвращение с ним в деревню на вечный позор

и посрамление; простое ничтожное обстоятельство вроде того, что господину, в семействе которого пришлось служить, отказали от места, и он три месяца не мог платить жалованья, так что Марьюшка ничего не могла выслать в самое нужное время. Уплаты податей и расчеты с работником делают то, что у старухи отбирают землю, а чтобы уплатить работнику — продают корову. Что делать бабе, угнетенной горем, потрясенной нищетой, возрастающей с каждым днем? У нее на руках два ребенка, десяти и одиннадцати лет... они не работники... но им нечего есть... И вот они едут по машине к той же Марьюшке, и добрый человек, дворник, пристраивает их в трактирное заведение, в портерную... Осталась одна старуха. Ей скучно, она истомилась одна горем и нуждой... Она продает дом и идет куда глаза глядят; с котомкой за плечами, она идет к угоднику и молится там... И за мужа, и за мальчиков, чахнущих в трактире и портерной, и за Марьюшку, с которой неведомо что творится... «Эка болезная! Эка горькая!» говорят и жалеют соседи, провожая владетельницу разорившегося гнезда... А потом через недельку-другую приветствуют новых жильцов ее дома... В нем поселилась новая, молодая семья; муж здоровенный парень, жена молодчина и всего один ребенок... Закипело дело у них, любо смотреть. «Уж любо, любо, поглядеть-то любо!..» говорят соседи... А недавняя драма прошла... «Теперича ей надыть идтить побираться» — констатировали соседи положение вдовы, когда она отослала в Питер обоих мальчиков и продала дом. И точно, она пошла побираться. И таких мгновенных гибелей, разорений бесконечное множество; они на каждом шагу, их так много, что при долгой жизни деревенеешь от их обилия и безрезультатности страдания, постоянно созерцаемого... И что же, если сознание народных благоустроенных форм жизни так велико, как кажется, так отчего ж оно не захватывает и этой области «случайностей деревенской жизни» — случайностей, которые всякого, самого богатого из деревенских богачей, могут в одно мгновение превратить в нищего, в вора, в убийцу и т. д.

«Не могу забыть одного дня, принесшего мне самое неперевариемое по тяжести впечатление деревенской жизни... Дело было в деревне, в студеный осенний день...

Рыжие поля, голые деревья, сухой шум сухих листьев, гонимых по земле сухим холодным ветром, режущим по лицу и шее тупым и грубым лезвием... Скучно, холодно, неприветливо... Было часов девять утра, и я стоял на дворе, глядя, как приехавший из соседней деревни крестьянин складывал у забора дрова... Не любил я этого мужика; какая-то беспредельная затаенная алчность — казалось мне на основании многих фактов — алчность неустрашимая, язвой точила его душу; и в то время как лицо всегда было благообразно и благопристойно, глаза только выдавали душевную тайну... Мрачные впечатления деревни, к несчастью долгие годы беспрерывно и без отдыху мной переживаемые, накопили и в моей душе что-то жестокое, неприветливое... Душа как-то закрылась, заперлась точно на замок и отвыкала с каждым днем все более и более от желания растворяться, раскрывать себя радостному явлению... Напротив, я стал замечать, что как только что-нибудь светлое или отрадное мелькает мне в этой холодной и темной атмосфере, так я инстинктивно отворачиваюсь, мне больней: не хочу я видеть этого и думать об этом потому, что меня сейчас что-нибудь придавит и мне втрое будет хуже... Так вот в таком-то мрачном душевном настроении, воспитанном во мне годами и не покидавшем меня в последние годы пребывания в деревне ни на минуту, стоял я на дворе в то памятное мне осеннее утро и смотрел на дюжую спину нелюбимого мужика... Мы переговаривались с мужиком по словечку чрезвычайно холодно, но вместе деликатно... А думалось мне почему-то одно: «убьет!..» Кого? когда? как? Не знаю!.. Просто как-то так стало выходить невольно, несознательно... Поглядишь на такое благообразное лицо, ответишь на благообразный поклон или благообразный вопрос, а сам в то же время почему-то думаешь: «а ведь разорвет, анафема, в клочья!» Вот и в это утро шевелились в моей мысли те же неприветные слова... Да и ветер меня мучил, царапая своим тупым лезвием по лицу, по шее и забираясь в рукава, да и поле — уж мертвое, ободранное, облезлое, как облезлая шкура мертвого животного, — гнело душу. Из-за забора с проезжей дороги ветер поднимал сухую холодную пыль... «Убьет...» — опять мелькнуло у меня, и я хотел было уйти, как вдруг нечто



совершенно неожиданное, с неба свалившееся, приковало меня к месту и приковало как раз на половине этого страшного слова «убьет»... Как раз в ту минуту, когда отравленная душа вымучила из себя эту страшную мысль о мужике, который клал дрова и спину которого я созерцал из-за забора, сначала как первая капля дождя, падающая в крышу, послышался какой-то ясный, светлый звук; за ним другой, третий, и вдруг эти странные звуки быстрым и резвым оборотом перешли как-то сразу в развеселый, разудалый, разухабистый вальс из какой-то оперетки... Шарманщик, пробираясь из столицы в губернский город, заслышал разговор за забором — а забор-то был около усадьбы, повидимому не крестьянской, — вот он и заиграл вальс. Грубый ветер грубыми толчками точно дрался с этими звуками, разнося их по пыльной улице, угоняя вверх, опрокидывая вниз... Когда-то я слышал эти звуки, и ничего в них не было, кроме опереточной «клубнички», но появление их здесь, в деревне, среди этих соломенных крыш, этих ободранных полей, рваных полушубков, ошеломило меня... Они нежданно-негаданно принеслись и поставили среди этой суровой деревенской обстановки образы довольства, веселья, праздности, роскошной, залитой золотом и упоенной «своим удовольствием». Они так превосходно нарисовали этот другой мир, а мое, истомленное однообразием деревенских впечатлений, воображение с такою яркостью отпечатлело его, что я не додумал даже до последней буквы страшного слова «убьет...», как уж и мужик, которого я только что ненавидел, и его черная с глубокими ямами шея, и его рваная шапка, словом, все, все в нем пробудило во мне взрыв, да, именно взрыв необычайной жалости. «Как я мог думать это... убьет?..» — истерически билось у меня где-то не то в голове, не то в сердце... Истерические слезы как-то неудержимо стремились вылиться и оплакать одновременно и неустанные труды этих неустанных рук, и холод изб, и тьму ночей с бьющимся от страшного сна ребенком, и жестокость этого же мужика к родному брату, которого эти же руки ободрали, буквально ободрали, и воровство этими руками в темную ночь чужих дров, и эту неустрашимую алчность, не усыпающую в душе мужика, и черствый хлеб, и грязную соску во рту ребенка... Шарманщик

играл, мужик клал холодными руками на холодном ветре холодные и грубые поленья, холодный ветер резал и толкал... а в глубине души разверзалось что-то горячее, как огонь, разливалось жаром рыданий...»

Протасов долго ходил по комнате, не говоря ни слова, и, подолгу останавливаясь у окна, спиной ко мне, смотрел на улицу, также ни слова не произнося... Я не мешал ему овладеть собою...

— А ведь знаешь, — заговорил он, отходя, наконец, от окна и стараясь казаться совершенно спокойным, даже слегка, хотя и напряженно улыбаясь: — ведь действительно этот мужик-то содрал с брата шкуру, как говорится у нас по-деревенски... Нужда! Чем ее поправить? А вот насупротив живет братан, Алешка, братан нескладный; все у него незадача... Было у этого Алешки место лесника, семь рублей в месяц жалованья, — отбил, потому Алешка пьет, а этот, Николай, капли в рот не берет... «Ему эти деньги все одно ни к чему». Надумал Алешка дрова возить куда-то по два с полтиной сажень — Николай «вызнал» место, стал возить по два... отбил!.. «Вози, говорит, нешто я препятствую тебе?»... «Ну, констатируют соседи, таперича Алешка *должон* совсем подохнуть». Тут всё только констатируют... «*должон* теперича по миру пойтить...», «теперчи ён бы уж помирать *должон*...» Когда Николай отбил от Алешки место («Николаю-то семь целковых дюже хорошо!.. констатировали соседи.. теперича он *должон* шибко поправляться»), и когда отбил поставку дров, и когда потом отбил сенокос, который Алешка снимал у соседнего барина (всего-то пудов на шестьдесят), тогда соседи констатировали так: «Теперича, надо полагать, Алеха *должон* совсем порешиться, начисто пошел на разор...» И Алеха пошел на разор. Детей у него куча, всё маленькие, жена слабая, больная и, на несчастье, плодущая... Алешка начал разоряться и пьянствовать, стал жестоко колотить жену, чтобы усмирить в ней эту плодовитость, уравновесить плодущую бабу с окружающим недостатком, но не уравновесил. Алешка стал пьянствовать, и я стал встречать его в самом растерзанном виде: раза два я видел его лежащим в грязи, в канаве, лицом вниз, бездыханным... «*Должон* Алеха, надо быть, покончиться с эстого с пьянства», констатировали объективные наблю-

датели-миряне... Но Алеха не помер, а случилось с ним еще новое и огромное несчастье.

«В один день разнеслась весть, что три девочки, дочери Алехи, оставшись дома без матери, которая ушла зачем-то к соседям, на руках девятилетнего парнишки (отца также не было дома — «воровал дрова» в графском лесу), опрокинули на себя во время игры огромный, белым ключом кипевший самовар... и обварились с головы до ног. «Теперича уж, пожалуй, и помирать должны бы... вчерась обварились-то...» констатировали деревенские диагносты... «Должны помереть, — подтверждали беспристрастные наблюдатели, — коли ежели не отходят». «Коли отходят, в ту пору и живы должны остаться, ну а коль скоро не отходят, то само собой, окончательно сказать, должны покончиться...» «Беспременно покончатся, коли ежели каких способов не будет отходить...» «Да, теперича пожалуй что уж и померши, коли ежели...» А так как всем хорошо известно, что в деревне существует самый внимательный контроль друг над другом и над всем домашним бытом каждого дома, то к этому констатированию неизбежной для девочек смерти (ежели не отходят) присоединилось констатирование и другого факта. «А пожалуй, что Алеха-то теперь *должон* пойтить *на поправку!* Горе, горе, что говорить! Всякому свое жалко... А и так ежели сказать, божиим повелениям человек не указчик... Неизвестно, может господь-то премудро все это послал... А что Алехе все полегче станет — это верно, потому как же? остался он в троих... куда с этакой оравой ребят выбиваться... А теперича, пожалуй что, и на поправку должон пойтить... Право, должон». Дети действительно умерли, и Алеха действительно пошел на поправку... Долго я не видал его после этого несчастья и не знаю, как он его пережил, но когда я его увидел наконец, он был и трезв и опрятен, и взор его был и чист, и светел, и умен... «Слава тебе, господи, кабысь немножечко дело мое поправляться стало... Дай бог здоровья (имя рек), место мне дал — мост на железной дороге караулить, через день, рубль серебром, свои харчи, маленько поправляться стал... А то всего бы решился, чисто бы помер бессловесно!.. До весны как-нибудь промерзну в землянке-то, рублей под шестьдесят деньжонок накопится, опять

возьмусь за хозяйство... Слава тебе, господи, землю-то кое-как у мужиков «отпоил» — не отняли. А то бы начисто бы пришлось покончиться». О детях мы не говорили...»

Так вот какие эпизоды иногда *выручают* человека из погибели!

. .

— Как бы я желал, — говорил Протасов спустя некоторое время, — если бы можно было свалить всю вину на знаменитую пословицу «только печкой не били». Когда приказывают, Мишанька не может ослушаться, он привык слушаться, ржаное поле приучило его. А вот о несчастье нет приказаний ржаного поля, и Мишанька только констатирует факты с точностью ученого исследователя и привык погибать, также исполняя с точностью собственную свою погибель, раз она этим ржаным полем ему предуказана.



ПРИШЛО НА ПАМЯТЬ

Рассказ



I. ВСТРЕЧА НА НЕВСКОМ

Все, что написано ниже, пришло мне на память случайно, неожиданно, и пусть не удивится читатель отрывочности этих случайных воспоминаний. Произошло это оттого, что воспоминания нахлынули на меня в самое неподходящее для них время. Шел я как-то по Невскому в морозный зимний полдень, занятый *своими* мыслями, озабоченный своими заботами, шел, не видя ни толкотни, ни давки, не слыша ни единого звука, кроме тех, какие слышались мне в моих молчаливых размышлениях; и вдруг на углу какой-то из улиц, впадающих в Невский, — сплошная масса народу всякого звания и состояния: и барышни с портфелями нот, и рыбники с посудинами на головах, и чиновники, и офицеры, а среди улицы — масса остановившихся экипажей, карет, извозчиков, ломовиков, и все это сгрудилось в кучу по случаю похорон какого-то военного.

Остановившись вместе с другими и оглядевшись, я совершенно случайно увидел в толпе как будто знакомую мне фигуру крестьянина, да и крестьянин как будто узнал меня. «Кто это такой?» — думал я в то время, когда военный оркестр затянул унылое и длинное «Коль славен». Приблизившись к крестьянину, я спросил его, где я его видел, и с двух слов мы совершенно узнали друг друга. Мы — точно, виделись и знали друг друга, но давно, года с два назад, в деревне, где я провел целое лето, первое, самое приятное деревенское лето. В то время Иван (так звали моего знакомца) был простым работником, и я видал его не иначе, как в одной рубашке; теперь

на нем был ватный картуз, тугой платок на шее, ватная чуйка, а лицо уже не носило той загадочной драматической черты, которую я помнил в нем, а было какое-то глупо-важное, опухлое нездоровой полнотой, да и голос у него был сиповат.

Несмотря на то, что нам было приятно встретиться, оживленного разговора между нами как-то не вышло. Слушая унылые звуки «Коль славен», глядя на публику, на солдат, на офицеров, державших в руках подушки с орденами и переминавшихся от холоду с ноги на ногу, — мы перекидывались самыми ординарными вопросами и ответами.

— Ты что ж, давно в Петербурге?

— Да уж, почитай, с год.

— Что ж... на месте?

— Как же, слава богу!

И молчим.

— Хорошее место?

— Место? Дай бог всякому, вот какое место!

— Где же?

— На пивоваренном заводе.

И опять помолчим.

— Довольно я, — говорит Иван, — на мужиков поработал, будет!.. Пущай кто другой опробует. Я довольно это знаю, как в работниках жить у мужика.

— Что ж, разве здесь лучше?

— Здесь-то? здесь вот как, я вам скажу: харчи ежели взять...

Неожиданно унылые звуки прекратились, раздалась глухая барабанная дробь, по поводу которой один из рыбников, находившийся в публике, заметил:

— Н-но! Горох просыпал!

А другой совершенно серьезно прибавил:

— Должно, мешок прорвался.

И этими двумя фразами унылое настроение публики почти мгновенно перешло в улыбающееся, а еще через мгновение и совсем сделалось веселым, потому что вслед за барабанным боем офицер, сидевший на коне, возгласив на всю улицу: «На плэ-э-э... ччо!», повел взвод солдат в противоположную от процессии сторону, причем музыканты, уткнувшись губами в свои трубы, грянули на весь Невский развеселый немецкий вальс.

И не успела печальная процессия пройти по Невскому и ста шагов, как вся недавно унылая от унылых звуков толпа заплясала, зашагала в такт развеселым звукам вальса, подпрыгивая и смеясь тому, что вот никак нельзя удержаться, чтобы не плясать, и плясать притом совсем не во-время, совсем не у места. А вальс все более и более раззадоривал публику.

На перекрестке в одно мгновение образовался неистовый водоворот людей, экипажей и лошадей, все хлынуло сразу — и вперед, и взад, и поперек. Пробиваясь сквозь толпу, я было совсем потерял Ивана, но, оглянувшись, увидел, что Иван догоняет меня, желая что-то сообщить и указывая на что-то руками и головой.

— Гляньте, гляньте, — заговорил Иван: — ведь перед богом, это Варвара скачет!

— Какая Варвара?

— Вон, вон, глядите! — торопливо заговорил Иван, повертывая меня за руку к Невскому.

Посреди улицы, в куче хлынувших друг на друга экипажей, неслось множество саней с «погибшими созданиями». Извозчики, невольно покоряясь звукам вальса, улыбались и весело стегали лошаденок, несшихся вскачь; весело улыбались и погибшие создания... А блестящие вдруг хлынувшие на Невский и весь Петербург лучи солнца, точно на посмеяние, как нельзя ярче высветили перед всем народом эти опухлые, больные, однообразно неживые лица. Веселые извозчики очень скоро умчали их из наших глаз.

— Ах, какое сходствие! перед богом, она!.. Как есть она самая — Варвара?

— Какая Варвара? — опять спросил я его.

— А работница-то. Помните, еще она меня ведром-то по этому месту?

Иван показал на свою щеку и, видя, что я вспоминаю, прибавил:

— Ведро-то, пес ее возьми, согнулось, даром что железное... Ведь вот какой идол была...

— Нет, — сказал я, вспомнив историю с ведром, — не может быть!

— Ох, что-то будто... Как есть Варвара!

— Нет, не может быть... Ты обознался...

— Уж сходствует-то оченно! А может, что и опознался... Ведь это нешто долго!

На этом мы расстались, и расстались навсегда. Но эта случайная встреча, несмотря на то, что я занят был *своими* делами и заботами, вызвала во мне множество деревенских воспоминаний. Они возникали во мне как бы наперекор этим моим заботам и размышлениям. Не думайте пожалуйста, что все сказанное есть просто предлог для того, чтобы рассказать историю погибшего создания. Нет! Повторяю еще раз, воспоминания были случайны, отрывочны и беспорядочны.

Таким образом, расставшись с Иваном и продолжая путь по Невскому, я сам не мог объяснить себе, почему вдруг мне вспомнилось... сено... Слушая звуки удалявшегося оркестра и озабоченный *своим* делом, я в то же время почему-то никак не мог отогнать воспоминания о приветливых зеленых лесных лужайках, о стогах, копнах и зародах свежего душистого сена. Даже запах, этот прелестный запах травы, цветов, древесных побегов, попавших в копну и стог, даже он как будто припомнился мне, я как бы ощущал его... А как только пришло мне на память сено, так сейчас же вспомнил я и Демьяна, мужика, у которого жил то «первое» лето.

Демьян был предместником Ивана Ермолаевича [1] в тех самых местах, в которых мне пришлось жить в последние годы. Теперь Демьян разжился, бросил аренду и содержит в Петербурге извозчичий двор. Тогда, давно, он только наживал, и наживал со старанием, прилежанием и большим умением. И тогда он уже был по виду пожилым человеком, хотя в действительности и не был стар: стариком его делала лысина со лба до затылка. Кстати сказать, лысина эта почему-то как бы беспокоила Демьяна Ильича, потому что не раз я слышал, как он, улыбаясь и как бы шутя, говаривал:

— Лыс-то я лыс, точно, а только надо знать, с какого конца я лысеть-то стал!.. Если человек начинает лысеть с затылка, это — от пьянства или распутства, а который со лбу — тот человек от ума лысеет. А я, братец ты мой, со лбу лысеть стал... А который лысеет со лбу,

---

[1] См. «Крестьянин и крестьянский труд».

тот человек за старика не должен идтить. Это не старость, а ум.

И точно, умен и — не утаю — хитер был Демьян Ильич. Много и глубоко понимал он, и не одни только хозяйственные вещи, а о хозяйственных и говорить нечего. Вспомнив о сене, я вспомнил между прочим и о его разговорах насчет этого сена. Вспомнилось мне, как бывало, сидя вечерком на ступенях старой бани, Демьян Ильич посвящал меня в тайны предстоявшей ему сенной операции.

II. СЕНО

— Это ежели так-то со стороны поглядеть, — говаривал он бывало, — кажется, что за хитрость скосить траву и высушить, а поглядите-ко, сколько тут разной премудрости, да и греха, пожалуй что, не меньше будет! С одним дождем сколько хлопот: целый божий день надо глядеть — нет ли где тучки, облачка... иной раз в один час на тысячу рублей сгибнет, задаром пропадет. Кажется, вот ниоткуда никакой беды нет, небо чистое-расчистое — пойдешь обедать; только успеешь, господи благослови, ложку проглотить — откуда что взялось, налетело, хлынуло: гляди да плачь, больше ничего... Или теперича возьмем прессовку; прессовка у нас идет зимой; положим, что обязался я поставить сено в город, ну хоть, будем так говорить, в воскресенье. Ежели я так обязался, то прессовать я должен, положим, в среду; вот, господи благослови, вышел я с рабочими, — а господь-то милосердный послал мне на среду-то морозец! А мороз что такое? А мороз означает, что из десяти пудов выходит девять, а куда один-то пуд девается, господь знает... Или же возьмем так: снег заместо морозу-то... Коли снег мелкий как пыль, это ничего, это на прессованной кипе прибавляет весу, ну, а коли крупный — пропадай! Потому что попади в тюк вот эдакой комочек снегу (Демьян Ильич показал на ноготь), весь тюк сгорит, а от него весь вагон загорится... Видали, чай, иногда едет вагон — весь

белый, заиндевелый? Это сено там горит, в тюк в ту пору руки нельзя просунуть — жар!.. отворить такой вагон-то, так оттуда, как с каменки, поддаст паром... Есть и еще на сено беда: вешний ветер! Вешний ветер — что мороз; дунет в зарод — двадцать пудиков и нет! опять дунул — опять двадцать пудиков унес! От этого ветру трава легчает, усыхает, а уж какой, кажется, ветерок — ласковый, приятный, а и тот нашего брата по карману бьет... К весне-то сено дорожает, тут что ни дохнет ароматный-то этот ветерок приятный, так рублевки и выхватывает из кармана... Рубликов на пятьсот иной раз и надышит эдаким ласковым-то своим дыханием. Вот туман — это уж прямо сказать — отец наш! И что гуще — то нам приятнее. Трава тяжелеет, тут на каждой кипе польза; и так бывает, что близу полпудика вобьем в каждую кипу-то туману этого самого, благодетеля-то... А разочтите, сколько его в вагоне едет! Не солгать сказать, иной раз на одном только, чисто вот, тумане этом рублей сто домой привезешь. А кажется, что такое? Мразь! А польза есть. Ведь вот как премудро сделано!

Удивляясь божьей премудрости, вздохнет, бывало, Демьян Ильич и заведет речь о значении в сенном деле премудрости человеческой.

— Или возьмем, например, гнилье, старое, лежалое сено... Иной раз бывает, тысячи по три пудов лежит без дела, гниет... И ежели его бросать так-то, так надо все дело бросить. Вот тут и требуется опять же ум! Надо знать, что значит рассортовка. Рассортовать сено гнилое с хорошим, это надо тонко понимать! Ух, тонко! Иной прямо вопхнет гнилья комок, ан оно и видно, и дух от него и все... сена-то и не берут; а надобно так уметь, чтоб и половину на половину ежели смешаешь — так и то чтобы как зеленое было! Вот сколь надо ума! И был в наших местах — царство ему небесное, помер теперь, второй год как уж помер — солдат один, Дормидон... Н-ну уж и золото на эти дела! То есть бывало, перед богом, на спор берется: больше половины вопхну гнилого сена, и все будет зеленое! И что ж — умел сделать! И не в прессе, не в кипе — в кипе не хитро — а в возу; в воз-то всякий покупатель рукой лезет, всякий к носу тащит, рассматривает, и то не могли взять в сомнение. Бывало, дня по два воз-то вьет... каждую порошинку рассортует, разы-

мет по ниточкам, и свежую и гнилую, играет пальцами, точно кружева плетет, и погляди — вбил на твоих глазах больше половины черного и лежалого, а ни за что не отгадаешь: зеленое как есть! Уж умел; что человек был необстоятельный, ненадежный, этого утаить нельзя; точно, сбивался частенько на худое, но что касательно рассортовки — ввек такого молодца не нажить.

Вздохнет Демьян Ильич и продолжает:

— А продать? И продать тоже надо умеючи... Надо знать места — это первое; знать, да никому не сказывать. И тут тоже во-оот как надо осторожно!.. Каждый шаг с оглядкой... Теперича ежели я приехал, положим, в Петербург и надобно мне идти в знакомое место — положим, что на Бассейной оно или на Литейной. Иной бы прямо так и попер на Литейную или на Бассейную, а я — нет, научен; я вон куды, к Нарвской заставе поплетусь, потому что я знаю, которые со мной ехали торговцы из наших мест, а не они, так ихние знакомые, знаю я, что они всячески норовят узнать, куда я сено поставляю... Выследят, догадаются, перебьют, цену сбавят. Вот и надо осторожно... За мной однова двое суток наши двое следили — ну только я не дался в обман... Так умаял их — отстали... Все надо знать!.. А главное, надо знать места: коли знаешь хорошие места, вези за всякое время, цены не пугайся... Иной так бывает, что на Сенной цена двугривенный, а ты по семидесяти копеек представляешь. Надо знать. Ну конечно, требуется знакомство водить; управляющие у господ, швейцары, кучера — всё народ нужный, все надо угостить, поднести, в руку сунуть... Как ты не будешь им жалеть, так и они тебя не покинут — вот какое дело. Дело обоюдное... И — не хочу жаловаться — никогда без хороших мест не жил, и добрых людей господь мне немало посылал.. Жаловаться не стану!.. Один мне памятен человек — жид. Кажется, что уж... еврей, жид, свиное ухо, а уж че-ло-век — на редкость! Уж так-то был до нашего брата жалостлив — истинная мать! Верное слово вам говорю, то есть мать! Больше ничего... Конечно, благодаришь, нельзя без этого, ну, зато уж неизменная опора нашему брату. Копье! Был этот еврей от казенного места... антилерия конная... из казарм... Придет на Сенную, с одного взгляда видит — что чего стоит. Носом чует, сколько

лежалого вбито, тонко знал дело, то есть, пожалуй что, получше нашего брата, а жалел, помогал. Бывало, которые воза уж совсем плохи, черным-черны, те ведет вперед в сарай-то казенный, заведет в самый темный угол, «вали», говорит; а которые воза получше — сваливай посверху лежалого-то, а которое совсем хорошо, и тое — под самый конец. Придет начальник, глянет, сено зеленое-раззеленое. «Хорошо!» говорит — а нам то и любо. Денежки получил, добрых людей поблагодарил, пошел к своему месту. Нет, таких других радетелей-благодетелей не сыскать, как этот самый еврей... Нет! Куды!.. Алтынники всё пошли: и с меня сорвет и с тебя, и пивом и чаем; насулит и надует. Слова не держат, совести не имеют, а этот, хоть он и жид, а у него есть совесть. Что сказал — свято! Рубль ему дал — аминь! Уж измены не сделает, даром что жид!.. Так вот оно, сено-то что означает! Так-то, кто этого ничего не понимает, поглядеть — что такое? Пустяки! Сено, больше ничего; а как рассудить, так оно охо-хо — чего стоит... Да ведь это мы про готовое сено разговариваем: это уж когда но припасено, приготовлено... А каково припасти его — это еще надо рассудить! Сколько хлопот с народом, с работниками — не приведи царица небесная!



III. РАБОТНИКИ

Все эти разговоры большей частью происходили перед началом работ — косьбы — и вызывались именно трудностями, с которыми она сопряжена. А в числе этих трудностей образование согласной, хорошей рабочей артели — дело весьма существенное и серьезное. Прежде нежели образуется такая артель, то есть такая группа рабочих людей, которые мало того, что более или менее ровно работают, но еще и чуть-чуть симпатизируют друг другу, согласны в мнениях и разговорах, придется долгое время иметь дело с самой разношерстной толпой незнакомых людей, недружно принимающихся за дело, пробующих,

где лучше, как бы не продешевить труд, так как и цен на труд в эту пору еще не установилось настоящих. Эти случайные, неспевшиеся рабочие то придут, то уйдут, поработав день-два. Одному показалось дешево, другому приходится отказать — «не работник», третьему не понравился харч. В начале работ много приходится разговаривать, знакомиться, узнавать людей, — а между тем работы идут вяло и постоянно прерываются отлучками, расчетами. Помню я, много было в ту пору хлопот и напрасных трат Демьяну Ильичу. Прежде всего повалил из Питера на весну домой какой-то весьма ненадежный сорт народа, не то пропойцы, не то и совсем подозрительные люди; придет, уговорится, поужинает, наутро позавтракает, возьмет косу, да и говорит:

— А я, брат, косить-то не мастер!

— Так ты что ж, бессовестный, врал-то?

— Да оголодал я... Ты уж меня пусти!..

А другой попадется и старательный, и бьется, и потеет, да не умеет, ишь в сидельцах в кабашных сидел, где там этому учиться?

Дело не дело, а платить надо, кому за полсутки, кому за сутки. Работа останавливается, да иной раз и дождик поможет, хлынет в то время, как неумелые уходят, получив расчет. Выходило так, что заплати деньги, да и любуйся, как они пропадают.

К концу июня повалил народ настоящий, не проходимцы и не неумелые, а настоящие знатоки по части косьбы, которые и слывут в народе да и сами себя величают *косаками*. — «Куда идете, ребята?» — «В косаки». (А иному послышится, будто бы они говорят: «в казаки!» Многие и думают, что они идут к казакам на Дон, на деле же выражение «в косаки» означает, что народ просто идет косить где придется. Нам кажется, однако, что выражение *казак* и происходит отсюда, от слова косить степи; обилие скота — обилие косьбы... Это между прочим.) Между этими-то вот настоящими косаками, из которых многие ходят в одни и те же места много лет, у Демьяна Ильича было уж и прежде сделано немало знакомств. Были между ними такие работники, которые шли прямо к Демьяну Ильичу и прямо становились на работу, даже не упоминая о цене, не торгуясь. — «Н-ну, чай, не обидишь!» И действительно, Демьян Ильич

не обижал рабочих; *харчи* у него были — по общему мнению всех, кто только на этих харчах ни жил, — первый сорт. Три раза в день народ имел горячее, да не какое-нибудь, а со снетками, да и снетки-то Демьян Ильич брал семь рублей за пуд — первый сорт, «почитай, все одна корюха», то есть корюшка, как известно, рыбка не весьма малая. Варились эти снетки то с гороховой мукой, то с овсяной, причем в варево клали лук и свиное сало. По праздникам варили щи с капустой, мясом и белкой; на завтраке утром, чтобы покрепче себя чувствовать, ели кашу, размазню, и хлеба, конечно, сколько хочешь. Вина за лето Демьян Ильич выпаивал ведра четыре и пять и уж всегда подносил по праздникам и в удачные веселые дни, когда работа была успешна, когда сделано много и когда в работе было воодушевление, то есть когда видно было желание рабочих сделать Демьяну Ильичу пользу, постараться для него. Уж в таких случаях поднесет наверное.

Трудновато бывало Демьяну Ильичу в непогоду, когда вдруг зарядит дождь и когда волей-неволей приходится кормить даром. Еще день-два как-нибудь переждать можно, но бывает, что целую неделю нельзя ни за что взяться, и тогда между Демьяном Ильичом и рабочими происходит нечто в высшей степени драматическое: рабочим *совестно есть задаром,* Демьяну Ильичу совестно сказать об этом, да и отпустить хороших рабочих не хочется; а кормить понапрасну страсть как *обидно.*

В такие минуты все мучаются — и Демьян Ильич и рабочие все вздыхают и едят с мучениями и терзаниями совести. Иной так устыдится есть задаром, что сам начинает просить расчета. Ложка в горло не идет, до того стыд обуяет иного совестливого человека. Демьян Ильич в такие минуты только потеет, кряхтит, трет лысину, всячески скрепляется: вздыхает мучительно, но терпит и кормит одинаково. За это ему большой почет и уважение. Но помимо харчей, Демьян Ильич дорог еще и тем (и это тоже дело не последнее), что не обидит расчетом, знает *цену человеку,* знает, «что, чего который человек стоит», цену назначает разную, «глядя по человеку», но назначает так, что тот, кто получает полтину в день, не обижается на того, кто получает рубль, ибо каждый в Демьяне Ильиче видит как бы нелицеприятный термо-

метр, указывающий каждому соответственный уменью градус. Чтобы быть таким термометром, надо самому быть работником, и притом *лучше всех* — это последнее необходимо для того, чтобы работник признал в вас *хозяина.* Надобно уметь сделать *все лучше* всякого нанимаемого, и тогда нанимаемый признает в нанимателе хозяина и будет знать свою цену. Необходимо поэтому для хозяина доказать каждому рабочему и всей артели вместе свою способность ценить уменье в труде, а для этого необходимо и себя показать на той же работе. И Демьян Ильич показывал себя, делая это всегда весьма тонко и деликатно; иной сделает это грубо, по-мужицки, вырвет косу из рук и скажет: «Ты чего мотаешь косой-то? авось не в квашне месишь?» или что-нибудь в этом роде. Демьян Ильич никогда так не поступал. Он, бывало, подойдет к рабочим, поздоровается и глядит, не делая никаких замечаний, потом, как бы для шутки или из желания побаловаться, подойдет к кому-нибудь из рабочих и скажет: «Дай-кось, Митрофан, косу-то... что я разучился косить-то али нет?» Возьмет косу, поплюет на руки, позвенит бруском и опять скажет: «Ну-ко попробую... Когда-то кашивал... не бранили». И пойдет, приговаривая: «Когда-то кашивал. .» Да в два, три взмаха и докажет, «что такое есть косьба»; и окажется, что против его работы все косят худо, никуда негодно, — такое Демьян Ильич обнаруживает мастерство и уменье. И это с двух-трех взмахов.

«Д-д-а-а! — думает каждый из рабочих: — недаром тоже и хозяином называется! ..»

И каждый приравнивает к этому образчику и свою и чужую работу и не обижается, что одному больше платят, а другому меньше.. А Демьян-то Ильич, ошеломив таким образом всю толпу, после двух, трех, много десяти взмахов отдаст косу назад и скажет: «Нет! Не то дело! Разучился я косить-то... а прежде кашивал, не бранили! .» И это тоже надо намотать на ус. Иной чистосердечный человек, так тот после этого маневра в уныние впадает, станет считать себя ничтожеством.

К июлю артель была совсем готова, и всё почти из старых знакомых, из людей, которые и друг друга знали и Демьяна Ильича почитали; согласие поэтому в артели было полное; из новых был только Иван (которого

я встретил на Невском), который не портил хорошей компании, да молодые муж и жена, Мирон с Миронихой, как звали их в артели. Мирон с Миронихой являли собою в артели элемент увеселительный. Они только что женились и пошли в работу «собственно только для своего удовольствия», как они говорили оба. Дружны были они ужасно, неразлучны постоянно; но так как косьбой занимались для собственного удовольствия, то расчета требовали почти каждый день.

— Ведь тебе же лучше, ежели ты сразу получишь хорошую препорцию, чем по рублевкам-то хватать? — говорили Мирону. Но Мирон и Мирониха всегда вместе отвечали:

— Чего нам лучше? Нам и так хорошо. В солдаты мы не пойдем. Детей покуда нет, а дома три бабы есть — мать да две тетки — всё на нас сработают: и хлеб и огород. У нас всё дома есть; и одеться и обуться — всё. Чего нам? Давай деньги, мы с бабой гулять пойдем.

И в то время, когда другие рабочие ложатся спать, Мирон с Миронихой, получив рубль, уходят лесом в соседнюю деревню, идут в кабак, пьют вино и пиво, и по лесу песни их раздаются иногда всю ночь. Мирон гудит басом, а Мирониха так-то ли звонко-раззвонко разливается. Иной раз только к свету придут, и всё за ручку друг с другом ходят, и бывало так, что и спать не ложились, а прямо за косу, да и на работу. И ничего, не валила их усталость: крепки, молоды, а главное уж веселы, довольны, беззаботны были до бесконечности... Всю артель они потешали своими почти нескрываемыми проявлениями взаимности.

Иван был тоже рабочий хороший, но иногда напивался, и напивался мрачно; была у него на душе какая-то история, которая, кажется, тяготила его и угнетала. Да и в лице его вообще была какая-то затаенная не то злость, не то печаль, хотя вообще он был парень добрый. Однажды Демьян Ильич угостил рабочих вином, после целого дня самой возбужденной работы. Иван был, во-первых, и истомлен до такой степени, когда человек, целый день не евши, все-таки не хочет и не может есть, и, во-вторых, выпил стакана два водки на тощий желудок. Все это так на него подействовало, что он, сидя в артели

за мызой, на лугу у речки, вдруг заговорил долго и много, и не о работе, а о своих семейных делах...

— А кто виновен? — слышал я, сидя на другом берегу реки: — кто! Бабьё, бабье это дело. Меня родная мать ейная сомустила.

— Они бабы, бог и с ними-то! — поддакнул работник Лукьян (как бы по наследству перешедший потом к Ивану Ермолаевичу), до сорока лет остававшийся холостым и почему-то очень *«опасавшийся»* женщин и брака. — Она тебе даст яду — вот те и сказ!..

— Эво ляпнул куда! Яду! — загалдело несколько человек.

— А чего ж? — тоже возвышая голос, продолжал Лукьян: — насыплет тебе в лепешку белого порошку, вот тебе и вся! Вон у нас баба одна намесила.

— Да не про то говорят! — закричал Иван. — Какая лепешка!

— Намесила ему в лепешку. «На-кось, говорит, отведай!» — не унимался Лукьян.

— Да будет тебе болтать! — остановила его публика.

— Тебе говорят, не в том... Что замолол! Яду! Языком навредили бабы — вот про что. Я живу в городе в кучерах, ничего не знаю; мне мать ейная пишет письмо: твоя жена так и так, с братом — видели. Пишет так, что сама́ мать видела... Ведь вот дьявола какие! Ведь должон я матери-то ейной поверить? Вот кто меня в грех ввел! Вытребовал ее, да и поучил... потому — поверил! А мне брат-то родной потом со слезами рыдал, все, вишь, неправда... Видишь ты! пошел он в солдаты охотой за меня. За это самое ухожу я в город, говорю жене: «Авдотья! коль скоро придет брат из службы, то почитай его, как меня! Угождай ему всячески, служи!..» Через два года он и приди... Ну вот и вышло так, как он-то рассказывает. был он на вечеринках и догостился там до самого свету... Пришел, говорит, и упал на постель, а постель ему особо, на полу стлали. Упал, говорит, совсем и в одеже. И не думал, говорит, что Авдотья тут, на постели-то спит. Перед истинным богом, говорит, не думал... Пьян был. Как пришел, плюхнул на бок и не помню, говорит... А Авдотья-то, говорит, то же самое. Вишь, во всем доме она работала-то. Была в доме окроме ее одна моя бабка, да на ту пору мать ейная

ночевать осталась. Целый день, говорит, на речке была, умаялась! постлала ему постель-то, да и прилегла и задремала. Мать-то с бабкой проснулись, глядят. И отписали мне. Ну, я чем тут виновен? Опосле-то как я узнал, я бы, кажется, своего мяса дал на зарез, чем так-то. Слава богу, знаю, каков есть брат, какова и жена была.

— Померла жена-то?.. — спросил кто-то из слушателей.

— Ты что перебиваешь? — строго отнесся к вопрошавшему Иван.

— Я так, к примеру...

— Ты должен слушать, что я говорю... Я и так ее вспомню, вспомню... Я б ее пальцем не тронул. До этого числа я ей даже и касания какого, не то что бою или тиранства... Ведь мать родная! Ведь это человека можно всячески в грех ввести, особливо под сердитую руку. Да я и не думал, что помрет... А она от одного разу свалилась. Вот изживи-кось это!..

Еще выпили по стакану.

— А я, — заговорил Лукьян, — насчет отравного порошку... Это тоже бабы любят с мужиком так-то...

— Да ну тебя!..

— Насыпет ему порошку... в лепешку..

Лукьян рассказал длинную историю о разных бабьих кознях против мужиков; многие из слушателей смеялись, несмотря на то, что Лукьян рассказывал не для смеху и сам не смеялся. Но Иван не принимал участия в разговоре. Он молча набил трубку и молча курил ее. Вот эта-то темная история каким-то темным пятном омрачала его душу; она как бы застилала ему свет. Того покоя душевного, детского взгляда на белый свет и людей, который был даже у Лукьяна, — у Ивана не было. В веселье ли, в работе ли, в шутке ли с молодой работницей — всегда что-то мешало его искренности, и это было написано на его лице и светилось в глазах. Когда я его встретил на Невском, чрез два года, лицо его было, как я уже сказал, совсем не то.

IV. ВАРВАРА

...Вспомнил я, наконец, и Варвару. Нельзя было не вспомнить о ней, говоря о рабочих; это была положительно *идеальная работница* и решительно *ничто* во всех иных отношениях.

Едем мы как-то раз с Демьяном Ильичом по большой дороге (ездили за харчами) и видим, что впереди нас во всю ширину дороги двигается целая шеренга прохожего народу с узлами и сапогами за спиной; были тут и мужики и бабы. Между ними особенно была приметна высокая, могучая, хотя и сгорбленная фигура старика; длинная коса, лезвие которой было обвернуто соломой (берег!), лежала на его плече.

— Да ведь это никак Иов? — проговорил Демьян Ильич и тронул лошадь рысцой.

Толпа прохожих расступилась, заслыша стук копыт, и старик с косой очутился как раз рядом с нашей повозкой.

— Куда путь держишь? — весело окрикнул его Демьян Ильич и прибавил: — али Демьяна не узнал?

Очевидно уже слабевший глазами старик, ласково улыбаясь беззубым ртом, вдруг радостно проговорил:

— К тебе, к тебе, Демьян!

— Тебе у меня всегда место будет, — не без важности произнес Демьян Ильич. — Правду тебе ежели сказать, артель у меня — вполне, ну для тебя, как я тебя знаю, всегда будет место.

— Уж и Варьку возьми, дочку.

Тут мы увидели и Варвару. Это была довольно высокая девушка с самой обыкновенной, ординарной белокурой физиономией и, кажется, немного косая. Белокурые волосы, белокурые глаза, белокурая косичка с мышиный хвост величиной — все говорило о том, что на красоту ее никто не позарится. Да и одежда у ней была неказистая: платочек в гривенник на голове и старый шерстяной платок на плечах, узлом завязанный на спине, худенькое и вылинявшее ситцевое платье, все это говорило прямо о бедности, но радушное выражение этого обыкновеннейшего, кой-как вылепленного лица, приветливое и притом «так просто» приветливое, как просто выражалось оно у старика отца, и та же отцовская сильная порода, которая сама собой чувствовалась в его дочери,

как-то невольно обязывали быть внимательным к ним обоим — и к отцу и к дочери.

— Ну что ж! — сказал Демьян Ильич, подумав немного: — идите! найдется место. Не забыл дорогу-то?

— Вот, забыть! К хорошим людям дорогу не забывают. . Помню.

— А помнишь, так и ступайте с богом. Найдется!

— Возьми узелки-то, — сказал старик. — Домой, чай, едешь?

— Домой — клади!

Старик и его дочь сняли свои ноши — старый полушубок отца и черную ваточную куцавейку дочери, — которые они несли на спинах, обвязав кушаками, и положили в телегу. Сказав еще раз: «Ступайте, ступайте с богом — найдется!», Демьян Ильич погнал лошадь пошибче. Старик и его дочь остались позади.

— Первейший работник! — сказал мне Демьян Ильич: — он у меня четыре лета работал — куда молодым, даром что старик!

— Он и ходит-то плохо!

— Раз-зойдется, не узнаешь! Это хорошо, что Иов подоспел. Хорошо! Теперь у меня артель будет за первый сорт.

Но Иов не оправдал надежд Демьяна Ильича, не «увенчал здания» артели; поработав суток двое и поработав так, что, глядя на старика, брала жалость — так упал он силами за последний год, — он не выдержал и чистосердечно порешил, что работе его настал конец: «отказались руки», «отказались ноги». Это было видно всем и каждому. Денька два он поотдохнул, ничего не работая, сидя на крыльце под солнцем с открытой головой. Тем временем Варвара перестирала ему рубахи и онучи, и когда все было готово, он ушел домой с той же самой косой на плече, как и пришел. Демьян Ильич дал ему три целковых, которые и осталась отрабатывать Варвара. Оставляя Варвару, старик не уговорился насчет ее с Демьяном Ильичом, а сказал только: «Н-ну что... не обидишь!» А Варвара даже и не заикнулась о цене. Она проводила отца до большой дороги и поздно вечером вернулась домой.

На другой день она уж работала. И с первого же дня присутствия Варвары в артели все чувствовали, что

именно она-то и «увенчала здание», внеся какую-то новую, неуловимую, но несомненно поэтическую черту в работу и труд, труд из-за харчей, из-за податей...

Чтобы лучше понять, что именно хотим мы сказать выражением «поэтический», — посмотрите на следующую сцену: на дворе льет дождь; гудит в крыши, слезит стекла в окнах, булькает под окнами и пузырями скачет по лужам; в рабочей избе скука и тягота безделья; вот и Варвара, ничего не делая, сидит у окна и глядит в тусклое мокрое стекло, — посмотрите на ее лицо, на этот косой глаз; в лице этом нет ни малейшего выражения, оно глупо, просто глупо... «Дура какая-то — больше ничего, орясина!» Иной просто скажет: «корова» или что-нибудь еще хуже; но Варвару надобно смотреть и изучать не в такой обстановке. Любая великосветская красавица-львица бывает и дурна, и желта, и зла, и неприятна, и глупа, когда она переживает пустые, мертвые минуты жизни; но она совсем иная, когда попадает в живую струю поглощающих ее интересов. То же самое происходило и с Варварой, когда она попадала в свою живую струю, а такая струя для нее, некрасивой, топорно сколоченной двадцатилетней девушки, была работа! Да, читатель, работа возбуждала Варвару так же, как бал возбуждает великосветскую красавицу... Только в работе она знала — что́ она, «зачем она на свете и чего она стоит».

В артели было немало женщин-работниц, но все это было не то, что Варвара. Были бабы — и красавицы и веселые певуньи, но это были поденщицы: они торговались, считали суслоны, считали копны точно так же, как и мужики-работники. Не то было Варвара: она всю жизнь не знала, что такое деньги; двое они жили с отцом почти с ее детства; как только она начала понимать себя, она всегда жила «с куса», то есть работала за хлеб в чужих людях, а отец, уходивший летом на косьбу, кое-как сколачивал ей нищенскую одежду. Она выросла в работе, в интересах работы, как иная вырастает в интересах великосветских интриг. Конечно, ее спасало отцовское здоровье, спасало физически, несмотря на страшные труды; но еще более, чем порода, Варвару спасало опять-таки то поэтическое настроение, которое возбуждалось в ней трудом, работой, если она была мало-мальски

благоприятна, то есть если в этой работе можно было «разойтись».

Демьян Ильич, как человек, в высшей степени много понимающий в «работе», сразу, с одного взгляда определил Варвару и пришел в восхищение. В восхищение-то он пришел, а молчит; но видно, что вся внутренность в нем трепещет от удовольствия — нет, не от удовольствия, а именно от восхищения. Его пленило (пожалуйста, понимайте это слово в самом подлинном и буквальном смысле) прежде всего то, что Варвара «не знает себе цены», цены денежной. При взгляде на каждого из своих рабочих он непременно представлял какую-нибудь цифру — два рубля, двадцать рублей. При взгляде на Варвару никакой такой цифры ему не представлялось: при виде Варвары он ощущал только присутствие как бы бесплотного существа, веселого духа, но духа, который «воротит» за семерых, и воротит едва ли не потому только, что это доставляет ему личное удовольствие. Варвара работала так же непринужденно, как работает для человека солнце, которое сушит и растит, а денег не просит, и не скучает, и не сердится... Ведь вон «и те» бабы тоже работают, вон и суслоны вяжут, и сено гребут, и молотят, но опять-таки «не то́»! В каждой видна *нужда;* каждая добивает день, день трудный, думает об оставленном ребенке, жалуется на деверя; некоторые и злы, и беременны, и ленивы, в них видна усталь; издали чуешь, что у иной болит поясница, стонут ноженьки. А поглядите-ка на Варвару? — железная, неутомимая и веселая, то есть не то чтобы хохочущая, играющая среди «прелестнейших долин», а просто вся и всегда светлая и радушная...

Вон баба-работница ворошит сено, поглядите на нее и увидите, что не легко ей, бедной, трудно. А поглядите на Варвару: грабли, обернутые рукоятью вниз, а зубцами вверх — играют в ее руках. Легко ходит она по скошенному сену, легко касается острым концом рукоятки по верхушкам сенных полос. и сено летает у ее ног справа налево и слева направо; летает не комьями, не волочится по земле, а порхает тонкими встречными струями. И все это без малейших усилий, без малейших признаков утомления и тем менее — малейшего намека на присутствие силы. Вон и другая баба тоже «ворошит», но ведь она

ворошит, как косолапый медведь, тогда как Варвара работает, как работает врожденное дарование, не представляя себе даже мысли о том, что «это» — работа, труд...

Или вон посмотрите — несет баба-работница ведро воды из-под горы, с речки; коромысло у нее скрипит, ей тяжело идти, тяжесть выпирает ей бок... Чувствуешь, что когда она доберется до бочки, в которую выльет это ведро, то тяжело вздохнет и еле выговорит: «ух, батюшки!» Не то Варвара: коромысло ее не гнетет. Это вы видите и чувствуете неотразимо; оно не режет ей плеча, а лежит просто так, как будто это принадлежность костюма, будто украшение для Варвары, без которого Варвара была бы некрасива... Она идет стройно, легко; стройно и легко одна рука ее лежит на коромысле, а другая упирается в край ведра, удерживая его в равновесии с другим ведром. Вода в ведрах не плещется, лежит смирно, слушается Варвары, точно знает, кто несет. Не так, как баба-работница, Варвара и выльет воду в кадку, не так она и коромысло с ведрами спустит с плеч — все не так, как у работницы. А главное — не устает! Не спешит и не торопится, а легка во всем и всегда опять-таки несокрушимо радушна.

Сунет ей как-нибудь на ходу жена Демьяна Ильича двухгодовалого мальчишку — и тут Варвара немедленно найдется, «немедленно» скажет что-нибудь мальчишке или сделает что-нибудь такое, отчего он притихнет, хоть и ревел до сих пор благим матом. Мало того, как-то «сама собой» она отлично поймет состояние его души и потрафит ему словом или делом без всякого усилия. Сунула однажды ребенка жена Демьяна Ильича на руки какому-то солдату, тот взял его и, чтоб позабавить, запел басом: «Благочести-вейшего...» Ребенок так и залился; захрипел, задохнулся, закатился. Варвара бросила палку, которой гнала свинью, подскочила, выхватила ребенка; заговорила что-то про зайчика, про птичку: «вот, поймаем его, вон-вон поймаем», и сразу утешила парнишку.

— Дурак ты этакой! — сказала она солдату (который, однако, только улыбнулся от этой брани), — загоготал, как жеребец... Ведь ребенок всю ночь не заснет от твоего ржанья. Теперь ночь, а на ночь ему надо веселое рассказывать... Дурак горластый!

И опять солдату стало от брани только весело. Такой уж дух веселый был в Варваре.

Или было еще такое дело. Был у нас бык, с которым сладу не было. Загнать его вечером в хлев — это было дело весьма серьезное. Пастух отказался идти на быка в одиночку, и поэтому в загоне быка обыкновенно принимала участие вся артель рабочих, которая к вечеру, к приходу с поля скотины, обыкновенно возвращалась домой. Каждый вечер посреди двора Демьяна Ильича шла чистая война. Со всех сторон в быка летели палки, куски бревен, камни, кирпичи и т. д. Но обыкновенно ничто это не действовало на быка; раскачивая задом и уставившись на врагов, он не трогался с места. Пробовали даже стрелять ему в морду холостыми зарядами, ничего! Иной возьмет длинную жердь и со всего размаха ударит ею быка между рог или по спине, но опять-таки ничего. Точно газетой, свернутой в трубку, ударили это чудовище — стоит, злится, но ничего не чувствует. Эта несокрушимость к ударам обыкновенно ожесточала воевавших с быком людей. Необходимость «загнать» быка превращалась в настоящую вражду; начинали слышаться покрикивания, в которых звучала страшная злость, глубокое ожесточение. Иные, не вытерпев, выходили на единоборство, рискуя быть посаженными на рога. Словом, бык каждый вечер расстраивал на некоторое время всю артель, а иных ожесточал, и засыпали они не с добрым чувством на душе. Но в одну из таких битв подоспела откуда-то Варвара и как-то мимоходом, без оранья и крика, и без страха и злости, как-то так съездила быка сзади, что он, как сумасшедший, бросился бежать, сразу потеряв все свое грозное величие. Вышло это так как-то легко и просто, что вместо криков, палок и каменьев, словом, вместо ожесточения, злых звуков, все от мала и до велика покатились со смеху и весь вечер хохотали до упаду. Тут-то и открыли секрет, что его надо колотить сзади, а глупые мужичонки дрались с ним «рылом к рылу». Нечего сказать, нашли товарища! А сзади-то он не видит, что делается, может быть там чорт знает что происходит, и из льва рыкающего превращается в зайца...

И везде Варвара вносила в среду рабочих ощущение какой-то «легкости на душе». Именно *легче* становилось при Варваре и работать и жить вообще. Хотя она для

этого ни слов ласковых не говорила и вообще ни капли об этом не старалась, ибо она уничтожала собою всякое представление о труде, трудности, усилии. Она *просто жила так;* ей было легко жить и с граблями, и с ведрами, и на покосе, и на жниве.

Но не в одной только работе при Варваре было легче на душе всем артельщикам.

Была в артели стряпуха, здоровая, румяная, жирная баба, Анна. Баба она была разбитная и веселая, и было вообще в ее фигуре нечто призывающее. И в глазах это было, и в жестах, и в походке. Бывало, когда она кормит вечером рабочих, а сама стоит подбоченясь у котла с ложкой в руке, то скоромный разговор (весьма, впрочем, тонкий и изящный) почти не прекращается, и Анна, тоже весьма тонко и изящно — иной раз только одними взглядами, жестами да телодвижениями — охотно дает этому разговору материал и поддерживает его тон... Хорошо и весело было с Анной, но не всем это было полезно и удобно и не одинаково ложилось всем на душу. Вот для этого молодого солдатика в «кэпе» это несомненно по сердцу — поглядите, как он гогочет и осклабляется; дело его молодое, холостое; хорошо вон и для вдового здоровенного мужика, а вот для безбрачника Лукьяна неловко, потому что он не то что не любит этого, а «не хочет»; и для Ивана нехорошо, потому что он начинает вспоминать жену, начинает роптать на судьбу; для стариков «нехорошо» тоже по разным причинам... Таким образом, хотя и бойкая и разбитная была стряпуха Анна и веселые были разговоры за ужином, под вечерок, но не всем они были по душе, и не все принимали в них участие.

Но вот стала стряпухой Варвара — и что же? Разговоры не только не переменились в тоне, но еще более усилились, и в них стали принимать участие решительно все: и Лукьян-безбрачник и старик беззубый — словом, все до единого. И почему бы вы думали? Потому именно, что Варвара ничего этого *не понимает.* Вот, например, прежняя стряпуха Анна, так та, очевидно, *понимала,* та, бывало, только почешется, а все понимают, что это собственно для поддержания разговора. Очевидно, понимает. То же самое и точно так же сделает Варвара — и всем ясно, что «она сама, дура, не понимает, что

делает». Это не значит вовсе того, чтобы Варвара «не имела понятия» о некоторых явлениях жизни, — вовсе нет; напротив, она *знала* очень много, даже прямо сказать, *все* знала: живя постоянно при скотине, нельзя не *знать* очень и очень много. Она вон в разговоре о подрастающем бычке дает весьма практические советы; она очень обстоятельные ведет разговоры с женщинами про беременность, роды и т. д., но она *не понимает* во всем этом того, что заставляет солдатика в кэпе осклабляться, не понимает той черты «всего этого», от которой вот этот мужик заржал. И именно вследствие этого-то *непонимания,* вследствие полной видимости того, что в понимании этих-то сторон явлений, которые она отлично знает,— она «набитая дура», скоромные разговоры не только не прекратились после того, как стряпухой стала Варвара, а, напротив, усилились: всякий — и стар и мал — норовил внести свою лепту, но все вносили ее не потому, чтобы похохотать над тем, как, мол, ее проберет выдумка, а как раз наоборот, потому что «ничем этим» ее «не проберешь». Любовались не впечатлением, а именно тем, что «не берет», «как к стене горох». Любо было смотреть на нее, как она «стоит, как дура», ничего не понимает в то время, как ей в уши бог знает что суют... На этом-то, множеством наблюдений (о которых мы говорить не будем) доказанном, непонимании и приятно было отвести душу, приятно для всех. Перед этим непониманием все были равны, как солдатик в кэпе, так и Лукьян и беззубый старик, — всем было поэтому в охотку пошутить пред «дурой в *этих* делах», Варварой, и всем было поэтому же легко.

Было, впрочем, одно лицо, которому осклабляющийся солдатик (и в особенности Иван, часто глядевший на Варвару какими-то строгими глазами) мог бы завидовать. Приходил иногда из соседней деревни мальчик лет одиннадцати. С кошелкой за плечами, он частенько захаживал на двор Демьяна Ильича, иногда возвращаясь из лесу с грибами и ягодами, иногда отправляясь туда. Варвара была к нему ласкова. Увидит его и побежит, будто боится, что он ее догонит; тот не догоняет. Тогда она остановится, поднимет щепку и бросит... Мальчишка тогда сам бросит щепку и станет догонять — и непременно догонит, тогда как ни один бы из самых ловких



и сильных ребят-рабочих не сумел бы этого сделать. Но мальчишка мало того, что догонит, а еще и повалит Варвару и кулаком ее по спине бьет, а она, которая в двадцать раз сильнее мальчишки, очевидно, покоряется, играет. Бьет ее мальчонка, стараясь чувствовать себя «мужиком», а она пищит, будто и в самом деле больно. Подымется, будто вырвется, убежит и волосы поправляет. А мальчонке и любо, что он, как «настоящий мужик», «растрепал бабу».

А вот с Иваном, так с тем случилось что-то совсем другое. Что у них было с Варварой — никому не известно, да и сама Варвара не знает. Известно только, что однажды Иван прибежал к рабочей избе, прямо к рукомойнику, и стал поливать водой голову. Одна сторона головы у него посинела и опухла. Поливал он голову и ругался на Варвару.

— Демон! — говорил он: — с тобой шуткой, а ты, чорт. Ведь ведро-то железное, чорт ты этакой?

Испуганная Варвара стояла невдалеке и, не слыша этих разговоров и брани, все внимание сосредоточила на железном ведре, которое в одном боку сильно погнулось... Оправдываясь потом, она говорила, что, мол, ударила так, невзначай — «играючи», и все-таки Иван с месяц ходил с опухшим лицом и в синяках.

Рабочие много потешались над этой историей, а Иван, чувствуя себя смешным, осердился на Варвару, и серьезно осердился... А Варвара осталась как была: в работе одна, в безделье — другая.



V. «ИЗ-ЗА ДРОЖЖЕЙ»

Демьян Ильич был положительно влюблен в Варвару. Он был человек семейный, имел четверых детей, из которых старшему шел восьмой год. Жена у него была женщина отличная: умная, тихая, ласковая; хозяйка самая прилежная, внимательная. Ни сплетен, ни каких-нибудь «особенных» «бабьих историй» никогда от нее не исхо-

дило. Даже злого или сердитого лица никогда никто у нее не видал. Я уверен, что теперь, когда Демьян Ильич вышел в люди, живет где-нибудь на Лиговке, в квартире с цветочками на окнах и с кисейными занавесками, Марья Яковлевна, его супруга, представляет из себя весьма уважаемую, ласковую, внимательную и аккуратную «даму» и скромную во всех отношениях женщину...

К Варваре жена Демьяна Ильича относилась весьма любезно, внимательно и ценила ее не менее, чем ценил и Демьян Ильич. «Варюша», «Варварушка», другого наименования для Варвары не было; а однажды, когда Варвара почти целый день, с трех часов утра до глубокой ночи не садилась ни на минуту и ни на минуту не была без работы: стряпала работникам, разваливала копны, топила баню, причем воды одной перетаскала ведер сорок, потом опять работала в поле и т. д., — в этот раз жена Демьяна Ильича при всех похвалила Варвару, сказав: «И золотые же у тебя руки, Варварушка!» Она ясно видела, что муж ее, Демьян Ильич, влюблен в Варвару, но и к этому относилась весьма благосклонно, ибо отлично понимала, что Демьян Ильич влюблен не в Варвару собственно (Марья Яковлевна была красивей ее в двадцать раз), а в ее работу, в легкость, неутомимость и как бы несокрушимое веселье работы. В этом именно смысле и она сама любила Варвару. Варвара никогда не скажет: «у меня не двадцать рук!» или: «мне не разорваться!», что поминутно слышат хозяйка и хозяин от всякой поденщицы, работающей из-за куска хлеба и раздражающейся, если ей кроме той работы, для которой она нанята, суют так себе, мимоходом какую-нибудь другую; этого ропота и не было в Варваре; ей надобно было только намекнуть на работу да сказать по-дружески, и она сама немедленно же примется за нее, да сделает по дороге еще десяток дел, о которых ее и не просил никто. Оба они, и Демьян Ильич и его супруга, были вполне, без всяких переговоров и предварительных рассуждений, молча согласны в том, что работающему ребенку, как Варвара, надо дать волю работать до полного его удовольствия, надо не препятствовать, надо обращаться ласково, снисходительно улыбаясь, как улыбаются мудрые родители, не препятствуя ребенку играть, рез-

виться... И Демьян Ильич и жена его так именно и относились к Варваре: «Ну играй, играй, что с тобой поделаешь... Дело твое молодое... Ничего, играй... Уж так и быть». И Варвара действительно играла, и так приятно, так весело, что если б счесть в деньгах, во что стала бы эта игра Демьяну Ильичу, эта работа, которую Варвара перерабатывала на его семейство ежедневно, так вышла бы большая-пребольшая сумма. А Варвара не заикалась даже о деньгах. Два только раза во все лето к ней отец писал письма насчет денег. Письма эти она вручала Демьяну Ильичу, а тот посылал «по возможности». Варвара была довольна и благодарна, что Демьян Ильич «послал», что отцу «деньги» от нее пошли, а сколько, этого она не понимала...

Но, несмотря на то, что отношения супругов к Варваре были, вообще говоря, «отеческие» и походили на отношения умных родителей к милому ребенку, иной раз мне приходило в голову, что Демьян Ильич хотя и облысел со лба, то есть от ума, а не от чего другого, и не с затылка, но что лысина, захватившая и «затылок», — заслуживает некоторого внимания... Иногда в похвалах Варваре я слышал в голосе Демьяна Ильича такие ноты, а в речах такие слова и целые фразы, что невольно должен был задавать себе вопросы такого рода: «Да точно ли только со лба? Действительно ли от умственного напряжения? И не участвует ли тут хотя отчасти затылок?..» Иногда мне кроме того казалось, что и Марья Яковлевна относится к происхождению лысины своего супруга скептически и как бы не доверяет его речам. Слишком большая выдержка Марьи Яковлевны в ее отношениях к Демьяну Ильичу, это непрестанное желание «не подать виду», чтобы между супругами могли происходить хотя малейшие недоразумения, именно эти безукоризненные стороны их отношений и вводили меня в сомнение. Думалось мне, что иногда Марья Яковлевна разрывается от гнева на Демьяна Ильича, но что сдерживает этот гнев ее адское терпение, сильный характер и сильный ум.. И только благодаря этим качествам она не только может переносить похвалы Демьяна Ильича, расточаемые бабам-работницам и Варваре в особенности, но и сама еще поддерживает и даже усиливает их.

Расскажу один небольшой эпизод, который, как мне кажется, имеет некоторое отношение к вопросу о происхождении лысины Демьяна Ильича.

В тех местах, где жил Демьян Ильич с своей рабочей артелью, протекала тощая, ничтожнейшая речонка; да и не речонка это была, а ручей; весной он бурлил от тающих снегов и шумел массами тонких, как стекло, льдинок, а летом пересыхал почти совершенно, зарастая высокою болотною травою до того, что за ней не видно было со стороны почти ни капли воды; нужно было раздвинуть траву, и тогда увидишь, что на дне мокро, что там вода. Лето, которого касается рассказ, было жаркое, сухое, и ручей пересох так, что в некоторых местах его можно было переходить почти посуху. И вот именно потому-то, что лето стояло особенно жаркое, что ручей почти пересох, в нем оказалось множество рыбы. Дело в том, что местами в русле ручья попадаются глубокие ямки, сажени по две длины и аршина на полтора глубины; за травой их не видно. Весной во время разлива сюда заходит рыба — налимы, род миног и щуки, мечет здесь икру в громадном количестве. Но обыкновенная принадлежность здешних мест, «дожди», не дают возможности ей расплодиться. При дождях речонка всегда приметна, всегда имеет такую высоту, хоть и не больше четверти, что рыба может уйти. Но в сухое лето, когда речонка местами пересыхает совершенно, рыба, попавшаяся весной в яминки, сидит как в садках, и тут ее ловят пудами. Тайну эту открыли старик со старухой, жители соседней деревни. В один жаркий, палящий день видим, идут по лесу старуха, а за ней старик и несет на плече бредень.

— Куда это вы, старички?

— Да вот рыбки половить.

— Где же вы ловить ее будете?

— А вот.

И старик указал на пересохшую речонку.

Это указание до такой степени было удивительно, как если бы кто-нибудь объявил, что намерен ловить рыбу у вас, читатель, на письменном столе.

— Да ведь тут сухое место? какая же тут рыба?

— Да не в сухом она, а в мокром, — отвечали старики и ушли с бреднем в траву. В траве они скрылись

оба, и не прошло нескольких минут, когда оттуда послышался плеск воды и кряхтение старичков. Старички вытащили полнехонький бредень трепещущей и бьющейся на солнце рыбы. Никто из всей рабочей артели не верил своим глазам, но рыба, масса рыбы была налицо. Древние старички отлично знали свою сторону; они знали, что «такое лето» было двадцать лет тому назад, и знали про ручей то, чего никто не знал из молодого поколения деревни.

Рыбу принялись ловить все, кто хотел, и в короткое время опустошили яминки дотла. Демьян Ильич наловил и насолил одних щук и налимов две кадки. Рыба была в харчах у рабочих каждый день, и вообще хорошее расположение духа у всей артели увеличилось во много раз.

Однажды после обеда, в ясный летний день, Демьян Ильич, в отличнейшем расположении духа, сидел на крылечке рабочей избы и грел на солнце лысину, поглаживая ее ладонью и приятно покряхтывая. Погода была отличная, дела шли хорошо, сено на участке Демьяна Ильича уродилось, тогда как у соседей и в других ближайших с Петербургом местах погорело и посохло, словом, все было хорошо — бог, очевидно, «посылал» Демьяну Ильичу. Сидел-сидел он и надумал идти от нечего делать ловить рыбу — не для чего другого, а так, для развлечения. Надумавши эту забаву, он придумал и другую: идти ловить рыбу вместе с Варварой.

— Ма-ать! а мать! — сказал он, обращаясь к жене, которая сидела внутри отворенной настежь избы. — Где бредень-то у нас...

— Рыбу, что ль, ловить идешь? — спросила Марья Яковлевна.

— Хочу с Варварой пойти, попытать на досуге.

— Никак она стирает.

— Ну, успеется... Варва-ра-а!

Варвара появилась из-за угла избы с красными, покрытыми мылом руками, торопливо их вытирая фартуком.

— Пойдем ловить рыбу. Бери бредень-то.

— Вымочишься, Варварушка, — сказала Марья Яковлевна, появляясь на крыльце.

— Я подберусь, — устремляясь за бреднем, сказала Варвара.

Демьян Ильич вошел в избу за картузом и сапогами, причем Марья Яковлевна молча дала ему дорогу, не поднимая глаз от чулка, который вязала, и опять не сказала ни слова, когда Демьян Ильич, уходя, сказал ей:

— Мы недолго...

Но Марья Яковлевна поняла, что тут уж не Варвара играет, а «играет» Демьян Ильич.

Пошли. Варвара шла позади Демьяна Ильича и несла на плече бредень.

Воротились они, когда солнце уже садилось. Рыбы наловили мало; показывая ее жене, Демьян Ильич смотрел не в лицо ей, а как-то мимо лица. Лицо Варвары было какое-то глупое, как бывает у нее в скучные дождливые безрабочие дни. Деликатная Марья Яковлевна, поглядев внимательно на мужа, на Варвару и на рыбу, молча опустила глаза на чулок и, помолчав и попрежнему не поднимая глаз, сказала, обращаясь к Варваре, обыкновенным, ровным, невозмутимо-ласковым тоном:

— Завтра, Варвара, хлебы... Не забыть бы. Последнюю ковригу сегодня доедаем.

Это известие как бы оживило Варвару; она немедленно принялась приготовлять все нужное для печения хлеба: квашню, муку, весло. Принялась скоблить, мыть, вытирать. Поздно вечером из рабочей избы еще доносились звуки весла, стукающего в дно кадки.

Все, казалось, пошло своим порядком, но на следующий день Варвара была огорчена — хлеб вышел ни на что не похожий: крепкий, как камень, и плоский, как доска. Он вязнул в зубах, как самая крепкая глина, и благодаря этому в первый раз Варвара увидела себя виноватой: Андриян сломал последние зубы, Иван прямо зарычал, да и все были весьма недовольны. Все были к тому же, как на грех, голодны, так как работа была жаркая, спешная. Варвара опечалилась: она глубоко чувствовала, как огорчила весь этот народ.

Целые два дня она всячески «старалась» загладить свою неудачу и вину, работая за десятерых и с нетерпением ожидая минуты, когда неудачный хлеб будет съеден. До этих пор в работе ее не было и тени старания или усилия; теперь же она старалась и поэтому даже

уставала, и уставала, быть может, не столько от работы, сколько от того напряженно-беспокойного состояния духа которое она каждый день испытывала всякий раз, когда рабочие завтракали, обедали, полудничали и ужинали. Хлеб не улучшался, а, напротив, становился все жестче и хуже, и народ ел его, недовольный и обиженный.

Наконец кой-как доели. Варвара была необыкновенно счастлива, принимаясь за новую квашню; она опять скребла и мыла, крестила и внутри квашни и снаружи; весло стучало и сильнее и несравненно дольше этот раз, чем в прошлый, и я не знаю, спала ли даже Варвара эту ночь. Но на следующий день она была положительно испугана. Ее нельзя было узнать: в ней пропало веселье, сила, легкость — все, что было, — это была какая-то другая Варвара, испуганная и глупая, и недаром: хлеб опять вышел хуже подошвы. Вместо хлеба получилась какая-то чугунная лепешка.

— Как же это ты, Варвара? — ласково сказала ей Марья Яковлевна, качая головою. — Ишь ты ведь как...

Варвара ничего не могла ответить. Она совершенно растерялась. Но то, что последовало за появлением этого второго неудачного хлеба, окончательно сокрушило ее. Народ, придя обедать и увидав этот безобразный хлеб, прямо забунтовал. Иван начал первый: он бросил хлеб собакам, заорал о расчете, заорал на Демьяна Ильича, чего он, лысый чорт, держит в стряпухах такого косолапого идола, а Ивана поддержали бабы. Бабы такие давали эпитеты этому хлебу, что у Варвары только вянули уши. Никогда отроду не была она такой беспомощной и виноватой дурой. И брань и ропот сделали то, что надо было посылать за хлебом в деревню, после чего Варвара бросила ложку, которою наливала из котла горячее, и ушла, заливаясь слезами, в сарай. Она выбралась оттуда уж к вечеру, наплакавшись досыта, чувствуя себя несчастной, виноватой и одинокой. Вышла она потому, что надобно было убирать скотину, но работала как автомат. Кой-как окончив уборку, вошла она в избу и застала здесь Марью Яковлевну за работой; Марья Яковлевна месила хлебы.

— Сама хочу попытать, — сказала она Варваре. — Что такое, господи помилуй? Отчего?

Варвара сидела как сонная, как сонная смотрела на работу Марьи Яковлевны, но ночью не спала.

Настало утро. Варвара за завтраком почти ничего не ела, работала вяло и как бы неохотно. Пришли обедать. Варвара как-то сама собой устранилась от должности стряпухи и толкалась без дела около печи (обедали в избе).

— Ну-ко, Яковлевна, давай хлебца-то свеженького!.. Авось, на твое счастье, хлеб-то удался! . — заговорили мужики. — Поголодила нас Варвара, поголодила.

— Ох, — отвечала Марья Яковлевна. — Погоди хвалить-то. Смерть боюсь я... Пожалуй, как бы хуже не было... — И полезла в печку лопатой, которою вынимают хлебы. Не без любопытства публика взирала на зев печки, в ожидании появления хлеба. Марья Яковлевна заглянула туда, покраснела и, потянув лопатку, как-то жалостливо прошептала: «Ох, милые мои...» Это «ох» произвело на Варвару оживляющее действие: она понадеялась, что Марья Яковлевна оправдает ее неудачную стряпню такой же неудачей, но Марья Яковлевна вытащила наконец... такую великолепную ковригу, такую румяную, пышную, ароматную, что Варвара сгорела со стыда...

— Ох ты... как-кая! — тоже как бы жалобно проговорила Марья Яковлевна и покачала головой, тогда как публика покатилась со смеху от удовольствия...

— Охо-хо-хо! — прогоготал Иван, опять первый: — вот так хлеб!.. — и, как победитель, поглядывал на Варвару. Да и все наши глядели такими глазами, как бы хотели сказать: «Что, косолапая? Вот как хлебы-то пекут!»

Но почему Марья Яковлевна «охала» при таком своем торжестве и не глядела на Варвару? Уж не виновата ли тут в чем-нибудь? Не знаю. Знаю только, что Варвара, сгоревшая со стыда и уничтоженная этой великолепной ковригой, вдруг в одно мгновение *возненавидела* Марью Яковлевну.

Вдруг, в одно мгновение, она *поняла,* что этой ковригой Марья Яковлевна оскорбила ее до глубины души.. В голове Варвары мелькнула, как молния, мысль: «не те дрожжи!», и гнев рванул ее за сердце. Она сорвалась с места, бросилась вон, хлопнула дверью что есть мочи

и, совершенно как безумная, бросилась сначала в амбар, потом в сарай, потом в баню. В первый раз в жизни она была разозлена, не рассержена, а разозлена, не как ребенок, а как женщина, которую «бабьи сплетни» окатили целым ушатом помой... «Уйду-уйду-уйду-уйду! .» немолчно звучало в ее ушах, во всем ее существе, когда она металась по двору, точно ища чего-то, и действительно она хотела найти свою ваточную куцавейку... И с каждой минутой она все больше и больше *понимала,* и то, что она понимала, вихрем вертело ее голову. Она поняла, что это — месть за то, что Демьян Ильич ласков, поняла, сколько ехидства в кротости и ласке Марьи Яковлевны. Поняла, какой подлец Демьян Ильич и из-за чего он к ней ласков... Вспомнила рыбную ловлю. Вспомнила, как гоготали мужики, рассказывая разные скверности. Поняла, что все это скверность; поняла, почему на нее зол Иван, поняла все отношения, всю их суть, всю их бессовестность, расчет, лежавший в основании этой внимательности. Поняла, что никто с ней *по правде* не говорил, никто по правде не относился, все бессовестные, гадкие, злые... а она — совсем, совсем одна в белом свете, совсем одна. Вдруг вспомнила она старика отца и вдруг залилась слезами, но эти слезы не уменьшили ее гнева, даже как бы увеличили. Гневное возбуждение дошло у ней до таких размеров, что она сама не помнила и удивлялась, где она нашла свои вещи, почему то связывала, то развязывала эти несчастные тряпки, и затем, собираясь уйти, вдруг принялась стирать какое-то рваное платьишко, стирать торопливо, лихорадочно.

В такую минуту (она стирала в бане, в корыте) в баню заглянул один из рабочих; это был уже не молодой отставной солдат, Пахом. Его не любили в артели, да и Демьян Ильич его недолюбливал и ни во что не ценил. Взяли его в артель потому, что по случаю хорошего сухого лета рабочие были дороги и приходилось брать кое-каких. Попал таким образом в число рабочих и Пахом. Он был человек ленивый, неумелый; в работе он отставал решительно от всех, даже от самой хворой и слабой бабы; есть ему хотелось всегда часами двумя раньше времени и раньше, чем приходил аппетит другим. Работал он поэтому всегда с каким-то неприятным,

почти злым выражением лица, подмечал всевозможные недостатки в работе товарищей, в отношениях хозяев к рабочим, критиковал и обобщал более, чем косил и пахал. Получал он меньше всех. Вот этот-то Пахом и заглянул в баню к Варваре в ту минуту, когда она и плакала, и негодовала, и не имела в голове других мыслей, кроме: «уйду, уйду, уйду!..»

— Что, Варвара, — сказал он, сидя на пороге и набивая трубку, — видела, как нашего брата, бедного человека, уважают?

— Уйди ты, дурак косорылый! Чего тебе надобно? Пошел ты отсюда вон, бессовестный!.. — не помня, что говорит, оборвала его Варвара.

Пахома это не удивило, он не рассердился и довольно спокойно сказал:

— Что ты, матушка? чего ты? я ведь понимаю эти дела-то... Слава тебе господи, пожил на свете... Чего мне нужно? Ты уж больно того... И слова сказать нельзя; ты не того... Я ведь, кажется, видел, как они тобой помыкали. И твою работу знаю!..

Варвара ничего ему не отвечала.

— По твоей работе, — продолжал Пахом уже совершенно спокойно и не спеша, — по твоей работе тебе, надобно прямо сказать, цены нету. Цена тебе — миллион! Больше ничего!.. А ты вот осерчала... Нешто я тебе худого желаю? Я тебе говорю по совести: нет тебе цены, вот какая твоя работа... А они, черти, хотят всякого человека обобрать. Работаешь-работаешь, гнешь-гнешь спину, а пришло дело к расчету — много ли? — три копейки! Тут бы с него, подлеца, надо сколько денег-то, ежели бы по-настоящему? А он твои-то деньги — в карман, да из кармана в сундук, да сундук-то на замок, а ты гуляй без сапог... Знаю! Довольно знаю..

Пахом покурил, поплевал и продолжал:

— А ты, ежели ты только послушаешь моих слов, то по твоему характеру идти тебе в Питер — первое дело. Чего тебе тут копаться? Какого чорта, прости господи? Из-за чего? Да я сам, ежели бы не обеднял насчет одежи — минуты бы тут не остался, пропади они пропадом. Я б в Питере-то давным-давно двадцать пять целковых на хозяйских харчах получал, не то что... Живал ведь, слава тебе господи, знаю. Что мне за корысть

врать? Хоть у кого хочешь спроси, верно ли я говорю. Всякий тебе ответит... Там куфарки получают по пятидесяти рублей серебра... Издохни я на сем месте, ежели не правда. Вот до чего достигают! А тут три копейки... Ты чего ревешь-то? Ты вот слушай, что я говорю, а реветь-то перестань... Расчет-то с них, с подлецов, стребуй, все стребуй до полушки, да и с богом на машину. А там, брат, местов — сколько угодно! Там, ежели сказать тебе, не соврать, такая девица, как ты, Варя...

Не хотела Варвара слушать этого болтуна, да почти и не могла слушать его, так она была поглощена своим оскорблением, возбуждена гневом, ощущением одиночества и глубоким состраданием к отцу... Но болтун болтал, не переставая, расписывал ей Питер такими великолепными красками, какие только приходили ему на ум, и в воображении Варвары невольно стало вырисовываться какое-то удивительное, заманчивое место, где она может найти и покой и довольство и благодаря которому может даже отомстить. Стирая свое тряпье с той же лихорадочной поспешностью, как и прежде, она невольно уж вслушивалась в разговоры Пахома о подарках, о шелковых платьях. Почему-то особенно неотразимо поддавалась она обаянию слов: «от барыни не отличишь», «чисто как барыня», «наденет платье, зашумит хвостом — графиня, а была вот как ты же» и т. д. Слушая и горячо принимая к сердцу эту болтовню от нечего делать, она в то же время не могла удержать своего воображения, рисовавшего ей, Варваре, ее же, Варвару, в разных до сих пор совершенно незнакомых ей видах. Вот она посылает отцу деньги, много-много, и отец покупает корову, строит новую избу. Вот она в шелковом платье проходит мимо злой мужички Марьи Яковлевны и т. д. Воображение, в первый раз возбужденное с необыкновенной силой, не давало ей покоя. Она стирала свои тряпки так, как будто хотела разорвать их, и в ее голове так же настойчиво, как и «уйду-уйду-уйду», звучало: «Питер-Питер-Питер»...

— Ведь сманил, жид проклятый, Варвару-то! — с сильным волнением говорил мне Демьян Ильич на следующий день поутру. — В Питер и — шабаш! Ах, пес

эдакой! Ведь ему, канальe, только бы с нее на выпивку вызудить! .. А что она в Питере? Долго ли! .. Ах, бессовестный человек! Ведь так, зря язык болтает неведомо что, а она и в самом деле помчалась, как угорелая. Он ей на перекоски через лес пустился, догнал-таки у самого кабака, выпил. Вот ведь какие люди на свете есть!

Демьян Ильич жалел и крепко жалел Варвару, но, как видим, уже после ее удаления. Он также понял, отчего у Варвары выходили плохие хлебы, а у жены вышли превосходные. Понял и покорился. Вступиться за Варвару — значит, завести раздор в семье, а это нехорошо. Жена у него — человек деловой. Он скрепился и промолчал, а жаль, жаль Варвару. Да и все поняли — в чем дело, и все ее жалели. Марья Яковлевна тоже жалела и, частенько покачивая головой, говаривала:

— И что за чудо? Ведь, кажется, и дрожжи те же и всё...

«Дрожжи, — ожесточенно, но молча думал Демьян Ильич, слушая такие речи, — знаю я тебя, ехидна! ..»

А молчал, «виду не показывал».

С тех пор как Варвара ушла от Демьяна Ильича, ни его самого, ни его супруги никогда я уже более не видал. О Варваре пришлось вспомнить после случайной встречи с Иваном, а после нее и до настоящего времени ни о Варваре, ни об Иване не приходилось даже и думать. Где Варвара? Что с ней? И точно ли Иван не ошибся, говоря мне при встрече, что Варвара проехала по Невскому? Ничего этого я не знаю. Быть может, она здравствует; быть может, умерла; быть может, и так пропала — все может быть. Такие люди, как Варвара, живут без биографий: только «необыкновенный» случай выдвигает их из неизвестности, тьмы и беспомощности; в обыкновенное же время они — только цифры, «статистические данные», и больше ничего.

БОГ ГРЕХАМ ТЕРПИТ

1. МАЛЕНЬКИЕ НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЗМА

— Я так думаю: который человек ни в чем не виновен, и того человека наказывать не за что. А который ежели есть преступник или, так сказать, злодей какой-нибудь, так того наказывай. Больше ничего. . .

Такие речи с толком, серьезностью и расстановкой вел буфетчик небольшого пароходика «Окунь», сидя в своей, установленной посудой, каморке и разрезывая на подоконнике квадратного окна своего буфета маленький белый хлеб на тонкие ломтики. Пароходик «Окунь», делающий от станции железной дороги по реке Выдре до губернского города М. всего один рейс в сутки, никогда не бывает богат пассажирами. Мало охотников сидеть по нескольку часов в пароходной каюте, ожидая той минуты, когда, наконец, наберется «по человечку» столько народу, что расходы пятидесятиверстного плавания не принесут хозяину «Окуня» убытка. Нетерпеливые проезжие, минуя пароходик, предпочитают ехать до города М. на лошадях или же по ветви железной дороги, которая идет от следующей станции до главного пути. Таким образом на «Окуне» едет только такой проезжающий, которому некуда спешить, которому все равно, сегодня ли приедет в город или завтра, который, наконец, даже любит ехать покойно, не в тесноте, а в просторе, — на «Окуне» же всегда так просторно, что можно разлечься «вовсю», выспаться, раздевшись совсем, и т. д. Такие порядки весьма удобны и выгодны для буфетчика: публика набирается на пароходе постепенно, «по человечку», а поэтому нет расчета запирать буфет, чтобы не отпирать его

по двадцати раз в сутки. А буфет, беспрестанно находящийся пред глазами «пассажиров», которым «некуда спешить», над которыми «не каплет», едва ли может бездействовать. Иной глядит-глядит на расставленные напитки, да и скажет: «Ну-ко, налей-ко! И пить-то, братец мой, не хотел, да бутылка заинтересовала... Что такое там? Дай-ко рюмочку». А раз буфет не бездействует, то и пассажиры, по нескольку часов ожидающие, когда-то засвистит комар-пароходик, также не могут безмолвствовать; всегда поэтому волей-неволей все переезжающие на «Окуне» перезнакомятся между собой и в конце концов непременно сольются в одну разговорчивую компанию.

Так было и в тот раз, о котором идет речь. В каюте второго класса, около буфетного окна и за столиками, сидело и лежало на диванах человек десять разного народу. Было тут два каких-то военных, похожих по виду и разговору на переодетых купчих — так были они рыхлы, женственны, да и разговоры их были не воинственные: всё о провианте, «довольствии», о несправедливости, об интригах, мелких-премелких — из-за сена, из-за дрожжей для солдатского квасу и т. д. Были тут купцы, мещане, человека четыре «живорезов», сидевших особою группой за чаем и отрывисто лаявших насчет своих «делов»: «Двашесть с четью». — «Руппять». — «Сдал?» — «Сдал!» — «Снял?» — «Снял». А в промежутках этого лая — громкая, как отдаленный раскат ружейного залпа, икота... Ехал еще один молодой человек, с которым мне пришлось познакомиться на железной дороге и с которым впоследствии мне пришлось сойтись довольно близко. Из его разговоров я мог заключить, что жизнь его, несмотря на молодые годы, прошла не без приключений. Он, повидимому, был очень утомлен физически и отдыхал, посещая своих родственников, принадлежавших к сельскому духовенству. В настоящее время он ехал к сестре, муж которой был священником какого-то села, расположенного на реке Выдре.

Некоторое время беседа между пассажирами, присутствовавшими в буфете, шла довольно вяло и не представляла ни малейшего интереса. Офицеры жаловались на то, что они каждый год доплачивают из «своих», и блистали друг перед другом бескорыстием, а живорезы лаяли

и икали, — вообще было довольно скучно. По какому случаю буфетчик произнес фразу, написанную в начале этого очерка, решительно не помню и не знаю. Разговора, по поводу которого она была произнесена, я не слыхал и не знаю, о чем шла речь прежде, нежели буфетчик счел нужным произнести свое мнение о наказании; но мнение это почему-то пробудило во мне и, как я заметил, в молодом человеке желание слушать, что такое тут говорят.

Нарезав хлеб тонкими ломтиками и тщательно собрав толстым ребром толстой руки сор, буфетчик принялся нарезывать тоненькие ломтики сыру и говорил с тою же, как и прежде, серьезностью:

— Такое мое мнение. Невиноватого, который не достоин наказания, того, позвольте спросить, за что же его я буду истязать?

— Это верно! — проговорил какой-то купец, сидевший за бутылкой пива.

— Что же касается до того, — продолжал буфетчик, — когда мы встречаем какого-нибудь подлеца, тогда, сделай милость, соблюди закон вполне!

— Само собой, нечего жалеть подлеца!

— Опять возьмите и то: ведь наказать человека — хитрость не велика, позвольте вам сказать. Взял, засадил его в темную или там всыпал горячих — это труда не составляет. Хитрости тут большой нет... А надо сначала узнать, дознаться, до корня дойтить, виновен ли, мол, ты или же нет — вот что есть главное!.. Положим, что ты выпорол или запер человека, а впоследствии времени оказывается он не виновен. Хорошо ли это? Но коль скоро ты разобрал, достиг, например, тогда хоть в землю его живого закопай, и то будет по закону!.. А не разобравши дело, да истязать человека — так тут хитрости большой нету. Вот как я думаю. Не прикажете ли бутербродик?

Тарелка с бутербродами была протянута по направлению к господам военным, которые ближе всех сидели к буфету.

— Пожалуй! — нехотя сказал один из них и, подумав, прибавил: — кстати, налей уж и рюмочку вот этой, вон в зеленой бутылке... Попробовать, какая такая... А вы-то что ж?

— Да пожалуй, — еще более нехотя проговорил другой военный, — налей уж и мне...

И так они нехотя, от нечего делать, выпили и закусили. А буфетчик принялся производить какие-то операции над куском ветчины, на которую предварительно дунул, и продолжал:

— Надобно разобрать, а не зря... Бывает так, что ежели ты делаешь свой суд с разбором, то и самый, который видимый злодей — и тот оказывает свою невинность... Не разобравши-то дела, его бы, кажется, повесить надо, а разберут да обсудят, так он и чист. А так-то, не разобравши-то делов, да предать наказанию — тут правды, я так думаю, нет нисколько! Почему же в таком случае делается суд и утверждается судебный чин? Изуродовать человека занапрасно — это всякий мастер; а ты разбери, а потом уж и утверди... Вот у нас на пароходе малый служит один. Был с ним грех — убил он человека. За это что по закону-то? — Удавная петля, подземные рудники!.. Так ведь? А между прочим вон он чист и прав, а почему? — Потому вникли и разобрали... Вот я вам позову его самого. Поглядите, пусть расскажет.

И выйдя на площадку, с которой поднималась на палубу винтовая лестница, он громко крикнул:

— Михайло, поди-ко сюда! Поди на минутку!.. Вот пущай сам скажет...

Михайло явился в одно мгновение. Он, очевидно, играл в трынку с приятелями, так как в руке у него были засаленные карты. Это был здоровый, молодой, с наивнейшим, почти детским лицом, парень. Босыми крепкими ногами, высовывавшимися из коротких ситцевых, розового цвета, панталон, он, как птица, вспорхнул по железным ступеням лестницы и, распоясанный, стал перед хозяином, видимо торопясь поскорей уйти, чтобы продолжать игру. Вся фигура его и выражение лица говорили, что игра — «в разгаре» и что игроки «в азарте».

— Чиво? — поспешно спросил он.

— Поди сюда, поди поближе.

— Говори: чего?.. Я и тут слышу.

— Да подвинься в каюту-то, столб этакой! Успеешь отыграться. Поди, расскажи господам, как ты старика убил.

— Тьфу, ты!.. зачем звал. Я думал... Эка нашел разговор!.. Стану я...

И парень быстро направился на лестницу, но буфетчик захватил его за рубаху.

— Стой! Погоди минуту... Что ты, пес этакой? Ведь тебя честью просят.

— Есть чего... пустова вспоминать.

— Для чего тебе вспоминать? Ты расскажи, как было дело-то. Ты у купца, что ль, жил в ту пору?

— Чего жил? Только что в тот день на место к нему стал, а даже нисколько еще не жил...

— Ну, ну стал... Ну как дальше?

— Ну, а дальше больше ничего... Стал к нему на место, значит, караулить дрова... У купца-то дровяной двор был, может на несколько сот али тыщ... Миллионщик купец-то.

— Где дело-то было? Где купец-то живет?

— В Москве... В Москве жил... Вот я прямо из деревни к нему и попал... Что мне тогда? Почитай и шашнадцать годов не вышло... Попал я к нему, он и говорит: «Смотри, мальчонка, будешь стараться — награжу, а будешь ворам потакать — произведу по-свойски. Похвалы у меня на это нет, а прямо разобью всего вдребезги. А коли ежели будешь стараться, через месяц прибавку дам. Не спи, бает, по ночам, глаз не смыкай и, как завидишь вора, дуй его по чем ни попало!..» А допреже того у купца всё дрова воровали разные прочие жулики. Ну вот я и слухаю его... А как мне не слухать? Не от сладкого в город-то идем. Попало место, надо стараться, чтобы как лучше, чтобы хвалили да денег побольше давали, а не то чтобы ругали или били. Ну вот и стал по наставлению его думать. Уделал себе дубину — из дров вытащил этакую штуку в тринадцать четвертей, с корнем попалась. Обладил, значит, обчистил, приспособил; пришла ночь, надел полушубок и пошел... Ночь осенняя, темная... Ходил, ходил, слышу — шевелится. Окликнул, не говорит. Думаю: притаиться хочет; я подошел, да и долбанул его смаху, стало быть сбоку, да еще раз сверху вниз тоже стеганул; он и запищал, как заяц. Н-ну, опосля того я было потыкал его комлем-то, потыкал этак-то; ночь темная, ничего не видно, только что-то мягкое... А голосу не подает... Ну, как не подал он мне

голосу, пошел я к хозяину доложить... Хозяин-то еще не ложился... Пришел я к нему. «Вот, говорю, никак вора я пришиб. Кто-то, говорю, округ дров шабаршил, а я его и долбанул... Ну, гласу, говорю, не подает, а только что запищал было малость по-заячьи»... Н-ну, хозяин позвал кучера, велел пойтить с огнем посмотреть, что там такое... Пошли... Ну и видим — человек нищий... А я чем виноват? Мне сказано — бей! Разве я могу ослушаться? А ежели он бы украл, тогда как? Тогда, может, меня бы...

— Да ну тебя!.. Ты говори дело, а не рассуждай. Говори, что было дальше...

— А дальше было, что как оглядели мы человека.. одним словом, голова расшиблена, и рука болтается... Вспомнить даже нехорошо, перед богом! Ну, оглядели; кучер и говорит: «Надо хозяину доложить». Пошел я к хозяину и говорю: «Так и так. Расшиб человека...» — «Неужто до смерти?» — «Так точно...» Ругал-ругал он меня; говорит: «Иди, объявись в части». Ну, пошел я опосля того в часть.. Искал-искал участка — пропади он — насилу нашел. Пришел, все спят. Ждал, ждал, наконец того, выходит какой-то... Стал меня увспрашивать: «Зачем?» Я говорю: «Так и так. Пришиб человека». Ну, рассказал ему — что мне? Нешто я виновен? Что мне его бить-то? Рассказал. Ну он записал. «А дубина, говорит, где?» — «А дубина, говорю, там в куфни осталась». — «Пошел, принеси дубину! Она также требуется». Пошел. Принес им. Отдал. Ну, посадили в темную. Поутру связали руки, повели в другое место. Опрашивали. Ну, что у меня спросят, то я отвечал. Через два месяца суд был. И опять все то же. «Ты убил?» — «Я». — «Как?» — «Да вот так: сначала, мол, в бок, должно быть, я его — ну, а потом по темю». — «Чем?» — «Дубиной». — «Признаешь?» — «Она самая». — «Виновен ли ты?» — «Чем я виновен? Сказано, бей! — я и бью... Нам что прикажут, то мы и исполняем»... Подумали, посудили, писали, говорили, потом вышли и говорят: «Ну, ты не виновен, ступай!» Ну, я и пошел..

— А купец?

— Купца было тоже притянули, только он говорит: «Как же не караулить? У меня в дровах капиталы. Воровство беспрестанно... Полиции не дозовешься...

А почем я знал, что он эдак караулить будет?..» Ну а я-то почем знал, что там такое? Слышу — шабаршит, я его и хлестнул... Так и вышло дело: и я не виновен, и купец не виновен... Ну только, жид эдакой, не взял меня к себе потом. «Ты, говорит, больно уж сурьезно взялся служить. Я тебе только посулил шесть целковых, а ты и то уж человека убил; а как я тебе деньги-то в руки дам, так ты, пожалуй, и не таких делов наделаешь с дубиной-то своей!» Взял солдата, а меня отослал... Вот жид какой!.. Ну, чего еще вам?

— Все нешто рассказал?

— Все... Ничего больше не надо?

— Ну, коли все, ступай!

Малый вихрем взвился по лестнице; а буфетчик вновь принялся за рассуждение.

— Вот как вышло, — сказал он. — Кажется, уж как бы не заточить парнишку наглухо: убил и голову расшиб — все явно, а разобрали дело, вникли, обсудили, ан человек-то и оправился... Вот про то-то я и говорю: коль скоро ежели человек виновен, то ты его накажи; но ежели человек хотя бы и видимостью был злодей, то ты его оправь, а невиноватого наказывать — по-моему, не есть справедливость... Так я думаю...

— Н-да! — проговорил тот купец, с которым буфетчик главным образом вел беседу, вылил из бутылки в стакан остатки пива и прибавил: — Оно бы посправедливее-то лучше бы было... то есть... поступать. Дай-ка еще бутылочку!

Буфетчик откупорил бутылку, отвертел со штопора пробку, приткнул ее на старое место и, выйдя из буфета, принес и поставил ее перед своим собеседником. В это время с другого дивана поднялся и встал, расправляя ситцевую рубашку на огромном животе, другой из проезжавших купцов, человек добродушного вида и исполинского роста. Поднявшись, он взял буфетчика за руку, повыше локтя, и с тонкою улыбкой на лице проговорил:

— Ну, а мужик-то, почтеннейший господин, он-то как будет: виновен или не виновен?

— Который?

— А вот который кончину-то принял, старичок-то... Куда мы его с вами должны определить? Ведь как-никак, а уж положительно можно сказать — нету

человека! Был, ходил, богу молился, все прочее, и, однакож, вот не оказывается... Ну, он-то как? На каком положении будет?

Буфетчик на мгновение как бы опешил от этого неожиданного вопроса, поставившего его в большое затруднение; но общий смех вывел его из этого положения. Вместе с прочими захохотал и он...

— Да, вот вы про что!.. Я думал, что про какого-такого мужика... Да, это дело такое, что можно сказать внезапное.

— Вот то-то и есть! — продолжал толстяк. — У нас всё так-то. Все невиновны, а глядишь — кто-нибудь и протянул ноги... между прочим.

— Действительно, бывает! — безропотно соглашается буфетчик, опять поместившись в своей конуре. — Точно, бывает и так.

— Быва-ет-с. То есть вот как бывает!.. Уж это нам известно... Старичонок этот по крайности тем оплошал, что под дровами шлялся... Все же хоть мало-мало касание было: не ходи под дровами... А то вот как бывает: сидит человек, ни в чем не замечен, бога чтит, начальникам повинуется, все честно исполняет, а между тем — ни оттуда, ни отсюда — хлоп его по шее, да по уху, да в спину, да об земь, да опять по шее, да опять в обе щеки, да по земи-то брюхом, да перевернут, да каблуком, да рылом-то потыкают в помойную яму... А потом вот по-вашему и выходит: «никто не виновен!» И кто рылом в помои тыкал — и тот чист, как голубь. И кто брюхом тебя по земле волок — и тот не виноват!.. Да, наконец, и тот, кого уродовали, — тоже оказался не виновен... «Ступайте, ребята, по домам!.. Все вы невиновны!» А между тем идет человек домой и хоша сосчитан за невиновного, а ведь морда-то у него изуродована как бы то ни было... Невиновен-то он невиновен, а у него все же трех зубов нету в скуле, да рука сломана, да сраму он принял с три короба. Это как надо понимать по вашему мнению?

— Н-нда! — произнес буфетчик, совершенно притихнув и не пытаясь разглагольствовать. — Это уж не благосклонно.

— Вот то-то и оно-то. А виноватых нет... Один говорит: «у меня бумага!» И другой тоже говорит: «у меня

бумага!» И у третьего тоже бумага с собой... Да позвольте, господа, что же это такое? У вас у всех бумага, а ведь у меня собственная шкура! Бумаги-то ваши я за три копейки куплю сколько хошь, а рожу-то я, братцы вы мои, новую не куплю нигде... Ведь, кажется, есть разница?

Купец-великан, говоря это, заметно волновался; он делал руками жесты, краснел и наконец, запыхавшись, сел на средину своего дивана.

— Вот как бывает-то, господа!

— Бывает. Верно! — поддакнул один из живорезов. — Обмордуют, а виноватого нет.

— Ну вот! — сказал купец. — Уж, стало быть, было что-нибудь и с вами?

Но живорез только крякнул, припал губами к блюдечку и ничего не отвечал.

— А с вами, — спросил гиганта один из военных, — тоже было что-нибудь вроде этого?

— Не то что «вроде», а такое было, что, кажется, ежели бы я дозволил разыграться своему карахтеру, так бы и пропал без остатку...

— Да из-за чего же?

— А вот уж этого не могу точно сказать!.. Из-за чего вон старику парень башку-то проломил? Вот так и тут. Видите, какое дело...

Гигант немного поуспокоился и начал:

— Главная причина... надобно в первых словах сказать про мою болезнь. Видите, какой у меня живот!

— Да что же, неужели живот может играть какую-нибудь роль в истории подобного рода? — прервал рассказчика один из военных.

— Играть? Да тут такую роль разыграли, что и татарину того не пожелаю!

— Из-за живота?

— Вот то-то и есть главная причина, что путем сказать-то ничего не могу на этот счет. Уж буду говорить, как было, по порядку.

— Очень любопытно!

— Так вот, изволите видеть. Вот живот этот самый — корень и есть всего... Живот у меня стало раздувать с детских времен. Докторов в ту пору хороших не было, лечили нашего брата знахари да солдаты. Жили мы

в деревне, мельницу держали — большая была мельница. Вот и лечил меня один такой-то лекарь. И мазал, и пить давал, и за ноги тряс — словом, окончательно все нутро мне испортил, так что с тех пор беспрестанно я лечусь и беспрестанно страдаю, даже и сейчас лекарство со мной... Н-ну, хорошо. А живу я, надо сказать, с женой, с детьми под уездным городом Сусаловым, на мельнице. В город езжу часто. Вот года три тому назад познакомился я в городе с аптекарем. Приехал какой-то новый аптекарь. Думаю: «Дай пообзнакомлюсь, не поспособствует ли он мне насчет живота». Познакомились. Человек молодой, хороший, добрый парень. Выслушав меня, подумал и дал пирюли... Дал коробку. «Принимай, говорит, так-то и так-то. Того-то не ешь, того-то не пей». Наставил... Вот стал я принимать; вижу — лучше. Коробку опростал, другую, так и пошло. Только вышло такое дело, что нутро-то у меня стало требовать этих пирюлей все больше да больше. Как чуть нехватает — смерть. И стало так, что, бывало, коробку-то в неделю изводишь, а тут и на день нехватает. Стали мы с аптекарем толковать; подумал он. «Опасаюсь я, говорит, как бы чего не вышло», — ну, однакоже, стал отпускать на свой страх. И стал он мне такие пирюли делать, что в одну по три порции делал лекарства, а наконец того, начал вертеть это... с грецкий орех, стало быть, на один прием. Глотаю их — ничего, вреда нету. Вдруг, судари мои, уезжает мой аптекарь. «Куда?» — «Так и так, проторговался. Нет расчету! Надо поискать счастье где-нибудь в другом месте». Жаль мне его было, добрый парень, да и помогал мне, а делать нечего — уехал. Стал я опять кое-как лечиться, все по докторам, все по докторам... Проходит таким родом с год или с полтора, и надумали мы с женой выстроить домик в губернском городе... Сами знаете, ребятишки подрастают, учить надо. Хочется, как получше, да и не бедняем — славу богу, найдется, чем поплатиться. Подумали-подумали, съездили, купили место и стали строиться. Вот я и езжу на постройку-то — когда дня на три, когда дней на пять. Частенько и в Москву приходилось ездить за материалом. Губернский-то город стоит на машине, всего от Москвы восемьдесят верст, три часа езды. Вот я и рассчитал, что мне выгодней в Москве материал-то брать, то есть, например, гвоздь,

скобу и все прочее по обиходу... Вот таким-то родом еду я раз в Москву, глядь — сидит в вагоне мой аптекарь... «А, друг любезный! откуда? как, что, куда?»... Обрадовались оба. Ну, слово за слово, он мне про свое, а я ему про свое. Был, вишь, в каком-то городе, да опять не поладилось, едет в Москву. Ну, и я ему рассказал, что вот, мол, строюсь. Зашла речь и насчет болезни. «Братец ты мой, говорю, сделай божескую милость, нельзя ли, отец родной, пирюлек мне твоих приспособствовать! Смерть моя!»

«— Пожалуй, говорит, можно. Приеду, говорит, в Москву, зайду в аптеку, куплю всякого снадобья, что требуется, сработаю у себя дома и дам тебе. — Ну, уговорились, где и как встретиться. — Приходи, мол, послезавтра в Патрикеевский трактир, съедим селяночку, поговорим, вспомянем... Я, мол, тебе и пирюли передам. — Хорошо».

Рассказ на минуту был прерван появлением того самого парня, который недавно рассказывал об убийстве. Он проворно сбежал с лестницы и остановился в дверях.

— Ты чего? — спросил у него буфетчик.

— Да ничего, так пришел.

— Обыграли, видно?

— Когда-нибудь и мы обыграем, — ответил парень и, прислонившись к притолоке плечом, стал чесать одну босую ногу об другую.

— Н-ну, говорю, хорошо, — продолжал рассказчик. — Хожу я по Москве, закупаю товар, все честь честью; наконец в показанное время иду к Патрикееву. Прошелся по комнатам — нет моего приятеля. Сел, жду — нет! Жду и час и два; наконец уж и неловко. Потребовал порцию, съел — уходить надо. На грех адреса-то его не спросил. Думаю, надо еще день остаться, потому лекарствие-то уж больно требуется; остался и опять в тот самый час в Патрикеевский пошел — нет! Опять нет. Ну, делать нечего, надо ехать. Поехал... Поехал я не домой, а в город, потому материалу закупал — банки, склянки разные, коробки... Думаю, как-нибудь переночую — в куфне-то уж и печь была и рамы. Вот приехал. Сторож у меня был из мужиков, Родионом звать. Плотников человек десять... Уж спать собрались... Приехал и говорю Родиону: «Поставь-ка, брат, самоварчик!» И вижу я, что

что-то как будто он на меня не так смотрит. Все был услужлив, старателен, а тут, вижу, что-то неладно... Не то делает, не то не делает...

«Глядит как-то. Сказал я ему: «Поставь-ка вон этот ящик от печки подале, а то как бы от огня не разогрелось, храни бог»... Потому политура была в ящике-то, спирты... Сказал я ему, а он так и выпучился на меня. То на меня глядит, то на ящик. Поглядел, поглядел и ушел. Вот жду его так с четверть часа — нет. Пошел в сени, самовар стоит холодный. Думаю, не за водой ли ушел? Позвал — нет ответу. Истинно чудеса творятся! Достал балык — захватил я его из Москвы фунта два, хороший осетровый балык, восемь гривен фунт, — достал балык, хлебца отрезал ломоть, да на белый-то хлеб положил его, вроде бутерброту, положил, значит, перекрестился и только было, господи благослови, рот разинул, гляжу — как есть вокруг всего дому засвистали в свистки, затрещали, заверещали, а плотники в окна рыла пялят... Бросил я этот бутерброт, сунулся было в дверь, хвать — и наскочил на бляху. И Родион тут, указывает на меня и говорит: «Вот он!» Меня и сцапали человек восемь народу. Сцапали и поволокли... Я кричу, вопию: «Что такое, помилуйте...» — «Там разберут!» — «Хошь одеться, говорю, дозвольте — холод, осень!» — «Там у нас дамского полу нету!»... Вцепились, хоть что хошь! Не понимаю. Думаю — не придумаю. Волокут! А кругом плотники, рабочие, сторожа, дворники... Господи, боже наш! Что такое, за что? «Помилуйте, вопию, я купец, домохозяин, капитал имею... У меня дети... Супруга...» А мне в ответ: «В Москве у такого-то, мол, вокзала тоже домохозяева жили, тоже с супругами»... Как услыхал народ про это самое, та-а-к и надвигает! Вижу я, дело худо, попал я в кашу, а в каком она смысле — и не знаю... Как про дорогу-то упомянули, так у меня и у самого-то дух замер... Ни в чем не виновен, разрази меня гром, ежели я.. Сам со слезьми моими... и кровь свою отдам... Чист пред богом весь, а испугался! «Ну-ка, думаю, какое-нибудь окажется касание, бог его знает? Что такое? Что будет?» Все нутро так у меня и занялось холодом... Думаю: «Храни бог, за жену возьмутся — умрет! Ведь с единого взгляду кончится. А как узнает, тоже обомрет». Окончательно сказать, обомлел и ничего

не помню, не понимаю, трясусь, и без шапки... Шел-шел... Вдруг мне и вступи мысль: «А что, как все это одно разбойство? Ведь был же в Москве случай: тоже вот так-то приехали на Рогожское кладбище в полной форме, захватили деньги и уехали, а наконец того оказалось, что приехали воры». Вступи мне это в голову — меня и рвануло за сердце: «Что, мол, я за дурак такой — дался в обман! Ведь дома деньги остались, сот семь с прибавкой... Что же я дурака-то строю?» Как вступило это мне в мысль, думаю: «Не распорядиться ли мне своим средствием?» А вы сами, господа, видите, кажется, не похож я на грудного ребенка. (Рассказчик поднялся во весь свой гигантский рост, тряхнул исполинскими плечами и, стремительно засучив рукав, обнаружил огромнейший кулачище...) Кажется, можно назвать, что имею свой материал? А тут, в таком деле, так у меня сразу прихлынуло силищи во все места: и в шею, и в грудь, и в ноги, и в кулак вступило такое железное расположение духа, что я, недолго думая, ка-ак тряханул, да ка-ак почал лудить, да как почал вклеивать, да как почал конопатить, надставлять да притукивать, приколачивать да засмаливать, как почал раздавать лещей, судаков и осетров кому в нос, кому в лоб, кому в разные места — гляжу: распространено вокруг меня пространство, и стою я, как Минин-Пожарский на Красной площади, в одной рубахе, а народ в прочих местах как рыба бьется на сухом берегу: стало быть, кто головой воткнулся в лужу, кто в плетне застрял, выбивается не выбьется — словом сказать, расшвырял я нечистую силу так, что можно сказать — яко тает воск! Стал я посередке этого самого плац-параду и говорю: «Что вы со мной, разбойники, затеяли?»

Великолепен был гигант-купец в эту минуту, но еще великолепнее был парень, который слушал рассказ купца. Когда купец говорил о том, как он «наклеивал» и «притукивал», делая при этом соответствующие жесты, — и руки, и ноги, и весь корпус парня так и ходили ходенем; смотря на купца, парень никак не мог удержаться от подражания его жестам, двигал локтями, совал кулаками в пространство и не раз попадал в тонкую красного дерева дверь каюты. «Ты что тут дверь-то ломаешь, истукан этакой!» — сурово заметил ему буфетчик; но парень

хотя и оглянулся на него, но, видимо, ничего не понял из его слов, да и купец также вошел в такой азарт, что ни на парня, ни на буфетчика, ни на публику, которая не могла удержаться от улыбки, не обращал никакого внимания.

— Что вы тут затеяли, бессовестные? — продолжал он вне себя. — Где такие права? Нешто можно так по закону? Что за разбойство такое... Только подступись, убью на месте! Расшибу без остатка... — Читаю им этакую рацею, а того и не вижу, что стали они опоминаться да опять ко мне. Глянул назад, а там уж эскадра-то эта самая и подплыла... Подплыла, да как навалится на меня сзаду, да как подсвиснет — только я и свету видел!.. «А, так ты при исполнении обязанностей! А-а-а, так ты такими делами занимаешься?.. Ящик у тебя...» — «Коли так, вышибай, ребята, из купчины дно! (Парень прыснул со смеху, но удержался...) Вышибай ему днище!..» И пошло... Свистки верещат, трещетки трещат, колотушки стучат, а изо лба у меня огонь брызжет, из ушей огонь, а шею все одно каленым железом пекут... Слышу: «Об нем строгая телеграмма... У него ящик...» — «Братцы, кричу, там политура!..» — «А-а-а, гудят, политура! Разделывай его, ребята, под орех!» (Парень не вытерпел, прыснул со смеху, хотел выскочить в коридорчик под лестницей и, со всего размаху треснувшись о притолоку головой, буквально со смеху покатился под лестницу. Рассказчик сурово поглядел на него, но продолжал.) И разделали, братцы мои! Так разделали, что и не помню и не знаю, и что такое, что, где, куда. Жив ли я, помер ли — ничего не знаю! Уж только так... (Рассказчик согнулся, опустил беспомощно руки и стал говорить как-то беззвучно, точно каким-то утробным дыханием...) Уж еле-еле... Господи! Батюшка... Матушка... Бесcловесно и бездыханно... И уж несли ли меня, или сам шел — ничего не помню... Знаю одно: очутился я в темном месте и весь болен; все суставы ноют, все кости болят — окончательно жду смерти (рассказчик медленно опустился на диван). Вспомнить — так и то страшно, перед богом, а не то что... — Ну-ка, любезный, дай-ко мне лимонадцу да рюмочку коньяку!..

Последнюю фразу, обращаясь к буфетчику, рассказчик произнес утомленным голосом; но тотчас же пере-

менив тон, уставился на парня и сказал не без некоторого раздражения в голосе:

— Ты чему, Еруслан этакой, радуешься? Ты чего там ржешь? Рад, что купца-то прижучили, любо? Как вам не любо! Первое для вас удовольствие, игра. Робята малые... Знаю я вас довольно хорошо... Он робенок (рассказчик обращался к публике), а вот возьмет тринадцати четвертей дубину, так с одного маху человека прекратит, а потом в деревне, как малый робенок, на одной ноге скачет, в городки играет... Дитё... стоеросовое! Пороть-то вас ноне стало некому!..

— Н-ну! — как-то обидевшись, промычал парень из коридорчика.

— Чего — ну? Я видел, как ты ржал-то.

— Чего ты тут толчешься? — сказал парню буфетчик мимоходом, подавая купцу лимонад на подносе. — Не твое тут дело, пошел к своему месту.

— Куда я пойду?

— Пошел, говорят тебе!.. Все двери обломал тут... Убирайся!!.

Парень нехотя поплелся по лестнице вверх, но не ушел, а сел на верхней ступеньке.

— Скажите, пожалуйста, — сказал один из военных, — куда же девался ваш аптекарь?

Рассказчик выпил лимонад, отер бороду и усы и сказал:

— А аптекарь-то — эво уж где в эфто время! Уж он, брат, к Соловецким монастырям подкатывает на курьерских... Его уж мчат на всех парусах, а за что — и сам не знает! «И за что, говорит, сам не знаю! Думаю — ничего не придумаю!» Это уж после он мне рассказывал. Как приехал я, говорит, в Москву, взял номер, сходил по делам, закупил припасу, накатал пирюль, да случись что-то, какая-то задержка, к Патрикееву-то он не попал. Не попал к Патрикееву, адреса моего тоже у него нету; вот он взял, обшил коробку, написал адрес и думает, что «отправлю, мол, завтра». Только что он это все уделал — дело было под вечер — глядь, пришел к нему приятель. «Поедем, говорит, к арфисткам за город!» — «Поедем!» Сели на извозчика, поехали. Ну, само собой, и швеек каких-нибудь там присоединили к себе для компании, холостым делом... Попили, погуляли,

провели время, и воротился мой аптекарь с большущей мухой... Как пришел, говорит, повалился, так и захрапел. Слышу, гремят в дверь что есть мочи... Такой треск и гром. Как ни был хмелен, а очнулся... Уж утро на дворе. Очнулся, отворил — хвать, ан эта самая эскадра средиземная и вплыла. «Пожалуйте!» — «Куда?» — «Туда-то». — «Помилуйте, что же так, по какому делу?» — «А уж это там видно будет!» Аптекарь мой спьяну-то забурлил было, а ему говорят: «Хуже будет! Уж лучше добром...» Что тут делать?.. Оделся, идет, да и схватись пирюли спрятать. Как стал он прятать, а у него спрашивают: «А это что такое?» — «А это, говорит, так»... И прячет. Те видят, что человек прячет что-то, — отнимать. Аптекарь не дает, боится — ну-ко расследуют... А пирюли-то вредные, и на коробке-то его имя и фамилия поставлены, — вот он и уперся. «И оставить-то, говорит, в нумере тоже побоялся: думаю, начнет кто-нибудь любопытствовать, проглотит — ан и беда...» Вот он и хотел спрятать к себе в рукав... Ан нет, не дали! Кончилось тем, что один из гостей треснул его по плечу, коробка-то и выпала. Те подхватили и поехали. Приехали в канцелярию, и не прошло полчаса, как подошли к моему аптекарю, спросили фамилию — да на тройку да марш... И пошла писать.

— Да что ж это за безобразие такое? Может ли быть что-нибудь подобное? — воскликнул один из военных. — Это просто какая-нибудь ошибка нелепая.

— А то что же? Само собой, что ошибка. Нешто без ошибки-то можно этак-то? Только вот кто тут ошибку-то дал, вот это-то нам и неизвестно!

— Но ведь впоследствии-то обнаружилось же, что все это вздор?

— А то как же? Обнаружилось, уж это не беспокойтесь — и даже так, что вполне ясно обозначилось, а только, говорю вам, теперича-то мы ничего не понимаем... Аптекарь в ум не возьмет, что такое, только за печенку хватается — думает, как бы не отшибли; да и я-то вот очнулся и тоже ничего не понимаю, ничего вздумать не могу...

— Но как же все это разъяснилось?

— А вот вы слушайте... Уж все по порядку... Каким родом и куда меня опосля этого побоища предоставили,

этого уж я вам рассказывать подробно не буду. Одно скажу — много я страху напримался, а что обиды — нет, не видал. Прямо сказать, вежливость, благородство, тонкое обращение. Я думал, хуже будет, а на место того тут-то и началась самая разборка.

— Вот про это-то, — присовокупил буфетчик, — я и говорю. Сначала надо разобрать дело, а не зря...

— Ну, вот-вот, — подтвердил рассказчик. — Вот все так и вышло по-вашему... Как предстал я, значит, с разбитым ликом — потому всю голову я мокрыми тряпками обмотал, — член-то меня и спрашивает: «Что такое с вами? Чем вы нездоровы?»— «Да избили, говорю, ваше сиятельство!» — «Как? Что такое?» Ну, я ему и рассказал. Он так и ахнул: «Да на каком же основании? Как смели. .» Я говорю: «Сказывают, бумага есть у них». — «Ах, мерзавцы!» И пошел браниться... Бранил-бранил, наконец того спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что это такое?» И показывает мне пирюли эти самые... Я было спервоначалу уперся, потому ничего мне неизвестно. «Ну-ка, думаю, аптекарь-то втесался в какую историю? Ведь ноне какое время-то! И что мне будет, ежели окажу знакомство с ним?» Вот я и говорю: «Не знаю, мол, что такое». — «А не знаете ли, говорит, какого-нибудь Лаптева?» А Лаптев-то и есть аптекарь. «Нет, говорю, не знаю!» Тогда он вынул мешок, в котором пирюли зашиты были, и показывает мне, а на мешке-то надпись: *Ивану Ивановичу Попову. Посылка на один рубль от Лаптева.* «Ведь вы, говорит, Попов-то?» — «Я». — «А посылка вам? ..» — «Стало быть, мне». — «Ну, стало быть, и Лаптева знаете? ..» Тут я вижу, что попался, и говорю: «Виноват, ваше благородие, знаю». — «Отчего же вы сразу не признались?» — «Да боюсь, ваше благородие!» — «Чего же вы боитесь?» — «Да и сам не знаю!» — «Однако?» — «Да всего, говорю, боюсь я, ваше сиятельство. Потому измордовали меня, а доискаться ничего не доищусь...» Ну засмеялся он и говорит: «Вы не опасайтесь, а говорите чистосердечно...» — «Спрашивайте, все открою!» Вот он и спрашивает: «Зачем вам отравленные пирюли?» — «Как отравленные?» говорю. «Да ведь это такие пирюли, что умереть можно... Ведь это, говорит, не то что человек, а и лошадь свалится от таких пирюль. Зачем они были

вам нужны? . .» — «Лечусь, говорю. Желудком страдаю!» — «Но ведь это отрава!» — «Помилуйте, сохрани бог! Я привык постепенно... Окромя облегчения ничего не вижу». — «Ну, а кто их делал?» — «Аптекарь, мой приятель...» — «Расскажите все, как было». Я и рассказал все про аптекаря... Говорю: «Обещался принесть в Патрикеевский трактир, а наместо того не знаю, куда скрылся, не пришел...» — «Где ж, говорит, теперь этот ваш аптекарь?» — «А это уж, говорю, ваше благородие, мне неизвестно!»... Думал-думал, рылся-рылся в бумагах, в звонки звонил... Гляжу, привели какого-то молодого человека... (Незадолго пред этим молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, все время внимательно слушавший рассказчика, поднялся с дивана, надел пальто при последних словах рассказчика и на цыпочках вышел из каюты...) Пришел он, член-то меня и спрашивает: «Этот, говорит, господин делал вам пирюли?» Поглядел, вижу — совсем чужой человек. «Никак нет, говорю... Я их даже и в глаза не видал!» И молодой человек то же самое говорит... Показали ему пирюли, поглядел он. «Ничего, говорит, я не понимаю!»... Тогда член опять порылся, порылся, позвонил в звонки, пошептался с тем, с другим, молодого человека отпустил, а мне говорит: «Да, тут вышла ошибка... Уж вы не будьте в претензии!» — «Помилуйте, говорю, я рад, что хоть жив-то остался!» — «Дело, говорит, в том, что у нас есть Лаптев, вот этот молодой человек, который замечен на худом счету. Вот мы и думали, что пирюли-то он приготовлял... А так как доктора дознались, что они отравные, вредные, то мы и думали, нет ли тут чего... На адресе было ваше имя, вот мы и дали знать... А те, дураки, чорт знает чего натворили! . .» — «Да, говорю, ваше сиятельство, уж век не забуду!» — «Что делать! Дураки, невежи... а время-то, сами знаете, какое...» — «Да, говорю, время точно — не разбери бог!»... Н-ну тут я приободрился, да и спросил: «А где же, мол, ваше благородие, аптекарь-то мой?» — «А это, говорит, надо разузнать... Тут тоже, говорит, какая-нибудь ошибка вышла...» И стал он мне рассказывать: «Должно быть, вышла какая-нибудь путаница в канцелярии... Вот этому молодому человеку тоже фамилия Лаптев, и надо было его препроводить. А препро-

водили-то, должно быть, вашего аптекаря... Впрочем, все это разберется...» — «Ну а мне-то, говорю, как теперича быть?» — «А вы можете идти...» — «Совсем?» — «Совсем, куда угодно... Вышла просто нелепая ошибка!..»

— Н-ну, конечно! — с достоинством и как бы с облегченным сердцем сказал военный. — Разумеется!

— Да, — продолжал рассказчик, — ошибка, говорит! Ну, думаю, слава тебе господи! Подобрал полы — ночь на дворе была — прямо на машину да чрез город-то проклятый, закрывши лицо, на извозчике — прямо на хутор. И в дом-то даже не заезжал, да и сейчас жить неохота, перед богом говорю! Кабы кто купил, за свою бы цену отдал. Приехал на хутор, заперся на замок — ни работников, ни приказчиков, никого к себе не допускаю; даже и жену и семейство отделил от себя... Очувствоваться не могу, отдышаться не отдышусь и суставами-то не действую. Поем, лягу и сплю; поем и спать — только и охоты.

— На том и пошабашил? — спросил один из живорезов.

— Как же! Больно ты скор. Пошабашил!.. Ты слушай, что дальше будет...

— Неужели еще не кончилось? — спросил военный.

— Да тут и кончаться-то нечему... Сами видите, все ошибка да ошибка, а корень-то дела еще не виден. Вы глядите, какой корень-то вылупился!

— А где аптекарь?

— Все будет! Только что по порядку надо... Скоро и аптекарь объявится... Маленечко повремените, ан аптекарь-то тут и есть. Вот хорошо. Сижу я на хуторе месяц, ем, сплю да в бане суставы расправляю... Дом в городе препоручил племяннику. И уж задал же он всем этим канальям звону! Ухо парень у меня! Ну да это до дела не подходит... Сижу, говорю, месяц, отдыхаю, опамятываюсь; гляжу, однова едет верховой... Заекало мое сердечушко! Господи, помилуй нас грешных! Что такое? Подает повестку: «Пожалуйте в суд!» — «За что?» — «А там сказано!» Почитал и вижу — привлекают меня к ответу за оскорбление при исполнении обязанностей... Ладно. Прочитал, расписку дал... Тут меня и рвануло за сердце: «как так?» думаю. Какие же это такие

обязанности? Меня будут колотить, а я отвечай?.. Это, значит, обязанности, ежели мордовать зря? «Ну, думаю, нет, ребятушки! Довольно, поиграли — и будет! Ежели меня сам высший член оправдал, отпустил невиновным домой, так уж вам-то я не дамся!» Заложил тройку — и в город! Телеграмму в Москву — адвоката! Мордобой против мордобою — иск! «Делай, говорю, тысячи рублей не пожалею!» И заварили кашу... Назначается судный день, приезжаю; приехали мы с женой. Подкатили к суду рано еще, в девятом часу, а суд-то в двенадцать. Сели на крылечке, ждем. Гляжу — и аптекарь объявился! Идет, еле ноги волочит; обносился, исхудал, словно нищий. «Ты откуда?» говорю. «Да и сам не знаю! Здоровье потерял, в ногах ревматизм, еле, говорит, жив!» И точно, одышка у него, и кашляет... Сел он тоже на ступеньку с нами, я и говорю ему: «Ну, брат, достались мне твои пирюли! нечего сказать, буду помнить!» А он мне: «А мне-то, говорит, каково было!» И расскажи он мне все, как было, то есть отчего он к Патрикееву не поспел и все прочее, что я рассказывал... «До сих пор, говорит, плечом не действую, как он меня тогда треснул кулаком, как коробок-то отымал!» — «Да ты зачем не отдавал-то?» — «Боюсь! Незаконные пирюли-то... Ведь только по знакомству делал, что знаю твою комплекцию, а он отымает...» — «Да из-за чего, спрашиваю, дело-то вышло?» — «То-то и есть, что я сам-то ничего дознаться не мог... Примчали меня на край света, а там телеграмма: «Воротить! Это — не тот!» Вот воротился я и стал дознаваться в канцелярии... Рылись-рылись, копались-копались и наконец того уж кой-как да кое-как и дорылись до корня. И что ж ты, братец мой, думаешь? Ну, как тебе кажется, из-за чего бы это вышло?» — «Почем мне знать! Я и сам еле-еле дознался». — «Ведь это все, говорит, из-за подлеца Липаткина!» А Липаткин, надо сказать, существует в нашем городе купец... Так, скалдырник — больше ничего, выжига — одно слово. «Как так из-за Липаткина?» спрашиваю. «А вот как, говорит. Ведь у него, у дурака, нанимал я квартиру-то, когда аптеку-то держал в Сусалове?» — «У него». — «Ну и был у нас такой контракт, чтобы перекрыл я ему крышу... Ну, а как дела мои не пошли в ход, я и выехал вон из города, а крышу-то не перекрыл, потому, думаю,

как выезжаю я раньше срока и за четыре месяца у меня заплачено вперед ему, то пущай лучше они пропадают... Сдал заведение и уехал, а Липатка-то вцепился в этот пункт, вздумал взыскивать... Разыскал какого-то писаришку, тот и настрочи жалобу в Петербург, в медицинский департамент, так и так, мол, прошу понудить аптекаря... А в медицинском-то департаменте и разбирать не стали — прямо по месту жительства, в губернию. А в губернии-то, в управе, к одной бумаге приладили другую, уж в уезд, «вытребовать аптекаря для объяснения...» Пришла бумага в уезд, а в уезде-то меня нет, вот и третью бумагу настрочили: «разыскать аптекаря и препроводить», да и ахнули в Москву... Вот в Москве-то меня и разыскивали... Как только я приехал, дал билет прописать, меня и сцапали... А тут эти пирюли — отнимают, а я не отдаю, прячу... Заподозрили... А в канцелярии, в суматохе, тоже ошиблись... Так и пошло все к чорту! Воротился теперь в нумера, все вещи разворовали, износили... То есть не знаю, за что и взяться, — остался с пустыми руками!..» — «А теперь-то зачем ты здесь?» — «Да взыскивает этот дурак...» — «Все за крышу?» — «Все за нее... Подай, говорит, тридцать четыре с полтиной!..» Ну да я ему и гроша не дам, а еще с него взыщу за четыре месяца... Я сам начал против него...» — «У меня тоже дело тут, и я тоже, брат, окопался канавой! Держись крепче, а потом поедем ко мне отдыхать...» Ну, началось дело... Сначала разобрали аптекаря с Липаткиным — оправдали! Пошел Липаткин ни с чем. Ну, а потом мое пошло... Уж тут было дело! Уж мой московский орел показал, где раки зимуют, уж он их так отработал, лучше требовать нельзя... Даже прокурор встал, говорит: «Нет, я, говорит, не могу, отказываюсь»... А мой-то не унялся да опять их молол-молол, толок-толок, тер-перетирал... До того довел, встали все, единогласно: «Нет, не виновен!» Шабаш!..

— Статья есть такая, — отрывисто перебил один из живорезов: — «По совокупному мордобою и взаимному оскорблению — не виновны».

— Ну, вот-вот! Нет, не виновны, потому мордобитие было взаимообразное, — ступайте по домам!.. Вот мы и вышли на улицу. Вышли все: и эскадра средиземная, и плотники, и дворники... Вышли и стоим... И столпилось

нас, дураков, человек шестьдесят... Передрались мы все, как самые последние прохвосты, а выходим все как младенцы невинные... Стали и молчим, как столбы. Вдруг Родионка подходит без шапки. «Виноват, ваше степенство!» — «Ты что ж, говорю, дурак эдакой, сделал?» — «Помилуйте!.. Нам сказано: дать знать, потому бумага... Что нам приказывают, то мы и исполняем... Уж не попомните, возьмите опять!.. Явите божескую милость... Нас тоже не хвалят». За Родионкой — плотник: «Уж ты не попомни... Ведь по нынешнему времю, сам знаешь... Опять же нам сказывали: «Караульте, мол, его — в нехороших делах попался»... Уж ты тово...» — «Это ты, что ли, дурак, спрашиваю, под орех-то меня разделывал?» — «Уж тут все... Уж ты бы... Да ведь и ты тоже на свой пай разделал нашего брата не худо... Ведь у тебя тоже кулачище-то...» За плотником и командиры: «Это — недоумение, извините...» — «Вы за что же мне синяков-то насажали?» — «Но и вы, говорит, тоже мне щеку раскроили... Мы действовали сообразно — у нас телеграмма. А вы треснули меня... Это не более как недоумение... Мы завсегда... Так как вы домовладелец, то очень жаль...» И аптекаря тоже обступили; Липаткин говорит: «Не взыскивай с меня, помиримся!» А писарь из участка говорит: «Вы знаете, какое время? Тут, говорит, каждый день только и делаешь, что с утра до ночи пишешь: «немедленно», да «разыскать», да «представить»... Так тут не мудрено и ошибиться... Такое время...» Столпились тут все в кучу и галдят: «Времена ноне какие... Коли ежели бы не времена... Мы завсегда... почитаем, уважаем... Недоумение...» И вижу я, что хотят все эти дуроломы на водочку. Как же, действовали все с усердием, никто не виноват оказался, а угощения нету? Самый бы раз по рюмочке. «Нет, говорю, друзья приятные, кабы вы не были дуроломы и остолопы, то и времена-то были бы другие... И времена-то были бы не такие, кабы у вас, у подлецов, совесть была...» И ушли с аптекарем... Так они и остались без угощения.

— Всё? — спросил буфетчик.

— А тебе что — мало, что ли?

— Да, — сказал военный, — чорт знает что!.. Дурман какой-то...

— А бывает-с! Перед богом, бывает! — со вздохом проговорил тот купец, с которым буфетчик вел разговор вначале. — И даже оченно частенько... ошибаются! Потому ежели человек не знает ничего, не понимает и в то же самое время боится беспрестанно, то все можно...

— А охотников, — прибавил гигант-рассказчик, — чтобы, например, эдаким манером (он засучил рукава), хоть пруд пруди!..

И тут начались воспоминания о разных подобных рассказанному случаях, и скоро в каюте стало необычайно душно — душно не от табаку, которым в каюте действительно было накурено, а именно от этих рассказов, от этой тягостной, ненужной путаницы человеческих отношений, составлявших их содержание. Ненужные ужасы, наивнейшие злодейства, огромные, нелепейшие недоразумения, бесцельные жестокости — все это, группируясь вокруг какого-то наследственного «страха жить», страха ценить белый, короткий день жизни и как бы полной безнадежности дать этому короткому дню какое-нибудь содержание, кроме непрестанной тяготы и необузданной жадности, — все это до такой степени удручало не только голову, а прямо грудь, стесняло дыхание, что желание свежего воздуха делалось неотразимым. Именно воздуха, самого буквального, несмотря на то, что тягота происходила не от табачного дыма...

Не дослушав все более и более разгоравшейся беседы, я вышел. Меня уже давно занимает одно маленькое обстоятельство, о котором я упомянул мельком, чтобы не прерывать рассказа. Когда купец рассказывал о том, что ему предъявляли какого-то незнакомого ему молодого человека, я заметил, что молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, вспыхнул, сконфузился, но, стараясь скрыть этот конфуз, как-то неловко стал надевать пальто и, как я уже сказал, вышел потихоньку из каюты. Заметил я, что, выходя, он старался пробраться между параллельно расставленными диванами, так чтобы рассказчик купец остался у него за спиной. Это смущение и этот прием ухода, в котором не представлялось видимой надобности, невольно заставили меня подумать о том, «зачем он это сделал?» Выйдя на палубу, я думал найти моего недавнего знакомца там, но его не было. Вместо него я наткнулся на парня-убийцу, который шваброй мыл

палубу. Увидя меня, он почему-то весело улыбнулся и, оскалив зубы, сказал:

— А ловко купца-то отщекатурили. Дюже хорошо!..

— Чем же? Что ж тут хорошего?

— Ничего... Ловко! Иному и этого еще мало!.. Иного-то и не так еще достойно.

— За что же?

— Не делай худа! Они нешто понимают это? Да вот сейчас у нас купец тут один всю реку запрудил и рыбу не пущает. Что ж, хорошо это?

— Как не пущает?

— Да так! Запрудил реку в своей аренде, перепрудил ее, стало быть, поперек, у самого озера, всю рыбу-то и заарестовал у себя... Да ведь что выдумал! железную загородь-то сделал на веки веков! На полтораста верст и нет рыбы... А ведь на полтораста-то верстах сто деревень... Да все они рыбой жили, питались... А теперь вон мызгаются-мызгаются по воде-то, а там ничего нет... Это как — хорошо или нет? Ведь надо ж такую иметь в себе жадность! Помирайте, мол, с голоду сто деревень, только бы мне!.. Нет, они тоже не думают о прочих народах...

— Так жаловаться надо на купца. Он не смеет так делать.

— Ну, жаловаться!.. У него мошна-то, поди-ко, вот как отдувается... Ему выйдет закон, а он его не исполнит — больше ничего... А по-моему вот эдак-то лучше...

— Как «вот эдак»?

— Да вот, как тому... днище-то высадили... Надавал ему хороших, а запруду-то прочь, вот оно и будет без обиды!.. А то поди, пиши бумаги... Ты бумаги пишешь, а он рыбу ловит да продает. Нет лучше, превосходнее, как «своим средствием»... Первое дело — отделал его под орех или под воск, вот он и поостережется грабить-то!..

— Ну, брат, — сказал я, — не вполне ты правильно разговариваешь!

Хотел было я поговорить с ним на эту тему, но, взглянув в сторону, увидел молодого человека. Он стоял на берегу и, к удивлению моему, зачем-то звал меня, делая рукою знаки.

II. ОПУСТОШИТЕЛИ

Я подошел к молодому человеку, стоявшему на берегу, и он с улыбкой рассказал мне, что именно он-то и есть тот самый Лаптев, который по ошибке попал в историю купца и был принят, также по ошибке, за аптекаря. Он подробно рассказал мне как об этой путанице, так и о своем деле, которое привело его в ту же самую канцелярию, куда попал и купец. Разговаривая таким образом, мы долго гуляли по берегу, а когда стемнело, возвратились на пароход. В буфете продолжались разговоры, слышался хохот, а нам хотелось отдохнуть. Парень-убивец, проникнув в глубину наших желаний, моментально устроил нас в дамской каюте, где никого не было. Он принес нам сюда чаю, две подушки и перетащил на своих плечах все наши вещи, оставшиеся в буфете. Мы стали пить чай и разговаривать.

— Все-таки, — сказал я, припоминая недавний рассказ Лаптева о его деле, — я не понимаю, зачем вы ушли из каюты. Пускай бы купец узнал вас — что за беда?

Слегка улыбаясь, Лаптев молча мешал ложкой в стакане чая и о чем-то думал.

— Знаете, — начал он, медленно отделяя слова, — беды действительно нет, все вздор... Но если б он меня узнал, он бы поглядел на меня... Вот этого взгляда-то я и не могу переносить, то есть еще не могу, а со временем, быть может, привыкну, то есть позабуду впечатление этого взгляда. А теперь он просто дерет меня по коже... Как только поглядит на меня *этак* какой-нибудь обыватель, так у меня просто жжет всю кожу, точно когтями кто царапает.

Я не понимал, о каком-таком необыкновенном взгляде говорил мне Лаптев, и молчал.

— Лет пятнадцать кряду, — продолжал мой собеседник, — мне пришлось играть роль того кирпича, который швыряют из рук в руки... Попадешь в одни, швыряют дальше, в другие, а едва попал в эти другие, немедленно бросают в третьи и так далее. Летишь в неведомую даль... И хотя пребывание мое в этих бесчисленных руках было непродолжительно, но я всегда встречал этот... терзающий взгляд, враждебный испуг и если не готовность на жестокость, то во всяком случае непременно мысль о ней.

Вот и купец, если б он узнал меня, непременно бы глядел на меня *таким* взглядом... А я, ей-богу, пока не в состоянии...

— Но ведь и сам купец тоже испытал кое-что,—сказал я. — Припомните, в какую безобразную свалку попал он... Я думаю, напротив, он понял бы и ваше положение... Ведь и он и вы очутились в одной и той же канцелярии...

— Ну нет! — оживленно перебил меня Лаптев. — Купец отлично видит и знает, что он-то, обыватель, попал по ошибке, а вот я, так и по его мнению, попал *за дело*. Свалка-то она точно свалка, если хотите — арлекинада, хоть и необузданно жестокая, грубая, дикая, а в ней, если только поприсмотреться, вникнуть, разобрать, отыщутся совершенно определенные течения враждебности, ненавистничества, и поверьте, что обывательский кулак отлично знает ту шею, которая ему ненавистна. Положим, что, руководствуясь в отыскании этой шеи главным образом чутьем, он по ошибке заденет десятка два соседних и родственных скул и затылков, но уж, будьте уверены, добьется и той скулы, какая ему требуется. Во времена моей юности и я в простоте сердечной полагал, что все это одно только жалкое недоразумение. Не раз мне хотелось сказать: «Безумные, опомнитесь! Ведь вы себя же губите», и т. д. Но потом я убедился, что именно *себя-то* и не губит обыватель, что именно на всех путях своих он только себя одного и помнит... Как же, свалки! Недоразумение! Вот я сегодня читал в какой-то газетке «сцены на Нижегородской ярмарке». Изображены купцы, трактиры, арфистки и вообще всякое безобразие. Люди жрут, пьют, врут бог знает что, как сумасшедшие... В простоте сердечной, пожалуй, подумаешь, что и в самом деле люди эти только безобразничают, а посмотрели бы, как они обделывают дела в то же время. Посмотрели бы, как они в то же время «под гитару» обрабатывают каких-нибудь каракалпаков на ситчике... Нет, обыватель отлично понимает свою часть! Вот почитайте, пожалуйста, тут у меня есть лоскутик из газет... (Лаптев вынул из бокового кармана памятную книжку, битком набитую всевозможными газетными заметками и записками. Кстати сказать, с этой книжкой он почти не расставался и поминутно, в подтверждение своих слов, вытаскивал из нее какой-нибудь писаный или печатный документ.) Вот... Да

я вам сам прочитаю. Дело идет об убийстве одного больного в больнице для умалишенных. Вот... «Били Орлова добрых полчаса. Когда Кудрявцев устал бить и просил помощи, то послал за Филимоном. Этот субъект прежде всего (знает, с чего начинать следует!) давнул Орлова коленкой в грудь, дал по шее и потом дал в бок раз пять с размаху... Смотритель стоял и говорил: «Прибавь», но сам не бил». Итак, видите, позвали, «кликнули» Филимона, сказали: «бей» — и Филимон немедленно приступил к исполнению приказания. Сначала в грудь, потом по шее и, наконец, в бок... Во-первых, во-вторых и в-третьих — все по пунктам... Что же это за стенобитное орудие? Что это такое: машина или человек? Оказывается, что человек, который к тому же поступал совершенно сознательно, и вот, полюбуйтесь, выставляет в свое оправдание уважительную причину... Вот тут сказано: «В свою защиту Филимон ссылался на то, что он семейный человек, имеет при больнице казенную квартиру, дорожит местом и исполняет, что приказано...» Существует, стало быть, двигатель, и, как видите, весьма сильный — семейство, фатера!.. Подумайте только, каково это семейство, какова эта семейная святыня, где можно спокойно чувствовать себя, совершив поистине злодейское избиение кроткого, шутливого (так сказано в стенографическом отчете процесса) человека!.. В том же самом Рыбинске, где происходит это безобразие, ломовой извозчик иногда вырабатывает в день по двенадцати рублей. Ведь есть же, стало быть, возможность не особенно пугаться того, что если и не исполнишь жестокого приказания, то без хлеба будешь... Но для этого надо хоть чуть-чуть думать не о себе, хоть на вершок видеть дальше своего носа... А этого-то и нет в громадном большинстве, в самом, так сказать, фундаменте обывательского общества... Да пусть бы это обывательское «я» было хоть сколько-нибудь разработано, в чем-нибудь выражалось, приняло бы какие-нибудь хотя мало-мальски достойные уважения формы — и того нет... Семейство, фатера!.. Войдите туда, ведь там ничего нет! Разве был за последние двадцать лет хоть единый мало-мальски яркий, внушительный случай, чтоб обыватель, ссылающийся в своих опустошительных набегах на отечество, на свою любовь к семейному очагу, вступился бы искренно хотя бы, напри-

мер, за своих собственных детей? Ведь он нигде не пикнул — ни в думе, ни в земстве, не отправил ни одной депутации, как отправляет теперь с просьбою «запретить нам пьянствовать! .» Одного этого уже достаточно для того, чтобы представить себе, как мало какого бы то ни было нравственного содержания в его «фатере»... И все-таки, если вы попытаетесь потревожить его в этом пустом обиталище, он, не задумываясь, защитит себя... сначала в грудь, потом в бок, потом по шее...

Я попробовал было возразить Лаптеву, сказав, что случай, на котором он основывает свое мнение об обывательском бессердечии, есть случай исключительный, что виновники его понесли достойное наказание и что, наконец, бессердечие и видимая каменность обывателя имеют своим основанием и другие уважительные причины, не зависящие от обывателя; но Лаптев даже и не ответил мне — точно он не слыхал меня — и упорно продолжал порицать обывателя.

— Пуще всего обыватель боится каких бы то ни было нравственных обязательств, нравственных жертв. Все, что не касается лично его благополучия, все, что хоть на вершок раздвигает его до безобразия узкое миросозерцание, — все это пугает его, все это он гонит прочь; он боится нравственной борьбы, он совершенно непривычен к малейшим тревогам из-за каких бы то ни было забот, не касающихся его, а тем паче таких, ради которых он в самом деле должен чем-нибудь пожертвовать.

Опять я возразил Лаптеву и возразил довольно резко, но он не слышал меня, мотал отрицательно головой и продолжал:

— Нет, нет, не говорите! Никакая жестокость, никакая несправедливость не может совершиться, если для этого не будет обывательского содействия... Аракчеев — русский тип. Посмотрите, какою кроткой овечкой разъезжал он за границей и каким оказался по возвращении в отечество... В отечестве у него есть почва, содействие, помощь — все, что нужно. Буря, холера валит у нас эти колоссы, а без этих стихийных пособий обывательская среда, неизвестно еще, быть может и по сей день поставляла бы помощников и пособников. Нет, надо когда-нибудь и обывателю почувствовать себя виноватым. А то скажите пожалуйста, выдумали за все и про все отвеши-

вать перед ним низкие поклоны. Он — кроткая овца, а его «заставляют»... Его вон и пьянствовать будто бы заставляют, и он перестать не может до тех пор, покуда ему не запретят... Депутация едет... Зачем? — «Позвольте нам перестать пить! Запретите, ваше благородие, нам пить! Взыщите с нас, а то мы сопьемся с кругу!..» Бедняжки!..

Я уж не возражал Лаптеву, так как видел, что он недоступен никаким возражениям, что «жестокость», о которой он постоянно говорил, своего рода пункт помешательства, и потому еще, что нельзя было не заметить в нем сильного нервного расстройства. Говоря последние фразы, он как-то вдруг осунулся, побледнел, и губы его стали тонки и белы.

— Овца на заклании.. Нечего сказать, похожа... А кто пропитал этим «фатерным» элементом, этим фатерным смрадом все, что носило за последние годы какую-либо видимость общественного дела, кто? Кто сумел обездушить все общественные учреждения, кто изъял из них всякую тень мысли, кто оставил от этих учреждений одни ободранные голые стены?.. И кто, наконец, с такою кропотливостью работал над тем, чтобы с корнем раздавить малейшую попытку дать этим делам душу живу? Ведь если бы пришлось характеризовать в коротких словах недавнее прошлое, так его нельзя иначе определить, как временем опустошения общественных забот и тщательнейшим изъятием из общества тех людей, которые хоть единым словом пытались заикнуться *в самом деле* об этих заботах. Везде, где только должна была работать мысль о ближнем, — везде, где требовалась искренность, жертва, правда, — везде обыватель утвердил фатерный элемент, поставил дело на нуль, опустошил и за беспокойство отомстил без пощады... Посмотрите-ка хладнокровно, кто остался победителем? — Обыватель! Кто натащил всюду навозу, сору, тупости и глупости?. Кто во имя этих «фатерных» элементов сокрушал ребра ненавистникам? — Все бумага... Да ведь бумага-то приходила по желанию обывателя! Сначала обыватель возропщет и доложит, а потом уж и бумага следует.

Говоря это, Лаптев проворно перебирал листки своей памятной книжки, отыскал какую-то длинную газетную вырезку и, держа ее в руках, сказал:

— Как так «не обыватель»? Вы, я думаю, читаете же, что пишут, и поминутно, на каждом шагу оказывается, что везде, где следовало стоять общественному делу, обыватель устроил червивую компостную яму... Вот, не хотите ли, я вам прочитаю маленький эпизодик. Тут и я участвовал... Эпизод самый обыкновенный — на каждом шагу такие эпизоды были, и есть, и будут... Тут окажутся и правые и виноватые... Словом, все — как обыкновенно. Слушайте!

Лаптев приготовился было читать, и вдруг лицо его, до сей минуты суровое и даже гневное, озарилось мягкой и добродушной улыбкой.

— А знаете, ведь прелюбопытное существо этот обыватель-опустошитель! Повидимому, он только и делает, что приспособляется к обстоятельствам, извивается ужом. Но разберите его хорошенько, и вы удивитесь тому мастерству, с которым он эти самые обстоятельства приспособляет к себе... Какой он мастер оставлять в дураках тех, кому повидимому он покоряется и беспрекословно повинуется!.. Это такая прелесть — на охотника... Да вот слушайте.

Лаптев взялся за листок.

— Повторяю, эпизод самый обыкновенный—миллионы раз у всех этакие эпизоды были под глазами... Но необходимо для полноты картины прочитать все по порядку: «В ознаменование события (имя рек) Посусаловская городская дума в экстренном собрании гг. гласных постановила: отчислив из таких-то и таких-то сумм 8.500 руб. и присовокупив хранящиеся в государственном банке, пожертвованные в 1826 г. купцом Маслянниковым, 19.736 руб. 37$^{1}/_{2}$ коп., а равным образом отчисляя из городских доходов 2.633 р. 4 к., открыть в г. Посусалове ремесленное училище на тридцать человек, преимущественно для сирот и детей беднейших родителей, и ходатайствовать пред правительством о даровании означенному училищу относительно воинской повинности права училищ 2-го разряда. Постановлено также приобрести покупкою купца Ерыгина дом с мезонином, на каменном фундаменте, находящийся городской части, 3 кварт., по Спасово-Спасскому переулку, и приспособить его для помещения училища, то есть классных комнат, мастерских, спален и лазарета на 5 кроватей. При этом гласный Кнутовищев,

имеющий в городе одну из лучших мебельных мастерских и сам вышедший из беднейшего класса, изъявил желание *безвозмездно* преподавать ученикам уроки столярного ремесла. Благой пример не остался без подражания. По примеру Кнутовищева гласный Окаянный, имеющий в городе каретное заведение, и гласный Маломальчиков, славящийся образцовыми сапожными изделиями, также без всякого вознаграждения пожелали преподавать уроки сапожного и кузнечного ремесл, а священник Иоанн Лейденский изъявил согласие на преподавание закона божия за умеренную плату. По доведении о сем до сведения. . .» Ну и так далее.

Лаптев отложил листок в сторону и сказал:

— Это глава первая, часть первая. Чрез год последовало открытие, которое вот здесь и описано подробно. (Он указал на другой газетный листок.) Но я вам этого читать не буду. . . Говоря откровенно, сам я и корреспонденцию-то писал об этом открытии. Благодаря участию одного из моих знакомых, думских гласных, я был приглашен в учителя в это училище. Корреспонденцию я настрочил самую медоточивую, да и действительно я был доволен и делом своим и целью. . . Словом, все вышло хорошо. Набрали действительно сирот круглых и бедняков. Губернатор после молебна сказал очень хорошую речь, между прочим о том, чтобы по выходе из училища ученики не прерывали товарищества. Рассказал о венике, который по прутикам можно разломать, а в связке нельзя. Отлично умный и хороший губернатор был у нас, славный человек. . . Помещение — удовлетворительное, все ново и хорошо. Какой-то благотворитель тут же на молебне пожертвовал тридцать одеял байковых, другой обязался поставлять мясо со скидкой двадцать пять процентов. Губернатор благодарил и хвалил. Повторяю, все было хорошо. Только батюшка сплоховал было, заведя в своем слове речь о превратных толкованиях, да Кнутовищев, избранный попечителем, тоже, как говорится, ляпнул ученикам не совсем подходившее к общему настроению нравоучение. «Вот что, сказал он, господа ученики, так как мы вас призреваем, то вы должны слухать и почитать. Кто не будет почитать, и того я посажу в подвал, а в подвале у меня эво какие крысы — так ухо и оторвет! А розги я мочить буду в щелоку». . . и так далее. Но ора-

тора остановили на первых фразах, и он, немедленно поняв, что не туда заехал, стушевался. Об этом эпизоде я не упоминал, хотя он был в своем роде предзнаменованием. Тогда мне просто было только смешно глядеть на этих простых, простодушных людей, вроде Кнутовищева, который ни к селу ни к городу завел речь о крысах и розгах. Тогда все эти люди производили на меня впечатление добрых простаков; они просто одеты, просто и неумело говорят, а поступают между тем хорошо, пред хорошим делом не задумываются. Все они сами из простого звания, трудовую жизнь знают, здравый смысл и... бородки к тому же седенькие у них. Словом, все в них просто, бесхитростно; да если и есть в них какая-нибудь доля хитрости, так какая уж эта доля? Такие ли люди специалисты по части хитростей?.. Под такими хорошими впечатлениями я, по окончании торжества открытия, настрочил в одну из столичных газет, как говорится, «теплую» корреспонденцию. А покуда я строчил эту корреспонденцию, в том училище шли выборы в попечительный совет, причем в попечители попал Кнутовищев, в казначеи — Ерыгин, в экономы — Окаянный, а в члены совета, кроме этих трех благотворителей, попали и те двое, из которых один пожертвовал тридцать одеял, а другой обязался поставлять говядину со скидкой. Это обстоятельство должно бы было также служить для меня предзнаменованием и указанием; но, повторяю, я тогда был совершенно несведущ по части практических сторон русской жизни, а главное — был доволен и не мог обращать внимания на эти «мелочи». Таково было начало множества таких новых дел, в которых хоть чуть-чуть мерцало пробуждение общественной мысли. Десятки лет она лежала мертвым трупом — и вот как будто начинает шевелиться, как будто очувствовывается, задумывается над обязанностями к ближнему... Чует, что человек должен нести помимо своих личных забот какое-то иное бремя, бремя внимания не к себе только, не к своей норе и утробе. Конечно, все это мало, ничтожно, но лиха беда — начало. А уж чего лучше такого начала! Гоголевские аршинники, архиплуты и протобестии — даже они обнаруживают благороднейшие душевные порывы, обнаруживают готовность нести бремя заботы о ближнем, выказывают до некоторой степени убеждение в необходимости «отвечать» не только пред квар-

тальным надзирателем, а и пред своею совестью, начинают думать по «человечеству», по-божески. Таково, повторяю, было впечатление всех этих весьма многих общественных учреждений, хотя, к удивлению, обывательская совесть пробуждалась почти всегда благодаря какому-нибудь прискорбному событию; так что будущий историк не без недоумения остановится на том факте, что, например, народных училищ открыто по случаю прискорбных явлений гораздо более, чем если б этих явлений не существовало. И это обстоятельство могло бы служить предзнаменованием. Но так или иначе, прискорбные или иные события пробуждали общественную совесть, совесть эта пробуждалась на добро, и этого было весьма достаточно для того, чтобы не обращать внимания на непривлекательные мелочи. Таково начало, часть первая, глава первая. . . Затем следует антракт. лет в двенадцать. Что делается со школой, обществу неизвестно. Раз только в газетах проскальзывает известие, помещенное в самой сумбурной корреспонденции из Посусалова, в числе известий о том, что был пожар, что епископ Амвросий поехал по епархии, что крестьянка деревни Забулдыгиной родила семерых и т. д., какое-то ничего не говорящее известие, что пререкания из-за поставки мебели для судебных установлений не прекращаются. И больше ничего. Известие это мелькает в промежутке между началом и окончанием. . . Вот к этому окончанию мы и перейдем теперь, а об антракте уж будем говорить впоследствии.

Рассказчик отложил прочитанные документы в сторону и, взяв из своей памятной книжки другие, сказал:

— Помните же, что начало было хорошо. Теперь слушайте окончание.

Лаптев развернул огромную газетную вырезку и начал читать с особенным возбуждением:

«Ревизор, ревизующий нашу губернию, в бытность свою в г. Посусалове между прочим посетил местное ремесленное училище, открытое 12 лет тому назад. Зрелище, представшее его глазам, было поистине потрясающее. Из 30-ти воспитанников, как следовало бы по уставу, в училище едва найдено семь или восемь человек, и притом в самом жалком виде. Один из них вот уже второй месяц лежит в горячке, не имея ниоткуда не только помощи или медицинского пособия, но даже и пищи.

Другие воспитанники оказались без сапог, в спальне не оказалось одеял и простынь, тюфяки наполнены мириадами насекомых. Посетив кухню, г. ревизор не нашел там никаких приготовлений к обеду и на вопрос: «Чем вы питаетесь?» — получил ответ: «Воруем по соседним огородам». И действительно, местные жители неоднократно жаловались на воспитанников ремесленного училища, которые воруют у соседей не только овощи и съестные припасы, но и другие вещи: «Нельзя, рассказывали обыватели, повесить белья просушить или чего прочего — всё утащат». В свое оправдание воспитанники указывали на то, что иногда по целым неделям не имеют горячей пищи, а зимой остаются без дров и принуждены пить водку, чтобы согреться. Освещение также происходит весьма неаккуратно. Кроме того, один из попечителей, купец Окаянный, имел обыкновение, будучи в нетрезвом виде, собственноручно наказывать розгами и даже палками, без всякой с их стороны вины, и награждал за эти истязания, по окончании их, выдавая каждому наказанному по 3 коп. и приказывая молчать под опасением еще большего истязания. Более двух лет, как в мастерских не производится никаких работ, так как ученики постоянно исполняют поручения господ попечителей: колют у них дрова, набивают льдом погреба, подметают улицу, за что и кормятся на кухне. С основания школы только в 1875 году, в бытность учителя Николаевского, был взят школою подряд на поставку мебели для мировых учреждений, да и тот был выполнен только отчасти, всего на сумму 133 р., так как один из попечителей, купец и столяр Ерыгин, отнял этот подряд и явился единоличным поставщиком. За все же остальное время, в течение около восьми лет, учениками сделано: восемь пар сапог, полторы дюжины стульев, три стола, два киота и один ватерклозет для архиерейского дома, всего на сумму не более 125 руб., хотя по расчету издержанных сумм каждая пара башмаков должна стоить более 367 руб. 23 коп., пара сапог 575 руб. 99 к., стул 1000 р., ватерклозет 3738 руб. и т. д. в той же пропорции. Что же касается кассы, то едва ли возможно представить то изумление, в которое были повергнуты все присутствовавшие при ее ревизии. Не говоря уже о том, что сундук с деньгами и ключ от него могли быть вытребованы от г. Подхалимова только силою и при содействии

г. полицеймейстера и двух частных приставов, самое содержание сундука было потрясающее: в нем было найдено деньгами два рубля тринадцать копеек, какая-то иностранная медная монета, двоешка орех и куча нелепейших и безграмотнейших записок и расписок; на клочках бумаги каракулями было нацарапано: «взято 2000 р.», — без подписи. «Всего займо браз 3500 руб.». Подпись неразборчива — не то Ерыгин, не то Егоров. Или: «Положена сия росписка вудостоверения отдачи 300 р. купец Ласковый». Ни года, ни числа нет. Есть также такие расписки: «Взял 550 руб. и прошу получить с Маломальскова. Он мне пятый год должен за муку. Живоглотов». Был найден еще какой-то лоскут бумаги, похожий на картон с сахарной головы, на котором было написано: «Взамен дених» — и ни имени, ни фамилии, ни количества денег не указано. Есть какие-то необыкновенные постановления вроде следующего: «Постановляем отчислить по случаю трилетия юбилею училищу в пользу усердия безвозмездия членов по триста рублев на брата и впреть отчислять ежегодно ввиду ихнева усердия и бескорыстия по триста рублей с добавлением священству сто. Постановили члены» — и целый ряд каракуль. Таких расписок, постановлений и каких-то невозможных расходов вроде «8 бочек керосину», или «1300 штук опойковой кожи», или «12 000 фанер красного дерева» и т. д. — несть числа. Кроме того, обнаружена масса расходов, которым даже и не придумаешь ни названия, ни смысла; так, например: «Дано 10 руб.». Кому и за что — неизвестно. Этих таинственных «дано» за восьмилетнее существование школы насчитано до трех тысяч нумеров. Каждый год в училище служилось, если верить запискам, четыре или пять молебнов, причем водосвятие и коленопреклонение отмечались особой платой: так, например, «за молебен 5, с водосвятием 2 руб. 50 и коленопреклонение 5, всего 12 руб. 50 коп. Дано сторожу 1 руб. Дано Федору 4, дано на ладан 9 руб. 37, Авдотье 20 коп. Свечи и прочие предметы 15 руб.» и т. д. В таком же поразительном безобразии оказались и расходы по ремонту училища, которое в день неожиданной ревизии найдено было в самом разрушенном виде: здание, казалось, было взорвано какой-либо подземной торпедой, так как все оно было расшатано, ободрано и скорей напоминало зияющую пропасть, чем жилое помещение, а между

тем на ремонт этого здания ежегодно шло от 7 до 8 тысяч рублей, причем господа ремонтеры из тех же членов и попечителей сами себя благодарили за отличное выполнение работ, умеренность цен и в награду себе отчисляли остатки. Доказано было, по свидетельству людей сведущих и близко знакомых с делом, что один из этих попечителей нарочно выпиливал в доме дубовые стены, из которых делал мебель для судебных установлений, и вставлял осиновые, очевидно для того, чтоб они скорее гнили под сырой штукатуркой, чего и достигал с успехом. Другой — из тех же попечителей — вывез с чердака всю землю, которая ему понравилась и годилась для парников, а вместо нее навозил разного сору со двора училища, что заставил сделать учеников, записав расход «за очистку двора после ремонту — 13 руб. 60 коп.», хотя все это было сделано руками воспитанников училища... Говорят, что начато строжайшее следствие».

Лаптев отложил этот лоскуток корреспонденции в сторону и проговорил:

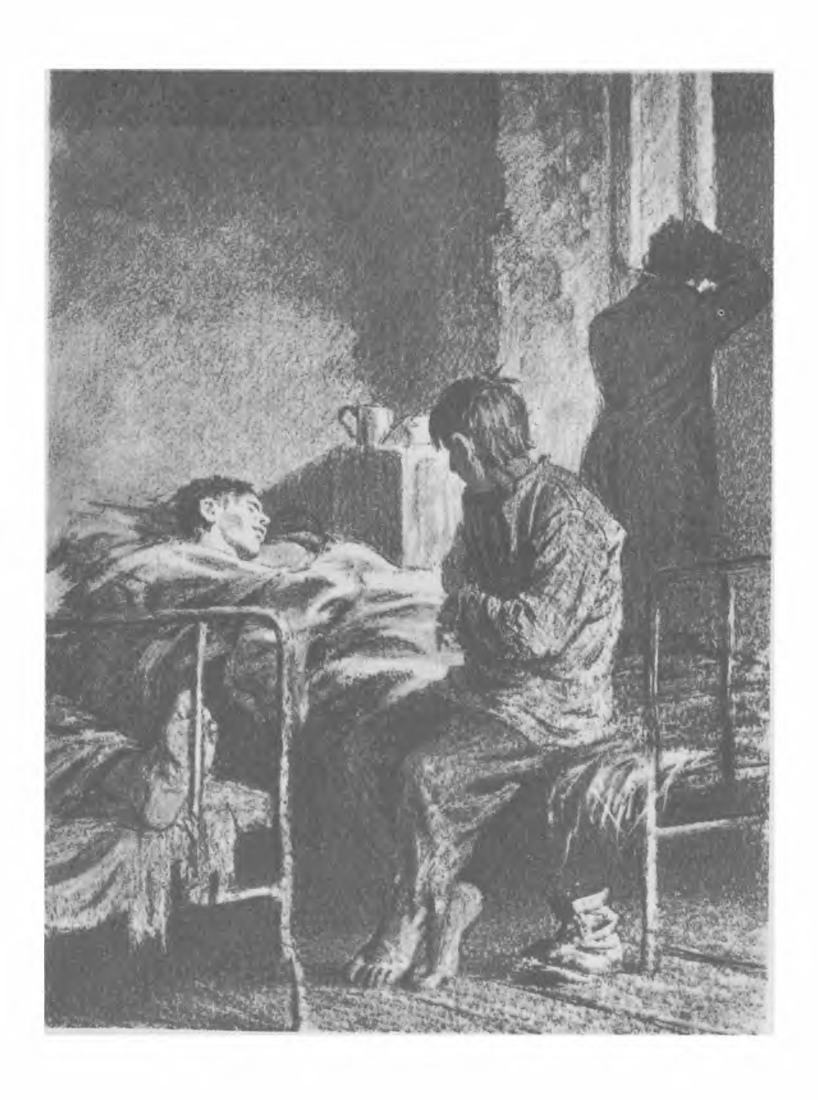
— Пока довольно!.. Вот вам альфа и омега, начало и конец всех дел, имевших целью удовлетворить те или другие общественные обязанности... На каждом шагу, ежедневно, вы слышите и читаете десятки подобного рода эпизодов. Начало — хорошо, благородно, а конец — непременно одно только голое опустошение сундука. Начатое по совести дело в конце концов теряет всякий смысл, теряет малейшую тень общественной надобности или обязанности и оканчивается самым прозаическим хозяйничаньем в общественном сундуке... Опустошенный сундук и — подсудимые...

— Однако, — сказал я, — все-таки подсудимые же, а не торжествующие.

— Об этом мы будем говорить немного погодя. Строжайшее следствие — еще не конец таких опустошительных эпизодов. Есть у каждого из них свой особенный конец — «конец конца». Но об этом после. Выслушайте, пожалуйста, что я хочу сказать. Я привел вам для образчика самое обыкновенное, ординарное, общественное дело или затею, как хотите. Начало такое-то, конец — вот какой. Это у всех на глазах. Но между началом и концом есть промежуток, антракт. В данном случае антракт этот, как я уже сказал, тянется двенадцать лет, и мне кажется,

что этот-то двенадцати-пятнадцатилетний промежуток также в высшей степени типичен и в высшей степени однообразен для всех решительно общественных затей, о которых я говорю. Одинаково у них начало, одинаков конец, и всегда одинаков антракт — то темное, глухое время, которое преисполнено обыкновенно какими-то глухими слухами о каких-то неприятных мелочах, тормозящих хорошо начатое дело и ведущих его к предопределенному концу. Это-то темное, глухое время мне и кажется самым любопытным и поучительным... Какое бы из этих кончившихся срамом общественных дел вы ни взяли, везде вы непременно найдете период долгой и упорной борьбы опустошителя с человеком, который хочет в самом деле наполнить общественное учреждение или затею — как хотите — тем именно содержанием, которого требует затея, учреждение. Всякий человек, желающий вдохнуть в общественное дело живую душу, непременно вступает в борьбу с другим человеком, который, как на грех, *не может* даже переносить этого духа, — с человеком, который прямо враждебен ему, который не нужен, вреден, гибелен для него. Сказать по совести, я даже не виню, не могу винить этих людей, — они такие «с роду», они так затвердели, загрубели в старых понятиях и нравах, они так забиты, запуганы, так глубоко загнаны в свои подземные норы, что просто-напросто им нет возможности ни думать, ни поступать иначе, как во имя интересов своей норы. Но горе-то наше состоит в том, что именно вот эти-то люди, у которых целые поколения предков жили вне всяких общественных интересов, именно они-то и хозяева и осуществители серьезнейших, а главное — новых, незнакомых, чуждых им общественных забот. В каждом новом (особенно напираю на это слово, так как мы в самом деле живем новою жизнью, — повторяю: в самом деле!) деле, которое в силах поднять только возбужденная молодая мысль и молодая сила, в каждом таком деле хозяином является непременно мрачная враждебность, прямое ненавистничество делу. Заметьте эту черту и будьте же когда-нибудь справедливы к недавнему прошлому. Уверяю вас, иной раз мне сдается, что опустошитель — человек не вполне благонадежный. Серьезно!.. И в самом деле, все опустошает, врагов побеждает и — сух выходит из воды! Человек явно расстраивает прекраснейшие планы, срамит самые благороднейшие

общественные начинания, наконец просто разоряет, посевает зло по своему глупому разуму — и все прав. Возьмемте хоть историю с этой несчастной школой; посмотрите на ее цель: «Школа учреждается для сирот, чтоб учить их ремеслам, которые дают хлеб. Предполагается, что заработок их будет храниться в банке до окончания курса, после чего они выйдут на жизнь не с пустыми руками»... «Не прерывайте связи и по выходе из училища», — говорит г. начальник губернии. Отлично. Но кому попадает это дело в руки? — Людям, для которых такая школа — *прямой вред,* заскорузлейшим *хозяевам* в самом грубом, топорном смысле. Ведь эти люди привыкли своих мальчишек драть ремнем (учить), бить, чем попало. Ведь у них ученики спят на голой земле, ходят ободранные, оборванные. Ведь они на этом несчастье строят свое благосостояние, свою нору. Мыслимо ли, чтобы человек такой заскорузлейшей старины мог бы искренно относиться к этому делу?.. Сироты, которые выучились и выйдут с деньгами в руках, разве они пойдут к нему в работники, согласятся валяться на голом полу и получать оплеухи? Ведь воспитывать этих сирот — значит губить себя, значит собственными руками рыть яму своему «заведению» — малярному, токарному, каретному и т. д. Ведь надо же понимать, что люди эти не могут желать успеха этой затее, что она для них — вред, гибель, что она совсем новое дело, требующее новых людей, людей *совсем* иного взгляда на вещи. Но именно эти-то люди — люди, которые только и могут относиться к новому делу как враги, — они-то и его хозяева. Я передаю вам дело в самой грубой форме. Но сколько бы вы ни смягчали ее, сущность останется одна и та же: новое дело в старых руках — дело, требующее человека, который бы общее благо и хотя самое поверхностное служение ему считал в числе своих личных обязанностей, попадает в руки человека или целой шайки, у которой как раз нет и тени никакой иной заботы, кроме заботы о своей норе. Вот ведь я читал вам описание открытия и заседания думы, на котором возникла мысль о школе, — не правда ли, что дело имеет весьма приятный вид? Со стороны этих почтенных обывателей, на первый взгляд, очень много самопожертвования: сироты... бесплатно... безвозмездно... А знаете ли, для того, чтобы провести мысль об этой школе, нужно было «заинтересо-



вать» обывателей самыми прозаическими выгодами? Дело затеял один мой знакомый либерал-барин. Затея не бог весть какая, но, как говорится, «хоть что-нибудь»... Я знаю, барин-либерал — не совершенство, но сверх того он еще барин. Вот где его беда и где самое уязвимое для врагов его место! Так вот такой-то барин из смешанных либерально-барских побуждений (обыкновенно осуществляющихся в виде предприятий, про которые можно сказать опять только — «хоть что-нибудь») задумал устроить и эту школу. Поговорить, посуетиться — словом, «хоть что-нибудь»... Но он мог бы и говорить, и кричать, и шуметь о «пользе просвещения» целые годы, и никогда ничего бы из этого не вышло, если б он не стал поступать просто по-обывательски. «Вот ваш домик, — сказал он Ерыгину, — очень бы годился под школу. За сколько бы вы его продали?» Ерыгин подумал: «А в самом деле... штука подходящая!» — и стал присоглашать других... Мебельщика он «присогласил» поставкой мебели. Мебельщик присогласил кузнеца, сказав ему за чаем в трактире не губами, а как-то в нос: «А ремонт-то! Чудак этакой! ..» Мясник тоже потянулся за мебельщиком и кузнецом, потому хотел сбыть тес, который навозил в прошлом году задешево, и т. д. и т. д. В существе дела всем представлялись суммы какие-то: ремонт, тес, поставка мебели... Словом, «оборот» в том или другом виде. И все это покрывалось «безмездием», усердием, памятованием события, все это «хорошо» для начальства, которому будет приятно. «А ежели ты потрафил человеку, особливо важному, так и он тебе подможет в случае чего». Случаи эти у всех за душою чувствовались, и потому всякому не мешало заручиться перед начальниками чем-нибудь хорошим, тем более что хорошее это делается на чужие деньги, не стоит ни копейки, и т. д. и т. д. Только этим куском и можно было вытащить их из ихних нор и только им и можно было манить их вперед. И действительно, как только кончились все эти покупки, поставки, как только тес был сбыт, а на деньги, вырученные за дом, сделан оборот, так и кончилось все то дело, которое господа опустошители имели в виду, учреждая школу. Теперь, после молебствия и открытия, их стал манить сундук, ремонт, расход, отопление, освещение и т. д. И в ту же минуту началась борьба со мной, который имел в виду, по молодости

лет, делать именно то самое дело, во имя которого устроилась школа, и, разумеется, мои интересы и интересы опустошителей с первого же дня стали совершенно противуположными. Все, до самых последних мелочей, в моих мыслях, в моих поступках было и должно было быть совершенно не тем, что было в мыслях и поступках опустошителей. Во-первых, опустошители почти с первых же дней не стали заниматься своим делом. Столяр Кнутовищев пришел, дал какому-то воспитаннику затрещину, пхнул в другого доской, обругался и ушел пить чай в трактир. На другой день пришел от него работник, которому стали платить по два целковых в день, и деньги эти брал Кнутовищев, а работник только жаловался и бегал в кабак. Словом, с первого дня я ясно видел, что для этих господ-попечителей нет большего удовольствия, как вогнать цену стула или сапога в такие размеры, чтоб их не было возможности продать. Опустошительные намерения для меня стали совершенно ясны с первых же дней, но и для них, для господ опустошителей, так же ясны стали и мои планы. Они увидели, что я хочу делать дело в самом деле, взаправду, всурьез, — и ощетинились. Ведь если помните, в уставе было сказано, что заработок учеников помещается в банке, с тем чтобы выдать его ученикам по выходе из училища; я и начинаю всячески стоять за заработок, подаю бумагу в думу, говоря, что господа учителя не ходят в училище, что работы идут худо. Кроме того, было высказано мнение, чтоб и по выходе из училища ученики не прерывали между собою сношений, что артель — спасение, что веник, который по прутику можно изломать, целиком не переломишь, и т. д. И вот я стараюсь развить между будущими работниками крайне для них нужные мысли; хочу осветить ихнее будущее какой-нибудь надеждой — не затем же я (все, конечно, по молодости лет!) взялся за дело, чтобы выработать из них Кнутовищевых. Могу вас уверить, что такая идея, как идея товарищества, взаимопомощи, даже и в том сиротском кружке маленьких детей, с которыми мне приходилось иметь дело, требовала больших, настоятельных усилий для того, чтобы быть воспринятой. Даже в детях среда забитая и загнанная уже успела развить много трусости за свою несчастную долю, много неподатливости на сближение с соседом. Надо было иногда «долбить», как говорится, и долбить

усиленно, чтобы в забитой голове и душе засветилась согревающая мысль. Но нет, опустошитель одолевает на всех пунктах.. Странное дело! Не знаю, заметили ли вы ту особенность, что *разговор* самый обыкновенный о самых обыкновенных вещах, если только он противоречит опустошительным аппетитам, непременно возводится господами обывателями почти на степень преступления... Такова практика; первая и вторая посылки силлогизма всегда у нас хороши, правильны, но заключение — бог знает что! Например, артельное начало в кругу рабочих предохраняет от пролетариата. Распространение поэтому в массе идеи товарищества заслуживает всякого одобрения. А заключение из этих посылок выходит всегда вот такое: «Ежели же ты будешь об этаких вещах *разговаривать,* так берегись! .» И именно обыватель возвел *разговор* на эту преступную степень.

— А строжайшее-то следствие? — напомнил я рассказчику. — И опустошителям, стало быть, тоже достается?

— Н-ну, это еще вы увидите... Я знаю только, что эти простачки с первого же моего шага почуяли мои *идеи,* отлично определили их вред по отношению, конечно, только к себе. И пошли за них в драку... Вот я вам и говорю: не думайте, пожалуйста, что идет какая-то непонятная свалка. Нет, очень часто тот самый купец, который рассказывал про обиду, в известных случаях с особенным удовольствием сам подведет вас под эту же самую обиду, в ту же самую свалку запутает вас совершенно сознательно, с определенною целью. Я это знаю — я это сотни раз испытывал на самом себе. Столкновения по школьному делу начались у меня и у учеников с попечителями, повторяю вам, чуть не с первого дня. То не учат ничему, то бьют, то ругают, то опять по целым неделям заставляют болтаться, то не топят, или не освещают, или вдруг берут в свои мастерские работать заказы и т. д. Все это вызывало и с моей и с ихней стороны резкости, грубости, и несмотря на то, что всякий раз пререкания начинались — по крайней мере с моей стороны — большею частию по поводу каких-нибудь чисто материальных непорядков, например холода, голода и т. д., — опустошители уже подарили меня прозвищем... «Вы, Иван Иванович, — скажешь, бывало, — топить у нас перестали совсем»...

Или: «Иван Иванович! Что же это дети болтаются без дела целую неделю?» Или: «Разве вы можете заставлять учеников работать на себя?. .» и т. д. Кажется, чего проще этих вопросов? Но в них есть протест против опустошительного взгляда на дело, против самого существа жизни этих Иван Иванычей. И вот вы — враг. И как тонко понимает Иван Иваныч свою часть! .. Однажды, не помню, кому из них, Кнутовищеву или Маломальчикову, я в раздражении сказал: «Вы что же, господа, докуда будете ребят-то разутыми водить и ничему не учить?» Опустошитель, которому я сказал это, в свою очередь ощетинился на меня и вместо того, чтобы сказать: «всегда так будем поступать», воскликнул: «А ты почему это дозволяешь себе ко всенощной не ходить? Люди идут в храм господень, а тебе на это закону нет? Смеешь огрызаться на своих старших и пример делаешь мальчикам непочтения! . .» И ведь замолчишь. Я ему говорю: «Перестань плутовать!» А он мне на это: «Ты, почтенный, не учишь мальчишек. Люди ко всенощной, а ты — в баню. . .» И ведь это принималось во внимание. Жалуется обыватель, и жалуется умеючи! .. Обоюдное раздражение шло у нас этак с год. Держался я только влиянием барина-либерала, а барин-либерал тоже держался благодаря тоже какому-то тесу, который поставлял кому-то из своей дачи по сходной цене... Но, наконец, разразилась буря. Обе партии столкнулись на одном, для обеих в высшей степени важном, событии. Открывались мировые учреждения. В городе образовалось пять участков мировых судей. Необходима была поставка мебели. Я ради сиротского будущего, ради того, чтобы заработный фонд был в самом деле фондом, который даст возможность не пропасть с голоду по выходе из училища, — словом, ради всех законно утвержденных параграфов устава старался отвоевать эту поставку для училища. Сразу приобреталась бы большая сумма денег для фонда, сразу бы началась дружная работа, сразу бы укрепилось на деле артельное начало и т. д. и т. д. Опустошители тоже вцепились в эту же самую поставку, но уж ради себя. Тут уж приходилось в самом деле пожертвовать своим личным интересом. Тут уж приходилось быть добрым не на чужой, а на свой счет. Тут надо было уступить что-нибудь из своего достатка, а главное — подумать в самом деле о пользе

ближнего... И началась война. Я не буду рассказывать ее подробно — это слишком утомительно и неприятно, — скажу одно: победил опустошитель. Средства мои были, во-первых, газетные корреспонденции, но их боялись печатать, сокращали, фамилии заменяли буквами и т. д. Кроме газетных корреспонденций, я старался распространять в обществе сведения, совершенно правдиво изображающие моих врагов, и думал тем вызвать протест общественного мнения. Много мне сочувствовало народу, волновались и попадали иногда впросак, что вредило мне и делу... Сло̀вом, корреспонденции и общественное мнение не помогли мне, а вот опустошителям приемы ихние помогли. И заметьте опять: все я действовал только во имя школы, во имя дела. И писал, и говорил, и старался, чтобы говорили другие, — *только* о школе, только о заработке для нее, словом, опять-таки буквально об одном только деле и в частности только о материальной выгоде. Опустошители ничего подобного не делали. Напротив, они действовали против меня как раз наоборот; в их «средствиях», употреблявшихся к тому, чтобы меня истереть в порошок, материальная выгода не играла никакой роли; ни единого слова не было о ней во всех их рукописаниях. Ни о поставке мебели, ни о том, что эта поставка им выгодна, что это составляет для них большой расчет, ни разу, ни единым словом никто из них не пикнул, и все-таки в конце концов мебель досталась им. Вот, например, одно из этих рукописаний...

Лаптев снова порылся в своем неиссякаемом источнике обличительных материалов, то есть в записной книжке, и подал мне исписанный лист почтовой бумаги.

— Это копия, которую мне пришлось достать несколько лет спустя после всей этой истории. Читайте и помните, пожалуйста, что авторы этого рукописания только и думают о том, чтобы заполучить поставку. Помните же! — прибавил Лаптев внушительно, в то время когда я принялся за чтение рукописи.

В рукописи значилось следующее:

«Его добромыслию господину первоначальнику и кавалеру.

Двадцать седьмого сего ноября прийдя я к училищу, как состою в числе прочих безмездных попечителей, то увидел учителя Лаптева, стоит он противу киоты, для

приуготовления оной под политуру, под икону святыя великомученики Андрианы и Наталии, праведные чудотворцы, и, стуча онные (?) кулаком, утверждал публично, невзирая на юношеский возраст младенцев, кои есть вполне без смысла и должны слушаться и почитать своего учителя, то сколь было прискорбно; коль скоро, вполне дерзко стуча об онной киоты, произносил дерзкие и глупые слова, которые вполне вовлекают человека в погибель, тем более младенцев, которые вышесказанные гнусные слова должны брать себе примером. Когда же на мой вопрос, должно ли почитать бога, и кто сотворил небо и землю, и почему земля пожрала живыми Дафана и Авирона, потому что едва только усумнились, то означенный Лаптев вторично дерзнул выражать такие слова, которые недостойны даже какого-либо арестанта или человека, не имеющего в себе рассудка. Тогда, умолкнув, я кротко отошел от него, что уже не в первый раз, и только сожалел, каков есть разврат в учениках, что делают грубости, непослушание, вредные пороки, непочитание своих старших начальников, — и то уже давно всеми замечено, почему и осмеливаюсь искать правды. Не чернилами пишу сии мои слова, но слезами, и не токмо чужим, но и своим детям, как заповедано в законе, не пожелаю того безумия. Что же будет, ежели мы допустим распутствовать нашим детям, издеваться над высшими предлогами и прочими, которые есть, как то: страх господень начало премудрости, а не то, чтобы храпеть или выражать какие-либо тому подобные дерзкие слова против своих попечителей и старших. Зачем же постановляются начальники, ежели мы будем внушать непочтение и разврат? Иной умник лба не умеет перекрестить, подобно учителю Лаптеву, который почитает приятнее упоминать беспрестанно развратные мысли перед своими учениками, но не ежели перекрестить лоб или даже потрудиться пройти к обедне. Это у них считается за глупость, а, между прочим, мы видим и содрогаемся, до чего может довести ихнее безумие, конечно, чему и быть окромя злодейства от ихнего безбожного смысла, коль скоро совершенно распущены и управы над собою не имеют. Даже в мальчишках, бывши я на черной работе, в нужде и бедности, и то не слыхал таких дерзких слов или же поступков, подобно что поступает Лаптев. И что ж теперича, при склоне лет,

и всеми начальниками почтен, всегда служа бессловесно, неужели же мне не будет снисхождения даже от мальчишки, каков есть учитель Лаптев, который есть явный разврат малолетним, а, между прочим, ответ спросится с нас: мы же отвечаем и пред богом и перед начальниками. А какова в том вина наша? и то не наша вина, а дух века, рыкание сатанино и безбожие! С низкопоклонением вопию: изведи младенцев из геенны погибели и не введи нас во искушение. Вечный богомолец и всеусердный раб, потомственный почетный гражданин Митрофан Кнутовищев».

— Ну как вы находите, производит это рукописание какое-нибудь впечатление, кроме, конечно, безграмотности?—сказал мне Лаптев, когда я возвратил ему рукопись.

Я должен был сознаться, что рукописание должно производить впечатление довольно сильное: простые выражения, так горько выраженное оскорбление религиозного чувства — все это делает бумагу достойной внимания...

— А о мебели, — продолжал Лаптев, — ни полслова, ни тени намека! Одна оскорбленная седина, одно оскорбленное чувство.

— Но, — сказал я, — неужели же в этой бумаге нет ни единого слова правды и все это сочинено?

— Напротив, очень много... Не думайте, пожалуйста, что такие рукописания пишутся зря. Опытные в опустошениях люди отлично знают, что такая бумага должна иметь последствия. Будут узнавать, расспрашивать... И ответы всегда получаются подходящие к тому, что сказано в рукописании. «Стучал по киоту?» — «Стучал!» — «А в церковь ходил?» — «А бог его знает», и т. д. Такие ответы с чистою совестью дадут самые беспристрастные люди, потому что все это было, но было по известной причине, о которой ближайшим свидетелям сцены, ученикам, нельзя сказать, хоть бы они и знали, потому что они — сироты, нищие, призреваемые и их завтра же выгонят вон, а другие не скажут потому, что не знают этой причины. Дело же было так: в самый разгар борьбы из-за поставки Кнутовищев и другие его компаньоны задумали пустить в ход одно из самых действительных средствий, всегда помогающих заручаться вниманием первоначальников. Я скажу вам об этих средствиях вообще немного погодя, теперь же буду говорить только

о том из них, которое было пущено в ход ради мебельной поставки. Изволите видеть, жену первоначальника звали Наталия. Она состояла попечительницей какого-то благотворительного общества, где членами были все эти Кнутовищевы с братией. Десятилетие ее попечительства исполнилось как раз в разгар мебельной борьбы. Жена первоначальника, разумеется, имеет влияние на мужа первоначальника, и вот является поднесение в день десятилетия — простенький образок, купленный за сорок пять копеек, в простеньком киоте. Киотик-то этот куплен был на базаре, тоже за сходную цену, и вот Кнутовищев притащил его в училище пообделать и помазать политурой. Механику всю эту я, разумеется, знал, и вот, «стуча по онному киоту и говоря», и т. д. — все как следует. Взбешен я был тогда ужасно... «Так вы этакими фокусами хотите училище-то разорять?» сказал я, «стуча». Кнутовищев стал огрызаться, закричал что-то, а я его обругал. Вот и все! Все было, и все если не так было, как пишут Кнутовищевы, то «по расследовании» оказывается, что «что-то» было. И именно — с киотом, именно — «стуча», и т. д. А уж этого вполне довольно, чтоб уважить требование Кнутовищевых. Если даже окажется, что Кнутовищевы слишком близко к сердцу принимают огорчения, если окажется, что Кнутовищев возмущен пустяками, то и тогда ему оказывается внимание... И знаете ли, отчего это происходит?

Рассказчик вопросительно взглянул на меня и продолжал:

— Опять-таки оттого, что Кнутовищевы отлично изучили натуру первоначальников, а первоначальники у нас идут начиная с сельского десятского и так далее... «*Мои* мужики», говорит староста; «*мои* старшины», говорит становой; «*мои* купцы», и т. д. Вот это-то смешение разными первоначальниками обязанностей и прав с достоинствами собственной особы опустошители-то и эксплуатируют как нельзя успешнее... Как скоро они заметят, что в первоначальнике крепко сидит наивная самоуверенность в том, что он, *сам* — он, Иван Петрович такой-то — носит в себе прирожденный залог уважения, так они и видят уж, что «правды» строгой и трезвой в Иван Петровиче нет, а есть в нем произвол доброты... Зачем же гневить человека? Разумеется, надобно всячески возбуждать в нем чувство

личного удовольствия, надобно как можно чаще доказывать ему, что он именно, как Иван Петрович, необыкновенен. На глубоком знании этой черты основаны все эти поднесения «даров» — простых, нероскошных, а доказывающих только голубиное, детское чистосердечие. Так, например, в качестве простых и добродушных людей, Кнутовищевы любят подносить первоначальникам рыбу, судачка, например, копеек в тридцать, но «своего засолу»... Вот это-то и дорого! Совершенно как ребенок подносит отцу домик, склеенный бог знает как безобразно, но склеенный с желанием сделать приятное, по силе возможности... И вот судачок на деревянном блюде (на деревянном!) и простая речь: «Уж не взыщите! .. Больших достатков нет, а как мы чувствуем, понимаем и чтим, что... вот... от трудов!» Вот почему и киотец в день Андриана и Наталии... А потребуется другое — и другое будет, лишь бы это «другое» льстило Ивану Петровичу с супругой, лишь бы Иван Петрович думал, что *его* купцы оправдают его доверие... В нужное время Кнутовищев тащит к *своему* благодетелю уж не судака, а тряпья на корпию (в книгах ремесленного училища значится: двести простынь «за негодностью» проданы с аукциона), а иной раз, по желанию первоначальницы, вынимает прямо радужную — и две и три — всё, конечно, на доброе дело... И всё молча и беспрекословно. Только пот утрет дырявым платком со лба, поклонится простым русским поклоном (руки с шапкой и платком врозь) и промолвит: «Мы завсегда — с нашим... с полным...» А в то же время с каждым новым судаком или киотом в Кнутовищевых растет уверенность в своей прочности. «Мы *вам* уважаем, а уж вы *нам* уважите!»... То есть мы именно вам, вашей особе уважаем, уважаем Ивану Петровичу — не власти, которая на вас (зачем власти судак?), а особе вашей достойной... Ну, уж и вы тоже, Иван Петрович, обязаны *этак* же, лично нам, уважить — не просто купцу, гражданину уважить в его справедливых требованиях, а именно купцу такому-то: *моему* Камилавкину, *моему* Кнутовищеву... То же самое было и в моем деле.

— А строжайшее следствие?

— Не знаю. Была одна телеграмма вскоре после того письма, которое я вам читал. Сказано было: «Говорят,

ревизор энергически принялся за очистку авгиевых конюшен попечительства над училищем». А потом и нет ничего — по крайней мере я не видал. Да и нельзя! Невозможно иначе! Какое тут следствие, помилуйте! Покуда первоначальникам (губернским или деревенским — все равно) не придет в голову отвыкнуть от дурной привычки — ни с того, ни с сего считать себя отцами и давать волю *своему* вкусу во всех общественных делах, — всегда так будет... Посмотрите в самом деле: Иван Петрович в настоящее время не может сказать, например: *мое* земство, не может сказать: *мой* суд или *моя* молодежь... Ни земство, ни суд, ни молодежь не пойдут к Ивану Петровичу с судаком — следовательно, они ему неприятны, он далек от них, он сторонится, они не удовлетворяют его преданностью именно к его особе, к особе Ивана Петровича... Земство — не опора, молодежь — не опора, суд — не опора; остается для опоры один Кнутовищев — ну-ка, вытащите его на свежую воду, проберите-ка по заслугам... Кто ж останется-то?

Давно уж на пароходе царствовала мертвая тишина, но мы еще долго разговаривали с Лаптевым все на те же тяжелые темы... Начался рассвет, когда мы, наконец, заснули.

Жаркий солнечный день подвигался уже к полудню, когда я проснулся. Лаптева уж не было в каюте.

III. ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

I

Прошлой осенью неподалеку от меня, то есть от той деревни, в которой я живу уже довольно давно, нанял себе квартиру в крестьянском доме один мой приятель. Поселился он в деревне и неподалеку от меня потому, во-первых, что оба «мы хлеб добываем литературным трудом»,[1] во-вторых, потому, что в Петербурге стало уж

[1] Стих. Н. А. Некрасова «О погоде».

очень тяжело и скучно жить, и, наконец, потому, что ощущаемая всеми тяжесть мало-мальски сознательной жизни отразилась на моем приятеле сильнейшим нервным расстройством. «Пожить в деревне», «отдохнуть», «очувствоваться мало-мальски» — вот что думал мой приятель, нанимая верхний этаж крестьянского дома в Ямской слободе. Намерения его, как видите, были самые скромные и безобидные; но и такие намерения, как увидим ниже, не всегда и не для всякого осуществимы в наши тяжелые дни. Прежде всего необходимо сказать, что нет такой профессии, которая, будучи перенесена из столицы в деревню, в такой степени смущала бы деревенских жителей, как профессия литературная. Самый первый, самый существенный вопрос, который подлежит разрешению деревенских жителей при появлении в их среде нового лица, формулируется так: «зачем приехали?» И литератор не может выяснить его не только вполне определенно и точно, но даже и мало-мальски удовлетворительно. «Приехал *так*... жить, отдыхать...» — вот что может ответить он по сущей правде; но такой ответ немедленно должен вызвать другой, еще более затруднительный вопрос, именно: «Отдыхать? Стало быть, капитал имеете?..» А так как на это ничего другого не приходится сказать, кроме: «Нет, капиталов не имею», — то это сразу делает его личностью подозрительной. В голове деревенского жителя с двух слов возникает огромнейшее недоразумение: «Отдыхать приехал; а капиталу не имеет — что это за существо и зачем сюда явился?..»

В настоящее время по деревням, особливо пришоссейным и прилегающим к железной дороге, как те, в которых поселились мы с приятелем, стало появляться много небывалых прежде профессий — много людей, не имеющих с крестьянством и земледелием почти никакой связи. Но все эти «новые» деревенские жильцы, все эти пришельцы всегда могут дать на предлагаемые им деревенскими жителями вопросы самые точные и определенные ответы. Один говорит: «приехал насчет телят», другой — «по сенной части», третий просто ответит: «грибы», четвертый скажет: «на станции служу» и т. д. Все это понятно и ясно с первого слова; даже такой, повидимому, неопределенный и таинственный ответ, как «приехал по своей части», и тот понятен и удовлетворителен для

деревенского жителя. Мало ли в самом деле «делов» и «своих частей»? Может, он хочет «проникнуть» в телячью часть, или в грибную, или в сенную, или, наконец, пронюхивает местечко на железной дороге. За таким человеком нужно только «поглядывать», надо смотреть только *одно,* не сунулся бы он в какую-нибудь из таких частей — сенных, грибных и т. д., которые уже абонированы местными обывателями. Но такой ответ, какой дает литератор, то есть *«приехал отдыхать* (подумайте: *ехал,* платил за билет... зачем? — отдыхать!), *а капитала* не имею», — это не ответ, а тьма кромешная. Тут не видно той нити, которая дала бы возможность изучить специальность человека, — тут сразу является необходимость смотреть *«в оба».*

— Из господ, что ли? — спрашивают обыватели того из своих собратьев, который первый имел несчастие получить вышеупомянутые неудовлетворительные ответы.

— А шут его знает! Капиталу, говорит, не имею...

— Что ж, на машине, что ли, место получил?

— Нету, какое на машине!..

— Чего ж он здесь?

— Так, вишь. Говорит: «отдыхаю»!

— А капиталу нету?

— Нет, говорит, капиталу.

— Чего ж ему отдыхать без денег?

— А пес их знает!

— Тоже народ... Без денег приехал отдыхать... зимой! Поглядывать бы за ним надоть...

— Нонче, брат, всякого народу довольно. Гляди в оба!

Но неведомый человек хоть и объявил, что капиталу не имеет, а платит за все, что берет. Попробуют запросить вдвое (собственно для пробы) — платит; очевидно, ничего не понимает, а тем паче по телячьей или какой части. Опробовали его по части понимания «вобче», принесли барсучью шкуру и запросили рубль — дал, хотя шкурке красная цена — сорок копеек. Очевидно, что хоть капиталу нет, а деньжонки есть. Не то чтобы доверие, а так... только некоторое внимание возбуждает этот человек своим «непониманием вобче» и расплатами. «Покуда платит, нам какое дело? — говорят местные обыватели. — А в случае чего... на то есть начальство».

А все-таки любопытно знать, чем, «какими способами» человек деньги достает, коль скоро настоящего капиталу не имеет. И вот начинаются расспросы издалека — расспросы, которые еще более затемняют неизвестную личность.

— Что я все дивлюсь, как вы долго по ночам... Все огонь!

— Занимаюсь.

— Какие же ваши будут дела?

— Да вот все по части книжек... Бумаги вот разные...

— Что же, в канцелярию какую пишете?

— Нет.

— Стало быть, не служите?

— Нет, не служу.

— Таперича, позвольте сказать, которые вы пишете бумаги или хоть книги, то по казенной они будут надобности или по своей?

— Нет, не по казенной...

— По своей, стало быть?

— Да, по своей.

— Следовательно, так надо почесть, что по судам дела делаете?

— Нет, не по судам.

— И не то чтобы прошения или прочие какие дела по судейской части?

— Нет, не по судейской.

— Стало быть, не по судейской?

— Нет, не по судейской.

— Не насчет каких прочих делов, или что касается, например, которые бывают аблакаты, или по писарской части?

— Нет.

— Нету?

— Нет, не по этой части...

Молчок. Затем:

— Та-ак!

Чтобы понять всю глубину этого маленького словечка — глубину той бездны сомнения и недоверия, в которую повергает вопрошателя вопрошаемый, — потрудитесь соединить в одно все, что этот вопрошатель слышал от неизвестного человека со дня его приезда.

«Приехал *так,* отдыхать... Капиталов не имею... Не по писарской... Не по судейской... Не служу... Не в канцелярии... Ни насчет прочих «делов»...» Итого: первое слово — «отдыхать» и затем бесчисленное множество — «нет». Этого вполне достаточно, чтобы деревенский житель окончательно усомнился во всем, в каждом слове, которое было говорено ему вопрошаемым. «Дурака-то, братец ты мой, из меня не выстроишь», — думает он про себя, а вслух говорит: «Та-ак!» — и чтобы не дать заметить вопрошаемому своего полнейшего к нему недоверия (очень искусно умеют они это делать), ласково прибавляет: «Ну, пока что, до приятного свидания!..»

В конце концов, волей-неволей, а приходится-таки давать подробное объяснение. Идет долгий и продолжительный разговор, начинающийся чуть не с Гутенберга. Приходится давать самые обстоятельные ответы на тысячи неожиданных вопросов (о том, что такое книга, как она печатается, как делаются буквы, сколько в книге сотен тысяч букв и т. д. и т. д.), и если в конце этих откровеннейших объяснений слушатель поймет, что есть какое-то дело, которого он не знает и о котором не слыхал, то еще слава богу. Большею частью и этого результата нельзя добиться. «Что-то не так!» — сидит в голове обывателя, и если он перестает допытываться и «доходить до корня», то единственно потому, что уже решил: «Нам какое дело? На то есть начальство! Наше дело — не касайся, а получай, коли есть за что. Какое у него дело — неизвестно; разыскать что доподлинно — уж разыскивали; бормочет бог весть что — лучше оставить... А деньги точно что получает. Теперь необходимо «опробовать», много ли денег-то получает. Что у него за работа — пес с ним, а денег-то много ли?» И опробывают так: опять несут барсучью шкурку и запрашивают три рубля. «Почему так?» — «Да больно уж глубоко в норы позабирались, каторжные! Доставать-то их оттедова оченно много хлопот». — «Как же я купил за рубль?» — «Да теперь цены не те». — «И рубль-то дорого. Все покупают по полтиннику. Вот вчера по полтиннику мужик продавал». — «Какой такой?» — «Уж я не знаю».— «Нни знаю... Так не возьмете?» — «Пятьдесят копеек». — «Маловато! Прибавьте». — «Мне он вовсе не нужен,

я просто так покупаю. .» — «Прибавьте... Ну, за шесть гривен». — «Зачем же ты запросил три рубля?..» Следует великолепная, во все лицо, улыбка — точно солнце в полном блеске, сияет и блестит лицо вопрошателя. «Да нам что больше, то приятнее!» — «Ты что же думаешь, что у меня не деньги, а щепки?» — «Да ведь нам почем же знать? Трешной не даете, так и шесть гривен возьмем... для вашего здоровья».

«Нет, — решает после этого следователь-обыватель, — не вполне при деньгах... Деньжонки есть, а не так, чтобы при полном капитале». И дело все-таки оканчивается прежним решением: «Нам что? Мы нешто что? В случае чего... на то есть начальство. А нам какое дело?»

Но, порешив таким образом и, повидимому, успокоившись, обыватели не перестают хранить полное недоверие к личности неизвестного человека, занимающегося неизвестным делом. Дело им неизвестно, но достаточно уж того, что оно — не крестьянское, не кулацкое, не торговое, а барское, господское. От самого последнего мужичонки, от бесприютного нищего, побирающегося под окнами, через всю длинную лестницу крестьянских типов разнообразных степеней благосостояния — через всю лестницу типов, олицетворяющих собою благосостояние кулацкое, вплоть до тузов-кулаков, до тысячников — нигде, никогда ни от одного человека нельзя услышать слов «приехал *отдыхать»,* то есть ничего не делать, как только от барина. Он один никогда ничего не делает — такая уж порода и такое о ней мнение: к тому, чтоб ничего не делать, все они и стремятся; а чтоб «отдыхать» да ничего не делать — нужен капитал, деньги. Вот эти-то деньги барин и хочет добыть какими бы то ни было каверзными способами. Это он все мутит и орудует... И поэтому, что бы он там ни толковал, какие бы узоры ни выводил языком насчет «своих делов», насчет того, что, мол, «книжки печатаю»,— все это пустые слова, выверты, прикрывающие уязвленное самолюбие барина, который только и думает, как бы «повернуть на старое»... «Отдыхать приехал! Отдыхай, любезный, покуда деньжонки маменькины не перевелись. А только что в случае чего, так ведь у нас и начальство есть. Слава тебе господи, не бессудная земля!»

II

Так решают дело обыватели-крестьяне, люди хотя и не вполне полированные (а полированных людей в наших местах, благодаря близости Петербурга, очень и очень много), но и не лишенные уж некоторой доли политуры, как и вообще все здешние крестьяне — в огромном большинстве тип не вполне симпатичный. Но здесь же, в этих же местах, есть уж тип вполне ополитуренный, то есть уж шаромыжник в полном цвету. Скрытая, но непреклонная его ненависть к барину прикрыта многоразличнейшими приемами, обнаруживающими, что человек понимает до некоторой степени общее положение дел. Он почти всегда лезет в знакомство с господами и хотя, благодаря этому знакомству, нагревает мужиков, но и барину *всегда* от него приходится плохо. Играет он всегда на старых «барских» струнах: предупредительность, любезность, услужливость, холопство и т. д. Система его — «потрафлять» и тем истощать барина и его карман. Он изучил господский «нрав», как охотник изучает нрав тетерева или барсука, и изучил для того, чтобы продать этого барсука или тетерева на базаре. Такие политурные люди хотя и смотрят на барина в сущности точно так же, как и остальные полуполитурные и совсем неополитуренные крестьяне, но уж понимают, что нельзя так, зря, приходить к нему только за деньгами и брать их, глядя в сторону. Понимают, что барином еще можно попользоваться и другим родом. Они читают в трактирах «листки», знают, что такое «газета», понимают, что можно писать и не служить, не занимать писарской должности. . . Они знают, что на свете существует печатная, газетная кляуза. И вот к новоприбывшему в деревню, неведомо чем занимающемуся человеку начинает являться политурный кляузник — не за деньгами прямо, а с кляузой, с покорнейшей просьбой «пропечатать». Кляузничество занимает такую огромную область в нравах современной ополитуренной деревни, и область эта до такой степени непривлекательна и смрадна, что говорить об этом подробно невозможно — отвратительно. Скажу только, что современная кляуза группируется в два типа, в кляузу судейскую — открыто *личную* — и кляузу хотя тоже личную, но прикрытую общественным интере-

сом. Кляузник первого типа — большею частью состоятельный мужик, самолюбец и злец; лет пятнадцать сряду он хочет донять какого-то дядю или какую-то тетку, донять на пустяках, за то, что не уважили его в чем-то на медный грош; у него целый мешок бумаг из уездных и земских старых судов: копий, решений, постановлений, кучи документов из окружных судов, судебных палат, правительствующего сената, от нотариусов и т. д. Он просудил уже около тысячи рублей; будучи кругом неправ и зная, что неправ, он все-таки не может, не хочет остановиться, роется своею злостью, как крот, глубже и глубже, зарывается в бумаги и т. д. Это — самодур, и всегда он ищет такого человека, который бы взялся изобрести новую кляузу, прицепиться к чему-нибудь, заварить вновь кашу, чтобы тетка еще на двадцать лет не знала покоя. Он только и хочет, чтобы нашелся «человечек», который бы *непременно кляузу* выдумал, хотя большей частью разговор идет всегда о правде и о том, что не сыскать нынче правды нигде. Но глаза его говорят: «прицепись, замути!»...

Преобладающий кляузник несомненно принадлежит ко второй категории кляузников — кляузников из-за личных расчетов и обид, но непременно во имя общественных интересов и общего блага. Как известно, этот тип «опустошителя своего отечества» до полного совершенства доведен и выработан не в одной только народной среде. Башкирские земли не расхищаются подобно тому, как расхищалось имущество во время еврейских беспорядков, а раздаются на льготных условиях и непременно во имя государственной, даже прямо народной пользы. Искусство представлять расхищение так, что оно представляется делом государственной важности, — это искусство выработано не в крестьянской среде; но крестьянская среда, переродившаяся в кулацкую, поняла, что и ей нельзя пренебрегать этой *модой*. Ввиду этой всеобщей моды кляузник, прикрывающий свою акулью пасть общественным интересом и благом, распространен в деревне в огромном количестве.

И вот начинаются визиты этого нового рода кляузника. С первых же слов он объявляет, что для него главное дело вовсе «не что-либо из корысти или что...», но единственно только правда: «дорога мне правда», — говорит

он и излагает дело и просьбу. Просьба состоит почти всегда в том, чтобы вы, человек мало в деревне известный, мало понимаемый, а главное, уже подозреваемый в чем-то и, следовательно, уже до некоторой степени находящийся во всеобщем сомнении, составили ему ни много, ни мало, как «донос». Он и сам, как оказывается из дальнейших разговоров, уже не раз «подавал» куда следует, но все не выходило, потому что не умеет составить. «Учили-то нас на медные деньги. Так, на словах-то, я все могу, и сказать и все. — с хорошими господами разговаривал; князья даже проезжали — и то мог разговаривать, а вот на бумагу положить — не складно выходит, да и глаза болят, слеза бьет». Так вот этот общественный деятель и желает, чтобы неизвестный человек, который «все пишет», настрочил ему поядовитее доносец на священника, на учителя, на станового, писаря, волостного старшину. Сколько мне ни приходилось слышать просьб о написании таких доносов, в огромном большинстве случаев в глубине побуждений, руководивших доносителей, всегда крылось какое-нибудь своекорыстнейшее побуждение: копейка, грош, денежная выгода, которую враг перехватил, съел раньше доносителя, вырвал у него «из горла». Но не могу утаить также и того, что видал я просителей в этом роде, которые и в самом деле побуждаемы были просто несправедливостью, неправдою, возмущаясь ею без своекорыстных расчетов. Таких, впрочем, очень-очень мало, именно капля в океане своекорыстной кляузы. Но вот какое ужасное положение — и эти-то люди, не своекорыстники, а в самом деле негодующие на неправду, приходили всё с тою же просьбой: написать в той или другой форме донос. Донос! Вот единственный проторенный путь для выражения всех государственных и общественных стремлений, вот модный, общедоступный, популярный способ, единственный даже для предъявления хороших побуждений.

Входить в какие бы то ни было отношения с этими типами деревенских кляузников для человека, желающего отдохнуть в деревне, нет ни малейшей возможности и резона. «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» — пословица, весьма подходящая для объяснения того положения, которое должен принять в деревне человек для нее совершенно посторонний. На все жалобы

о неправде, какими бы хитросплетенными разглагольствованиями ни прикрывал их деревенский кляузник, необходимо отвечать самым резким и решительным отказом. Сразу поймут, что не туда попали, и отстанут. Но есть еще третий род посетителей и просителей, в делах, словах и просьбах которых нет и тени кляузы, а чуется в самом деле насущная горькая нужда: это — крестьянин, мирянин, хлопочущий о земельке. Повторяю, в просьбах этого просителя нет кляуз, ехидства или кляузного либерализма, но, увы, входить с ним в разговоры для человека, который из океана столичной му́ки не хочет попасть в еще более бездоннейший океан мучений деревенских, также нет никакой возможности. Можно, конечно, с ними толковать и разговаривать, и даже не грех жалеть, глубоко сочувствовать, но (такова на Руси участь заправского, настоящего, не кляузного дела!), разговаривая, не нужно забывать, что ответ ваш, после всех расспросов, должен быть один: «ничего не могу сделать!» Этот ответ, по глубокому несчастию, преследует человека русского всякий раз, когда он очутится лицом к лицу с каким-нибудь серьезным насущным, всегда простым делом. Едва заслышит русский человек, что разговор идет о чем-то справедливом, как уж ему чудится: «нельзя», «лучше и не слушать». Вот именно об этой-то напрасной му́ке я и говорю, утверждая, что лучше не расстраивать себя, расспрашивая о подробностях простого крестьянского дела. Расспрашивая, вы всегда увидите, как это простое дело огромно и как «ничего невозможно» для него сделать. Когда-нибудь, бог весть когда, что-нибудь сделается, а когда — неизвестно.

До какой степени многосложны, а главное, бесплодно-мучительны эти простые крестьянские дела, я постараюсь сказать подробнее несколько ниже. Какая-нибудь «простая» просьба, вроде того, что «некуда выгнать скотину», мгновенно ставит вас на почву жгучего несчастья наших дней, в которые точно такое же «простое» желание — сказать громко «простое» слово — мучит самыми подлинными муками массы людей многие годы. Все это я уже испытал, знал доподлинно, а потому, когда неподалеку от меня поселился мой приятель, я, зная его за человека, которому необходимо было хоть несколько месяцев пожить поспокойнее, — настоятельнейшим образом посове-

товал ему, во-первых, «не мешаться», а во-вторых, «ни о чем», то есть буквально ни о чем, не расспрашивать и не допытываться... Я ему говорил:

— Если хочешь отдыхать, пожалуйста, не расспрашивай ни о чем и никого: не спрашивай также, почему молоко продается так дешево, почему телятина упала в цене... Ешь, ешь и молчи; иначе ты умрешь с голоду! Ешь, спи и ничего не касайся... Кляузники сами разберутся. А не кляузникам ты ничего не можешь сделать. Ешь, молчи и не расспрашивай! Вот что требуется в настоящее время.

Кроме того, зная по опыту, что в настоящее время всякий обыватель и тем паче всякая самомалейшая власть, до деревенского пастуха включительно, обуяна жаждой установить порядки; зная, что все эти установители, искоренители и т. д. каждый имеет «собственный» свой взгляд на порядки и непорядки, на свои и чужие права и обязанности, что, наконец, недавно еще одно волостное правление присвоило себе право приговаривать вредных людей к ссылке, — я посоветовал моему приятелю поселиться не у какого-нибудь крестьянина, несведущего в политике мужика, а прямо у сельского старосты, чтобы жизнь его — вся как есть, во всех подробностях и с утра до ночи — была перед начальством «как на ладони». Пусть он исследует все, что найдет нужным. Пусть роется в ящиках, в чемодане, в белье — молчи, терпи, ешь и не расспрашивай. Приятель последовал моему совету, так как хотел отдохнуть. Он ел и не расспрашивал, пил молоко и не расспрашивал, молча писал, молча спал, молча гулял. Пробовали его помощью барсучьей шкуры — не сопротивлялся; пробовали его по части кляуз — смиренно сознался в незнании. Крестьянам с первых слов объявил: «не могу!» Когда староста, подозрительно покачав головой, сказал: «что-то больно уж буквов много в книжку-то влезает по вашему разговору» и явно заподозрил приятеля моего в неблагонадежности — претерпел, перенес, не рассердился. Словом, как ни трудно было моему приятелю выполнить мои советы, он выполнил и достиг того, что «вообще» относительно его личности было решено: во-первых, «какой-то барин»; во-вторых, «худого не видим»; а в-третьих, «в случае ежели, на то у нас есть начальство».

III

Само собою разумеется, что три вышепоименованные характерные признака, которыми деревенский житель определил неизвестную личность, поселившуюся в деревне, должны были, дойдя до «начальства», получить какое-нибудь общее определение. Если для мужиков довольно знать, что поселился «какой-то барин», что занятия его неизвестны и что начальство должно само принять на себя ответ «в случае чего», то для начальства, как бы оно ни было деликатно, является неизбежным прибавить к трем вышеупомянутым пунктам пункт четвертый, заключительный, что оно, в лице урядника, и делает, говоря старосте:

— А ты того, между прочим, поглядывай там... В случае ежели что или что-нибудь там, так уж ты того. соваться не суйся, а посматривай...

Само собой разумеется, что староста, также по-своему понимающий «нонешние времена», стал поглядывать, а когда ему на целую неделю пришлось отлучиться в Петербург с сеном, то он, помня приказание «поглядывать», пошел к лавочнику, своему соседу, и сказал ему:

— Поди-кось сюда, Михей Кузьмич, на парочку слов...

— Чево надыть?

— Таперича требуется мне в город по делам отлучиться, так уж ты тово... Насчет барина урядник сказывал мне... не то что-либо как, а так, в случае ежели. Времена ноне — сам знаешь какие... Ну, так вот урядник и сказывал, чтоб поглядывать.

— Чего поглядывать?

— Да что ты? Оглох, что ли? Я говорю — насчет барина... Урядник сказывал, в случае, говорит, не как-нибудь соваться или что-либо прочее, а больше ничего, что касаемое по нонешнему времени... поглядывать.

— За барином?

— Ну да... Об чем же я говорю!

— Ну ладно.

— Уж ты, тово, поаккуратней.

— Ну ладно.

Само собою разумеется, что первый же визит прислуги в лавку, верный своему слову и собственному

внутреннему убеждению, лавочник ознаменовал таким вопросом:

— А что барин ваш поделывает?

— Мы ихних·делов не знаем.

— Ну все, чай, видно.

— Работает свою работу... Книжку читает.

— Что больно дюже книжки любит?

— Не наше это дело.

— То-то. Ноне всякого народу много. Вон в Петербурге тоже — всё тоже книжки читали, ученые тоже... Читает-читает, да и тово...

— Нам это неизвестно.

— Так-то так, а все надо с опаской... Ноне времена — упаси бог! Книжки... Конечно, книга книге рознь... Глядя по человеку, а все нет-нет, да и надо подумать, что, мол, за человек? Нет ли каких делов? Я говорю, всякого народу довольно. Иной и купцом обернется, а впоследствии того времени оказывает одно злодейство. А иной и на барина сходствует, а тоже, по делам-то, мало ему горло перервать. Так-то... Вам папирос требуется?

— Папирос.

— Каких прикажете?

— Вот тут на бумажке написано.

— Папирос! Папирос-то папирос, а все-таки не мешает и поглядывать...

— Нам все одно. На то есть начальство.

— Ну, а все-таки... Начальство! Начальству тоже не углядеть за всем... Урядник-то вон и то уж старосту просил...

— Насчет нашего барина?

— Да уж видно так.

— Опять же мы ничего не знаем.

— Да и мы ничего не знаем, а между прочим... И я говорю: не то, чтобы соваться или как неаккуратно или грубо — нам ведь нельзя знать, кто он и как его дело, — а так, в течение времени, полегоньку... В случае что или ежели, так сказать, в каком-нибудь смысле... Времена-то ведь какие! Тоже не за горам от Питера-то живем... Ну так вот я и говорю: поосторожней, повежливей, а все надо. Уж *там* знают, что говорят. Урядник-то вон говорит: «поглядывайте, говорит, между

тем. Не то, чтобы как, а «на случай»... Вот и я про то же. Так папирос?

— Да-с.

— Извольте-с... С полным удовольствием... До приятного свидания...

Прислуга, тоже не всерьез, а так, «между прочим», рассказала в доме и у соседей, а сам лавочник, уезжая за патентом в губернский город, не дождавшись возвращения старосты, передал поручение последнего «курляндцу», потому что тот жил напротив дома моего приятеля.

— Карла! — крикнул он курляндцу, останавливая лошадь против его ворот (Карла работал в глубине двора). — Подь-ка сюда на пару слов.

Выходит Карла.

— Вот чего... Тут староста наказывал насчет барина... Ты слушай обоими ушами, что говорят-то!

— Я слюшай... Чево? Говори!

— Так ты слушай, а рот-то не разевай...

— Ну-у, ну-у!

— Наказывал поглядывать насчет суседа... Понимаешь али нет?

— Какова суседа?

— Эво! Больше ничего — поглядывай! Соваться не суйся, а так, «на случай». Понимаешь?

Курляндец не понимал.

— Ах, колбаса немецкая! Говорят... Понимаешь, в чем дело? Знаешь, какие времена настали... Н-ну?

— А-а-а-а-а!.. Знай, знай!

— Не разевай пасть-то! Ну, чего заорал? Ох, немчура анафемская! Долбишь, долбишь ему в голову — как в камень! Ну так слушай, мне с тобой растабарывать не время... Больше ничего. Не суйся, не ори, а так... на случай... коли что... ежели... Понял? Да где тебе понять!..

— Понимай.

— Понимай! Дубина немецкая!.. Помни одно: не суйся, а поглядывай.

— Ладно, ладно, гут!

— Дубина!.. Ты помни!

Повторяю, никакого умышленного злостного намерения сделать человека подозрительным и стеснить его существование, я уверен, даже и не было в помине, когда

начальство произнесло слово «поглядывай». Слово это, я очень хорошо понимаю, было только заключение, округление силлогизма. Посылка первая: «какой-то барин»; посылка вторая: «что делает — неизвестно»; заключение: «поглядывай». Заключение это является, как видите, *само собою* (хоть оно и возможно *только* по нынешним временам), но тем не менее не могу не сказать, что это округление в действительности выразилось тем, что не было в деревне человека, который бы не толковал о моем приятеле и который бы не считал себя обязанным «поглядывать». Говорили о нем, соединяя его имя с словом «урядник», и лавочник, и курляндец, и староста, и кухарки, и сосед, и соседи, и соседки... «В случае», «на случай», «ежели что», «что касаемое», «в случае ежели что». Эти ничего не значащие слова, которых так много изобрело русское косноязычие, обязательно перемешивались с словами: «поглядывай», «ноне какое время» и так далее. И замечательно (скажу кстати), что этот род наблюдений называется «негласным». Все толкуют о человеке, *которого никто не знает,* — толкуют весьма худо, даже весьма подло, все дают себе полное право подозревать человека бог знает в чем, и все это называется *«негласным»*.

Приятель мой все претерпел, всему покорился. Молчал, не расспрашивал никого и ни о чем, точно и подробно отвечал на каждый самый нелепый вопрос; покорно опускал глаза всякий раз, когда какой-нибудь наблюдатель — староста, курляндец, лавочник, прислуга, сосед — вперял в него упорно-безмысленный и упорно-недоверчивый взгляд (а это, благодаря «негласности» наблюдения, было ежеминутно). Правда, не раз говорил он, что испытывал ощущение птицы, на которую целые дни наведено дуло ружья и которая должна ежеминутно думать о том, выстрелит ли ружье или нет, заряжено оно или нет, почему не стреляет? И почему наведено и прицелено именно в меня, а не в другое место? Ведь если прицелено в меня, так и выстрелить может? Но тогда почему не стреляет? А ружье все прицелено в ту же точку, в ту же птицу, и хотя не стреляет, но «вот-вот» может выстрелить. «Хоть бы уж стреляли, что ли!» — не раз говаривал мой приятель, но я успокоил его, доказав ему, что «по нонешнему времени это завсегда так».

— Тебе, — говорил я, — неприятно, что какой-то глупый лавочник или курляндец таращит на тебя глаза, а подумал ли ты о том, каково-то лавочнику или курляндцу приятно твое соседство? Они тоже по ночам ворочаются на постели и ждут неприятностей от тебя, как и ты ждешь от них. Такие отношения установились во всем обществе. Человек, кто бы он ни был, просыпаясь утром, думает: «вот и опять какая-нибудь гадость случится. . .»

Успокоенный мною, приятель кое-как притерпелся к «нонешним временам» и той форме общежития, в которой они выражаются, и, никого «не касаясь», ни во что не вмешиваясь, прожил так месяцев пять. Здесь оканчивается присказка, а вот и маленькая сказка.

Несколько дней тому назад на станции появился какой-то рваный и пьяный человек и стал выдавать себя за агента, посланного разыскивать каких-то двух преступников.

Необходимо сказать, что слово «агент» в настоящее время так же всемогуще, как во времена Гоголя было всемогуще слово *«ревизор»*. Нам пришлось видеть между прочим такую сцену в одном из московских загородных садов. Две компании гостинодворских приказчиков, повидимому незнакомых, с подругами из швеек, затеяли в хмельном виде ссору, кажется тоже из-за подруг. Ссора разгоралась с каждою минутой все больше и больше. Одна из компаний, сильнейшая (в ней было одних мужчин человек пять), чувствуя свое кулачное превосходство, стала довольно бесцеремонно напирать на другую компанию, несравненно слабейшую, имевшую всего двух мужчин. Ссора быстрыми шагами приближалась к тому фазису развития, когда на сцену должны бы выступить так называемые в общежитии «сусалы», но один из представителей слабейшей компании не допустил до такого конца. Счастливая мысль осенила его. За минуту пред тем, видя, что дело не может кончиться иначе, как при помощи сусал, он, видимо, струхнул и начал подаваться. Но «мысль», которая «мелькнула» в его голове, сразу преобразила его из человека, готового отступить, в человека, решившегося действовать наступательно и притом вполне уверенного в успехе. Сразу перестав отвечать ругательствами на ругательства, он выпрямился во весь

рост и неожиданно для всех громко воскликнул: «Да ты знаешь ли, дубина, с кем ты разговариваешь?» — «Чего мне знать! Я и так вижу, что с дураком...» — «С-с-с ке-ем? Я шш-пион!» Эта фраза была произнесена с таким потрясающим великолепием, с такой напыщенною гордостью, сопровождалась таким геройским закидыванием головы назад и ударом рукой с отмашью в грудь, что не только бушевавшая компания, но и вся публика в саду сразу замолкла, остановилась, кто где был, как вкопанная. Мгновенно после этой могущественной фразы бушевавшая компания как бы окаменела; но в следующее за этим мгновение и компания и посторонняя публика, наблюдавшая ссору, как зайцы или как брызги, разлетелись, разбежались мгновенно, в один миг, в разные стороны. «А-га! — прибавил победитель, оставшись с своей компанией. — Во как, во! Только сунься теперь, я тебя на пятьсот лет приспособствую!..»

Торжественно, под ручку с дамами, вышла компания из сада; народ шпалерами стоял по дорожкам и безмолвствовал. Выйдя, наконец, за ворота, компания-победительница разразилась неистовым хохотом... «Хо-хо-хо-хо!» — доносилось со стороны Петровского парка. «Вот так ловко!..» «Отмочил!..» «Любо-два!» и т. д. И точно — ловко. Слово, сказанное приказчиком, — слово ходкое, и хоть оно не пользуется особенной симпатией или любовью, как в старину не пользовалось и слово «ревизор», но я сожалею, что последнее вышло из моды... Лучше, кажется мне, если бы было в моде это старинное слово: помните, как оно пугало темное царство?

Будем, однако, рассказывать начатую быль. Человек, появившийся на станции, знал, что слово «агент» — в моде, что оно дает дорогу, заставляет расступаться направо и налево. Впоследствии выяснилось, что этот несчастный человек, промотав в Петербурге последние деньжонки, приехал на станцию бог знает зачем, в пьяном виде, и вот очень быть может, что он объявил себя агентом только для того, чтоб ему, не спрашивая вперед денег, дали стакан водки. Как в былое время всякая мразь пугалась слова «ревизор», так теперь всякая мразь спешит столпиться около нового модного типа. Тип, как мы видели, объявил, что он прислан разыскивать каких-то двух подозрительных людей. И вот начались трактир-

ные разговоры на эту тему — разговоры в том самом роде, в тех самых неопределенных фразах, в каких о том же предмете, как уж видел читатель, разговаривают урядники, лавочники, курляндцы... «Настоящего какого-либо вредного человека на примете нету, а так, вроде как... Не то чтобы что или что касаемое... Живет тут барин... Бог его знает, что делает... Худова чтобы или прочего чего не видим, а только что урядник сказывал — поглядывать»... Я вполне уверен, что несчастный валет, собственно для того только, чтобы не узнали, что он — проходимец, и не требовали денег за водку, придал этой болтовне душу и тело вопросами о том, «каков из себя», возгласами — «э-ге-ге!..» и т. д. А чтоб окончательно заставить буфетчика на время забыть о плате, потребовал лист бумаги и написал на нем протокол, в котором было сказано, что в такой-то деревне проживает такой-то человек (имя и фамилия моего приятеля), который, как удостоверяют местные толки (все эти «ежели», «нежели», «не то чтобы что» и т. д.), оказывается человеком неблагонадежным... Впоследствии оказалось, что этот протокол он хотел представить в Петербург и надеялся получить за это должность: все это пришло ему в голову, разумеется, спьяну. И вот, составив такой протокол, он для того, чтобы выскочить благополучно из трактира, немедленно побежал к сельскому старосте — тому самому, у которого мой приятель жил, — разбудил его (был третий час ночи) и, объявив себя агентом, потребовал печать, которую и получил *немедленно*. Так что, если б ему потребовался фальшивый паспорт или какое-нибудь удостоверение, он все бы мог сделать, если бы действовал так же, как рассказано. Уж после того, как протокол был утвержден печатью, и после того, как мнимый агент был угощен водочкой и собирался уходить, объявив, что завтра утром в девять часов у моего приятеля будет обыск, староста очувствовался: ведь в самом же деле приятель мой не сделал ничего худого... Его взяло раздумье, хорошо ли делает он, прикладывая печать к бумаге, в которой жилец его подозревается в худых делах, а на самом-то деле ничего худого он за ним не замечал... Заметил он также, что агент пьян, и попросил его сделать приписку к протоколу о том, что худого мы, мол, не замечали. Агент сделал эту приписку и ушел,

подтвердив, что в девять часов утра будет обыск. Он воротился в гостиницу, занял нумер и лег спать. Без всех этих фокусов и гадостей едва ли бы оказали ему кредит за водку, закуску и за нумер... Утром он проснулся, бумагу разорвал и вероятно придумывал что-нибудь новое; но в это время, не дождавшись обыска, который мнимый агент назначил в девять часов, староста (не говоря ни слова моему приятелю) отправился к уряднику, рассказал ему, в чем дело, а урядник, выслушав рассказ, пошел разыскивать неизвестную личность; разыскав, весьма вежливо, до последней степени деликатно («Ну-ко, думаю, он выпалит!» — говорил он впоследствии в объяснение этой деликатности), выспросил его обо всем и попросил документ, удостоверяющий профессию. Документа не оказалось: агент был поддельный... Как только узнали, что он *не настоящий шпион,* тотчас же стали обращаться грубо, потребовали и за водку и за закуску, составили протокол и, наконец, поместили в холодную. Началось дело.

Прямо после этой сцены староста, оказавшийся в дураках, пришел ко мне и во всем повинился. Старосту этого я и прежде знал; и я же рекомендовал ему и жильца. Признаюсь, рассказ его до глубины души возмутил меня.

— Как же не стыдно вам, Мирон Иванович, делать такие гадости! — сказал я ему.

— Вить... — он высоко поднял плечи, растопырил руки и говорил шопотом: — вить агент!

— Какой же агент? Вы видите, что просто прохвост какой-то... И вам не стыдно было не расспросить его, кто он такой, зачем, откуда взялся?

— Вить тайный он... Вить он говорит: я, говорит, агент... Я так весь и задрожал... Печать! Я и дал... Вить вы тоже подумайте: нам отвечать, в случае ежели что касаемое.

— Что такое? Что такое касаемое? Отчего вы документ у него не спросили? Ведь эдак придет к вам кто хочет, назовется агентом, потребует, что захочет, вы так ему и отвалите?

Мирон Иванович молчал, пожимая плечами, расставлял руки и бормотал:

— Нешто мы что? Мы, что нам скажут, обязаны не ослушаться. Говорит, тайный я — ну.

— Ну а если бы, — перебил я его, — агент тот сказал вам так: я — агент, приказано взять у тебя каурую кобылу... Вы тоже бы не ослушались?

Слово «кобыла» мгновенно, как нашатырный спирт, осветило его... Ему стало совершенно ясно, до какой степени он глуп и даже подл.

— Мало мне пятисот палок за это! — вдруг совершенно бодро и вполне сознательно воскликнул он.

— Вот видите, кобылу-то вам жалко стало? Спроси он у вас кобылу, вы бы непременно сказали: «покажи бумагу!»... Ведь сказали бы?

— Кобылу-то ежели? Ну уж это я бы без сумления поостерегся...

— Видите! А тут приходит клеветник, пишет на человека пакость, да какую! Ведь вы знаете, что такое неблагонадежный?

— Слыхали одним ухом.

— Ведь за «эти дела» людей ссылают в Сибирь, а вы ничего от моего приятеля кроме пользы не видали, ничего не замечали за ним дурного, из жалости-то к человеку не подумали даже спросить у проходимца вид! Сейчас печать приложили... Ведь это — человек, поймите вы пожалуйста! Вам жалко кобылу, а это — душа христианская, и вы его сразу, без разговору, печатью вашею подводите... подо что? Подумайте-ка хорошенько!.. Ну, если бы проходимец-то не засиделся у вас, а прямо бы от вас да на машину да протокол-то с вашей подписью представил бы к начальству — ведь моего приятеля стали бы таскать... А он живет своим трудом, никого не трогает, вам делает пользу... И не стыдно вам?

— Уж я сказываю, пятисот мало — что уж!..

Я помолчал, поглядел на него и сказал:

— Бессовестно это, Мирон Иванович! Ведь вы знали, что́ за «эти дела» бывает.

— Да ведь... слышим!

— Ну, а приятеля моего замечали в чем-нибудь?

— Чего нам замечать-то? Ничуть ничего не замечали.

— А печать приложили?

— Глупость-то наша... а-ах ты, боже мой!

Возможность утратить кобылу, хотя бы и по требованию настоящего «агента», привела старосту в чувство,

в рассудок, и, пользуясь этим, я не жалел слов, которые бы могли рассеять в его голове ни на чем не основанную подозрительность к моему приятелю. И чем больше я распространялся, пояснял, тем более убеждался, что Мирон Иванов как будто успокаивается, теряет искренность раскаяния по отношению к моему приятелю, а думает о том только, что «эти дела» надо делать с опаской, а не зря. Пожалуй, в самом деле отнимут «этаким манером и кобылу и что-нибудь другое»...

— Да, — говорил он по временам, почти не слушая, о чем я говорю, — да, дал маху... Мне бы бумагу надо спросить было.

И так мы проговорили очень долго. Я говорил о приятеле, о том, как много ему наделали гадостей совершенно напрасно, а Мирон Иванов сокрушался о себе, о том, что «зря делал», а о приятеле моем как будто и позабыл.

Вот эта-то черта равнодушия к моему приятелю больше всего и трогала и интересовала меня во всей этой истории — не потому, что это был мой приятель, не потому, что в самом деле гадость сделана была напрасно, но потому, что это равнодушие исключительное. Такой истории не может быть ни с кем из деревенских обывателей: ни лавочник, ни курляндец, ни кабатчик, ни какой другой человек не может быть предметом такого *непоколебимого* равнодушия, попав в беду, какое суждено переносить всякому, кто так или иначе получил наименование *барина*. Случись что-нибудь подобное с лавочником, с кабатчиком и вообще с любым из деревенских обывателей, — поверьте, что дело было бы не так просто и не так глупо: тут и спросили бы, и побоялись бы, и поостереглись, и потолковали бы. По отношению же к «барину» все такие дела делаются — решусь сказать это — даже не без удовольствия. Приятель мой слишком поверил моим советам «ни во что не мешаться» и в самом деле сделался для деревенских жителей отдельной, посторонней, независимой, ни с кем и ни с чем не связанной фигурой, и его определили словом «барин», «живет барин»... Вот этот-то «барин» и был причиною того, что Мирон Иванов сразу вручил печать, удостоверяющую вредность моего приятеля, тогда как он же наверное не сделал бы этого по отношению к кабатчику.

IV

Признаюсь, крепко обидел и рассердил меня этот тупоумный деревенский старичишка, которого необходимо было разжалобить возможностью утратить лошадь, чтоб он почувствовал возможность задуматься над участью человека. Деревянная башка была у этого старичишки, а таких деревянных голов весьма-таки многонько в деревне. Но это не идет к делу. Повторяю: немало негодования излил я на эту деревянную башку, но в то же время не мог не сознавать, что если деревянная башка старосты и виновата в том, что дело с моим приятелем *сразу* вскрыло нутро этой башки, то есть сразу показало, что башка всегда готова приложить печать к какой угодно бумаге, то скрытая готовность сделать барину что-нибудь подобное, если только можно, — воспитана не в одних только деревенских башках, подобных башке старосты, а таится решительно во всем, что не причисляет себя к разряду «бар», господ...

В этом затаенном антагонизме, конечно, играют большую роль воспоминания крепостного права. «Что было и что стало!» — говорят иные, припоминая барщину и видя, как потомки бар слабеют и прогорают. Подъем народного духа в этом отношении несомненен, и мы со временем, в весьма недалеком будущем, коснемся этих новых явлений народной жизни. Теперь же будем говорить о главном предмете настоящей заметки — о происхождении скрытой вражды к барину. Помимо крепостных преданий, о которых мы уж упомянули, немало сделало в пользу воспитания в массах этого скрытого ненавистничества и поведение барина по отношению к массам за последние двадцать пять лет. Как бы ни были жестоки и ужасны воспоминания о крепостном праве, они всегда смягчаются фактической невозможностью возвратиться к нему. «Это прошло», «этого больше не будет», над этим старым поставлен крест, а под крестом для всех видна могила этого старого — могила, обрастающая травой. Глядя на эту могилу, не возгорается, а затихает злоба.

Не то совсем возбуждает поведение барина за последние годы. У барина, как у всякого человека на белом свете, имеются права и есть обязанности. (Крайне сожа-

леем, что иногда приходится говорить такие ненужные вещи.) Во времена крепостного права у барина, как и у мужика, были известные права и известные обязанности. Права у господ были огромные, а обязанности только кое-какие, но они несомненно были, их непременно надо было выполнять, хотя только для того, чтобы получить деньги. Но пользоваться правами и исполнять обязанности, возлагаемые этими правами, можно было разно. Вот почему говорят: «хорош был барин», а этот — «хуже разбойника» и т. д. От худого барина мужики разбегались, а когда поселялся «хороший барин», мужики возвращались с бегов на старое пепелище. Хороший барин не тиранил, не гнул в бараний рог, не разорял. «Хороший барин» мог (по тогдашним обстоятельствам) сделать *что-то хорошее* в тех труднейших условиях народной жизни — *и делал*... Теперь барин, как видимая власть мужицкого духа и тела, исчез. Отдельные личности Петров Семеновичей и Семенов Ивановичей не имеют значения и веса, но все они — в куче, в массе, где-то там, за пределами деревни, — сохраняют права весьма многочисленные... Но обязанностей, которые бы несли они, уже нет. Мы, деревенские неграмотные люди, не видим их. Права, сохраненные коллективно массой господ, мы видим каждый день. Постоянно идут взыскания или по крайней мере напоминания: «надо платить». И прежде платили, и оброки были громадные, но было видно — куда, а теперь не видно.

Нет ни малейшего сомнения в том, что и теперь «хороший барин» существует на Руси, но деревня не видит, не знает, как он понимает свои обязанности. А нехороший барин уж совсем нехорош стал. Вот два типа рядом — нехороший тип кулака и тип нехорошего «барина» — сравните их. Оба они хлопочут, как бы добыть побольше денег, оба нанимают рабочих по осени, то есть в трудное время, оба затаскали их по судам и т. д. Но кулак так и останется мироедом; он жрет и прячет деньги в сундук, но во имя его не собирают каких-то особенных денег, кроме тех, какие он сам выжмет и спрячет. А во имя «нехорошего» барина, перенявшего от кулака все дурное, еще какие-то особенные деньги собираются; он, поступая по-кулацки, не прячется в нору, а наступает, норовит крикнуть: «как ты смеешь», предъявляет права

на какую-то «амбицию», которой у кулака нет и которая у барина, поступающего по-кулацки, тоже совершенно непонятна, а стало быть, и противна. Это уж что-то излишнее, ненужное; без этой излишней «амбиции» можно обойтись, успокоившись на скромных кулацких лаврах...

— Где же «хороший» барин?

Хорошего барина не видать. Так по крайней мере кажется с деревенской точки зрения. Хорошего барина нет, а деньги отдай!.. Если же на дело смотреть с точки зрения хорошего барина, то мы, понятно, должны бы горой стоять за него. Помилуйте, разве хороший барин не ходатайствовал, не входил с прошениями и докладными записками? Разве он не мучился, не страдал за убеждения? и т. д. С этой точки зрения можно бы собрать груды материала, который как нельзя лучше может оправдать хорошего барина. Хороший барин старался, убивался, хотел пожертвовать, жертвовал, хлопотал. Но, увы, с деревенской точки зрения, весь этот огромный запас оправдательных документов, которые хороший барин несомненно может представить нам, не имеет ровно никакого значения по той простой причине, что все эти оправдательные документы деревенским жителям совершенно неизвестны, а главным образом потому, что даже почва-то для понимания «хорошего» барина, благодаря бездеятельности последнего, совершенно не подготовлена.

В старину свои хорошие качества и хорошие намерения «хороший барин» мог проявлять только в тесном кругу своих владений, среди ему принадлежавшего народа; теперь же, когда народ уже не его и когда он взялся ведать вообще народное хозяйство, хорошие побуждения и цели должны бы были выступить пред лицом сплошной массы народа и выразиться не в частных поступках случайного добросердечия или душевного благородства во внимание к «общему благу», а в крупных, всем видных поступках, в которых нет ничего другого, кроме чести, правды, справедливости. Крупные, всем видные, высоко над людским муравейником стоящие заботы и цели сделались для «хорошего барина», в новых условиях жизни, даже почти обязательными. Обязательны они для него, во-первых, потому, что он — барин, то есть человек не только обеспеченный, как обеспечен и кулак

и купец, но и образованный, образованием, умственностью и властью отличающийся от простого богача, простого мешка с деньгами; а во-вторых — потому, что ведь он взялся за дело общего блага, взялся и требует денег, а когда • неаккуратно платят, то жалуется становому приставу, а становой пристав не хвалит. Но если человек, хорошо обеспеченный и образованный, берется делать добро и специально на это добро берет чрез станового пристава деньги, то мы, деревенские жители, вправе требовать, во-первых, явного дела и, во-вторых, чтобы дело это было непременно добро — за зло нечего платить денег... Нам нужны ясные, видные всем, благородные поступки, в которых была бы по крайней мере капля бескорыстного внимания к нам, деревенским, несведущим людям, вручившим свои права и заботы об общем благе... хорошему барину.

Но, живя в деревне и ничего не зная, не ведая об оправдательных документах, которые «хороший барин» несомненно может представить в огромном количестве, мы к ужасу нашему на каждом шагу, в буквальном смысле слова, убеждаемся, что так называемого «хорошего» барина совсем нет на свете, что он исчез, иссяк, махнул на все рукой. Очевидно, он не сумел отстоять для себя право поступать «по чести», и плоды этого неуменья мы, деревенские жители, ежеминутно ощущаем в существовании «ненужного», «излишнего» зла... Мы очень терпеливы и выносливы и, кроме того, далеко не либеральны и не развиты так, как развит и либерален хороший барин. Мы сами — мастера создавать зло, да еще какое: неотразимое, звериное, зоологическое! Но «хороший барин» не только ничего не противопоставляет этому зоологическому злу, но — вероятно, вследствие забвения собственного и чужого человеческого достоинства — допускает, чтобы, кроме нашего доморощенного зоологического зла, существовало бы еще зло ненужное, роскошь зла, изобилие злодейства. Какие бы у «хорошего» барина ни были спрятаны в письменном столе оправдательные документы, но потакать, мирволить, усиливать зло, воспитывать целые поколения в уверенности, что на свете нет даже самой элементарной правды, — это уж нехорошо, и это запишется в «книге живота» хорошего барина. Можно не подать нищему —

вольному воля; но не подать и в то же время ударить его — это уж бессовестно. Можно завести фабрику — положим, ситцевую, можно жать и прижимать рабочих, основываясь на том, что так, мол, побуждает действовать учение о капитале; но предоставлять ситцевому фабриканту еще возможность сожигать их живьем — это уж, ей-ей, напрасно, это уж, подлинно, роскошь злодейства! И «хороший» барин мог бы хоть в полголоса крикнуть, что, мол, так нельзя... Можно строить железные дороги, можно наживать миллионы и т. д., но живьем зарывать десятки людей и делать из людей, железа, глины, бревен, камней одну сплошную массу — это уж опять слишком роскошная приправа к дивидендам, и «хороший» барин, если б он только не позабыл своего человеческого достоинства, мог бы, не боясь скомпрометировать себя, воскликнуть: «наживаться — наживайся, но убивать людей не моги!» Можно не давать крестьянам больше земли, можно сказать: «не хочу — и не дам», или «самому надо», или «довольно и того, что у вас есть»; но давать вместо земли камни, буераки, болота, зная, что то — «не земля», или давать земли лоскутьями в двадцати местах, напрасно изнуряя работника, — это опять-таки роскошь нерадения.

Эта роскошь ненужного зла, буквально на каждом шагу осаждающая вас в деревне, делает жизнь в ней невыносимой. Если вы хотите жить здесь, отдохнуть, то бога ради не расспрашивайте ни о чем, потому что нет того простого случайного вопроса, который бы не привел к драме. Ешьте мясо и не спрашивайте, почему говядина, которая сегодня стоит 12 копеек, вчера стоила 20 копеек, а завтра будет стоить 8 копеек. Надобно молчать, покупать, солить и есть; если же вы попробуете узнать, отчего такая дешевизна, то кусок не пойдет в горло. Говядина дешева потому, что нечем скот кормить: некормленый, голодный скот бабы и мужики ведут к богатым мужикам и продают за бесценок; крестьянские ребятишки остаются без молока — это зимой; а весной? Корму нет — дешевы коровы и лошади. Что же должен делать мужик, чтобы добыть лошадь для весенних работ? Ответ: кабала, и кабала своему же брату. Но почему корму нет? — Продали еще тогда, когда он и не вырос, — та же кабала. Рекрута поставили, умер кто-нибудь, недоимку взыскали,

лошадь пала, тысячи случайностей... Конечно, масса случайностей была бы отстранена, если бы «хороший» барин подумал серьезно о народном кредите, который в самом деле нужен, как нужен и самому «хорошему» барину. Может быть, «хороший» барин и думал о нем, а его все-таки нет до сих пор. И когда вы едите дешевое мясо, это значит, что кто-нибудь — и притом кто-нибудь в огромном количестве — разоряется. Итак, ешьте и не расспрашивайте, или не ешьте совсем... Не расспрашивайте также, что это за драка происходит рядом, в соседней хибарке, отчего там и рев, и визг, и плач. Затворите поплотнее дверь. Подерутся, перестанут — и все затихнет. Если же вы попытаетесь подробно разузнать, в чем дело, то опять недобрым словом помянете «хорошего» барина. Вся избитая, с синяками по всему лицу, изуродованная женщина, истерически всхлипывая и кое-как держа на изодранных руках ревущего ребенка, только что вырвалась из этой бойни и бежит. «Куда ты, Аксинья?» — «Сам-ма не знаю», — трясясь всем телом, задыхаясь и захлебываясь, лепечет она и едва может впопыхах сказать: «Муж с матерью... руп... Сундук расшибли топором... Стирала, два рубли дали... Сапожнику отдала... Искали... Пьяный пришел... топором... отдай! ..» И бежит, бежит куда-то — к соседям, в другую деревню, к матери за двадцать верст — неведомо куда, но только дальше, дальше... в поле! Не расспрашивайте и этого несчастного, ободранного восьмилетнего мальчика, который повадился ходить к вам просто затем, чтобы смотреть, как живут господа, как едят и какой у них горит свет в горнице. Не расспрашивайте — «не видал ли ты, тут на столе лежала бумажка красная»... Не расспрашивайте, куда он ее дел: он отнес тятьке-пьянице, плотнику, и мамке; радуйтесь, что они все трое на эту исчезнувшую десятирублевую бумажку купили муки, крупы и *целую ночь* пекли и ели пироги... Не раскапывайте этих историй. Как в первой, так и во второй непременно замешан «хороший» барин, и замешан не с доброкачественной стороны... Семья, где губили женщину, отыскивая в ее сундуке рубль, полученный за стирку, опустилась, разорилась случаем: «пала лошадь», «продали корову», «продали землю»... И в семье мальчика, утащившего десять рублей, та же исто-

рия: та же лошадь и корова и земля, сданная в аренду соседу...

Глядя и всматриваясь в эти ежедневные сцены деревенской жизни, вы видите, что «хороший» барин (если он только чуть-чуть понимает это слово) должен бы был и мог бы, не нанося даже ущерба своему барскому положению, отстранить массу этого ненужного, возмутительного зла. Чем объясните вы ряд следующих непостижимых безобразий, воочию совершающихся перед нами из года в год?

Приходит крестьянин и предлагает купить у него пять маленьких живых липок. Просит он за них по двугривенному. Я купил. Крестьянин посадил их и, собираясь уходить, предлагает еще. Я попросил посадить еще пять, но дня через два, проснувшись часов в семь утра, я увидел, что крестьянин посадил не пять, а целых пятьдесят липок. Чтоб успеть посадить такую массу деревьев, то есть чтобы вырыть пятьдесят ям и посадить в них деревья, опять засыпать их, и успеть все это сделать к семи часам утра, надо было встать до света, и это обстоятельство заставило меня призадуматься, не краденые ли липки у кого-нибудь? Посадив липки, крестьянин обещал вечером прийти за расчетом. Но прежде нежели наступил вечер, я получил записку от неизвестного мне землевладельца, в которой значилось, что липки украдены в его лесу и чтоб я не платил денег впредь до особого со стороны неведомого мне лица распоряжения. Под вечер пришел крестьянин, продавший мне ворованные липки, и я должен был показать и прочитать ему письмо. Сгорел со стыда не ждавший беды мужик. «Как хочешь, — сказал я, — бери липки назад или поди улады это дело». — «Пес их возьми совсем! И стоют-то всего грош, только что за работу и за носку беру... Ах ты, горе, горе! Из-за какой дряни вором стал! Ах, боже мой! Так шестьсот десятин лесу-то, так, даром стоит!» — «Ты бы из своего леса брал, а не из чужого...» — «Да нету его, своего-то лесу; был клочок — давно весь сожгли. Ах горе, горе!» Крестьянин побежал улаживать дело с неизвестным мне лицом. В тот же вечер он возвратился и принес записку, в которой было сказано, что имею право уплатить ему деньги, так как крестьянин такой-то взялся отработать причиненный им убыток. Воровать

скверно, но, порывшись в подробностях воровства, мы также непременно наткнулись бы на апатию к общественным заботам «хорошего» барина. Итак, в конце концов получилось, что за пятьдесят липок, которые ничего не стоят, если принять во внимание обилие лесов, человек отрабатывает работу, которая иначе оплатилась бы деньгами, и чувствует, кроме того, себя вором, да и не чувствует только, а в самом деле знает, что он вор.

Словом, как ни посмотри, дело скверное. Это скверное дело происходило раннею весной. Полая вода далеко еще не опала, и вся речка, к которой примыкают земли нашей деревни, была запружена трехсаженными бревнами, сплавляемыми водою. Дня через два после описанного эпизода с липками приходит ко мне знакомый крестьянин и говорит: «Вы что же не идете *получать свои* (!) *дрова*». — «Какие такие дрова?» — «А с речки!» Что же это за дрова, о которых я не имею никакого понятия? — Оказывается, что, во имя каких-то законов, установлено местным обычаем, что дрова, принадлежащие какому-нибудь промышленнику, опустившись от мокроты на дно, принадлежат обывателям берегов. Дрова сплавляются сгоном, то есть просто бросают в воду, а вода несет их туда, куда надо и где их останавливает искусственная запруда. По пути на дне реки часто встречаются камни и каменистые мели; стоит запнуться одному полену, как вслед за ним остановится вся сплошная масса дров; течение будет напирать, и дрова начнут лезть друг на друга рядов в пять, иногда десять, иногда до самого дна образуется сплошная масса дров. Это называют «залóм». Промышленник знает это и посылает рабочих, которые идут по берегу с жердями и разламывают эти заломы, пропуская дрова дальше. Но иногда заломы остаются неразломанные дня по два, по три, и тогда нижние слои бревен так сильно намокнут, что опускаются на дно, и вот эти-то лежащие дрова и принадлежат, согласно неведомому закону, обывателям берегов. Дележ этих дров происходит совершенно правильно между односельчанами, так же правильно, как и дележ земли и вообще всевозможные деревенские дележи. На основании этих-то законов и мне надо было «получить» по крайней мере куб или полтора березовых дров. — Откуда мне сие? — думал я. — Вчера из-за липок, которые

не стоят ни гроша, я чуть не попал в укрыватели краденого, помещик — в обворованные, а мужик — и в воры и в даровые работники; а сегодня я ни с того ни с сего «получаю» полтора куба дров, которых я не рубил, не покупал, не сплавлял и которые по петербургским ценам могли бы дать мне, считая по шести рублей за сажень, тридцать рублей серебром чистого барыша. Кто делает мне этот подарок? Но подарок сделан — дрова лежат у берега, стоит только вытащить, распилить и топить печи всю зиму, благословляя господа. Но как подарок ни великолепен, припоминая липки, я чувствую, что тут я буду уж не укрывателем краденого, а прямо вором. Очевидно, я у кого-то отнимаю дрова, мне совершенно не принадлежащие. И точно, дрова принадлежат промышленнику, который купил сто сажен (говоря примерно), а получает в конце концов семьдесят пять, так как двадцать пять получим мы. Но промышленник не хочет терять *своего* и наверстывает убыток своим способом, изобретает *свою* сажень, в которой не три аршина, а четыре с половиной. «У меня, — говорит он, — *своя сажень!*» Крестьяне, подрядившиеся сплавлять ему из места порубки сто сажен, являясь за расчетом, встречаются с изобретением весьма неприятным, с *своей* саженью, и получают, благодаря ей, не за сто, а за семьдесят пять. Итак, вот у кого похитили мы двадцать пять сажен дров, у своих же соседей, у таких же голяков и бедняков, как и мы. Отчего мы делаем это?.. Нет лесу, а топить надо — дело очень простое.

Теперь потрудитесь сосчитать, кто остался доволен во всей этой операции. Промышленник недоволен — у него меньше, чем он купил, да его и ругают за «свою сажень» и грозят поджечь; я также весьма недоволен, потому что не желаю брать чужого или ворованного; недовольны и те, кто наловил дров, потому что промышленник слишком скоро прислал народ разломать залом, и дров на зиму «нехватит»; недоволен и мужик, который своими руками срубил сто сажен, а расчет получил только за семьдесят пять.

Тут все чувствуют себя дурно, скверно, не по себе.

Это только кусочек того падения «хорошего» барина, по части заботы об общем благе, но и этого кусочка достаточно, чтобы не получить репутации внимательного

к нуждам народа человека. Не удивляйтесь поэтому, как и я перестал теперь удивляться, что крестьянин спешит приложить печать к бумаге, в которой про барина идет нехорошая речь.



IV. «СВОИ СРЕДСТВИЯ»

.Вот уж больше недели, как жаркий воздух последних дней нынешнего деревенского лета отравлен запахом гари: где-то, как пишут в местном листке, горят торфяные болота, горят леса; сизый дым по временам достигает белизны и густоты тумана, застилает все кругом на далекое пространство и даже затрудняет дыхание... Пожары лесные — дело весьма обыкновенное на Руси, а особенно в наших северных местах, где, несмотря на все усилия господ помещиков, сельских обществ и промышленников истребить всякую растительность, по возможности в самый кратчайший срок, мать-природа не совсем еще вышла из терпения и продолжает одевать зелеными кустиками и жиденькими березками, осинками и ольхой холмики, болота и берега болотных речек. Горят леса тихо, молчаливо — горят, точно дело делают, как-то задумавшись; в тихие вечера иное дерево горит как свеча; трещит и коробится береста, вспыхивают и свертываются зеленые листья, и только по временам треснет и, точно зарница, вспыхнет над темным лесом смолистый газ раскаленной огнем сосны... А огонь, точно исполняя какую-то обязанность и не торопясь, опустошив десятин сто казенного, или господского, или крестьянского леса и дойдя до полянки, где уж нет пищи, скромно принимается жевать высушенную жаром и зноем траву, жует ее, точно скромная, кроткая овца, по вершочку, по травинке — жует день, два, шаг за шагом перебираясь через канавки, обходя болотца, «где посуше», и добирается до нового и свежего леса, до новой березки, пуская от себя в разные стороны таких же кротких огненных овечек.
И вот бежит огонь по березке, копошится внутри бузины или ольхового куста — и, глядишь, через день, через два

тлеет в горячих угольях другая сотня десятин. По ночам горящий лес — точно бальная зала или иллюминованный по случаю какого-нибудь торжества огромный парк: везде огни, звезды, бенгальские огни (сосна вспыхнула), а между ними обгорелые или еще горящие кусты, точно группы гостей, танцующих, толпящихся вокруг столов за картами, за едой. Днем, разумеется, все это исчезает, и остается один только удушливый чад и гарь.

Часто видал я такие пожары в наших местах, и никогда мне не приходилось видеть, чтобы в огне или около огня присутствовала бы какая-нибудь человеческая фигура, которая была бы обеспокоена этим пожаром, чтоб она хлопотала о сохранении государственного или частного имущества. По всей вероятности, где-нибудь и кто-нибудь непременно беспокоится об этой гибели леса, потому что ведь кому-нибудь лесной пожар непременно наносит убыток; но я лично, повторяю, не видал беспокоящихся или принимающих какие-нибудь меры ни чиновников, ни мужиков. Выгорит лес и перестанет — вот, мне кажется, общее мнение относительно как самых пожаров, так и средств к их прекращению. Но лично мое, напуганное явлениями русской жизни, воображение не дает мне возможности относиться к этому дыму и чаду, ежедневно нагоняемому ветром в нашу сторону, в такой же степени невнимательно и покойно, как относятся к этому все, кого я только в деревне вижу. Не потому, мое напуганное воображение не может бездействовать при виде явления, для всех местных жителей совершенно обыкновенного, чтоб я жалел этот горящий лес или жалел бы его хозяина, будь то государство, или крестьянское общество, или господин помещик, — вовсе нет; в смысле сожаления о гибели имущества я ничуть от местных обывателей и моих соседей не отличаюсь: «мне какое дело» или «на то есть начальство», — говорю я. Да, наконец, что же я могу сделать, если б я и жалел? Погорит и перестанет — вот все, что я могу по совести сказать, глядя на великолепное зрелище лесного пожара, и затем «пройти мимо». Если же мое напуганное воображение не пускает меня «уйти» от этого обыкновеннейшего деревенского события, то причины этого совсем иные. Дело в том, что недели три тому назад мне пришлось самому быть в лесу с одним моим приятелем,

и притом в той самой стороне, откуда вот уж давно валит дым и гарь и где, очевидно, большой пожар. Были мы с приятелем у другого общего нашего приятеля в гостях и после завтрака взяли ружья и пошли пройтись по лесу; часа два мы гуляли, наслаждаясь погодой, воздухом и невозмутимою тишиной леса; разумеется, выстрелить нам не пришлось, потому что лето ныне было очень сухое, ягод не уродилось, а стало быть, и птице незачем быть в пустом месте. Птица улетела туда, где есть ягоды — брусника, смородина и т. д. Шли, шли мы таким образом и пришли к крестьянской меже, а за этою межой начинался уж крестьянский, значительно вырубленный, лес. И здесь нам представилось такое зрелище: на большой, чисто и гладко выкошенной поляне протянулся огромный, сажен в пятьдесят, стог сена, а саженях в трех от этого стога горел костер из сухих сучьев и валежника; костер этот был, повидимому, только что зажжен, потому что огонь копошился еще только в глубине кучи хвороста. Но что поразило нас и заставило задуматься, так это, во-первых, то обстоятельство, что около костра никого не было, и, во-вторых, ясно видная дорожка кое-как набросанного сена шла от костра по направлению к стогу. Ни скотины вблизи, ни пастуха, которому понадобился бы этот костер, не было; да кому и зачем нужен был костер среди белого жаркого дня? Папиросу закурить можно спичкой. А дорожка-то от костра к стогу? И кругом мертвая тишина.

— Что же это значит? — спросил я моего спутника, человека больше меня знакомого с тою местностью, в которой мы были.

— А это, — сказал он, — должно быть, что-нибудь по части «своих средствий», что-нибудь по части «своих способов»..

Он помолчал, поглядел внимательно на огонь, поглядел на стог, на дорожку очевидно подброшенного сена между огнем и стогом, и уже с уверенностью еще раз повторил:

— Да, это несомненно «средствие»!

Зачем это гнусное, дикое и жестокое «средствие», против кого оно и против чего? Приятель знал это и объяснил мне. Сено, которое мы видели перед собой и около которого был неизвестно кем разведен огонь, при-

надлежало местному старосте. Староста этот полтора года тому назад был обыкновенный, заурядный мужик-хлебопашец; но как только его выбрали в старосты и как только в руках у него стали оказываться общественные деньги (подати, страховые сборы, взыскания по распискам и т. д.), он немедленно же стал выходить в люди обыкновенным деревенским порядком: скупит сено по нужде у соседей-односельчан, перепродаст вдвое — и подати внесет и в карман положит. Оставшись без сена, крестьяне начинают ему же продавать скотину, которую нечем кормить (дешевая говядина, дешевая солонина); он покупает и перепродает — и опять кладет деньги. Оставшись без скотины, продают ему же и землю на года за бесценок — и землю он берет. А так как без земли, без сена и без скотины делать крестьянину нечего, то он идет к разживающемуся старосте в работники: пашет свою же пашню, на своей скотине и т. д. Все это весьма обыкновенно, все это ужасно в смысле расстройства масс (главным образом — нравственного), и все это идет буквально в каждой деревушке. Говорят, для сбора налогов будут учреждены особые лица, под названием «податных надзирателей», на обязанности которых будет лежать не только сбор налогов, как это теперь делается «без разговору» господами — становыми приставами, но еще наблюдение за колебанием доходов облагаемого налогом лица и, сообразно с этим колебанием, назначение размера самого налога. Если это будет и если только господа-надзиратели будут хоть что-нибудь понимать и иметь хотя какое-нибудь представление о том, что такое совесть, то можно быть уверенным, что таких «своих средствий», как то, на которое мы натолкнулись в лесу, не будет в деревне. Податной надзиратель, видя, что такое-то семейство расстроилось от падежа скота, не будет (если только у него будет право поступать по-божески) брать того, чего хозяин семейства не может дать, и не будет кабалить соседу, заставляя продавать сено, потом скотину, потом и землю. «Говорят», что проект об этом, как из достоверных источников слышали газеты, изготовляется и, как «носятся слухи», уже поступил на рассмотрение. Вот когда он будет приведен в действие и когда люди, подобные старосте, наживаясь и отбирая от соседей и сено, и скот, и землю, будут нести и все

соседские тягости, то есть будут платить пропорционально своей алчности, тогда, вероятно, и «средствия» для улучшения своего благосостояния будут избираться другие. Теперь же человек, случайно (мирские деньги попали в руки) получивший возможность эксплуатировать соседей и, вопреки всем смыслам, божеским и человеческим, берущий сo̅ки из окружающих его соседей, не может не быть таким явлением в глазах этих соседей, которое только волнует, раздражает и ничего не сулит в будущем, кроме кабалы. Как же достигнуть того, что имеют в виду достигнуть комиссии о подоходном налоге, заседающие в городах и столицах? Как достигнуть того, что может быть достигнуто (как носятся слухи из вполне достоверных источников) хотя бы податными надзирателями, если у этих последних окажется крупица света белого в голове? Как достигнуть этого в деревне, в лесу, где иногда не умеют даже словами формулировать угнетающей муки, где не умеют писать, не умеют читать, не знают, от кого ждать защиты, где не знают, куда идти жаловаться, кому жаловаться, даже в каких формах жаловаться? Да, наконец, разве можно жаловаться куда бы то ни было на то, что сосед, мол, наш, староста, разбогател? И вот в этой тьме, тоске, нужде и продолжительном ожидании приезда господ податных надзирателей начинают зреть скверные мысли. Не натолкнись мы на огонь, разложенный около старостина сена, не было бы этого сена через час, через два, и староста был бы этим жестоким средствием приведен «в равнение» по части доходов и платежей (обязанность податных надзирателей) с окружающими его соседями.

Вот благодаря таким случаям, на которые судьба беспрестанно наталкивала и наталкивает силу в деревенской жизни, и притом в самых разнообразных проявлениях ее ежедневного обихода, воображение мое и стало пугливым, стало облекать несветлыми красками множество таких явлений деревенской жизни, которые для человека с ненапуганным воображением проходят незаметными... Часто я спрашиваю себя: чего я боюсь? — И могу ответить только: боюсь!.. Вот запахло гарью, мне и представляется, что это вопрос какой-то разрешается «своим средствием», а средствие — нехорошее. Положим, что в данном случае дело идет только об учреждении

податных надзирателей — ну а какой вопрос разрешается (пугливо думал я) тем, например, что гарь, и дым, и смрад лесного пожара не прекращаются, а, напротив, усиливаются с каждым днем и все идут из того же знакомого мне угла? Вопрос об уравнении доходов и платежей разжившегося старосты уже давно бы должен быть решен, а дым все гуще и гуще. Какой же такой еще вопрос разрешают они тем же безобразным средствием? Не разрешают ли они, думается мне, на этот раз какого-нибудь межевого или землемерного вопроса? Ведь недаром же было обнародовано (в виде слуха), что при министерстве юстиции учреждена комиссия из представителей трех министерств, кажется, финансов, юстиции и государственных имуществ, — комиссия, специально посвященная вопросам межевания и образованная ввиду массы неправильностей, обнаружившихся за последнее двадцатипятилетие в планах на крестьянские и помещичьи земли. Массы этих неправильностей, в огромном большинстве случаев, происходили просто от неуменья сделать дело, от небрежности, простой усталости, а иногда просто «с пьяных глаз», не говоря о злоупотреблениях, о вынутых из цепи звеньях и т. д. Я даже лично имел случай беседовать об этом с компетентным лицом и слышал от него, что количество межевых ошибок — невероятно, что их необходимо распутать, но что распутать их едва ли возможно в скором времени, так как проверка межевых линий и знаков должна быть произведена по всей России без исключения, а на это необходимо не миллионы, а миллиарды, потому что проверка, нанесение на планы и содержание межевщиков, таксаторов и землемеров, в общей сложности, составят один рубль на каждую обмеренную десятину. Судите сами, какие огромные деньги необходимы для этой необходимейшей операции! Но миллиардов нет, и ошибки так и остаются ошибками.

Когда и как они будут разрешены — неизвестно. А дым и гарь все наносит и наносит ветром из того угла, где — мне также достоверно известно — и помещики и крестьяне «жалуются» на неправильные «планты». Я сам в тех местах, откуда валит дым и гарь, видел два плана на одно и то же владение: один — представленный для залога в банк, а другой — полученный при наделении

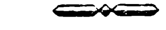
крестьян землею, и оба они не похожи во многом друг на друга. На надельном плане у крестьян больше, а на банковом — у помещика больше; а бывает, что у крестьян меньше на надельном, а у помещика меньше на банковом: вот эти лоскуты и путают, и мучают, и разжигают фантазии. Гарь и смрад наносит ветром из того угла, в котором «жалуются», а я думаю: «Уж не по межевой ли что-нибудь части? Уж не надумали ли межевые вопросы решать своим средствием?» И не без основания я так думаю: целую зиму из того самого угла, откуда теперь идет дым и гарь, постоянно появлялись в наших местах мужики с новым, только что срубленным, лесом и задешево отдавали как лес, так и дрова. Напуганный покупкою краденых липок (о чем я рассказал в предыдущей главе), всякий раз, когда продавцы этого леса обращались ко мне с предложением купить, я непременно задавал им вопрос: «А не краденый он?» — «Что вы, помилуйте! — обыкновенно отвечали мне. — Будьте спокойны». И прибавляли: «Да ежели, в случае что, так ведь я присягу приму, что брал «со двора». Что мне? Хоть сейчас извольте съездить к Ивану Ермолаеву — у него полон двор навален лесу. А я почем знаю. Я беру со двора... Кабы я рубил в лесу — ну так.. А то мне какое дело? Краденый он или нет, на мне ответу не будет. .» Такого рода ответы, заставляя меня отказаться от дешевой покупки, уже тогда, зимой, зарождали тревожные мысли о том, что крестьяне как будто задумали собственными средствами исправить границы, неправильно нанесенные на планы. И с каждым днем я убеждался, что предположения мои имеют основание, и не маленькое.

Однажды является продавец лесу и на обычный вопрос: «Не краденый ли?» — отвечает с полным изумлением: «Господи помилуй! Краденый. Как возможно! Вишь, как вы меня напугали... какими словами. Ах ты, боже мой, владыко, чудотворец! .» Несмотря на это изумление продавца, я указал ему, во-первых — на дешевизну — сравнительную, конечно; во-вторых — на то, что, как мне известно, в ихней стороне крестьянский лес повырублен и таких бревен нет; а в-третьих — на то, что и недавно мне привозили такие же бревна и тоже сомнительного происхождения. «Вот что, — сказал я в заклю-

чение: — ты говори мне по совести, откуда лес... Ведь не из вашего крестьянского отвода?» — «Да нешто в нашем лесу возможно такое дерево отыскать?» — отвечал продавец уж без всяких экивоков. «Ну, — сказал я, — так не возьму!» — «Позвольте, — сказал продавец, — позвольте, не огорчайтесь. Я вот только скажу два слова». Он отвел меня в сторону и самым убедительнейшим шопотом сказал: «Не беспокойтесь... Сделайте ваше одолжение! Будьте так добры! Извольте меня выслушать. Лес точно что спорный, это говорить нечего. Но только не беспокойтесь, сделайте одолжение — *я сам у этих господ лесным караульным служу*... Чего же вы? Я... я, — он указывал себе на грудь, — сам караульщик... Господи помилуй! Чего же опасаетесь?» Этот в высшей степени веский, относительно безопасности покупки, аргумент вероятно как нельзя лучше подействовал на моего соседа, который охотно стал покупать у этого караульщика «спорный» лес; но что касается лично меня, то я решительно убедился, что «исправление» границ, в ожидании того момента, когда упомянутая комиссия найдет возможным приступить к этому же делу, уже начато обывателями по собственному способу и ведется весьма энергически...

И точно, всю почти зиму из того угла, откуда теперь идет дым, доходили вести, не обещавшие ничего хорошего... «Рубят!»... «Они было сначала по опушке хозяйничали, а потом вошли во вкус, вломились в самое нутро»... «Рубят». «Уж будет им на орехи!». Вслед за этими слухами, в конце зимы, вдруг прогремела весть: «открыли», «такой-то барину объяснил». «Барин приехал». «Теперь бу-у-удет!» Затем что ни час, то новости: «Нагрянули с судом... Мужики прослышали, всю ночь задами вывозили бревна, разбрасывали под мостами, в проруби, в снег... Барин их же нанял все это свезти в одно место и их же засудил... всех поголовно. Уж бу-у-у-удет!» Однако нет... Так как в этом деле замешаны не одни мужики, а и мужицкая аристократия — кулаки, то дело пошло по-иному. Пошла в ход водка. Сходы разных деревень составляют приговоры: «лес рублен у них», в ихних наделах!.. Если бы не кулаки — конечно, крестьяне попались бы. Кулаки, чтобы не попасться самим, заодно выручили и мужиков; мужики

получили и лес и за доставку его из оврагов. Смеху было «предовольно». Мошенничества еще больше. Барин бросил тяжбу и продал весь лес за бесценок крупному лесопромышленнику на сруб. Это значило: «Пусть никому не достается. Не мне, так и не вам!» — изобретение чисто русское решать запутанные вопросы. «Пусть никому не достается!» — это совершенно наш способ, наш прием решать общественные дела. «Никому!» — лучше всего: никто не обижен, все остаются в дураках, в убытке и в нужде. *«По крайности никому»* — вот решение всех общественных вопросов, и решение, что всего замечательнее, успокоительное! .. Так порешил барин... А теперь вот дым и гарь несутся из той стороны... «Уж не порешили ли и мужики на том же?» — думается мне. Барин сказал: «Не мне, так и не вам», почему же мужики не могут сказать: «не нам, так и не вам»? И вот дым пошел... «Никому не доставайся!» — это тоже ведь «средствие» — средствие до тех пор, конечно, покуда «комиссия» не приступит, наконец, к чему-нибудь уже во имя не общего истребления, а общего удовлетворения нужд. Но, говорят, нет средств. Средств действительно нет, и вот тихо и бесшумно, «как свеча», горит лес, стог сена... Смотришь на это и боишься... Много есть «вопросов», уже возбужденных комиссиями, — таких, которые и народом возбуждены еще раньше, — а решения им нет покуда, кроме «своих средствий». Вот этих средствий-то и боишься, живя в деревне.



V. ОТРАДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Живя постоянно под гнетом неизвестности тех вопросов, которые соседи-мужички пожелают (быть может, сегодня, а быть может, и завтра) разрешить, не дожидаясь окончания трудов комиссии, разумеется, рад-радехонек, если откуда-нибудь нанесет на тебя хоть капельным, хоть с булавочную головку «отрадным» явлением. До какой степени иногда одолевает в деревне жажда каких-нибудь

«отрадных» явлений, читатель может судить из нижеследующего радостного дня, который я сейчас опишу подробно и который, в ряду сумрачных и пустых дней деревенской жизни, я не могу вспоминать иначе, как с удовольствием. Дело началось с получения газет, которые принесли мне первую в этот день отрадную весть. Само собою разумеется, что, кроме этой отрадной вести, в газетах было все, что бывает в них ежедневно, вот уж десятки лет подряд: был тут и священник, отказывающийся крестить, и священник, отказывающийся погребать, и священник, отказывающийся венчать; был тут и урядник, который «просто» посадил кого-то в холодную, был урядник, который сначала избил, а потом уж посадил, был урядник, который сначала «придрался», а потом уж посадил, — и был, наконец, такой, который сначала посадил, потом избил, а потом уж придрался... Были тут, разумеется, известия о массе пойманных: один пойман потому, что шляпа на нем была белая с малыми полями; другой — потому, что шляпа была черная и с широкими полями; один — потому, что не пил водки, когда все пьянствовали; другой — потому, что, имея пальто с бобровым воротником, ел на вокзале обыкновенный пирог в три копейки; третий — потому, что шел с книгой в два часа ночи; четвертый — потому, что шел тоже ночью и громко разговаривал с дамами, и т. д. Все они, конечно, выпущены на свободу и оправданы. Затем были, разумеется, хищения от двухсот пятидесяти тысяч до двух рублей, и были доносы в политической неблагонадежности: один донос священника на учителя за то, что учитель тот понравился матушке; другой — за то, что не дал старшине ломаться в классе и ругаться скверными словами; третий донос учителя на священника за то, что тот отбил у него невесту для своего племянника; был и донос племянника на дядю, вследствие неправильной задержки невестиного приданого... Все доносы по обыкновению оказались ложными, а подсудимые выпущены на свободу. Были известия об утопившихся, застрелившихся и отравившихся; все они оставили записки: «никто не виноват», или «растратил», или «надоело»... Вся эта куча мелких подробностей обыденной жизни группировалась по обыкновению вокруг главного центра — «блага России», «отечества», о котором вопияли передовицы,

хроники, извещающие о «благотворных слухах» — всё «из достоверных источников», в «непродолжительном времени» и т. д.

Этот-то центр, вокруг которого группируется масса безобразных фактов и фигур, как-то особенно недоступен нам, деревенским жителям. Видим мы, что идет какое-то галдение, что Россия, точно гоголевская лошадь, стоит в этом центре — понурая, с раздвинутыми в разные стороны ногами, что сначала на эту лошадь лезет Митяй с дубиной, на которой написано: «в непродолжительном времени» и «из достоверных источников», и начинает дуть ее по голове; потом влезает дядя Миняй, тоже с дубиной с надписью: «за недостатком статистических данных», — и начинает лупить ее по хвосту. Потом видим, как на несчастной лошади восседают и дядя Митяй и дядя Миняй, оба колотят, понукают, кричат; чтó они говорят, мы не слышим: толпа, давка и галденье; но из всего этого гвалта явственно раздается голос дяди Михайлы, который хотя сам и не влезает на несчастную кобылу, но неумолкаемо подает советы: «Что ты ее по голове-то дуешь! Ишь наладил! Нешто так можно? Ты в хвост, в хвост ее!» А начнут бить в хвост, он кричит: «Под брюхо, под брюхо накаливай!..» Примутся накаливать под брюхо, а дядя Михайло советует: «С обех, с обех концов-то налегни!..» Налегнут, а он: «Кверху, кверху ее взбадривай, вздымай!..» Станут взбадривать кверху — сердится, кричит: «Принагни ее к земи-то!» Только что станут дуть по спине, к земи пригибать, а уж он вопит: «С заду-то, с заду-то заходи, навались на спину, навзничь ее, с боков-то нажми», и т. д. За этой толпой вопиющих, кричащих и ожесточающихся советчиков мы вовсе не видим того несчастного существа, во имя которого раздаются все эти вопли и крики. Знаем, что оно существует, потому что на него взбирается то дядя Митяй, то дядя Миняй, то оба вместе...

Вот обыкновенные газетные впечатления. Впрочем, иногда к этому заурядному галдению присоединяется голос дяди Ивана и на некоторое время весьма изменяет надоевшую картину. «Что вы всё по морде да по морде! — громко и энергично провозглашает дядя Иван, появляясь около дяди Митяя, дяди Миняя и дяди Михайлы. — Что вы всё кнутовьем да дубьем!.. Вы бы

догадались овсом либо сеном ее поманить — оно, пожалуй что, и посходнее бы было». Эти простые, подлинно справедливые, слова дяди Ивана, говорящего обыкновенно громким голосом, сопровождая речь простецкими, умиротворяющими жестами, производят на галдящую толпу Митяев и Миняев обыкновенно весьма отрезвляющее впечатление; попробовать дать сена, покормить, вместо того чтобы колотить то спереди, то сзади, то с боков, — все это в самом деле так просто, так действительно-справедливо и так легко разрешает вопросы, которых не могут разрешить ни дядя Митяй, ни дядя Миняй, ни дядя Михайло, несмотря на то, что охрипли от крика и «обколотили» руки «об отечество», — что обыкновенно вся галдевшая толпа, окружавшая безобразное зрелище и также дававшая только безобразные советы, как бы просыпается от кошмара и начинает вопить: «Верно! Так! Овса подавай! Что кнутовьем-то кормить! Овса ей! Давай овса! Сена!» Увлечение этими простыми и трезвыми словами бывает до того сильно, что даже дядя Михайло начинает кричать (он всегда кричит, а никогда не говорит по-человечески): «А я про что говорил? Не говорил я, не бей по голове? Разве я не говорил, как надо? Нешто сообразишься с эстими идолами!» Но дядя Иван (бог знает, что с ним делается!) обыкновенно тут же и разрушает то приятное впечатление, которое всегда производят его первые слова. Не то он пугается сам простоты решения, не то боится, что несчастное существо, давно уже жаждущее сена, увидя вместо кнутовья сено, уйдет и дяде Ивану не о чем будет разглагольствовать; не то он сам приобык к галдению о том, куда и как бить, не то боится рассердить приобыкшую к этому галдению публику, не то боится Михайлы — только немедленно же после своих понятных и справедливых слов начинает бормотать всякие нескладицы, как будто имеющие целью сделать так, чтобы все осталось, как было, да и свои-то «простые» слова пристроить где-нибудь в этой свалке. Выходили поэтому бог знает какие вещи: только что толпа оживилась, только что более впечатлительные и правдивые люди бросились за сеном и притащили его к самому рту того существа, за которое дядя Иван вступился, как этот самый дядя Ива́н, так же не спеша и так же якобы от всего сердца, начинает говорить такие

речи: «Ты что ей сена-то к морде суешь? Тыщу лет по морде стегали-стегали, да сеном ей рот затыкать. Будет! Совались-совались — досовались до срамоты! . .»

В газетах, полученных в тот радостный день, о котором я рассказываю, по обыкновению было все, что придает им способность производить на читателя удручающее впечатление вестями. Впрочем, в последние годы общественные нервы до такой степени изорваны этими удручающими впечатлениями, что решительно отказываются воспринимать их, а в деревне, где ежедневный обиход жизни переполнен явлениями жестокой зоологической, неотвратимой, всеми признаваемой за неизбежную и действительно неизбежной правды (до поры до времени, конечно), нервная деятельность и вовсе оказывается несостоятельной: просто нельзя, нет физической возможности воспринимать все это, и надобно для собственного своего спасения на множество вещей не обращать внимания, будто их и нет и не было. Но зато всякая малость, говорящая, что где-то и в чем-то проявляется и может проявляться хоть капля *какой-нибудь* правды, не напоминающей зоологической правды дремучего леса, — иногда наполняет душу истинным блаженством. «Стало быть, есть же живые люди! — думается тогда. — Стало быть, не всё кнутовьем, не всё своим средствием»... До чего иногда надо мало современному российскому жителю, чтоб обрадоваться и, ощупав себя, с удовольствием сказать себе: «Слава богу, я жив!» — укажу на подлинный факт, который может быть удостоверен самым точным образом.

На вокзале Николаевской дороги нам пришлось видеть мужика, который крестился и громко говорил: «Дай господи много лет здравствовать начальникам и первоначальникам... на многая лета! . . Пошли им царица небесная!» — «За что так?» — спросили его. «Да вот теперича, дай бог здоровья, хоть загородок нет. Ведь что такое? Ведь не железная дорога была, а тюрьма!» Так было и со мною: меня обрадовали и ободрили такие вести, которые для господ столичных жителей или вообще обывателей городов не имеют никакого значения. Во-первых, я был очень рад, когда прочитал, что солдат, судившийся военным судом *за растрату казенного имущества,* оправдан. Стоял солдат на часах и от нечего делать стал

рассматривать патрон; патрон этот как-то нечаянно выскочил из его рук и упал в грязь, солдат поднял его и стал очищать от грязи, хлопая им по стволу ружья; хлопал-хлопал он так-то, и вдруг патрон от сотрясения разорвало; солдату оторвало палец, а начальство, узнав об этом, предало его военному суду за растрату казенного имущества, то есть за то, что он растратил непроизводительно патрон. Прокурор, подводя статьи закона, доказывал, что солдата надобно посадить в тюрьму *на три года,* но судьи сказали: «нет, невиновен!» И не поверите, как было это приятно: невиновный оказался невиновным — это так великолепно, что я и выразить вам не могу. На три года! За что? — За патрон, который сам растратил у солдата целый палец? Но сколько же лет должны сидеть интенданты? Сколько же лет должны бы сидеть те господа, которые растратили три миллиона десятин башкирских лесов и земель? Но правда не умерла. «Нет, невиновен!» — сказали судьи, и я рад, ужасно рад! Но еще больше я был рад другому случаю: в одной из провинциальных газет была напечатана телеграмма, помеченная какой-то станцией железной дороги. Какая станция и какая дорога, это все равно, — важна сама телеграмма, в которой сказано: «Начальник станции отказывается выдать книгу для записывания жалоб. Публика ропщет. Кузнецов». Последние слова телеграммы: «публика ропщет», напечатанные на первом месте подцензурной газеты, были для меня манной небесной. Стало быть, можно и роптать, если начальник станции, обязанный выдать жалобную книгу, не выдаст ее... Господи, да когда же было это видано, и притом когда под этой фразой можно было найти и подпись: «одобрено цензурою, 23 августа»! Да и в самом деле, что же это за мода — не исполнять законнейших требований публики? Просят жалобную книгу, которая *должна* по закону лежать всегда в пассажирской зале на столе, — и не дают! И это поминутно, на каждом шагу: где только в законе сказано: «не притесняй», там непременно «притеснят» — такая уж мода. Но вот телеграмма: «публика ропщет», «одобрено цензурою» — стало быть, можно роптать!
Я весь дрожал от негодования на этих «начальников», которые только и знают, что «не дам» да «нельзя», «пошел вон». И посмотрите, какую жалобу хотели записать

пассажиры в жалобную книгу. Шел поезд; один из пассажиров, купец, вышел на платформу, и так как был под хмельком, то, по неосторожности, свалился с платформы на полном ходу — свалился с насыпи в сажен шесть вышины. Публика заметила это и обратилась к кондуктору: «Пассажир сейчас свалился — остановите поезд». Кондуктор испугался, но, сообразив, что он «служит», «получает жалованье» и что он поэтому «начальник» вагона, отвечал: «Никак нельзя... по расписанию... с опозданием...» — «Но ведь там человек свалился с откоса на всем ходу! .» — «Нельзя. Надо доложить обер-кондуктору». Обер-кондуктор, видя, что дело серьезное и что на нем лежат обязанности, притом *серьезные,* так как и жалованье он получает за это, не нашел ничего более серьезного, как сказать: «Невозможно... с опозданием. по расписанию. .» — «Человек расшибся, упал с платформы!..» — шумела публика. «Не извольте шуметь! Я вас высажу из вагона! Какое вы имеете полное право шуметь? Я здесь начальник!» Шум и крик усиливался, человек разбитый валялся в яме, поезд мчался, а обер-кондуктор был вне себя от дерзостей, которые *ему* делала публика. Однако вероятно кукуевская история несколько освежила этой публике представление о самосохранении, и она не унималась; ведь в самом деле с каждым может случиться такая история, а всё только «нельзя и нельзя» — что ж это за правило такое? Шум увеличивался, и все искали — «кому пожаловаться». «Кому бы пожаловаться» на публику — искал кондуктор, а публика искала — кому пожаловаться на обер-кондуктора. Наконец нашли. Сидит в первом классе инженер железной дороги, той самой, по которой шел поезд, и читает «Стрекозу». Обер-кондуктор и публика — к нему. Один говорит: «Произносят дерзкие слова — позвольте записать фамилии...» Другие вопиют: «Человек свалился в яму — остановите поезд!..» Инженер становится на нейтральную почву и говорит: «Это не мое дело... Я ничего не знаю!..» Это тоже современная мода: видеть, улыбаться, удивляться и говорить: я ничего не знаю, не имею понятия... Экспонента Зарубина *буквально* ни за что ни про что арестовали на московской выставке, где у него были выставлены изобретенные им машины, и сколько он ни спрашивал у распорядителей: «За что?»— все отве-

чали ему: «Я не имею никакого понятия, совершенно не понимаю!.. Какая нелепость!..» — «Так можно уйти?»— «Ничего не знаю! Уйти? Нет, нельзя!» — «Но за что ж меня держат?» — «Не знаю! Удивви-тельно, а уйти нельзя»... Господин Зарубин, однако, *просто* ушел, взял и ушел. Вот и инженер также: «Я ничего не понимаю... Потрудитесь замма-л-чать, иначе я...» Но шум увеличивался, послышались угрозы, поезд остановили, воротили назад и нашли упавшего пассажира с переломленными руками, ногами, ребрами, в бесчувственном состоянии, всего в крови. Публика взволновалась и по приезде на следующую станцию потребовала жалобную книгу. «Нельзя!»— говорит начальник станции. «Как нельзя?»— «Нет ключа...» — «Где ключ?..» — «После, вот уйдет поезд, я вам дам. .» — «Как уйдет поезд. Да с поездом ехать надо нам...» — «Когда уйдет поезд». Наконец послали телеграмму, и тогда выдал книгу, но сказал: «Па-аслушти, стоит ли дря-азги? .» Да, конечно, стоит!.. Как хотите, а в этой истории видно, что «пробуждается» сознание и что пробуждению не препятствуют: публика ропщет — это напечатано, а внизу «одобрено цензурою». Стало быть, еще поживем на белом свете.

Но венцом радости этого счастливого дня был третий отрадный факт, и подарила мне его не пресса, не газета, а самая жизнь. Пришел по какому-то делу тот самый мужик с деревянным мозгом, который приложил печать под удостоверение о неблагонадежности моего приятеля, а его жильца, — человека, от которого он «худа не видал». Разговаривая о том, о сем (кажется, о дровах или об камнях — с этим мужиком нет других разговоров), он вздохнул и сокрушенно произнес:

— Вот и еще новый расход на шею себе намотали!

— Кто и какой расход?

— Да мы — обчество...

— Какой же?

— Да избу наняли для странних людей. Теперь сами, чай, видите, сколь много народу идет нищего. Всякий ночевать просится. А пусти — обокрадет... Вот и порешили нанять мирскую избу, чтобы все, кому ночевать требуется, шли бы туда... То есть, чтобы по дворам не пущать...

— Что ж, это отлично!

— Отлично-то отлично, а двадцать пять рубликов отдай за избу-то.

— Кому же это пришло в голову?

— Коли меня обокрадут, да тебя обокрадут, да сожгут раза три всю деревню, так и придет в голову. Спроси-кось, кто у нас не обокраден. Ну, все и порешили...

Деревянный мужик долго рассказывал мне насчет воровства и всякого разбойства, но я и не слушал его — я был ужасно рад еще раз в этот счастливый день.

«Это, — думал я, — *тоже своим средствием.* Это — *новое;* этого *не было;* это *не хозяйственное,* а общественное, хоть капельку, но доброе. Тут есть уж внимание к *чужому* горю, тоже капельное, но уж не только *свое.* .»

И я был необыкновенно этому рад. Сочтите теперь: солдат невиновен; публика имеет право роптать, и в конце концов мои односельчане тоже делают какое-то дело на том основании, что людей бросать зря нельзя... Все в этих фактах говорило о каком-то пробуждении сознания — и не к худу, а к добру.

VI. «С ЧЕЛОВЕКОМ — ТИХО!»

Конечно, в рассказанной мне деревянным мужиком истории об открытии ночлежного дома для «странних» и прохожих людей не последнюю роль играло простое чувство самосохранения, желание «отделаться» от случайного, бог знает откуда идущего и неведомо что думающего человека; но «отделаться» можно бы было и другим образом: просто не пускать, гнать от окна, в которое обыкновенно стучит палочкой прохожий человек, просясь на ночлег, — иди, мол, куда знаешь, ночуй, где хочешь... Однако не случилось этого: обыватель перестал пускать на ночлег в свой дом, но без ночлега не оставил, и это последнее обстоятельство глубоко радовало меня... В этом поступке виднелась уже капелька заботы о ближнем, капля сострадания к нему, капелька мысли о том, что у человека есть какие-то обязанности к человеку же, — обязанности, не входящие в круг забот и обязанностей моего дома, моего хозяйства, моего тяжкого труда. Ноч-

лежный дом устроен не только для личного удобства обывателей, но и для удобства неизвестных, не имеющих пристанища, людей, а это ново, удивительно ново в наши серые, тяжелые, угрюмые дни.. Ведь действительно мы все решительно забыли о том, что называется чужая беда; «общее благо» превратилось в самое пошлое выражение, не имеющее смысла, выражение окаменелое и не только не разрабатываемое общественным сознанием, не только не совершенствующее это сознание, не очищающее его от непропорционально владеющих им страха жизни и узкости жизненной задачи, но, напротив, с каждым днем приводящее понятие о «благе» до размеров макового зерна и твердости камня. Весь жизненный горизонт заставлен так называемыми вопросами, проектами и т. п., но холодом пустого погреба несет от них. Рубль и желание не потерять его видно в каждой из этих, загораживающих свет, «серьезных» общественных задач — человека не видать за ними: не видать его души, его мучений, страданий, недоумений, желаний... Весь горизонт заставлен и загорожен толпами людей, «исполняющих обязанности», но не знаешь, во имя какой цели все совершается... Скрипят перья, сабля звякает у бедра урядника, рысью едущего верхом, сторож тащит кучу пакетов на почту — все это дела, от всех веет только одним: «не твое дело», «пошел прочь», «здесь *свои дела,* посерьезнее *твоих*». И вот эти-то «свои» дела, как неприятный и неделикатный гость, поселившийся в вашей комнате и не стесняющийся в своих привычках, несмотря на то, что он в чужом доме, не дают возможности быть самим собой. Волей-неволей надо молчать и ждать, покуда неделикатность уедет. Иногда из нежелания самому поступить с этим гостем грубо и выпроводить его, иногда из невольного страха вызвать в неделикатном человеке еще более неделикатные черты характера вы молчите, говорите себе: после, когда уедет, я примусь опять за свое.. И, право, если это неделикатное посещение продолжается долго, можно легко поддаться угнетенному душевному состоянию, потерять нить мыслей, прерванных появлением гостя, а иногда и забыть эти мысли, да так забыть, что и не вспомнишь. Гость уехал, а не знаешь, что делать, забыл, о чем думал. «Что это я хотел?» — припоминаешь, и не можешь припомнить...

Вам говорят: пакеты, которые сторож тащит на почту,

и урядник, который едет верхом, и вопросы, которыми загроможден горизонт, — все это делается во имя общего блага... Я нисколько не сомневаюсь в этом — иначе зачем вся эта суета и возня? — но я не могу утаить, что у меня нет совсем с этим связи, я по человечеству-то не задет этим за живое. Несмотря на то, что весь горизонт сплошь уставлен и загроможден «серьезнейшими» вопросами, — как человек, живое существо, я чувствую, что мне только холодно от них. Вся психологическая сторона, вся духовная и экономическая драма хотя бы такого явления русской жизни, как «кабак», на горизонте обозначена «питейным вопросом», но ничего общего с живым человеком, приведенным к кабаку множеством психологических и иных причин, не имеет. «Патент есть?» — «Есть». Только и всего. А человек, валяющийся в канаве, *к делу* не относится. Улучшение быта духовенства, стоящее на горизонте, опять-таки игнорирует всю психологическую сторону дела. Загроможден горизонт вопросами, но все они сужены до размеров рубля серебром; все они не освещены, не согреты и не соединены друг с другом мыслью о том существе, которое в зоологии называется «человеком», нигде об этом существе не сказано ни единого слова. Все вопросы поставлены в обрез, жестко и «без разговоров». На первом плане стоит прямо «дороговизна съестных припасов», а за припасами непосредственно следует «улучшение быта»; но зачем все это и какую такую мою, личную, человеческую сторону будет удовлетворять тот или другой начальник, поборов дороговизну съестных припасов, — неизвестно, и никто этого не знает.

Да и вообще, говоря биржевым словом, *«с человеком —* тихо», и внимание к нему, к его божественному (эва!) происхождению превратилось в нуль, и во всем мире по этой части творится что-то недоброе. Возьмите хоть египетскую войну и скажите, было ли что-нибудь подобное с сотворения мира? Прежде воевали народы, но и владыки народов воевали одновременно — владыки даже вели бой. Теперь владыки с владыками находятся в самых лучших отношениях, только и пишут друг другу о дружественных чувствах, а подданные дерутся. И за что? Прежде всякая драка начиналась непременно во имя какого-нибудь высшего интереса, высшей цели... «Освободить гроб от ига. Освободить от ига вообще... За

веру. За порядки и цивилизацию... За освобождение... Наконец просто — покорить, завоевать...» Ничего этого нет в данном случае: завоевывать никто ничего не хочет; ни о вере, ни о свободе или освобождении нет и речи, а просто только: «отдай деньги!» — и больше ничего. В Англии вздорожали «съестные припасы» (так и в манифесте об объявлении войны написано), нужны деньги, феллах не платит; и вот английские купцы посылают флот с пушками и начинают выбивать недоимку из мужиков Египетской губернии. Заряжают пушки, палят — палят день, два — и посылают парламентера, у которого на знамени написано: «Отдай апрельский купон в два с полтиной!» Навстречу этому парламентеру выезжает другой, у которого написано: «Повремените, покуда овес продадим, хотя до покрова». — «Мы уж временили, — отвечал Сеймур, судебный пристав английских купцов, — довольно! Вам доверяли, хотели как лучше, а вместо того — одна неблагодарность... Приноси купон, а не то опять начну выбивать пушкой. У меня разговор короток». А падишахи в это время сидят, пьют кофе, говорят друг другу любезности и ожидают, когда уйдет судебный пристав, чтобы опять взять в руки бразды правления. Сыновья солнца, братья луны, отцы вселенной не могут воспрепятствовать, при всем своем могуществе, истреблять собственных своих подданных купцу — истреблять тысячами за то, что у купца векселя неоплаченные в кармане. «Банки возроптали...» А возроптали, так можно и из пушки двинуть... Совершенно частные интересы — банковые, акционерные, интересы рубля — с пушками вторгаются в страну за получением недоимок, и сын солнца ничего не может сделать. Представитель английских мироедов с пушками и бомбами лезет через моря и океаны и кричит: «отдай купон!» Он знать ничего не хочет — ни трактатов, ни конвенций. «Это до нас не касающее. Отдай купон, больше ничего!..» Прет, преодолевая все преграды и пренебрегая всякими приличиями и обычаями, и если обнаруживает какое-нибудь и к чему-нибудь внимание, так единственно только в случае, когда натыкается на другого купца, у которого тоже векселя. Представитель совершенно *частной* компании, то есть кучки *частных* лиц, человек, не облеченный и каплею той власти, которою облечены падишахи, Лессепс приехал

в Суэц и говорит: «Тут я не пущу. *Я* тут *хозяин*... *Я* не позволю». — «Да нам деньги надобно получить!» — возражает Сеймур и лезет с флотом, полагая, что раз он сказал: «мне деньги получить», так тут уж расступись всё и вся. Однако нет! — «Да и нам тоже нужно деньги получать, — возражает Лессепс: — что вы уж очень-то!» — «Да у меня векселя...» — уж робко возражает судебный пристав... «И у нас тоже векселя!» — гордо говорит Лессепс. «Да ведь по купонам мне надо с них получить... сами посудите, доверяли, а наместо того. Позвольте, пожалуйста, проехать, выпалить из пушки!» — «Мне тоже надо получать по купонам».

Так и остановил один целый флот. *Один* человек, *частное лицо,* представитель *десятка частных лиц* — взял да и остановил целый флот, не дал ему ходу, не побоялся пушек и пуль и имел силу все это сделать *только* потому, что ему *тоже* надо деньги получать. Только потому его и понял и «уважил» другой представитель группы *частных* лиц и банков, что понимал огромное значение акта получения купонов. «И вам тоже по купонам? .» — «Да-с, и мне-с!» — «Ну, извините...» А падишах, сын солнца, брат луны, при всем могуществе, не может препятствовать ни флоту, ни разоренью подданных, ни войне, ни пожарам. Что же значит после этого тот человек, с которым расправляются, — феллах? Напрасно он кричит: «Дайте продать овес!» «Неурожай!» «Разорился!» «Позвольте вздохнуть!» «Извольте выслушать, отчего...» — никакого внимания! «Отдай купон! Заряжай! Пли!»... Вот какие дела стали делаться на белом свете! «Отдай купон, не то убью»; а что касается там какого-то твоего «личного» счастия, какого-то национального достоинства, каких-то семейных и общественных обязанностей, каких-то умственных и нравственных недоумений, жизненных задач — наплевать! «Отдай, а сам хоть провались сквозь землю!» При таком «последнем слове», определяющем главную задачу современной жизни, — слове, произнесенном и освященном отборными представителями отборнейшей и могущественнейшей нации всего света, — мудрено роптать на то, что урядник также выдвигает на первый план «съестные припасы» и во имя их желает обеспечения.

Но сказать о крайнем оскудении «духовной деятельности» русского человека, о крайней ничтожности проявле-

ний этой деятельности все-таки необходимо. Оскудение духовной жизни до такой степени велико вообще, что иногда не только отказываешься дать объяснение существованию всевозможных лиц, прикосновенных ко всевозможным учреждениям, но не можешь объяснить и резона для собственного существования. Живешь, глядишь и не знаешь — зачем все это, надобно ли это, из-за чего, наконец, на человечество навалилась такая масса необузданной скуки и почему такое мертвое молчание? Что вообще все это значит: «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж отдают?» Ведь необходимо же, чтобы для каждого амплуа было какое-нибудь объяснение. И притом, если это амплуа желает, чтоб я, обыватель, уважал его, то объяснение его существования непременно должно быть для меня приятное, вызывать во мне сочувствие, иначе я могу только переносить это амплуа, не имея с ним ни малейшей внутренней связи. Недавно мне, например, рассказали, что батюшка соседнего прихода, посетив умирающую женщину, обратил внимание на двенадцатилетнего мальчика-сироту и спросил его: «Ходишь в школу?» — «Не!» — отвечал мальчик. «Отчего?» — «Денег нет» (надо платить пять рублей в год). Батюшка подумал, поговорил с мальчишкой и сказал: «Ну, ходи в школу — я за тебя пять рублей заплачу!» И, точно, заплатил. Когда мне рассказали об этом случае, поверите ли, я целый час не мог прийти в себя от изумления. «Как, пять рублей?» — «Да так — жалко мальчишку стало». — «Да неужели только потому, что жалко стало?» — «Только! ..» Удивительно, необыкновенно! Судите сами: *просто, так* (слова всё диковинные), батюшка *сжалился* и заплатил пять рублей за *чужого* мальчонку... Как хотите, а это удивительно. За это *в самом деле* следует уважать батюшку. В одном заграничном католическом городке в тяжкой болезни умирала русская женщина. Жила она в беднейшем квартале, в беднейшей комнате и последние дни ниоткуда не имела помощи. В это трудное время, в один из самых тяжких и мучительных часов, которые проводила умирающая на чужбине, в дверь ее комнаты послышался стук. Отворили. Патер просунул руку с конвертом, поклонился и ушел. В конверте было двадцать франков. Это, конечно, фокус — эти двадцать франков пущены в ход для завоевания всего бедного дома, в котором была умирающая;

но зачем этот фокус и почему фокус такой, а не другой? — Потому, что его делает монах. Этот поступок вполне объясняет его звание. У нас не так. «Батюшка! сейчас повели в волость драть Ивана Тимофеева. Богом вам божусь, занапрасно. Старшина на него осерчал, что он на учете шумел, срамил его и повел драть за грубость якобы. Вступитесь!» — «На это, друг любезный, отвечу я тебе кратко: не мое дело! Я сунусь, а он на меня — кляузу, вот и возись с ним. .» И точно, как сунулся с чем-нибудь хорошим, так и — кляуза. Кляузу примут во внимание, а насчет «хорошего» скажут: «не твое дело». Уж такое «заведение», такая привычка. И вот, повинуясь порядкам этого «заведения», батюшка садится на лавочку около своего дома и, слушая, как в волости кричит мужик, нюхает табак и говорит:

— Ишь как запаливает!

— Смородины нарезал! — объясняет церковный сторож.

— Где же смородину-то брали?

— Да тут, у Авдотьи.

— А хороша смородина-то?

— Смородина-то у ней буйная...

— Буйная? Так хорошо бы у нее кустика два-три.

— Что ж, можно. У-ух, как задувает!

— Да. Расходилась рука.

Вот почему мы предпочитаем другой тип батюшки, который, говоря: «люби ближнего и помогай», в самом деле помогает — дает пять рублей бедняку. Этот поступок оправдывает место, занимаемое им, и даже просьбу о прибавке: она будет у такого батюшки формулирована не одною только дороговизной солонины, которая (как пишут в прошениях) *«достигла* даже до четырнадцати копеек! ..» По этому же самому нам, обывателям, приятнее бы было, если б и начальник станции (о котором упомянуто в начале), вместо того чтобы не давать жалобной книги, напротив, сам бы прибежал с ней, сам бы сказал: «Боже, какое происшествие!» — а не ломался бы, не говорил бы глупых слов: «с опозданием» и т. д. в то время, когда живой человек разбился на наших глазах вдребезги. По этому же самому нам приятны и судьи, которые оправдали солдата, «растратившего патрон», и сказали: невиновен. По этому же самому приятны и мужики, ко-

торые наняли для нищих и для странных дом, купили дров, хотя и могли, на основании господствующей моды, вследствие которой «люби ближнего» значит: «чужая не приставай» или «не твое дело», — просто гнать нищих от своих ворот, говоря кротким голосом: «не прогневайся», «иди себе с богом прочь!» и т. д. Спрашивается: что же именно во всем этом приятного и в чем заключается эта приятность? Неужели только в том, чтобы понимать и знать, зачем существует то или другое амплуа на белом свете? — Нет, мне мало понимать все эти общественные амплуа, мне надо знать, что они хлопочут о том, чтобы мне было лучше. Зла, тьмы, тяготы, невежества и так довольно — все это мы воспроизведем без всяких поощрений и одобрений; для увеличения тягости и холода жизни не нужно никаких амплуа, и не стоит таким амплуа давать прибавки, хотя бы солонина достигла и семнадцати копеек за фунт. Нам надо добра, правды, облегчения жизни, ободрения того хорошего, что в нас есть; нам надо, чтобы все эти амплуа, хоть из пятого в десятое, знали и понимали, что такое значит слово «общее благо». Но ведь ужасно сказать: самое понятие, заключающееся в этом слове, исчезло совершенно изо всех амплуа, и мы, обыватели, не чувствуем смелости проявлять хорошие побуждения, убеждаемся, что они вышли из моды, что главное — не это, а «не твое дело» и «дороговизна съестных припасов». И стоит дьявольская тоска. Солонина «достигла» двадцати копеек — неизвестно отчего. Батюшка сидит дома и думает об улучшении быта — неизвестно с чего. В волости «наказывают» Ивана Родионова — неизвестно за что. Урядник едет рысью — «неизвестно куда и зачем...» Неизвестно, зачем прилетела птица под окно... Солнце светит... Солонина «достигает»... И становится, «неизвестно отчего», страшно...

VII. ДЕРЕВЕНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

«...Однако, — возразит мне читатель, — несмотря на все ваши причитанья о том, что вообще понятие об общем благе как бы вообще иссякло и исчезло, действительность народного духа вовсе не замерла. Ведь вот устроили же

ночлежный дом для странных. И никаких тут ни указаний, ни поощрений, ни поддержек не было... Стало быть, и без всяких наемных или ненаемных деятелей народ сделает себе сам все, что ему нужно и что он найдет полезным. Лучше всего оставить его в покое, право...»

Все это справедливо, и все это я понимаю и знаю. Знаю я, что дух народный не умер и не умрет; знаю, что рано или поздно, убедившись, что «люби ближнего» — не одно и то же, что «свои собаки грызутся — чужая не приставай», — народ «сам» примется за объяснение этих слов. Знаю, сколько бед и напастей, зла и трудностей произойти от этого может. Знаю я, что все это идет и сейчас на глазах у всех нас, но я утверждаю, что это идет с «ненужным» злом, с «ненужными» мучениями — идет безобразно, дико, нелепо. Ведь для того, например, чтоб устроить ночлежный приют для «странних» и сделать это «своими средствиями», необходимо было, чтобы каждая из деревень, принявших в этом участие, сгорела по крайней мере раза четыре от трубки, которую забыл прохожий в сене; надобно было, чтобы решительно *все* были много раз обокрадены, хотя и в разное время и в разных размерах. Крестный ход, учрежденный тоже по собственной инициативе крестьянами села Зайцева, учрежден потому, что *весь* скот переболел у всех; другой ход в той же деревне учрежден потому, что во всех дворах холера выела людей, и т. д. Надобно было, чтобы воровские наклонности прохожих всеми ощутились в таких неудобных размерах, чтобы *все* заговорили о необходимости ночлежного дома... Но вопрос о бесприютном человеке — такой огромный, общественный вопрос, что его можно и должно ставить пред общественным вниманием, не дожидаясь, покуда он поставит себя воровством, пожаром и т. д. Я очень хорошо знаю, что народ не может верить, будто бы «люби ближнего» есть то же самое, что «чужая не приставай», — знаю, что он будет искать подлинного объяснения этих слов, знаю всю ту огромную му́ку, которая ему предстоит; но почему я, зная это, должен молчать — этого я не понимаю и понять не могу. Так во всем. Нисколько не теряя веры ни в народную душу, ни в народный ум, мы, люди, принадлежащие к так называемой интеллигенции, но по несчастию забывшие, что *обязанность* наша — непременно помнить только о благе общем, чтобы дея-

тельностью *в этом* смысле оправдывать свое положение, — присутствуем пред поразительно-безобразным зрелищем. Видим, как «своими средствиями» — всегда тяжелыми, грубыми, мучительными, исполненными страданий, ошибок и напрасных мучений — народ ставит и пытается разрешить такие вопросы, которые давным-давно поставлены; глядим на это и *знаем*, что «рано ли, поздно ли» (десятками лет) он придет именно к тому фазису вопроса, который давно у нас уж пред глазами... Народ, идя к разрешению того или другого занимающего его вопроса, бредет ощупью, не зная завтрашнего дня... Мы знаем этот день и — молчим.

Опыт осчастливить Русскую Землю помощью людей, хотя и называющихся общественными деятелями, но не имеющих понятия о том, что общественная деятельность может выражаться *только* в заботах об *общем благе,* — опыт этот, как теперь всякому известно, был сделан в грандиознейших размерах и, как тоже известно, привел к весьма неблагоприятным результатам. Ведь не об общем же благе заботились люди, расхищая миллионы оренбургских земель, общественное народное достояние и богатство? Ведь не об общем благе хлопотали господа интенданты, расточая миллионы, десятки миллионов народных денег, каждая копейка которых добыта тяжким трудом? Разве имели в виду общее благо господа железнодорожники, кладя в карман себе миллионы, сотни миллионов народных денег и проводя дороги там, где захочется? Разве об общем благе думали массы хищников, опустошая банки, растрачивая общественные кассы, взламывая земские сундуки и т. д.? Разве об общем благе думает вся масса Псой Псоичей, Тит Титычей, больших и малых, вся свора мироедов и кабатчиков?.. А наше прошлое с Тарасами Скотиниными, Митрофанушками, Фамусовыми, Репетиловыми, Скалозубами и т. д. и т. д. — разве оно повинно в заботе об общем благе? А наше настоящее с Колупаевыми, Разуваевыми, с дельцами, с хищниками, со всей этою сворой всякого сорта жестоких людей — разве оно слышало когда-нибудь об общем благе?

Но мы решительно не в силах даже приблизительно, даже в общих чертах изобразить все могущество, все обилие, все беспредельное пространство, которое наполнял и наполняет в прошлом, в настоящем и будет наполнять

в будущем тип человека, не имеющего понятия об общем благе... «Будет», «довольно», ради бога довольно *этого* типа! — от глубины возмущенного чувства может только воскликнуть всякий русский человек. Довольно *этого* типа! Пора ему выходить из моды! Он ничего не может сделать, кроме зла; он все расшатает, расхитит, налжет, предаст и исчезнет, оставив одни развалины...

Вот этой-то интеллигенции, для которой дороговизна съестных припасов есть единственное руководство в выборе той или другой общественной обязанности (сегодня — урядник, завтра — дьячок), воистину пора выходить из моды и дать дорогу — не скажу уже готовой, «настоящей» интеллигенции, а хотя тем вопросам общественного блага, которые могут образовать эту настоящую интеллигенцию. Да, еще «образовать» ее надобно — так она слаба, не уверена в себе, во всех тех видах, которые доступны ей в настоящем. Общественное благо, вопросы насущной жизни, из которых оно слагается, — вот единственно что может прекратить ту молчаливую, но жестокую борьбу так называемых партий, сосредоточивших свою ожесточенную мысль только на способах наилучшего выражения негодования, — сосредоточивших до такой степени, что за «способом» не видишь уж самой причины борьбы и только спрашиваешь, во имя чего же все это совершается? Только вопросы общего блага, поставленные широко, сами собой уничтожат эту наемную, из-за денег, из-за съестных припасов толкущуюся интеллигенцию и дадут смысл и частной и общественной жизни.

Скоро ли и когда именно наше отечество разлюбит отверженные типы наемной интеллигенции — мироедство всевозможных размеров и форм, — скоро ли оно убедится, что искренняя забота об общественном благе только одна и может дать жизнь нашему постыдно бездействующему нравственному миру, — не знаем и решать не беремся; но о том, что в отдалении от малейшего знакомства с обязанностями человека к ближнему, к обществу воспитывается все миллионное молодое поколение, сказать необходимо.

В «Наказе» Екатерины мы находим такие строки: «Законы должны быть книгою весьма употребительною и которую бы за малую цену достать можно наподобие бу-

кваря. и для того предписать надлежит, чтобы *во всех* школах учили детей непременно: из церковных книг и из тех, кои законодательство содержат». Книги, кои «законодательство содержат», — содержат кратко формулированный свод обязанностей отдельного человека к обществу. Автор «Наказа» желал, чтобы с гражданскими обязанностями народ во всех школах был ознакомлен наравне с религиозными. Следовательно, он считал нужным не скрывать от масс того, что́ во имя общего блага считается вредным и полезным, и т. д. И это было при крепостном праве, когда народ мог и не отвечать за свои общественные порядки, как бы дурны они ни были. Теперь, через сто лет, ни о чем подобном нет и в помине. Нельзя говорить именно о том, что нужно и о чем спрашивают, — везде ссылаются на крамолу, точно ее следует уничтожать поголовным невежеством масс...

Теперь представьте себе, что где-нибудь, в волостном правлении или у сельского старосты, совершается какое-нибудь из бесчисленных вопиющих дел: беззаконный контракт, пьяный суд, нелепый учет какого-нибудь обиралы. Ни судьи, ни депутаты, ни «оконтрачиваемые» мужики — никто не знает, что́ пишут, что́ считают, какие цифры выговаривают, но чувствуют, что делается что-то «в ущерб». Никто не знает ни грамоте, не умеет ни прочесть, ни написать: некому по душе, по совести растолковать, вступиться и т. д. А напротив — школа, и там никогда, ни по какому поводу ни батюшка, ни учитель ни единым словом не заикнется о том, что «нехорошо», мол, так делать, как делается там, напротив. Ни с божеской, ни с человеческой стороны общественные обязанности не обсуждаются, не становятся на очередь. Пишут о белом медведе, о самоедах, решают задачу об «аэронавте, который, поднявшись на высоту 367 футов, уронил табакерку», и т. д. А кругом кишат миллионы задач, которые должны быть удовлетворены этими же мальчиками, будущими деревенскими жителями, общинниками.

Не так давно, задумав составить книжку для детского чтения, я обратился к некоторым учителям К-ской губернии с просьбою задать ученикам сочинения на разные темы. Были выбраны: «Домовой и вообще нечистая сила», «Сходка», «Сирота» и «Драка». И что же? — Лучше всех, то есть разнообразнее и у каждого по-своему были

написаны сочинения о нечистой силе! Тема — нейтральная: о домовом думай сколько хочешь, твоя воля — никто не мешает. А хуже всего вышла «Сходка» — явление, которое постоянно на глазах у всех. Сходку учителя должны были «растолковать», то есть почти рассказать все содержание этой темы. Все сочинения вышли одно в одно, слово в слово — так, как растолковали учителя: официально, мертво, без единой живой черты. «Драка» и «Сирота» — явления деревенской жизни, поминутно встречающиеся, были еще хуже. Всякий видел и знал сироту и всякий глядел на драку — и все-таки очень плохо и небрежно написано и о том и о другом. О сироте нужно было также толковать: отчего сирота бывает? Куда он девается, когда он вырастает? Все эти вопросы удивили мальчиков тем, что вдруг сделались предметом внимания и некоторого изучения. В «Драке» описывалось только, кто чем кого ударил: «она его железной, а он ее сгреб» и т. д. А когда стали расспрашивать о причинах этой драки, вопрос за вопросом, то очень многие не могли ничего ответить, хотя тема и была дана потому, что в деревне живет буйное семейство, и живет много лет. Таким образом, внимание к ближнему, не из личных только побуждений, оказывалось весьма мало развитым. Палку, которою бьют, примечают, больно ли — тоже помнят, а корень этой горькой жизни, которая у всех на виду, — это не касается, или по крайней мере: «чужая не приставай». Самое общественное из общественных дел — сходка — ни у кого не возбудило никакого серьезного внимания, даже тени внимания.

Я знаю, что лучшие силы в народе не уверуют в то, что «люби ближнего» значит — «чужая не приставай»; но упорное отсутствие из народного воспитания всего, что способно облагородить душу человеческую, не может остаться без последствий. Худы были и безобразны, нелепы, глупы и наглы те типы всевозможных саврасов и недорослей, выходившие доныне из других, более достаточных классов; но все это сравнительно с тем, что в этом роде нам предстоит видеть, поистине капля в море. Одно количество «саврасов будущего» должно уже поразить своими громадными размерами, так как этот новый контингент олухов обещает выйти не из таких сравнительно немногочисленных слоев общества, как купечество, чинов-

ничество и т. д., а из миллионной массы народа. На тысячу душ наверно можно положить по пятку более или менее благонадежных мироедов; у всех у них есть дети, опора и надежда; дети эти уж не работают, не возятся в навозе, они — в «пинжаках», «при часах», взыскивают по тятенькиным распискам и заседают в трактирном заведении. Коньяк, портвейн — это им известно. Карты также в большом ходу. Эти новые люди никогда не знали и не узнают, что такое книги, что значит читать, ни о каких буквально вопросах, ни жгучих, ни нежгучих, никто и никогда из них не думал, ни о какого рода работе мысли не имеет понятия, не может быть приставлен ни к какому делу, где нужно напряжение ума, потому что деньги наживаются простым отнятием чужого. Лень, наглость, невежество, гордость и страшные замашки деспотизма, воспитываемые покорностью и безропотностью снимающих шапки мужичонков, привычка постоянно торжествовать над всевозможными попытками этих мужичонков к протесту — вот нравственный материал, с которым ломится на общественную арену миллионная толпа дюжих, здоровенных саврасов и недорослей нового сбора. Что вот с этими-то молодцами делать, когда они явятся попить, погулять, себя показать и других посмотреть и во всяком случае наделать «шкандалу»? Ведь они до тех только пор могут считать себя тем, что они есть, то есть потомками совершенно благонадежных людей, называемых, к несчастью, мироедами, покуда их поддерживают деньги. Но ведь пропить их недолго, и тогда что они будут делать с своими волчьими ртами, деспотическими сердцами, пустыми головами и без малейшей привычки к добросовестному труду?

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

НЕ СЛУЧИСЬ

Рассказ

Недавно в газетах был напечатан небольшой, но в высшей степени замечательный уголовный процесс. Слушался он в вологодском окружном суде и состоит в следующем. Более двух лет тому назад, именно около Петрова дня 1880 года, железнодорожный сторож нашел в реке Шаграш, около моста Ярославско-Вологодской линии, джутовый мешок, в котором, по вскрытии, оказался труп убитого человека, разложившийся до такой степени, что только по одежде можно было догадаться, что убитый — мужчина. Открытие этого трупа напомнило (не знаем, властям или обществу) о загадочном исчезновении несколько месяцев тому назад одного из посетителей гостиницы «Вологда», пользующейся весьма сомнительной репутацией. Началось следствие, которое через несколько времени открыло виновного. Убийцей оказался коридорный или половой гостиницы «Вологда», крестьянин Иван Васильев Горюнов, и вот какое поразительное и потрясающее показание дал этот Иван Горюнов на суде:

«Года за два раньше, как я убил Крамского (фамилия убитого), к нам в гостиницу «Вологда» приезжал какой-то господин, повидимому купец. Жил он у нас в гостинице дня четыре и больно сильно кутил, пьянствовал. Когда этот господин уезжал, он подарил мне золотые часы с цепочкой и сказал: «Спасибо тебе, что ты сберег меня, — всё в целости; у меня, говорит, было девяносто три тысячи рублей». Потом гость этот попросил проводить его на вокзал; я проводил, и тут он еще дал мне двадцать пять рублей и еще три рубля. Пришел я домой

и показал буфетчику и хозяину часы, что мне подарил гость. Хозяин спросил: «За что ж он подарил?» — «За то, мол, что у него девяносто три тысячи с собой было, и все остались в целости». — «Эх ты, — говорит хозяин, — не умеешь деньги наживать! Так будешь делать — и помрешь бедняком...» Потом хозяин говорит, чтоб я заманивал гостей, обещая им продавать какие-то банковые билеты с большой уступкой... Зимой 1880 года к нам в номера приехал какой-то господин с девушкой... Выпивали они тут. На другой день, часов в девять, девушка ушла, а господин остались одни. Стали рассчитываться и дали мне сторублевую бумажку. Ну, я пошел в буфет, увидал там хозяина и говорю: «Господин, должно быть, богатый — всё сторублевки». Хозяин сказал: «Погоди-ка носить сдачу, я взгляну сначала, что за господин такой». Вернулся он и говорит: «Это человек мне знакомый, денежный человек». — *«Как же тут быть?»* спрашиваю. «Сам, говорит, знаешь — не малолеток... Река все унесет». — «Страшно, говорю, как-то...» — «А ты выпей стакана два водки — страх-то как рукой снимет... А чтоб свидетелей лишних не было, мальчишку-то в полицию пошли за паспортной книгой...» Сказал это, а сам ушел в другую свою гостиницу, «Россию», через дорогу. Выпил я водки, послал подручного Николая в полицию и понес сдачу в третий номер. Господин лежал на постели, опершись на локотки, и выпивали... Стол около кровати стоял с бутылками... Тут же лежал молоток, который я принес накануне, чтобы вбить задвижку, как господин приказали... Я взял молоток и ударил господина по голове раз и два... Как ударил — спереди или сзади — хорошенько не помню. Вытащил деньги из кармана брюк и, не считая, сунул их себе в карман. Вытащил покойника в четвертый номер, а сам стал прибирать в третьем. Окровавленную простыню и наволочку засунул в печь и сжег. Обои около кровати оборвал, пол подтер, а пятна на матрасе и подушке слегка замыл водой. Потом вернулся к покойнику, перетащил его через пятый номер в чуланчик, который был рядом, и спрятал его в рундук под лестницей, отодрав для этого плинтус. В это время, слышу, вернулся Николай. Я пошел к нему навстречу и велел прибрать в номере третьем. Он после спрашивал: «Что это вода в тазу кровавая и на полу кровь?» — «Это, говорю, гость

не расплатился с девицей, она ему и раскровянила морду». — «Как же, говорит, он ушел в таком виде?» — «Умылся, говорю, да и ушел...» Ну, он и поверил. Часа через два после убийства пришел хозяин. Я ему и подал все деньги, не считая. «Мало, говорю, денег-то».— «Врешь, говорит, не может быть столько, ты утаил». Я побожился. Он взял все деньги, а мне дал немного мелочи... На другой день начались розыски покойника. В гостиницу приезжала его родственница с знакомым, ходила полиция... Мы ответили, что гость расплатился и уехал неизвестно куда. *Так как околоточный пьет у нас завсегда водку и все такое,* то номера осматривать он *постыдился.* Тут меня взял страх, тоска напала... Я все ходил в рундук, смотрел, лежит ли там покойник, иногда сидел там и плакал... Хотел идти дать знать полиции; сказал об этом хозяину, а он говорит: «Дурак и будешь — ни за грош пропадешь. Меня все равно не оговоришь — не поверят; я и в гостинице-то в это время не был». Ну я и не пошел. После рождества отпросился я у хозяина домой в деревню, взял у него денег и уехал, захватив шубу покойника, которую раньше спрятал... И в деревне тосковал, но родным об этом ничего не говорил. Приехал опять в город к хозяину. Перед пасхой сукровица проникла через потолок, пошел по номерам скверный дух. Меня все пуще стала тоска забирать, и я все чаще стал ходить к покойнику, смотреть на него. Потом перетащил его из рундука в другой угол чуланчика и положил под рамы. Дух все сильней по номерам расходится... Гости стали жаловаться. Я все собирался вывезти, да все случая не было, а хозяин не помогает и тоже говорит: «Убери!» В конце июня я положил покойника в мешок, завязал веревкой, пошел, взял извозчика и ночью поехал окольною дорогой за город на реку Шаграш. Бросил там мешок и возвратился... Потом вскорости слышу, что нашли покойника. Полиция пришла и взяла с меня расписку о невыезде... Я сказал хозяину. Он говорит: «Ты поди в полицию и скажи, что у тебя просрочен паспорт, чтоб они отпустили тебя». Полиция не отпустила. Тогда я сам ушел домой... Но тут меня арестовали и представили в стан. Я и открылся, что я убил...»

Вот показание главного действующего лица, которое мы привели от слова до слова.

Здесь все в высшей степени любопытно и поучительно. Поучительно то, что хозяин, который, как видно из показания, был душою всей этой операции, признан виновным не «в подстрекательстве с корыстною целью», а только «в знании и укрывательстве». Любопытна и поучительна фигура и этого блюстителя порядка — околоточного, который, помня трактирную хлеб-соль и «все такое», *стыдится* осматривать нумера, где совершено это убийство — убийство, которое он несомненно чуял и, может быть, даже знал о нем наверное, так как это знание или догадка — только одно и могло заставить его *«постыдиться»,* смотреть сквозь пальцы, помня хлеб-соль *«и все такое».* В то же время, принимая во внимание так называемые «нонешние времена», невольно представляешь себе, как много развелось теперь таких блюстителей, которые, выпивая в гостинице, где над головой выпивающих «и все такое» полгода лежит и гниет убитый человек, которого они «стыдятся» разыскать, наверное не упускают случая высматривать «неблагонадежных личностей» и, заприметив таковых (а приметы в этом отношении годятся всякие, какие только взбредут в голову), не только не постыдятся, а прямо без разговоров «сгребут» и заточат... Ведь вот «сгреб» же один блюститель мирного сельского жителя за роман Шпильгагена — сгреб и засадил, не зная и не имея понятия о том, что значат слова: «роман», «Шпильгаген», «Вперед». Сгреб же другой такой-то блюститель сельского учителя, который сидел на вокзале в провинции, ожидая поезда, и читал брошюру «О дезинфекции» сочинения Нечаева. Что такое «дезинфекция» — это блюстителю знать не полагается. *Тот ли* это Нечаев или другой — тоже можно и не знать. Но мелькнуло ему в голову слово «Нечаев» и — «сгреб»! Везде теперь только и слышишь: «сгреб» да «сгреб», или «чуть не сгреб», или «да и сгреб бы, а то что же? И ей-богу бы сгреб»... И все эти сгребанья всегда почти оказываются вполне нелепыми и неосновательными; но нелепости и отсутствие всяких оснований не запрещают «сгребать» и не заставляют стыдиться несправедливой жестокости и безобразия, а осмотреть нумера, в которых пропал и убит человек, — «стыдно», потому хлеб-соль и «все такое»...

Но всего замечательнее в этом процессе — это, разумеется, личность самого убийцы — несчастнейшего Ивана

Горюнова. Воистину недаром судьба наделила его таким именем и фамилией. «Господин» «приказал» прибить в номере задвижку. Иван Горюнов взял молоток и исполнил приказание, а утром через несколько часов исполнил этим же молотком другое почти приказание хозяина — убил этого самого господина. За час, за несколько мгновений до убийства, у него и мысли не было об убийстве; сторублевая бумажка ставит его в недоумение: «как же теперь быть?» Ему говорят — как, и он делается убийцей, он бьет молотком господина по голове с таким же точно покорным настроением «слуги», как бы подавал на стол порцию селянки или прибивал задвижку. «Как же тут быть?» — говорит он, и вы видите, что если б ему было сказано, как быть: «возьми да отдай сдачу», — так он бы и не был убийцей и отдал бы сдачу. Зачем он убивает — неизвестно. Деньги он отдал хозяину, а сам получил немного мелочи. Ему когда-то сказали: «Дурак будешь» — и он думал, что не дурак ли он в самом деле. Сам он не знает доподлинно, глупо или умно грабить и убивать, и потому спрашивает у «хозяина»: «Как же теперь быть?» Он, *сам лично,* действительно не имеет понятия о том, что умно, что глупо, кто дурак, кто умен, что хорошо, что дурно. Выслушав его рассказ о том, как барин подарил ему золотые часы и двадцать восемь рублей денег, хозяин говорит ему: «Дурак будешь, если так станешь жить — так помрешь бедняком». И он думает, что он дурак, — думает так, как ему сказано; так, как побуждает думать его и поступать постороннее влияние, чужое приказание, чужая воля: «прибей задвижку» — прибил, «убей барина» — убил, и одним и тем же молотком, без малейшей тени собственной своей мысли и собственной своей воли. Ведь если б он «сам» мог думать, понимать и соображать, то есть если б он сам имел какой-нибудь взгляд на человеческие отношения, так ведь случай с барином, который щедро наградил его, должен бы был убедить его как раз в противном тому, что говорил хозяин: за честность и добросовестность он *на деле,* на факте самом реальном, самом ощутительном оказался не только не в дураках, но прямо в умниках. За то, что он не ограбил, не украл, а берег и смотрел, чтобы не обокрали барина, он получил сравнительно огромное вознаграждение — золотые часы и двадцать восемь рублей денег. Кажется,

если бы человек мог и имел бы привычку самостоятельно думать о чем-нибудь, этого случая было бы для него весьма достаточно, чтоб убедиться, что хорошие и добросовестные поступки не пропадают бесследно: результат налицо — золотые часы и деньги... Но он не умеет думать сам и потому убивает бескорыстно, без всякой выгоды, отдав деньги хозяину, а сам получает немного «мелочи»...

Вот эти-то черты нравственности Ивана Горюнова и потрясают вас самым угнетающим образом. Как бы внимательно ни всматривались вы в душу этого человека, вы не можете ответить мало-мальски утвердительно ни на один из вопросов, которые должны возникнуть при этом в вашем сознании: Жаден ли он? — Нет: деньги отдал хозяину... — Жесток? — Ничуть: он убил не подумавши, не задумываясь, а так, как прибил задвижку, и потом сам же плачет и терзается над трупом втихомолку по ночам... — Скрытен, хитер и злобен? — Опять нет: ведь он «побожился», что не утаил денег, а все сполна отдал хозяину; он — не обманщик... Добровольно, когда мало-мальски проясняется ум, он хочет идти в полицию — объявить, но ему опять говорят: «дурак будешь» — и он не идет. Послушание его примерное. Его награждают за честность; но ему говорят, что бесчестно поступать лучше, — и он верит вопреки фактам, доказывающим противное. Ему говорят: «прибей задвижку» — прибил; «убей» — убил. Затем полгода труп лежит в чулане, лежит до тех пор, пока хозяин не сказал: «Убери!» — и Иван убрал. Словом, Иван Горюнов весь чужой, человек постороннего влияния, чужого приказания, даже чужого желания. *Своего* по части убеждений и нравственности у него ничего нет — хоть шаром покати. Это совершенно пустой сосуд, который может быть наполнен чем угодно. Не попади он в такой темный притон, можете ли вы сказать, что он сделал бы что-нибудь подобное тому, что его принудили сделать? Был ли бы он убийцей, если бы «попал» вместо трактира в столяры, в сапожники, в кучера к хорошему барину, в лавочники, в хлебопеки? Наконец, если бы попал даже опять-таки в трактир же, только не в такой вертеп, как «Вологда», а такой, где все честно и благородно? Ни на один из этих вопросов вы не можете отвечать утвердительно, потому что пред вами

человек, внутренний мир которого, как траву, как тонкую ветку, колеблют внешние дуновения, дыхание чуждых ему, со стороны идущих, влияний, — человек, который покоряется всему, на что его «бог нанесет», — всему, что волею судеб «набежит» на него...

А ведь таких Иванов Горюновых уже в настоящее время можно считать на Руси сотнями тысяч, а в будущем, если только народная жизнь будет так же, как и до сих пор, оставаться в условиях царствующей и в ней и вне ее неурядицы, — Иванов Горюновых будет тьма, тьмы тем, тьмы тем пролетариата, выброшенного расстройством деревенского быта и духа, готового подчиниться в чуждой ему среде всевозможным влияниям с наивностью ребенка, не имеющего возможности знать и понимать, что в этих влияниях зло, что добро, — словом, пролетариата, который с наивностью ребенка может одним и тем же молотком и одной и тою же рукой прибить задвижку по приказанию «гостя» и разбить тому же гостю голову по чьему-нибудь другому указанию и наставлению.

Отчего же это происходит?

Вероятно не раз, а миллионы и миллионы раз тот же вопрос, только примененный к самому себе и к своей ужасной истории, задавал и задает Иван Горюнов, задавали и задают сотни других Иванов Горюновых. Сидя в слезах и тоске за железною решеткой тюрьмы или на пароходе-клетке, перевозящей арестантов и осужденных в сибирские тюрьмы и рудники, Иван Горюнов и ему подобные мучительно ломают уже погибшие головы свои над этими вопросами: как, и зачем, и отчего? — и, ничего не понимая, но только ужасаясь и недоумевая, невольно переносятся мыслью в родную деревню и инстинктивно ищут здесь, в ней, в условиях ее современной жизни — корни и основание всему, что случилось потом. Оплакав утраченное спокойствие и целомудренность деревенской жизни, оплакав утраченную возможность жить как люди, работать, играть свадьбу, пить вино на праздниках и т. д. и дорываясь до корня своего огромного горя, своих огромных утрат, вековечных, на всю жизнь, — всякий такой Иван Горюнов непременно найдет в самой глубине, на самом дне своих бед, какую-нибудь деревенскую «случайность», благодаря которой человек должен

был оторваться от дома, от деревни и идти в неведомый мир, плыть без кормила и весла... Непременно в корне корней окажется какое-нибудь на наш взгляд ничтожное обстоятельство, от которого и вышло потом все, вплоть до конца, до Сибири и каторги. «Не случись» того-то или того-то в деревне, в хозяйстве — и не надо было бы уходить оттуда и отдавать себя на волю непонятных влияний, непонятных условий жизни. Не случись, что умер отец или брат, не случись, что пала лошадь, не случись, что старшая сестра сломала ногу и пролежала год больная, не случись падежа, неурожая, засухи — и не было бы тысячи случайностей, которые потом захватили человека и стали им вертеть по-своему, как *им* угодно.

Этих случайностей, иногда ничтожных, как пылинка, никогда не тяготело над крестьянскою жизнью так много, как теперь. Земледельческий труд, весь, сполна находящийся во власти велений природы, сам по себе уже таит в этих велениях и прихотях природы неисчерпаемый источник случайностей. В успехе или неуспехе этого труда — следовательно, в благосостоянии и нравственном равновесии или в разорении и нравственном падении крестьян играют важную роль не только такие пособники труда, как животные, скот, не только своя личная сила, свое здоровье и т. д., но даже самые ничтожнейшие атмосферные явления — направление и сила ветра (обил хлеб и т. п.), сила и время дождя, засухи и т. д. и т. д. без конца. Все это может осчастливить, все это может и разорить. Все эти случайности необходимо иметь в виду. А их в настоящее время столько развелось, что вся современная жизнь деревни зависит именно от этих случайностей — и стихийных и всяких других, неизвестно почему скопившихся над деревней как нарочно в такое время, когда она не в силах противопоставить ни «кузьке», ни «мгле», ни «красному петуху» ничего, кроме отчаянного вопля и бесцельного бегства «на сторону».

При крепостном праве (нам не для чего заглядывать дальше для того, чтоб сравнить прошлое народа с настоящим) все эти случайности *волей-неволей* должен был устранить барин, если он не был, что называется, живорезом. Он, в видах своей собственной пользы, должен был кормить в неурожай, давать скот во время падежа,

помогать свадьбе, покупать жениха — словом, он должен был всячески экономизировать людьми. Негодных к одному труду он ставил на другой, ни к чему негодных сдавал в солдаты, а беспомощного старика ставил к уткам или так кормил на дворне. Это был скотный двор, организованный из людей, но организованный. Возвращения к нему не может быть, но возвратиться к «организации», перейти от полного невнимания к массам к самому искреннему вниманию — необходимо. Все эти случайности, обставляющие крестьянский труд и, следовательно, играющие огромную роль в благосостоянии масс, в настоящее время почти не составляют предмета серьезного внимания со стороны так называемых командующих классов. Страхование скота, как известно, до сих пор только в проекте, да неизвестно еще, будет ли оно удобно для крестьян; по части организованного кредита тоже в высшей степени плохо; земские подачки в неурожайные годы — предмет для хищнических злоупотреблений и плохое подспорье для большинства крестьян. Да, наконец, времени «даром» ушло так много, что теория хищничества уже вошла в моду и в деревне, и теперь уже нельзя поручиться в том, что даже самое благодетельное мероприятие не будет здесь же, в деревне, повернуто так, что окажет выгоду меньшинству и вред огромному большинству. Отпадение от «хозяйственного», крестьянского, чисто земледельческого ядра, составляющего силу деревни и силу крестьянской массы, все увеличивается; случайности, никем и ничем не отстраняемые, с одной стороны, выбрасывают за борт общинного корабля ослабевших, опустивших руки, идущих искать где лучше, с другой — эти же случайности возвышают незначительное меньшинство, которое, владея лишнею копейкой, пользуется нуждой ослабевших, дешево покупает скот, пашню и другое имущество и богатеет, но в свою очередь также отпадает от крестьянства трудящегося. Одни уходят потому, что нельзя трудиться, другие — потому, что можно и не трудиться, можно отдавать «из прокату» сенной пресс, получать за прокат деньги, сидеть в трактире и играть на гармонии «Стрело́чка». Таким образом, от общинного земледельческого ядра, деревни, в одну сторону уходят «по расстройству» Иваны Горюновы и поступают лакеями в трактиры,

а в другую — уходят люди вследствие достатка, уходят в те же трактиры, но не в качестве лакеев, а гостей. Эти люди достатка и досуга требуют водки и закуски «и все такое», а Иваны Горюновы подают им и водку и закуску и «услуживают по части всего прочего». Одни учатся — «что приказывать», а другие исполняют приказания: «прибей задвижку» — и прибьет, «убей» — и убьет, и все одним и тем же молотком.

Несмотря на имущественную разницу между Иванами Горюновыми, перестающими быть крестьянами, «послугою» по нужде, и другим типом отщепенцев крестьянства, бросающих его и отвыкающих от него вследствие достатка, — в нравственном отношении оба типа не представляют ни малейшей разницы. Оба они, уходя из одного общества в другое, не вносят в него ничего *своего,* а обречены — по крайней мере на долгие годы — подчиняться тому, что бог нанесет на них или что само на них набежит. Оба эти типа, несмотря на разницу состояний по части материальных благ, одинаково нищие, одинаково безнравственны. Слово «безнравственность» не следует понимать исключительно в дурном смысле, в смысле дурной нравственности — вовсе нет; просим понимать его *только* буквально, то есть только как отсутствие какого-нибудь определенного нравственного содержания, каких-нибудь определенных нравственных принципов... Нам могут многое возразить на это, указать на сектантов и т. д.; но мы, очень хорошо зная, что этою «безнравственностью» не исчерпываются все свойства народной души, тем не менее не имеем намерения доказывать здесь, что эти «другие» стороны известны нам, так же как и возражателям, — не будем делать этого именно потому, что мы берем специально эти безнравственные, а не какие другие черты народной души, хотим указать именно на пустые места этой души — места, которые, помимо естественных причин, держащих народную душу в постоянном колебании по части «убеждений», как будто еще умышленно оставляются пустыми, тщательно ограждаются от всякого вторжения в эту пустоту общечеловеческих интересов, идей общего блага и обязанностей к ближнему и к самому себе. «Не отвечать» за свои

поступки как лично, так и по отношению к соседу, к ближнему, народную массу учит — и заставляет даже насильно — ее труд, весь подчиненный прихотям природы. «Не отвечать» приучило народ крепостное право, при котором за всякие безобразия, за все хорошее и дурное отвечал, хотя бы только официально, помещик. Теперь, когда это право миновало, надобно отвечать самим... Но вот этой-то ответственности не только никто не требует от народа, но, напротив, все, что командует им, как бы умышленно стремится отучить его от всякой мысли о том, что, кроме ответственности в исправной уплате податей, есть еще другая ответственность — за этого сироту, который может сделаться вором, за эту старуху, за этого старика, за эту случайно ослабшую семью, которая может разориться и пустить по миру кучу нищих. Ни в школе, ни в церкви, ни в других влияющих сферах мы не видим ни малейших попыток, не слышим ни единого слова, которое обратило бы внимание молодого и старого деревенского люда на массу явлений, за которые по привычке не принято отвечать, но за которые отвечать непременно следует. Один деревенский мальчик сказал мне: «Сколько раз я видал зиму, и нос отмораживал, и ноги знобил, и в снежки играл, а все не думал, что такое зима... А вот как прочитал стишок сочинения Пушкина про ту же зиму и про тот же снег — и стала мне зима любопытна». Вот такого-то слова, которое бы сделало любопытными тысячи явлений, к которым народ пригляделся, которые он видит каждый день, но о которых не думает, как мальчик не думал о зиме, хотя и отмораживал нос и знобил ноги, — и нет у нас. Как были выражением общественных забот в старые времена мирской бык, староста, кабак и холодная, так и теперь — то же. А когда к этим быку, старосте, кабаку и холодной прибавится что-нибудь новое, вроде постоянного фельдшера (из своих и для своих), вроде мирской каморки, в которой могли бы доживать свой век старики бездомные, вроде другой каморки, в которой больной, вывихнувший ногу, или больная, обжегшая солнцем на жниве спину, могли найти койку и помощь и т. д., — когда все это будет, неизвестно. Нигде, повторяем, ни в школе, ни в церкви, мы не слышим ни о зле, ни о добре, ни о добром, ни о худом, ни о безнравствен-

ном, ни о нравственном... Конечно, этим мертвым молчанием нельзя убить в человеке душу и совесть, и она так или иначе выразит себя в стремлении к свету и правде; но как бы ни были прекрасны эти, никем не поощряемые проявления благородных стремлений души, нельзя не видеть, что покуда к общинным хозяйским распорядкам не будет *прибавлено* права широко и свободно делать все и думать обо всем, что только может расширить размеры народной впечатлительности по отношению к горю и благу ближнего, — до тех пор деревня будет поставлять из своей среды, подчиненной случайностям удачи и неудачи, с каждым годом все большее и большее количество людей с нравственностью Ивана Горюнова — нравственностью, колеблемою, как лист, от малейшего дуновения в ту или другую сторону.

Не знаю, скоро ли интеллигентный человек (то есть человек исключительно интеллигентных целей, а не служащий по найму в интеллигентных должностях) отвоюет для деревни право пещись не о едином хлебе. Это — его обязанность, и другой обязанности нет у русского интеллигентного человека. Конечно, сперва ему необходимо отвоевать это право и для себя... Очевидно, что и то и другое будет не скоро. А покуда мы дождемся этого, позволю себе возвратиться к прерванной речи о значении «случая» в современной народной жизни — «случая», против которого не спасает община, при всех своих хозяйственных совершенствах, и который выбрасывает из «крестьянства» массы беспомощных неудачников на волю божию. Расскажу по этому поводу кое-что из того, что почти сейчас происходило пред моими глазами, но при этом заранее предупреждаю читателей, что рассказанное будет местами производить впечатление неприятное и грубое. Что делать? Действительность куда хуже того, что я расскажу сейчас.

Почти каждый вечер прошлогоднего лета, за рекой, «на той стороне», среди всеобщего мира и тишины, вдруг и неожиданно начинались какие-то крики, брань, ругань и плач... Иногда эти крики, этот плач и шум поднимались среди ночи, когда все покоилось мертвым сном, и будили не только мирных обывателей деревни, но и нас, жителей противуположного берега, — так они были

громки, столько там было женского визга и мужского рева. Не было ни малейшего сомнения в том, что дело не ограничивалось одними криками, а иногда разыгрывалось и в драку, и что драки эти большею частью пьяные. Очень часто, после того как свалки и крик прекращались на той стороне, на нашу сторону переправлялись через речку и шли по нашему берегу какие-то пьяные, ругавшиеся и грозившие кулаками фигуры — фигуры, весьма плохо владевшие ногами, судя по нетвердой походке, и не менее плохо владевшие языком, судя по несвязности речи, иногда переходившей в простое мычанье. Но как ни бессвязно бывало иногда это бормотанье пьяных гуляк, все-таки, слушая его, можно было понять, что и сами пьяные и их пьяные речи имеют какую-то связь с только что затихшей на той стороне свалкой. Не раз смущали меня эти ночные истории и эти толпы пьяных людей, по ночам шатавшиеся около моей дачи. Дача была совершенно одинокая, а народу, как говорят, там, в деревне, «много всякого». Поневоле подумаешь о том, что это за люди, которые чуть не каждый вечер производят драку, с криками и со слезами, и потом по ночам шляются с какими-то угрозами около дома... Не раз я спрашивал у крестьян «с той стороны», случайно сталкиваясь с ними, когда они иной раз перебирались на нашу сторону за сеном или за дровами, так как ихние луга и лес были на нашей стороне, но никто из них не дал мне определенного ответа: «Пьянствуют, поди. Ведь ноне воля — свободно стало!» — «Ведь ноне нешто мало безобразиев-то?» — «Нам, батюшка, недосуг за этим глядеть — нам впору с своей работой управиться, а не то чтобы на каких подлецов смотреть. Ноне всякого есть, и хорошего и худого, сколько угодно... Кто такой шумит? — А господь их ведает. Так, должно быть, какие-нибудь пьяницы...» и т. д. А шум и драки на той стороне продолжали повторяться, как и прежде, через день, через два. По праздникам и по воскресным дням они бывали уж непременно.

Заходит однажды ко мне волостной старшина, с которым я познакомился уже давно, просится посидеть — «подождать одного человечка». Человечек должен проходить как раз мимо моей дачи, так вот старшина и сел к окошку, которое выходит на дорогу.

— Что это за драки на той стороне? — спросил я его.

— Как драки?

— Через день, через два уж непременно и шум, и драки, и крик на той стороне.

— О, да, да... Уж давно я думал вывести, искоренить это гнездо, да все недосуг. Проститутки живут — ну, и пьянство...

— А драки-то?

— Да уж одно без другого не ходит... Что и за гулянье без драки...

— Да какие же тут у вас проститутки?

— Очень просто — гулящие...

— Каким же образом завелись они тут?

— Завелись-то они в прежнее время... Началось это, видите ли... стоял полк поблизости. Вот откуда пошло направление это самое... Да и посейчас невдалеке войска стоят и солдаты шляются... Началось-то с войсков — ну, а потом и пошло, и свои пошли баловаться... Ведь ноне народ распустивши, не дай бог... Хлопот-то, ежели бы знали, сколько, не приведи господи! Как есть с этой должностью всего хозяйства решишься. Вот хоть бы сейчас: шлялись к этим проституткам солдаты, а потом и стали в лазарет поступать... Теперича вот предписано мне всех этих шкур представлять каждый вторник к доктору — нарочно земский доктор приезжает. Четверых я уж сегодня представлял — отпустили; а вот пятую — она-то, должно быть, и корень всему — вот и дожидаюсь теперича... Доктор там сердится, а я сиди вот, гляди... А свое дело стоит.

— Так вы эту «пятую» дожидаетесь?

— То-то и есть... Доктор сердится, а где я ее возьму? Она вон на покос ушла — жди ее!

— Так она и на покос ходит и проститутка?

— Да ведь надо жрать-то что-нибудь? Теперь поденно, на хозяйских харчах, бабе тридцать копеек даем в сутки — как же не идтить-то? А гулянкой ведь не проживешь. Видите, каковы гулянки-то: рубль пропьют да на три целковых ребер поломают... Каждый вечер сами слышите, как плачут гулянки-то... Ведь иной пьяный саврас как разойдется-то, кулачище-то рассучит... Да с этих гулянок и не прожить; нонича хлеб дорогой, а ведь надо каждый день что-нибудь покушать... Вод-

кой-то, пожалуй, напоят да кулаками накормят — с этого сыт не будешь, так как же ей на косовицу-то не идтить? Я думаю, она горячего-то не ест по целым зимам, а тут каждый день как-никак — похлебка...

— Как же это так? Кто же они такие?

— Как сказать?.. Бедность!.. Вот теперича — которую я жду женщину — отца у нее нет, и матери нет, а брат в Питере... Тоже, сказывают, пьянствует — за паспорт деньги не присылает. Хочу вытребовать, уж и бумагу послал... Вот и живет... Как одной-то справиться в расстройстве? Вот и идет в грех... А по нонешнему времени много охотников-то: и солдаты есть и свои, сенники, приказчики — разного народу много... А вот никак и мои красавицы!..

В самом деле по дороге, направляясь к перевозу через речку, шла толпа крестьянских женщин, босиком, с граблями на плечах, в подоткнутых платьишках и в одних повойниках, с голыми, черными от солнечного загара шеями. Старшина взялся за шапку, распрощался и торопливо вышел на дорогу. Из окна я видел, как он помахал бабам рукой, приглашая остановиться, как вошел в толпу, говорил что-то и как потом одна из женщин, передав грабли соседке, вышла из толпы и отошла с старшиной в сторону... Бабы постояли еще с минуту, столпившись кучей, но потом опять выстроились в шеренгу и пошли своею дорогой к перевозу. Старшина и несчастная проститутка остались одни на дороге и разговаривали. Высокая, сгорбленная, нищенски одетая и уже не совсем молодая на вид баба, потупившись, слушала то, что ей говорил старшина. Раза два она пробовала что-то ответить ему, крестясь и ударяя рукою в грудь, но голоса не было у нее. Видно было, что она с огромными усилиями старается сделать свою речь звучной, но не выходит ничего кроме хрипоты. Но вот она взялась за фартук, заплакала, подняла фартук к глазам и поплелась вслед за старшиной. Старшина, в новом черном картузике, в опрятненьком пиджачке, надетом сверх красной русской рубахи, выпущенной из-под жилета, и в новеньких блестящих сапогах с бураками, шел, пожимая плечами и разводя руками, впереди, а баба, поминутно утиравшая фартуком то нос, то рот, то глаза, шла за ним. Они шли в волостное правление, которое поме-

щалось в деревне на нашей стороне и куда заезжал по временам деревенский врач.

Тяжелое впечатление этой сцены, горькая участь этой несчастной деревенской проститутки (да, читатель, у нас *уже* есть деревенская проституция!), которой нечего есть, которая по целым зимам не ест ничего горячего, которую поят водкой и бьют и которая в то же время охотно работает обыкновенную крестьянскую работу, находя очень выгодным получать тридцать копеек в сутки и похлебку, — все это было новой прибавкой к той массе впечатлений «ненужного зла» — зла, которое может не быть у нас, но которое, однако, плодится и множится вопреки всякому смыслу человеческому, которого так много дает расстроенная деревня каждый день и каждый час. Что делать с впечатлениями такого рода? Обыкновенно они не то чтобы забываются, а как-то изнывают в душе, прибавив к постоянному ощущению какой-то душевной тяготы, испытываемой в деревне при виде, повторяю, явлений «ненужного» зла, еще новую тяжесть. Но на этот раз новое тяжелое впечатление не имело обычного результата — ему суждено было осложниться новыми, не менее тяжелыми подробностями. Во-первых, в этот же день, часа через два после того, как старшина увел бабу в волость, мне опять пришлось встретиться с ним.

Я сидел у ворот дачи, когда он возвращался из волости.

— Ну что? — спросил я его как-то машинально.

— Посадил! — отвечал он, пожав плечами и поздоровавшись.

— Кого посадил?

— Да эту самую проститутку-то! Посадил в холодную.

— За что же?

— Да куда я ее дену? Доктор ждал, ждал — не дождался, обещался приехать после, а пока что оставил записку — «надзирать»... А как я буду надзирать за ней? Не караульщика же в самом деле нанимать мне... На какие деньги? Ну и распорядился запереть в темную... Накормить — накормят. А ведь так-то пустить на волю — она вон совсем уж голоса лишилась — так ее пустить нельзя.

— Почему же в холодную?

— Да куда же-с? Ведь нету... Ведь у нас ничего этого нету... Больница за пятьдесят верст... Ведь нету этого ничего... У нас холодная за все — и клиника и тюрьма, и исправляем, и отрезвляем, и внушаем — всё в одном месте. Запер в холодную — и все! Кабы какие прочие способы были или что-нибудь по-христиански, а то ведь нету. Холодная — это есть, — ну, и сажаем... Даже странники, которые, бывает, ко святым местам идут, ночевать просятся — и тех, бывало, в холодную на ночлег запираем, потому народ набаловавши, распустивши... Иной странник попросится ночевать, да и обмолебствует что-нибудь из сундука...

Старшина помолчал, отер платком лоб и проговорил:

— Конечно, воет, сидит... Я и сам понимаю, что за удовольствие за железной решеткой сидеть, да ведь, матушка моя, ничего не поделаешь. Ведь этакую болезнь в народе разводить — тоже не хвалят за это... Я уж и так отвечаю, отвечаю, уж и отвечать-то устал..

Прибавив своим рассказом к тяжелому впечатлению дня еще новую тяжелую и неприветливую черту, старшина ушел. Но этим дело не кончилось, и на другой же день последовало новое дополнение.

— Петр Петрович вас спрашивает, — сказали мне утром следующего дня.

Петр Петрович был все тот же старшина.

— Где он?

— Он на лошади, в телеге.

Я вышел на дорогу. Петр Петрович сидел, а внизу, в ногах у него, на мешке, сидела девочка лет четырех и во всю мочь заливалась горючими слезами. Вся она была в грязи, в одном ситцевом платьишке, которое заменяло и рубашку; ноги были босые, грязные, а голова простоволосая.

— Что мне вот с этой девочкой делать? Матку-то сегодня в лазарет отправили, а вот дочка осталась.

— Это той, про которую вы вчера рассказывали?

— Вот этой самой дочь... Мать-то, должно быть, не сказала доктору — думала, отпустит, — он уехал, приказав отвезть ее в лазарет, а про девочку ничего не сказано... Отдать к матери — ну-ко и девочка захворает?

Так что бы чего — на ней неприметно, ничего худого. Оставить здесь — никто не берет, боятся. И в самом деле, может и девочка больна... Куда я с ней денусь?

Дня через два-три девочку эту удалось пристроить у одной вдовы; но теперь, в эту минуту, про которую я рассказываю, положение ее было самое трогательное.

— Взять? Но, может быть, она больна? Не взять, так куда же она денется?

К телеге подошло еще несколько человек, два мужика и баба. Все мы стояли и думали, но ничего не могли придумать.

— Ну куда я ее дену? — спрашивал старшина. — Да не кричи ты! Чего горло-то пялишь? Не пропадет твоя мамка.

— Больная ежели, не возьмут! — говорила баба, и мужики подтверждали.

«Холодная» и тут рисовалась как единственное нейтральное спасительное место, но оставить девочку в холодной было невозможно.

— Н-нет! — подумавши и покачав головой, проговорил один из зрителей и пошел прочь.

— Кабы знато, что здорова, а то нет! — сказала баба и тоже ушла.

— Если бы здорова... — сказал я.

— Ах ты, господи! — произнес старшина и после некоторого молчания и раздумья сказал кучеру: — Н-ну, делать нечего, трогай!..

— Куда ехать-то?

— Трогай, я тебе говорю!.. Поезжай прямо.

— Куда прямо? Ехать, так надо к месту.

— Да и без тебя знаю, что к месту. Не в лес поедем... Садись на передок-то!..

— Мне сесть-то недолго... А ехать-то куда? Мне тоже лошадь-то самому нужна.

— Ну не разговаривай, потрогивай!.. Знаем, куда ехать.

Говоря: «знаем, куда ехать», старшина, однако, не отдавал какого-либо определенного приказания; он поправлялся на сиденье, усаживался поудобнее, но видимо недоумевал, куда направить путь. Но вдруг его осенила мысль, он уселся и крикнул:

— Пошел назад! Поворачивай за реку!.. Не знаю, куда ехать... Авось найдем. Потрогивай-ка, а не разговаривай!

— Куда ж вы? — спросил я.

— А к старосте. Сдам ее — вот и все. Общество, так и отвечай за своих.

— А как и там никто не возьмет?

— А мне какое дело! Что я — нянька, что ли? У меня двое суток ушло, а мне каждый день пятнадцать целковых убытку... Поворачивай-ка с господом...

— А как не возьмет староста-то? — повторил я еще раз, когда телега стала поворачивать от дома на дорогу.

— А в холодную не хочешь? — обернувшись назад, ответил старшина и раскланялся.

Телега поехала назад, за реку, и девочка снова залилась горючими слезами.

Дня через два, через три, как я уже говорил, кое-как удалось устроить эту девочку у одной престарелой вдовы — это я знал наверное, — но что с нею, куда она девалась и где ее мать, до сих пор ничего не известно. Не раз встречаясь после того, как девочка была устроена, со старшиной, я спрашивал его и о девочке и о матери, но он ничего не знал. «Слава тебе господи, хоть с рук сбыл! — Ведь, ей-богу, и без этого хлопот не оберешься». Но зато неожиданный случай дал мне возможность узнать всю историю расстройства этой семьи, из которой вышли эта гулящая, избитая и больная мать, отправленная в лазарет, эта девочка, которая неизвестно где находится, и брат ее матери, про которого старшина сказал, что он пьянствует в Петербурге и не высылает денег на паспорт. Читатель помнит, что старшина не хотел высылать ему паспорта и что, следовательно, он волей-неволей должен был воротиться в деревню.

И он действительно воротился.

Несколько раз говорил я знакомым мужикам, чтоб они прислали кого-нибудь выкосить двор и сад при даче — они за лето сильно заросли травой, — и всякий раз мне говорили: «хорошо, ладно, придем или пришлем»; но так как пора работы была горячая, то отрываться от нее для такого ничтожного дела, как косьба сада, было

не из чего. «Успеется». Но вот однажды в ворота дачи вошел человек, неся на плече косу; повидимому, это был представитель той деревенской голи, которой так много теперь возвращается из столиц в деревни, с пьяными синяками по всему лицу, без копейки и иногда буквально без одежи, если не считать рубахи и штанов за единственную одежду, прикрывающую от непогоды. Роста он был высокого, в кости широк, но худ и вял, хоть и молод. При первом же взгляде на его лицо, носившее следы пьянства и болезни, нетрудно было видеть, что он только что продолжительно хворал. Голос, лазаретный цвет лица, голова, обстриженная под гребенку и местами совершенно облезлая, и какие-то розовые язвы, как бы чуть-чуть затянутые кожей, говорили, что он был болен крепко и притом нехорошо... (Я предупреждал читателей насчет непривлекательных подробностей и еще раз предупреждаю.) Сняв рыжий рваный куртуз и обнажив больную голову, он сказал, что прослышал насчет косьбы, и просил ему дать эту работу. «Что пожалуешь. . — сказал он относительно цены. — Какая это работа! Нешто такие работы работывали? Теперь и косы-то вот нет». Коса была со сломанною ручкой, и лезвие ее, почерневшее от сырой травы, было тонко и глубоко выедено бруском: видно, что коса много послужила на своем веку.

Стал он косить. Косил плохо, хоть и с жаром принялся за работу: видно было, что он разучился, если и умел, и что недавняя болезнь ослабила его силы. С двух-трех взмахов покраснел, вспотел и уж вытирал лоб. И все время он говорил, что «так ли кашивали! .. Первый косак был... А теперь и косу-то занял у людей, и то насилу-насилу дали — хоть помирай». Разговорились мы, и скоро оказалось, что это тот самый Михайло, пьяница петербургский, про которого говорил старшина и сестру которого увезли в лазарет. Эта куча больных, и битых, и пьяных людей — без кола, без двора и без хлеба — невольно заставила меня подробнее расспросить о причине расстройства их семейства, и вот что об этом рассказал мне Михайло.

— ...Как вспомнишь, как в прежнее-то время жили,— верите ли, сердце кровью обольется... Теперича, говорю, вот и коса чужая, и на себе ничего нету, и сестра эва в каком месте находится — срамота, не глядел бы

на белый свет... И не знаю, за что и взяться и с чего начинать. Взяться-то не с чего — синя пороха нет — а все было, все было хорошо, исправно... И давно ли? Почитай есть ли годов пяток, много-много лет шесть, как людьми жили, семейством, а теперь вот. (Рассказчик утер слезу.) Конечно, маменька покойница рано померла, а всё жили ладно; отец-родитель — царство ему небесное! — крепкий был человек, неустанный работник, и в ту пору, как беде-то случиться, было у нас земли на три души. Первый работник — родитель, второй я — мне уж тогда под двадцать годов подошло, а третья—сестра, вот которая теперича занапрасно пропадает... В ту пору была она девка славная, годов под семнадцать. И что дальше, то все бы лучше должно выходить: первое — сестру замуж, хотели работника в дом взять, потому тятенька наш добреющий был человек, душевный, жалостливый. Любил он нас, родитель наш милостивый, от сердца любил. «Не отдам, говорит, Марфутку в чужие люди, найду ей жениха — пусть на моих глазах живут»; да и мне пора уж была в закон вступать.. И была бы у нас семья полная, в полном виде. Такая семья выходила, первый сорт — всё молодые, а большак — добрый и ласковый... И непременно бы так и было, и в ту же осень все бы так и исполнилось, потому урожай страшенный был в тот год. Страсть, что был за урожай — старики не запомнят этакого года благословенного. Все выходило по-хорошему, по-приятному — ан и случилось неведомо что... Ох, господи помилуй, господи помилуй!.. Подумаешь, подумаешь.. Я вот теперь плелся из Питера-то, Христовым именем побирался, и чего-чего ни передумал, чего-чего ни намучился, вспоминаючи-то... И думается так: коли бы ежели в тот год не случилась весна ранняя, так и не было бы ничего этого, и все бы было по-хорошему, и тятенька был бы жив-живехонек, и Марфутка бы в законе жила, да и я бы был вполне как должно человеку быть, а не ежели подобным как есть подлецом... То-то ведь господь-то... Премудры его веления.

«И случилась в тот год, говорю я вам, ранняя весна. Никогда старики такой ранней весны не видывали. Зиму почитай что и снегу не было — все тепло и туман... А ежели и снежок выпадал, так сейчас и дождь. И стала весна вполне в такую пору, когда в прочие времена еще

сугробы снега лежат и метели крутят по дорогам... Старики долго остерегались ее, этой весны-то, — думали, не ударят ли морозы, — ан нет, тепло и травка... Погодили, погодили и принялись за работу... И отработали мы весенние дела почитай что недели за две раньше, чем в прочие-то годы... Отработали мы так-то, глядь — и весь порядок у нас сдвинулся набок, и вышло у нас так, что перед Петровым днем вылупились две лишних недели... Что по весенним работам следовало, то уж пошабашили; а что надо было насчет летних — то рано. И межупары прошли, а всё две недели пустого места остается; всё переделали — какие мелочи, починки, а все много время. Чисто вот как трещина какая вышла!.. Хоть что хошь, а нету никакой работы... И направо работа была, и налево взять работа будет, а посередке — ровно дыра какая... Уж мы в это время и песни играли, и так лежишь — спишь, сколько влезет, и опять за песни — все некуды девать. До того дошло дело, что уж старые старики, почтенные, и те не знают, как распорядиться, даже в ладыжки — побожиться, не вру — игрывали... Ведь даже смеху достойно было смотреть, как прародители-то эти соберутся... «Ну-ко, говорят, кости-то поразмять...» И в рюхи игрывали. Иной старик на одной ноге с дубиной скачет, точно ребенок малый, — вспомнить, так посейчас смех разбирает...

«Вот раз так-то вечерком и разыгрались — и старики и молодые, и девки и бабы, и малые ребяты... Веселое время было, у всех на сердце было весело, потому урожай господь давал небывалый... А уж как хлеба много будет, так мужик прямо от веселья пьян... Разыгрались до того, что даже староста обмотался весь холстами да взмостился на ходули и стал народ пугать... А мы, молодые, кто как — кто колесом, кто как обдумал. Вот и я тут же. А я в ту пору, хоть было мне под двадцать годов, как вспомню, так был подобен малому ребенку. Ничего я тогда этого не знал — ни водки, ни трактиров. Играл так, как ребята играют... Всем весело, а мне пуще всех! И была у меня в руках дубина... Перво-наперво «в рюхи» играл, дубиной бросал, а потом и так стал махать зря, старосту с ходуль этой дубиной снес, только всех насмешил... А надо вам сказать вот что: пришлось мне везти на станцию какого-то приказчика, и дал мне тот приказ-

чик двадцать копеек на чай: «поди, говорит, выпей чаю». Вот я и был однова́ в трактире. Пил я чай и все глядел, как на билиарте играют... Я уж после узнал, что это билиарт называется, а тогды я только смотрел, что за игра такая, и слушал, что говорят. Вот и запомнил я три слова: «Дуплетом — в угол — мимо!» Вот как разыгрались мы по деревне, я и упомнил эти слова-то; и в рюхи играл, а все повторял их; и как с палкой гулять стал, тоже всё они на язык лезут. Тятенька покойник — веселый, помню, сидел на завалинке — говорит: «что бормочешь?» А я не знаю, что эти слова и значат... Размахнулся дубиной, пустил ее в рюху или в собаку, а язык сам прибавил: «Дуплетом — в угол — мимо!» Играли, играли так-то, уж и темнеть начинало — уж не один староста, а человек пять на ходулях по селу пошли девок и баб пугать — стали медведями наряжаться, а я все во всех местах с своей дубиной и все: «Дуплетом — в угол — мимо...» Вдруг как шарахнет на меня из-за плетня мужик, прямо под ноги, на четвереньках, овчиной вверх оделся, заревел, я и не поостерегся да дубиной-то, значит «дуплетом — в угол — мимо», как резну с разбегу-то, глядь — медведь-то и растянулся... Застонал, распластался весь... Так я и ахнул... Ведь отца родного... Батюшки мои, батюшки мои миленькие!.. (Рассказчик плакал в три ручья и косил.) Он, родимый мой, сидел, сидел на завалинке-то, любовался баловством нашим, потом (сестра сказывала) «погоди, говорит, я их пугану...» Пошел, надел овчину, да на четвереньках и сунулся в народ, замычал по-медвежьи... Тут-то я его и...

«Уж тут-то я рыдал, тут-то я тятеньку моего родного, батюшку, целовал-обнимал, тут-то я убивался! Кажется, все нутро у меня как печь раскаленная от горя, от тоски... А уж кончено, ничего не поделаешь... Аминь!.. Как что было, ничего не помню: как хоронили, как меня мыкали-судили, как в темной сидел, как в суде был, что говорил — все равно как во сне это для меня было... Окончилось дело — на год на покаяние в монастырь. Покуда суд да всякая волочба шли, так еще все я опамятоваться не мог, все как сонный... А как определили меня в монастырь — в лесу он стоял, тихо там, народу нету, праздники осенние, — как остался я тут, и стал думать, стал соображаться, как быть, что делать... Стал думать-то, а делать

уж нечего — уж все пошло прахом, все повалилось... Заместо того чтоб об осени две свадьбы играть да на две души силы прибавить — ежели бы то есть сестрин муж и моя жена прибавились, — пришлось дому остаться совсем без народу: меня нету, родителя нету, осталась одна сестра... Пришло бедняге так, что продала на корню весь хлеб, подати еле-еле отдала, две души в общество сдала и уж кое-как выплакала земельки на одну-то душу — думает, ворочусь я все как-нибудь. Какая была скотина лишняя — продала, наняла работника, посеялась и перебивается зиму-то с хлеба на квас... А зима опять без снегу стояла, и опять весна ранняя, да тут уж не так, как в прошлый год. Вся деревня с весны тосковать стала, потому в позапрошлую зиму хоть и не было снегу, да места у нас и так мокры, тепло-то и взялось за эту сырь да за лето-то всю ее и вытянуло из земли-то. Урожай был точно на диво. Ну, а уж на другой-то год, без снегу-то, уж трудно земле-то стало. А весна-то пришла жаркая, сухая; стало палить-нажаривать с самых первых дён; выдернуло колос сразу, а потом и стало его жечь. Земля стала белая, и что дальше, то крепче... Молились, молебны служили, а не дал бог дождя; сделалась земля как камень крепкая. Тут уж не до гулянки. Не то чтобы песни петь, а, рассказывают, принялись бабы выть, да обмирать, да за обедней выкликать зачали. Пошли слухи про светопреставление, про антихристово пришествие. Затосковал народ. . А солнце палит, как печка раскаленная. Прижгло все начисто. Еле-еле на две недели травы собрали, семян только-только на посев, да и то у исправных, богатых, а уж наш дом совсем развалился. Осталась сестра без всего... Какие были деньжонки или скотина — все разошлось в год-то по мелочи. Одному мне сколько, сердечная, передавала! Все надо! и по судам и в монастыре — письмо написать, сторожу дать, караульного поблагодарить, когда булочку купить, из одежи тоже нуждался... Всё по мелочи, по мелочи, а всё не в дом, всё из дому... А в монастыре братия тоже не ласкова, коли не угостишь... Тут я с тоски по разоренью и сам стал рюмочки придерживаться, а до этого капли не брал. Исхудал я тут, истосковался, измучился — не знаю, что и будет. Отбыл свой термин, пошел в деревню. Ничего нет! И последней души удержать не могу — сдал. Тут

вступил Ермолаевский полк (должно быть, Ингерманландский), в десяти верстах стал. Стала сестра ходить туда стирку брать. А я и не знаю, за что взяться. Стали у нас на деревне ребята собираться в Питер на поденщину — ну, подумал-подумал и ушел с ними... Авось, думаю, счастье бог даст... И что же ведь? Послал господь, да дурак я был — не умел я понимать... Вот наше горе мужицкое — обломы, неотесы!.. А ведь какая штука-то навернулась, сказать ли тебе?..»

Рассказчик помолчал, заинтересовывая меня и этим молчанием и загадочно-развеселившимся лицом.

— В любовники прямо, с одного маху влетел, почитай что только нос показал в Питер-то! Да ведь, брат ты мой, порция-то какая попалась! Своих, чистых денег скоплено было у ей, у этой самой Аграфены, под пять сот рублей да два сундука всякого добра нажито, пудов по двенадцати в сундуке! Ведь вот какая штучка подвернулась! Мне бы — ежели бы, то есть, имел я человеческий ум — мне бы самому надобно бы ее на брак склонять. Я бы сам должон был вовлекать ее в эфто дело да на пять-то сот в своей же деревне кабак либо лавочку открыть, и были бы все сыты, и все бы было честно, благородно. То-то ума-то нет! Наместо того за всю ейную любовь только и было моих мыслей, как бы ей хуже сделать, чтобы ей было как поскверней. Вот какая дубина!.. Потому что не понимал я этих любовных поступков; представилось мне все это как подлость одна.. Неотес!

«Перво-наперво недели с две, как в Питер-то пришли мы, шлялся я без всякого пропитания.. Еле-еле три копейки на ночлег выпросишь христа-ради.. Думал, подохну где-нибудь, как собака.. А тут иду однова̀ по Пескам, по Восьмой улице, — сидит у ворот старичок-дворник... Иду и сам не знаю куда. Увидал старичка, говорю: «Нет ли какой работы?» Сначала-то говорил — нету, а потом поразговорился, порасспросил — «постой, говорит, я к барыне пойду». . Пошел и вскорости воротился. «Хочешь, говорит, три рубля — оставайся!» Я и остался в подручные ему. Домик был не велик, деревянный, шесть квартир, во флигеле еще три махонькие... Вот я и стал ворочать и воду, и дрова, и сор. Рад, что хошь щи-то ешь каждый божий день. Вот в эфто время и увидал я Аграфену. Принес я в первый раз дрова в хозяйскую

куфню, вижу — женщина, одета по-хорошему, ростом коротковата, волосом черная, а годов ей на вид уж за тридцать, однако не похожа на старуху. Увидела она меня, и остановилась, и смотрит — я дрова складываю, а она смотрит; потом вздохнула и пошла, а потом опять пришла. Она мне потом сама сказывала: «Ты, говорит, сразу мне полюбился. Я, говорит, как увидала тебя, так в ту же пору о тебе затосковала...» А меня — я по совести говорю — ежели бы с неделю покормить в ту пору хорошо, так я бы после голодовки-то ловко выправился... Вот Аграфена-то и поняла это. Пришел я на другое утро с дровами, опять она в куфне. «Ты, говорит, устал, вот тебе кофейник, пей кофий с черным хлебом». Выпил я тут стаканов с десяток — до того, что уж один кипяток в стакан наливаю, а Аграфена только ухмыляется, головой качает. С тех пор стала она меня в свою комнату звать кофий пить. Приду, сложу дрова или воду вылью в кадку — «иди кофеи пить». Заведет меня под лестницу, принесет булок, калачей — ешь! Я пью, ем, а она на свою горькую участь жалуется. «Всю жизнь, говорит, свету не видала. Сирота круглая. С малых дён жила в казенном приюте, кормили плохо, строгости большие, всё божественному учили, чтобы потом в прислуги в хорошие дома отдавать... Взяли, говорит, потом в прислуги, прожила я в хорошем доме двадцать лет — ни дня, ни ночи не видала покою. Барыня была старуха божественная, поедом ела. Сколько, говорит, женихов сваталось — всех прогнала барыня-то. Жениха прогонит, а мне пригрозит: в аттестате напишу!.. А не то, говорит, иди: ни жалованья, ни одежи не дам. Так и жила как в тюрьме». Померла эта божественная-то барыня, поступила Аграфена к другой — к той самой, у которой дом и где я место получил. Жила она здесь свободно, барыня была вдова, все плакала по мужчинам — всё они ее обманывали... И Аграфена также все о мужчинах тосковала, что дожила она до каких лет, а никакого удовольствия не видала. Вот они обе и сошлись — и барыня и ключница. И у куфарки был любовник — музыкант полковой. Так у них у всех и было согласно все по любовной части. Одни женщины да любовники, только Аграфена все разыскивала себе по сердцу. А тут и нанеси меня нелегкая... Вот и стала она меня кофием поить да про горькую участь свою рассказывать... Я пью-ем,

а она говорит-говорит, каким хорошим женихам отказала, как свету не видала, да и заплачет. Я поем, попью и — уйду. А стал я шибко разъедаться с этих кофиев. Стала Аграфена меня даже котлетами кормить с барыниного стола и между прочим плачет и говорит: «И кто бы меня успокоил!..» Я поем и — пойду. Проходит время, стала Аграфена так говорить: «Миша, неужто ты меня не успокоишь? Разве ты не понимаешь, что я тебя кофием пою и прочие предлагаю закуски не зря?.. Ведь зря-то, говорит, я и собакам могу выкинуть». А я, ей-богу, перед богом сказать, в толк не возьму, чем я ее успокою?.. Три рубля жалованья всего-то на месяц — из чего тут угощать? «Нечем, говорю, мне тебя успокоить». Что день, то она все явственнее стала доказывать, а я все ответа ей не даю, потому порядков не знаю... День за день, день за день, наконец, того, однажды плакала-плакала она, покуда я пил-ел, потом видит, что от меня нету ей никакого смысла, отерла глаза платком и говорит проворно таково: «Ну, говорит, коли ты до сих пор ни в чем не имеешь понятия и слов моих не слушаешь, так должна же я как-нибудь сама присодействовать. Ступай, одевайся и жди меня за воротами». Допил я кофий, пошел, оделся и вышел за ворота. Спустя время выходит и Аграфена. «Иди, говорит, за мной». Ну я и пошел. Она все по переду идет... Шли, шли и пришли в Большую Мещанскую... Есть там гостиница «Ломбардия», потому она как раз напротив ломбарту помещается. Аграфена все вперед, а я все за ней. Так нешто я понимал что? Ведь никто ей не велел — сама догадалась...

«Н-ну, после этого случаю и стала она меня подвергать к себе — что ни день, то крепче — что ни день, то все строже... Первым делом подвела под барыню мину — старого дворника-старичка вон согнала с места. Двадцать лет он жил — и вдруг его выкинули. Даже заплакал пошел... Куфарка было вступилась за старичка, да Аграфена подвела торпеду — и ее вон, и с любовником, всех прочь... Меня в дворницкую. Подручного мальчишку из дворницкой — вон: спи, где хочешь, хоть помирай... Дворницкую вымыла, прибрала, выклеила; мне — поддевку, сапоги, жилетку, часы — всё за первый сорт... Ну, а чтобы куда-нибудь отлучиться или что-нибудь — уж извини! Так и смотрит из куфни на двор, точно ястреб... Чуть

мало-мало замешкал с дровами где-нибудь в квартире — зовет на весь двор: «Михайла, Михайла! Где мой Михайла?» Цельный день по всему дому только и слышно: «мой Михайла, мой Михайла, мой Михайла, и мой, и мой, и мой, и мой. .» Чистая срамота! А у ней даже ни капли совести нету... Куфарок всех костит нехорошими словами во всю пасть; по всем кабакам по Восьмой улице обегала, чтоб мне водки не давать: «если будете моему Михайле водки давать — я вас всех в каторжные работы отдам, денег не пожалею». Иной раз где-нибудь с каким человеком или с квартирантом поговоришь, хвать — уж она все портерные облетала, во всех лавках побывала: «не видали ли моего Михайлу?» И все ко мне в дворницкую; как урвется минутка — тут! А нет меня, опять: «Михайла, Михайла!» или: «Иди, иди, иди! Домой, домой, домой...» То есть загоняет меня, как скотину хворостиной — и с того боку и с другого, а уж вгонит в дворницкую или к себе в куфню. Народ-то стал смеяться. Куфарки стали подражать — тоже принялись из кухонь в фортки кричать: «Михайла, Михайла! иди ко мне ночевать!» А это ее пуще мутит. Однова̀ лавочник в шутку ей сказал: «Твой Михайло вон к той куфарке пошел» — так, в шутку, — так она, ни слова не молвя, прямо ему в виски впилась, еле отняли. Потом отдала у мирового пятнадцать целковых штрафу. «Только посмей кто, все рыло оборву!..» Ведь вот что за характерная женщина!

«И стала она, братец ты мой, противна мне. Кажется действительно, что надо бы мне ей уважение делать за все ее угождения: подручного на свой счет наняла, а меня уж прямо в куфню перевела, чтоб я ничего не делал, — а нет, мутит меня и вся тут... И народ смеется — говорят: «нанялся в любовники!..» И воли-то нету, да и грех... Она было сама мне насчет браку— «примем закон!» «Нет, думаю, сравнить ли экую шкуру с нашей деревенской!» А пуще всего стала она меня сердить сестрой... Я было ей сказал: «Надо сестре денег послать — чай, она там пропадает с голоду». Ни копейки не дала. «Я, говорит, всю жизнь мучилась да деньги свои буду давать. Мне самой хочется иметь отдых». Так и не дала... Раз я погрозил: «Уйду, найду себе другое место» — так, как чорт, осатанела: «Всю одежу отберу, жалованья не отдам, барыню упрошу, и в пачпорте напишут так, что никто не

возьмет». Конечно, со зла болтала, а случись, и, ей-богу, бы сделала. А без одежи куда я пойду? Скреплюсь, молчу, а дюже, дюже она мне противна... А тут случилось — пришло письмо из деревни: пишут, сестра родила, гулять пошла... Вспомнил я нашу деревню, сестру, все наше горе и разоренье — и так меня засосало с этого дня, и так мне показалась горька моя кабала. Стал я пить, а Аграфену колотить... Раздумаешься, затоскуешь — и прямо в кабак... Как Аграфена показалась — а уж она сейчас мчится, — так кулаки сами и зачнут сучить.. И больно ей доставалось... Долго я крепился, покорялся ей, а как сорвался да как пошел на отчаянность, так что дальше, то чаще. Придешь пьяный, разорешься, раздерешься, нашкандалишь — барыня сама выйдет: «Сейчас убирайся со двора долой!» И сейчас Аграфена меня выручит. Спрячет, уложит, упросит, а сама перед барыней — и на пяточках и на носочках, и лапочками и бочками, и словами и глазами, и так и эдак, и вползет и выползет — хвать и выпутала. Придет, говорит: «оставайся» — и все целует да плачет... После этого я недели с две погожу, покреплюсь, — потому куда я в самом деле денусь? После сестриного горя и в деревню-то страм показаться... А потом опять сделаю скандал, барыня опять: «чтоб сейчас твоего духу не было», — а Аграфена опять заюлит, замеит, замутит перед барыней, забормочет, замерячит, вплетет и выплетет — глядишь, и вьюлила и вызмеила... Опять бежит: «оставайся!»

«Долго всего рассказывать... Только сколь она меня ни выправляла, а все я хуже и хуже стал забаловывать. Стала она мне все противней... Как вспомню деревню, баб наших умниц, работниц, сестру мою горькую — убил бы Аграфену смаху.. Стал я от ней бегать по два, по три дня. Стал вещи пропивать да принялся шляться по нехорошим местам... Долго ли, коротко ли, а дошлялся я до того, что надо ложиться в больницу... И что ж вы думаете? Как дошлялся я до этого, вдруг мне стало Аграфену жаль... Так мне стало ее жаль — страсть! Вспомнил я, сколько она, бедная, меня любила, как за мной ходила, все деньги свои кровные на меня провела — и вдруг я ей скажу... Ведь она помереть должна от огорчения... Мне бы сейчас сказать, а я пожалел и не сказал... Вижу я, что и она пропадает, молчу и жалею. А она видит, что

я жалею, — рада, горькая, радешенька, не знала, как и угодить... Наконец, того, стали ей говорить: «Михайла твой так и так»... Куды тебе! Так и лезет к морде тому, кто скажет. Ни капли веры не дает. «Чтобы мой Михайла?.. Он меня любит (а я только и полюбил ее, как стал виноват), да чтобы он... Все глаза выцарапаю, кто скажет-то...» А я гляжу, затаил свою подлость, да еще больше ее жалею... А она все пуще влюбляется, даже не спрашивает — «не может быть этого». А уж где не может быть...

«Барыня сама все раскрыла, заприметила и тую же минуту обоих нас вон... Аграфену и меня полиция в больницу отвезла. Как узнала Аграфена правду, только поглядела на меня, ничего не сказала, и сделалась с ней точно как падучая... Вспоминать-то страшно об этом, перед богом скажу!.. Как отвезли ее в лазарет, так я с тех пор и не видал ее. А и сам дюже я по ней тосковал, да и сейчас сосет тоска... Долго я в лазарете маялся... Вышел вот месяца четыре назад, всю одежу в больнице проел, лицо у меня, видите, какое, не всякий пустит — сейчас видно, что нехорошо хворал... Идти мне некуда. Думаю: «не разыскать ли Аграфену?» Справлялся и в адресном и в участке — нигде нет. Пошел в больницу, дал писарю последний рубль (сапоги продал), чтобы разыскать... Разыскал. «Сейчас, говорит, она на Преображенский вокзал свезена... Померла вчерась...» Пошел я на Преображенский вокзал, в Гончарной улице — по железной дороге покойников отправляют, — спрашиваю — не знают. Нужно, говорят, нумер знать. Гробов-то много, нумера обозначены, а который гроб Аграфенин — неизвестно. Паренек тут сидел на станции, плакал: отправил он мать покойницу, значит, багажом сдал на Преображенскую машину, а квитанцию-то от матери потерял... Теперь и боится, как бы ему на кладбище-то какого-нибудь другого покойника-то не выдали, а пуще всего как бы в матернину могилу другого покойника не положили. У одной генеральши — тоже вот так-то квитанцию от мужа потеряла — так вместо мужа-то бухарца зарыли. Вот и я так-то без квитанции-то... Гробов-то много, а которая тут Аграфена — не знаю... Постоял я, поглядел, поплакал и пошел пешком в деревню... Видите, каков вернулся?»

Он снял картуз и провел ладонью по облезлой голове. На глазах у него были слезы.

— А сестра-то! — сказал он и заплакал, залился и, утирая лицо концом рваной рубахи, шепчет: — теперь бы уж не то кабак, уж и трактир бы...

«Ну, — скажет читатель, — ведь нельзя же предвидеть таких случайностей, как «убийство играючи»... Таких мелочей, конечно, нельзя предвидеть; но «сиротство», как результат этих бесчисленных «мелочей», благодаря случайностям, обставляющим крестьянский труд, — надо видеть и надо стараться, чтоб оно не было отдано на волю случая и полной беспомощности. На то на свете и живут умные и ученые люди, чтобы неученый человек не пропадал понапрасну.



ИЗ ДЕРЕВЕНСКИХ ЗАМЕТОК О ВОЛОСТНОМ СУДЕ

1. ВОДКА И ЧЕСТЬ

Не так давно, читая какую-то большую газету, я совершенно случайно напал на заметку о знаменитом рыковском крахе, в которой, между многих мелких деталей, все более и более разоблачающих это крупное безобразие, меня особенно заинтересовало одно, тоже небольшое, вкравшееся в заметку сообщение. Именно: в конце заметки было сказано: «мелкие взыскания по долговым обязательствам банку продолжают поступать». Если бы я был житель столичный и дышал бы столичным воздухом крупных интересов и крупных гешефтов, то меня — я в этом уверен — нисколько не интересовало бы это сообщение; напротив, я бы с любопытством остановил свое внимание только на сообщении о крупных похищениях, о миллионных глотках, и притом глотках *только* похищающих, так как о том, чтобы какое-нибудь миллионное хищение было пополнено, возвращено, — что-то не слыхать или по крайней мере слышится очень редко, этак один раз в двести — триста лет. Совсем не та атмосфера, которою мы, деревенские обыватели, дышим в деревне. В деревне как раз наоборот. Здесь на первом плане самых существенных интересов жизни стоят именно «взносы», которые к тому же непременно и притом беспрерывно куда-то «поступают». Вот почему, встретив в газетной заметке фразу о «поступающих» взносах или взысканиях, я, как деревенский житель, не мог не подумать о деревне, а слово «мелкие» еще раз заставили меня вспомнить деревню, где, не чета столице, и хищения и взносы маленькие, мелкие, хотя и беспрерывные. . .

Остановив свое внимание на этой незначительной фразе — и невольно задумавшись о деревне, — я (сам не знаю, это как случилось) вдруг представил себе следующую картину.

Волостной суд. На улице и под сараем около волостного правления идет галдение и кое-где пьяный, а кой-где трезвый разговор. Пьяны, конечно, судьи, а вследствие этого в каком-то амбаре, на том же волостном дворе, с дверью, околоченной железом, и заменяющем в волости помещение для арестантов, то есть «холодную», дерут по постановлению того же суда какого-то мужика. Один подгулявший, вялый от водки, и скучный от водки, и от водки чувствующий себя подлецом, мужик сидит на корточках у головы наказуемого; другой такой же вялый и тусклый от сознания пьяной подлости совершающегося мужик придерживает за ноги; и тот, кто лежит в это время на полу, — уткнувшись лицом в грязный пол, голосом сильного мужчины, в котором нелепость и подлость совершающегося пробудили рыдающие ноты детского плача, детского непонимания и горького стыда, — дудит и гулко и жалобно в пол: «Михал Мха-лчь! Н-ни ббудду! Ни ббудду! Михал Мхалчь! Николи ни бббуддду! . .» — «Не я, — говорит Михаил Михайлыч, волостной старшина,[1] за сопротивление которому происходит наказание, — не я, — а закон бьет тебя, дурака!» — «Дураков надо учить!» — говорит, еле ворочая языком, один из судей; «Дураков и в церкви бьют!» — прибавляет другой, — третий думает: «Грехи, грехи тяжкие! прогневаем, беспременно мы прогневаем господа бога!». . . И все, не исключая даже и волостного старшины, чувствуют себя глупо и подло, — а в то же время думают, что почему-то «нельзя». В особенности глупо, в особенности подло, в особенности бессовестно чувствуется у всех на душе по окончании этой постыдной экзекуции, когда высеченный мужик, всхлипывая и неловко меняя выражение лица с детского на зверское и опять на детское, конфузясь и ожесточаясь и чувствуя себя опозоренным и глупым, просит расписаться в журнале волостного суда кого-нибудь из грамотных, который

---

[1] Эти господа вопреки закону умеют мстить своим обидчикам и незаконным порядком.

и пишет после слов: «и сопротивлялся с дерзостию» — венчающую всю эту жестокую и позорную нелепость фразу: «остался доволен», что должно означать: остался доволен этим позором и стыдом.

Все это действительно позорно и постыдно, — но мы не были бы справедливы, если бы сказали, что этот позор и поношение человека доставляли бы кому-нибудь из всех присутствующих здесь хотя бы самую малую тень удовольствия, даже истцу (разве только в самых крайних случаях врожденной жестокости, проявления которой не чужды деревенской жизни), — это постыдное безобразие не всегда доставляет должное удовлетворение и успокоение. Все, — не говоря уже о том адском состоянии духа, которое уносит в своей душе из волостного амбара наказанный, — испытывают тяготу сознания постыдного, неправедного дела, до того неправедного и постыдного, что ощущается жажда новой выпивки, чтобы искусственно себя оскотинить, ожесточить, привести исковерканную бессмысленно-жестоким поступком душу в нормально-бессовестное состояние, то есть в такое состояние, чтобы пьяный мозг мог подыскать какой-нибудь пьяный аргумент для мало-мальски спокойной уверенности, что бессовестность эта почему-то нужна.

Вот именно такая картина и представилась нам, когда мы в газетной заметке прочитали фразу «мелкие взносы поступают». Но как только представилась эта картина, так мысль наша невольно остановилась на том состоянии духа всех виновников этого невеселого рисунка, о котором было говорено выше. Отчего происходит это нелепое состояние духа и отчего это нелепое состояние духа не воспитывает в виновниках его решительного стремления исцелиться от него, прекратить бесплодную и унизительную нелепицу, а, напротив, имеет в своем основании какое-то тоже, очевидно, нелепое и непостижимое, но тем не менее достаточно твердое «нельзя», от которого можно получить забвение только в сивухе?

Это многосложное нравственное расстройство, сулящее в будущем самые неожиданные комбинации народной мысли, до такой степени сложно, что мы не решаемся говорить здесь о нем подробно и всесторонне (что, кстати сказать, мы и хотели сделать, обещая г. редактору «Судебной газеты» ряд очерков, на основа-

нии материалов волостного суда и личных наблюдений, о которых было заявлено в № 6-м «Судебной газеты». К несчастию, непредвиденные обстоятельства заставляют меня отложить исполнение этого намерения до будущей осени). Остановимся в настоящей заметке на выяснении той стороны расстройства «народной мысли», «народной справедливости», которая ощущается только в вышеприведенной картине нелепого сечения. Остановимся на главном страдательном лице этой хотя и постыдной, но несомненной драмы. Его думы и его мысль, помимо сознания унижения, которого невозможно передать словами, растерзаны сознанием двух совершенно противоположных течений, — если так можно сказать — «правд». Одна правда говорит ему неопровержимо: ты ни в чем и ни на волос не виноват; другая так же неопровержимо свидетельствует о том, что ты кругом виноват. Лет двадцать назад такого психологического состояния *не мог* испытывать наш крестьянин, по крайней мере в массе, как это замечается теперь. В общем весь строй его миросозерцания держался на том, что в основе существования лежит труд собственных своих рук. Руки эти должны быть всегда готовы делать так, «как бог даст». А выражение «как бог даст» — значит работать, пользуясь теми условиями, в которые труд этот поставлен природой, и безропотно подчиняясь им и в добре и в худе. «Я всегда готов, — мог сказать двадцать лет назад каждый крестьянин земледелец, — и руки у меня всегда готовы к труду, — а бог не дал — ничего не поделаешь; бог дал — хорошо!» На этой твердыне труда *своих* рук, которые обязаны делать то и тогда, когда и что следует и можно, но делать неупустительно, — и на зависимости этого личного качества трудящегося от случайностей природы, в каких находился труд, — стояло все здание народной жизни. И брак, и кредит, и доверие, и совесть — словом, все ежедневные комбинации человеческих отношений были проникнуты этой идеей личного труда и степени его качеств, критикуемых на основании добросовестного изучения случайностей. Возьмем один только кредит: в то время, занимая у кого-нибудь хлеб,— деревенский житель говорил: *ежели* господь уродит — так отдам столько-то и тогда-то. *Ежели*, — которое означало миллионы случайностей природы, было и для всех

аргументом неопровержимым. «Не уродило», и для всех ясно, что отдать невозможно, а надо ждать, пока уродит. Вот с такими понятиями о кредите выросло то поколение, которое теперь дерет и которое теперь дерут во имя совершенно иных понятий, в которых нет места этому «ежели». Предшественниками этих новых понятий в деревнях были «новые моды на новые понятия» в среде губернского и уездного темного царства.

Немного более, немного менее пятнадцати или двадцати лет назад в головы и умы Тит Титычей и Сысой Псоичей стали влезать неведомо откуда, вернее прямо проникать из воздуха, пропитанного финансовым распутством нашего «учредительского периода», — совершенно новые, даже непонятные и иногда бог знает что означающие, но в то же время «скусные» представления и идеи. Прежде умы Сысой Псоичей и Тит Титычей были проникнуты верой в фальшивый аршин, в силу квартального и в силу взятки, которая его сокрушает, верой в бога и верой в чорта, сознанием того, что, угодив богу, не обеспокоив чорта (бога не гневи, а чорту не перечь) да подмазывая аккуратно квартального, можно «спускать безбоязненно» на каждом аршине, — что и было известно под общим названием «коммерция». Результат, который получался «от всего этого», выражался в удовольствиях беспрестанно употреблять с господами квартальными и другими «благородными людьми» сундучную, мешочную, паюсную и салфеточную икру, осетровый и белужий балык, а выделывать все, что взбредет в голову по части «нраву моему не препятствуй», ездить для специальных обмериваний и специальных безобразий в Нижний, а в Киев для покаяния и успокоения. Такова была коммерция и коммерческие головы, умы и мысли в старые годы; но лет пятнадцать — двадцать тому назад в эти, казалось, так прочно установившиеся головы стали воистину неведомо откуда появляться новые мысли и слова; то что прежде определялось одним словом «комерцыя», — теперь вдруг раздробилось на тысячи всевозможных слов, которые все звучат совершенно необычайно: дивиденд, кредит, баланец... а главное, появилось слово «рыск», занесенное в среду Сысой Псоичей каким-нибудь штаб-ротмистром или ремонтером. «Рыск» слово более всех прочих слов полюбилось Сысой Псоичам, тем более

что они кроме самого слова «рыск» узнали, что оно неразлучно со словом «бла-ародное дело» и, наконец, что слово это американское. «У мериканцев, — стал бормотать любой из Псоичей, — все больше рыск. Что больше рыскует, — то больше барышу... Ловкий это народ мериканцы. Рыскуй — и знать ничего не знаю, ведать не ведаю, — а деньги так и идут в карман»... И вот Сысой Псоичи стали во главе всевозможных банков и стали рысковать по-американски, с присоединением к американскому и российского. Ничего не зная и не смысля ни уха, как говорится, ни рыла ни в кредите, ни в «рыске», ни в дивиденде, словом, *ровно ничего* не понимая, иногда не умея ни читать, ни писать, Сысои Псоичи стали заниматься «рыском», единственно руководствуясь указаниями своей утробы, которая «по нонешним временам» стала требовать уж не одной икры и т. д., а, как мне рассказывали про одну такую московскую утробу, всевозможных съестных тонкостей, вплоть до ученой свиньи и мороженого из «женских сливок». Перед новым годом Сысои Псоичи выдавали секретарям усиленные оклады, лишь бы сошелся «баланец».

— Скажи Михайле, — говорил Сысой Псоич, — чтобы у меня баланец был... Убью как собаку, и ответу не будет.

— Не сходится, Сысой Псоич! — докладывал, бывало, Михайла, — миллиону семисот тысяч нехватает.

— Чтоб было! Сказано, убью, — и не отвечу; запереть его в конторе, покудова баланцу не выведет по моему скусу.

Но и запертый на замок Михайло отвечал попрежнему:

— Откуда ж я, Сысой Псоич, возьму, коли экой прорвы денег нету...

— Неужто не сойдется?

— Невозможно-с!

— Ну вот что, ты лясы-то не точи и зубы не заговаривай, — а бери честно благородно две тыщи, — и чтоб было!..

— Попробую-с!

После этого предложения в «баланце» начиналось некоторое движение.

— Ну что?

— Да лучше-с! Начинает как будто маленько подаваться... Миллион кой-как сколотил, — а все еще далеко до комплекта!

— Ну ладно, — пошевеливай, пошевеливай! Коли через час обладишь все честь-честью, — еще тыщу чистыми деньгами!

После этого Михайло уж не мог препятствовать и, подумав секунду, — восторженно восклицал: — «Н-ну! Давай деньги. — Готово! Разорвался — а уделал! Давай деньги на стол, — получай баланец!» — «Вот так молодчина, — одно слово орел. Правая рука, копье неизменное!»

С каждым годом Михайле, однако, становилось трудней свести концы с концами того хомута, который Сысой Псоич наименовывал баланцем. Сысой Псоич с каждым годом должен был увеличивать тот куш, без которого Михайло уж и не брался свести концы с концами. И долго они, эти концы хомута, сходились, конечно на бумаге, — и вот на наших глазах разошлись-поразъехались, да так, что неизвестно еще, родился ли тот человек, который решился бы их свести друг с другом даже и за большую подачку.

Сысой Псоич, ничего не знавший, кроме паюсной икры и американского слова «рыск», — теперь, увы, бедняга, на скамье подсудимых и, по русскому обычаю и неумению красно говорить, может только сказать одно: «вяжите меня», так как о чем бы его ни спросили относительно банковых дел, у него нет другого ответа, кроме «не знаю», «неизвестен», «кабы грамотные были» и т. д. Нет, конечно, ни малейшего сомнения в том, что значительная часть того, что исчезло из «банки» (Сысой Псоич так называл банк), съедено людьми образованными, почти столько же «жамкнули» и бородки и сапоги с бураками, — но кое-какая частица, не миллионы, не сотни тысяч, а десятки и тысчонки попали и в деревню... Какой-нибудь деревенский кулачишко, принимавший в заклад рваные полушубки и бабьи поневы, в поездках в город наслушался разных разговоров об этой «самой банке». Долго дивился кулачишко этим рассказом. «Правда ли, нет ли, — рассказывал он тоном сказки, — уж не знаю, а сказывают, быдто написал ты на лоскутике — эдакой вот и лоскут-то всего — пальца в три шириной да четверти полторы в длину, — написал, «при-

ставил», — хвать и выдают!» — «Н-ну!» — испускал ошеломленный слушатель. «Истинным богом!» — «И чистыми деньгами?» — «Чистыми, как есть настоящими деньгами... Хочешь верь, хошь нет, — что знаю, то и говорю. Митрофанов Казатник, знаешь, чай, у Николы в капустниках? Так тот тоже пошел к самому, к Псой Псоичу, сказал ему... Тот и говорит: «Ну-к что ж» и сказал, напиши так-то. Тот написал, — сейчас и дали!..» — «Ишь ведь до чего дойдено!» Долго кулачишко не верил, сомневался, полагая, на основании фамильных и местных преданий, что деньги и богатство происходят либо от того, что нашел клад, кубышку, либо слово знает, либо и убил прохожего, а у того под жилетом на груди оказалось пять тысяч, либо от того, что просто грабил на большой дороге, либо вообще от того, что продал душу чорту и дал расписку собственною кровью. Но мало-помалу поездки в город, разговоры о том, что Сысой Псоич дает деньги из «своей банки» всем, кто «положит» ему «шар» (за этакое дело я тебе не то шар, а колокольню сворочу да положу куда хочешь!), — явные, осязаемые факты полной достоверности этих россказней, осязаемые в виде самых подлинных кредитных билетов, наконец убеждают нашего заскорузлого деревенского обироху в том, что все это сущая правда. При помощи мещанина Митрофанова он тоже побожился положить шар, прибавив, что если б Сысой Псоич повелел ему пакли горячей съесть, так он и тогда не задумался бы сделать это — за его милости, — и вступил на путь цивилизации. Два года тому назад, не надеясь расторговаться солониной, он уж мечтал о продаже чорту души, — а теперь вот у него ни оттуда ни отсюда «двести рубликов в кармане», и за что? за какой-то голос, либо шар положил, что, подписывая бумажку, он ручался товаром своей лавчонки, где было разной дряни на двести рублей, — но вот у него теперь еще двести, неожиданные, сразу удваивающие его силы, планы, фантазии и размеры оборотов. Вытягивая из деревушки первые двести рублей, на которые кое-как сколочена лавчонка, кулачишко должен был подчиняться местным условиям; теперь с этими новыми двумя стами рублей он вне их совершенно, он над ними на высоте и с этой высоты может спокойно выслеживать, где что лежит плохо и когда лучше этим плохо лежащим овладеть.

Эти новые, не по-деревенски, не личным только трудом, а каким-то непостижимым образом, без труда, не шевеля пальцем, добытые деньги, появившись в деревне, — произвели огромный переворот во всевозможных человеческих отношениях. Этот переворот начался и идет... Завися теперь от «строка», от «числа» и длинненькой бумажки, кулачишко должен ставить в ту же зависимость и все то деревенское, что зависит только от «бога» и от погоды, от тучи, от дождя, от засухи и т. д. «Строк» взносить в «банку», положим, истекает 15 июля, и кулачишко вылезает из всех кишок вытянуть из должников должное, пунктуально следуя банковой правде, тогда как деревенская правда говорит так же категорически и неопровержимо, что платить долг, когда хлеб в поле и когда еще ждут дождей, — совершенная нелепость и ерунда, точь-в-точь такая же, как если бы кто потребовал на самом деле, чтобы курочка бычка родила или поросеночек яичко снес. «Как божья воля», «как господь поможет» — вступили в борьбу с векселем и «строком». «Ведь меня всего продадут, чорт ты этакой, из-за тебя имущества лишусь!» — вопиет кулак на основании требований банковой правды. «Да ведь я тебе говорю резоном, по-божески ведь я тебе, идолу, говорю — дождей не было! Погоди, погляди, может господь даст и покропит — ну тады к успеньеву дню... Чего ты? утаить, что ли, я от тебя хочу?» — «Да ведь дубина ты этакая, ведь нешто там спрашивают про дождик-то? Ты бы деньги занял под вексель да отписал в банку, что, мол, свинья еще не опоросилась, посгоди! Ведь в том случае банка лопнуть должна начисто!» — «Я опять же тебе русским языком говорю — приходи об успеньеве дне». — «Ну вот что, — хочешь продавай корову, деньги плати, не хочешь — я судом возьму... Роздал деньги вам, дуракам, число подходит платить, — а у вас еще свиньи не опоросились. Я твою свинью в банк не понесу»... и т. д. «Строк» и «как бог даст», «кредит» и труд, только труд «рук своих», в буквальном смысле единоборствуя лицом к лицу, развели такую массу новизн в деревенской жизни, такую массу новых, спутанных отношений, такую массу небывалых прежде контрастов в возникновении благосостояния, контрастов, породивших возможность быстро разживиться без труда и беднеть — беднеть, не покла-



даючи рук в труде, и т. д., что исчислить всех тягостных для большинства осложнений, возникших из новых порядков, невозможно. Ниже мы будем говорить о том, как много интеллигентной работы надобно внести сюда, для того чтобы человека не валили с ног, и притом зря, эти новые, повидимому даже и облегчающие явления, — теперь мы возвратимся к разговору о волостном суде и об эпизоде, рассказанном в начале этого отрывка. Двадцать раз требовал кулачишка от выбранного мужика своего долга, и все это было до того нелепо по-крестьянски, безбожно, глупо (например, продать корову, которая должна через месяц отелиться, или хлеб, который еще не поспел, или траву, которая еще на выросла, и т. д.), что мужик не верил, ругал, доказывая, потом стал впадать в исступление. Кулачишки поналегли на старшину (а эти люди тоже цивилизованы запахом денег), старшина вломился с понятыми, продавать скот стал и получил вооруженный отпор. И хотя он добился того, что послушные старики «утвердили дураку закон», но ни он сам в глубине души, ни подсудимый, ни судьи — не считали себя людьми, поступившими по совести. Лгали ли они? Нет! Деньги взял — отдай! А с другой стороны, они отлично знали, что отдать невозможно, что отдача в такой-то срок не только глупость, а просто преступление пред семьей, пред всем своим хозяйством и даже будущим своей семьи и хозяйства. Подсудимый оказывался совершенно правым и совершенно неправым одновременно. Правды срока и «как пошлет господь» — так различны, так не подходят друг к другу, так несоединимы, и до такой степени каждая из них действительно правда, по-своему, — что выйти из этой бездны противоречий можно только третьей дорогой — водкой, дурманом, «не в своем уме», оглупев, одурев, кой-что позабыв и кой пред чем преклонившись. . .

Вот каким образом водка проникла в область правосудия, в область совести человеческой, расстроенной, болезненно изувеченной. Водка проникла — и с каждой минутой стала занимать все больший и больший круг явлений жизни, входивших только в область совести. Об этом мы будем говорить в следующий раз, а теперь напомним читателю, что всякий раз, когда он встретит

в газетах фразу подобную вышеприведенной, «мелкие взносы поступают», — пусть припомнит мужика, которого дерут и который вопиет на весь волостной двор — «н-не ббуду! не буд-ду!..», и подумает, нельзя ли вывести этого несчастного человека из его нелепого и ожесточающего положения?

2

Таким образом, водка, «ведерко», появлением своим *на суде* обязана совершенно новым усложнениям крестьянской жизни, которые нельзя ни рассудить, ни отстранить опытом жизни, приобретенным в дореформенное время. И при крепостном праве водка также играла на миру немалую роль, но тогда она была результатом бесправия, — вся власть и воля были в руках барина, для мирских дел оставались только барщинские распорядки и воля: придраться *к виновному,* чтобы, содрав с него ведерка два, а разгулявшись, даже пропить у него телегу и лошадь, что так частенько случалось в старину, — при всем видимом сходстве с теперешним пьянством не носило в глубине своей такого расстройства совести, какое знаменует теперешнее ведро на суде. Не виноватого опивают, как прежде, и не в наказание тащат со двора передки, а пьют, не зная, как выйти из тесноты между двух правд. Водка, давая одной стороне *какой-нибудь* перевес, дает возможность *какому-нибудь* выходу. В этом новом пьянстве уж много *неправды,* много прямо потери совести, стремления забыть ее или по крайней мере одурманить.

Жить «на деньги» там, где основа жизни — труд собственных рук, а успех — талант, дарование, сила, — проявляемые, однако, в одном и том же роде труда при совершенно одинаковых условиях, — это явление в такой степени новое и обширное, что и не крестьянскому, непривычному к подобным новизнам уму, право едва ли есть возможность найти какой-нибудь выход, который бы вправил на место вывихнутую крестьянскую совесть, хотя искать этого выхода, разумеется, надо непременно. По труду (одному для всех обывателей деревни и волости, за исключением, конечно, господ, священства, чинов-

ничества и т. д.) и по его силе, настойчивости ценился, понимался и уважался человек; не обидно, если *на одной и той же* земле, *с одними и теми же* руками и орудиями — у одного выходило лучше, у другого хуже, один богател, а другой беднел; в том и другом была полная ясность; можно было ясно видеть, почему вышло так, а не иначе: не уродило, не выпал дождь (а у соседа выпал), нежданно пала лошадь... и т. д. На этом и отношения взаимные строились, и правда понималась только в этих *однородных для всех* условиях. Теперь же далеко не то; образец добросовестнейшего крестьянского труда, работник, не покладающий рук, может пропасть от человека, который палец о палец не ударит, а превзойдет этого труженика во всех путях; и невесту у сына труженика отымет и выдаст за своего, и лошадь купит *сейчас*, тогда как труженику надобно сколачивать капитал на эту покупку целыми годами, и т. д. Стало можно в крестьянской среде конкурировать на поприще крестьянского же труда «без крестьянства», не только не прикладывая своих рук «к этому труду», буквально пальцем не шевеля. Иной работает как вол, «своими руками», и видит, что ему в десятки лет не достигнуть такого благосостояния, как вот этот сосед, работающий «своими деньгами», не марая рук, как он, «сиволапый деревенский мужик». Вот он, новый человек, сидит себе у окошечка в новом доме и пьет чаек, а ты гни спину, хребет. Это и обидно, и неправда, и смертно скучно.

Нередко «обида», чувствуемая мужиком-пахатником, выражается в формах не весьма мирных. Пахатник всячески стремится поравнять с собой искусственно разжившегося соседа, человека, не в меру забирающего силу; «дать ему волю — так он и совсем нас всех слопает», и вот в видах этого равнения нередко пускаются в ход так называемые «свои средствия»... Только что какой-нибудь молодец из нонешних начнет сводить с своих рук крестьянские мозоли—и деньгами (которые пускаются в оборот всегда в *крайне нужное* для работящего народа время) приобретать неправедные богатства и силу, как, глядишь, какой-нибудь «пахатник» единственно из принципа «уравнения доходов» — возьмет да и подпустит петуха либо в дом, либо в сено, или в скирды хлеба. Цель такого поступка — «поравнять» не в меру выросшее

и незаконное благосостояние с своим весьма умеренным и, как думает пахатник, — совершенно законным. Наймется пахатник к такому «бархатнику» возить дрова, — посмотрите, сколько он их растеряет по дороге (добрые люди подберут); гонит он их по воде, — и уж, наверно, не будет спешить разнимать их на «заломах», когда они, запнувшись о какой-нибудь подводный камень, станут целой стеной. Пусть помокнут нижние слои бревен; помокнут, отяжелеют и утонут на дно; а спадет вода — подобрать есть кому, «все же *ему*-то меньше попадет». И сено он у бархатника сушит — тут тоже надо стоять над душой, а то ни за что ни про что погноит под дождем столько, сколько влезет... Продавать это сено надо сейчас же; как высохло, взваливай на телегу и увози, а то «долго ли до греха»? А наймется грузить в вагоны кули с хлебом, — пять раз зацепит крюком рогожный куль, «всё неладно», в пяти местах сделает пять дыр, из которых побежит тоненькая струйка зерна, а взвалив куль на плечи, еще раз пять тряхнет его, чтоб «ловчей» лег, продерет крюком от этой встряски «хорошую щель», так что зерно посыплется немного поживее, да и в вагоне-то брякнет об пол кулем таким приемом, что только брызги засверкают; «все *ему* меньше хоть малость достанется». Да, «деревенский бархатник» уж имеет порядочного врага в «деревенском же пахатнике», и уж есть теперь в деревне такие «*мужички*», которые говорят, что *с мужиком* нет управы, что строгостей надобно побольше, и на основании собственного опыта предупредительно советуют начальству «не смотреть *на нашего* брата мужика», «*нашему брату,* — говорят они, — пальца в рот не клади... *Нашему брату* палку надо, ваше благородие», и т. д.

Вот эти деревенские бархатники и ввели в моду водку, как средство одурманивать затрудненную, колеблющуюся, заболевшую совесть. А раз она заболела в одном, она и в другом нездорова; она уж не сильна сама собой, а без водки и совсем ничего не стоит. И проявлений такой не действующей, как бы окаменелой, совести — немало видите вы, живя в деревне. Возьмите только осенние сцены собирания недоимок (теперь уж, к счастию, прощенных), сцены этого «выбивания», — они одни способны повергнуть вас в отчаяние, способны

уверить вас, что замерла, окаменела народная душа, что нет той несправедливости, которой бы она не дала свою санкцию. Какой-нибудь энергический становой пристав, желающий отличиться усердием, ревностию, все-таки не может по закону слишком дать волю рукам без санкции волостного суда; и вот, не долго думая, он сажает судей в телегу или в сани, сажает их сразу всех шестерых, и, с колокольчиком под дугой, старшиной сбоку и писарем на козлах, — летает по провинившимся деревням; волостной суд — дяди Митяи, Миняи и проч., — оторванные от своих дел, удрученные делами им неведомыми, трясясь в своих овчинных, собачьих и поярковых шапках и шляпах, также стараются поспевать за энергическим деятелем. И в каждой деревне (а таких деревень при энергическом характере станового они объездили немало) они пекут, тут же в телеге, свои приговоры о телесном наказании (за этими только приговорами их и возят), назначают число ударов, не разбирая да и не имея возможности понять иногда в чем дело и за что. Тут «деревенские бархатники» очень часто пользуются «попыхами» приговоров и «разваливают» и растягивают на полу сборни или прямо на земле и личных должников и личных врагов и обидчиков... Бездействующая судейская совесть, перевезенная на трясучей телеге в другую, в третью деревню, продолжает творить неправду и может довести вас до полного отчаяния. «Стало быть, с этими людьми можно *все* сделать, им можно *приказать,* и они исполнят *всякое* злодейство?» Вам страшно становится смотреть и страшно жить...

Жить страшно действительно, и смотреть также страшно, — потому что вы не видите ничего, что бы могло в возможном для вас представлении пространства и времени изменить условия, в которых заключена народная совесть, и что бы пробудило ее. Действительно, нигде не видно серьезной заботы о том, чтобы ожила народная совесть, не видно, чтобы дело народной совести охранялось, считалось серьезным. От этого страшно и жить в деревне и смотреть на народную жизнь, но заключать из того, что видишь, о смерти народной совести — нельзя. Она жива, и посмотрите, к каким удивительным проявлениям она способна.

Позволим себе обратить внимание читателя на одну корреспонденцию, напечатанную в № 3 «Судебной газеты» 1883 года, в которой приводится факт, замечательнейший именно по силе проявления народной совести, раз только она знает, как ей надо быть, и раз только она в этом знании чувствует уверенность.

Дело вот в чем.

В феврале прошлого года из селения Замостье следовала в г. Прилуки небольшая партия нижних чинов драгунского киевского полка. Один из рядовых, Алексей Балахонцев, напился пьяным и в дороге нанес оскорбление действием и словами взводному унтер-офицеру Ивану Жидову.

Свидетелями этого были Салманов, Куприянов и Веденик. Дознание подтвердило факт, и Балахонцев был предан военно-окружному суду.

На судебном следствии нижние чины, бывшие непосредственными свидетелями проступка Балахонцева, *отвергли свое показание,* данное во время дознания, то есть сказали, что Балахонцев не бил Жидова. В числе *отрицавших* самое происшествие был и Жидов, потерпевший. Суд оправдал Балахонцева.

Чрез три дня по возвращении в эскадрон *Жидов,* Салманов, Куприянов и Веденик явились к своему командиру и заявили ему, что они на суде, во время разбора дела Балахонцева, *показали ложно,* отрицая факт нанесения Жидову оскорбления действием и словами. Что побудило их к лжеприсяге?

Вот как объяснили свои побуждения на суде все означенные нижние чины, симпатичные молодые парни. Когда они явились в Харьков, на сборный пункт, для того чтобы явиться в суд по делу Балахонцева, то многие из солдат стали их уговаривать, чтоб они правды не показывали.

— Вам, — говорили они, — ничего не будет, а то должен из-за вас человек пропасть.

Им сделалось крепко жалко Балахонцева, и вот они решили *«взять на душу сообща тяжкий грех».*

На суде вследствие этого они и показали, что Балахонцев «не бил и не ругал Жидова», а про показание на дознании отозвались, что оно для них «смысла неизвестного», так как они ничего подобного не знают.

Когда же после оправдания Балахонцева Жидов, Веденик, Куприянов и Салманов явились в эскадрон, то вот что с ними произошло:

— *Совесть и тоска стали нас так мучить, что не было сил терпеть.* Мы решили и сообща пошли к командиру и всё ему как есть рассказали.

— *Такая одолела тоска, что стало невозможно служить,* — говорили они.

На суде, уже по делу о лжеприсяге, в которой добровольно обвиняли себя эти люди, между прочим выяснилось, что пред началом суда по делу Балахонцева унтер-офицеры Жидов и Салманов спрашивали рядовых Веденика и Куприянова:

— Как будете показывать?

— Да мы будем показывать, как дело было...

— Показывайте, что Балахонцев не бил и не ругал.

— Ведь это грех, — возражали свидетели, — как бы из этого худа не вышло.

— Ничего не будет! — сказал унтер-офицер.

Одному же из рядовых, Куприянову, Жидов (заметьте: потерпевший) сказал:

— Если так не покажешь (то есть «не бил и не ругал»), то на конюшне загоняю.

Таким образом, под впечатлением сожаления к подсудимому, возбужденного разговорами товарищей по эскадрону, под впечатлением уговора со стороны унтер-офицеров и, наконец, даже под впечатлением угрозы — все они сделали ложное показание и не выдержали сознания неправды этого поступка. Не выдержали все: и унтер-офицеры и потерпевший, говоривший «загоняю на конюшне, если не покажешь, что ничего не было», и все, чрез три дня после суда, добровольно явились к командиру, чтобы предать *самих себя* тяжкому суду по обвинению в тяжком преступлении — *лжеприсяге.*

Суд признал Жидова и Салманова виновными в лжеприсяге, принятой с обдуманным намерением, а Куприянова и Веденика в ложной присяге без обдуманного намерения «и по замешательству и слабости разумения о святости присяги». Жидов был приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в Сибирь в места не столь отдаленные, а Салманов, Веденик

и Куприянов были приговорены к лишению воинского звания и всех особых прав и преимуществ и к отдаче первый в исправительное арестантское отделение на три года, а последние в рабочий дом на 1 год и 4 месяца.[1]

Так вот какие чудеса по части «чистоты совести» таятся в народной душе. Все эти Веденики, Куприяновы, Салмановы, все это точь-в-точь такие же российские люди, такие же мужики, год-два тому назад бывшие такими же «деревенскими пахарями», как и те, которых мы видим и в деревне, на волостном суде, но какая огромная разница! Там человек постановляет не только неправильные решения, тяжко отзывающиеся на ближнем, на соседе, на брате, там он утверждает своею санкциею такие безобразные требования «энергических» деятелей, там он так бездеятелен по части совести и правды, что, глядя на него, вы приходите в отчаяние, — здесь же — *тот же самый человек* изумляет вас необычайной чистотой и силой совести, чести. В деревне он, не задумываясь, по единому мановению брови или уса г. станового пристава, постановит решение *драть,* не зная даже за что, просто потому, что приказывают, или даже потому, что и самого могут выдрать; здесь, напротив, *высвободили* почти невиновного человека из беды (ведь Балахонцев был под хмельком) — он добровольно идет к начальству и решается *сам подвергнуться* тягчайшему *наказанию,* ссылке в Сибирь и т. д. Это уже такая чистота совести, такая идеальная щепетильность чести — выше которой трудно представить себе. В то время как деревенский пахатник только заливает водкой свое психологическое расстройство или начинает сознательно признавать, что «по нонишнему времени только и проживешь неправдой», и во всяком случае годами молчаливо переносит явную неправду, — этот же самый пахатник, поставленный в мало-мальски иные условия, трех дней не может вынести сознания неправдивого поступка; его одолевала такая тоска, что невозможно даже «служить»,

---

[1] Это наказание смягчено. Все подсудимые подвергнуты лишь дисциплинарному взысканию. Жидов и Салманов лишены унтерофицерского звания и подвергнуты аресту — первый на месяц, а второй на две недели, Куприянов и Веденик строгому аресту на две недели. Кроме того, все подсудимые преданы церковному суду.

что невозможно даже «терпеть», и одолевает в сущности за поступок, имевший в корне доброе побуждение. Тоска одолевает не только свидетелей, но и потерпевшего Жидова, который говорит перед судом, «на конюшне загоняю, если не будешь показывать, что ничего не было», и он сам идет к командиру и несет *на себя* обвинение в огромном преступлении. Тут все изумительно идеально. Рассматривая этот факт со всех сторон, не можешь не надивиться той силе правды, которая проникает поступки всех этих лиц, повторяем, вышедших из *той же* крестьянской среды, где проявления совести по отношению к собственным соседям омрачают вашу душу; там за ведро постановят неправильное решение — здесь те же лица — за правду сами подвергают себя суду и тяжкому наказанию. Невольно задумаешься и спросишь: отчего же это происходит?





ПРИМЕЧАНИЯ

КРЕСТЬЯНИН И КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1880, X—XII, где очерки составляли часть серии «На родной ниве (Отрывки, заметки, наблюдения)».

Возвратившись в 1879 году из Самарской губернии, Успенский в 1880—1881 годы некоторое время жил в Новгородской губернии на мызе Лядно, близ ст. Чудово. Мыза эта (описанная Успенским в очерках «Непорванные связи») принадлежала другу писателя А. В. Каменскому и была расположена в глуши новгородских «лядин», среди лесов и болот. А. В. Каменский был близок к партии «Народная воля», и его усадьбой пользовались как убежищем народники-революционеры 1870-х годов. Здесь в разное время жили О. Э. Веймарн, Ю. Н. Богданович, бывал Г. А. Лопатин и другие.

Хозяйство в Лядно было поручено крестьянину-белорусу Леонтию Осиповичу Беляеву, покинувшему свою деревню из-за малоземелья. Наблюдения над его работой, жизнью его семьи, его взаимоотношениями с работниками и крестьянами окрестных деревень легли в основу очерков «Крестьянин и крестьянский труд». Л. О. Беляев явился жизненным прототипом главного героя цикла — Ивана Ермолаевича. В воспоминаниях младшего брата писателя И. И. Успенского и знакомого семьи Успенских Л. К. Чермака дана характеристика Л. О. Беляева, описаны разговоры с ним писателя и ряд отдельных эпизодов жизни Успенского в Лядно, к которым восходят

многие страницы цикла «Крестьянин и крестьянский труд» (см. Летописи Государственного литературного музея, кн. 4, «Г. Успенский», М., 1939, стр. 359—360 и 452—456).

О значении для себя пребывания в Лядно и вынесенных отсюда впечатлениях Успенский писал в автобиографии: «Мне нужно было знать источник всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде. И вот я из шумной, полупьяной, развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, где жила только одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно одну подлинную важную черту в основах жизни русского народа — именно власть земли».

В цикле «Из деревенского дневника» (и других очерках, предшествовавших циклу «Крестьянин и крестьянский труд») Успенский подверг суровой критике народническую идеализацию деревни. В настоящем цикле Успенский поставил перед собой задачу определить то начало, которое управляет жизнью крестьянина-труженика, формирует его умственные интересы и нравственные идеалы. Этим началом Успенский признал земледельческий труд.

Наблюдая жизнь Ивана Ермолаевича, рассказчик, а вместе с ним и автор приходят к выводу, что, несмотря на тяжелые условия пореформенной деревни, крестьянин-земледелец любит свой труд, тонко понимает его красоту и поэзию. Вся жизнь крестьянина-труженика, весь его бытовой и семейный уклад, все его взгляды на окружающий мир подчинены труду, и это придает внутреннюю цельность его существованию. Лучшим выражением поэтических идеалов народа, неразрывно связанных с трудом, Успенский считает поэзию Кольцова.

Но поэтические и нравственные идеалы крестьянина, как сознает Успенский, крайне узки. Все выходящее за пределы сферы земледельческого труда не интересует Ивана Ермолаевича, которому чужды интересы цивилизации, прогресса, культуры. Кроме того, как хорошо видит писатель, крестьянин-собственник его эпохи, подобный Ивану Ермолаевичу, — глубокий индивидуалист. Он равнодушно, с глубоким недоверием относится к идее общественного, коллективного труда.

Успенский сознает и то, что «стройность» поэтических идеалов крестьянства, основанных на земледельческом труде, отходит в прошлое. Растет борьба между деревенским собственником и разоряющимся крестьянином-полупролетарием, — борьба, в которой обеими

сторонами в ход пускаются любые «дозволенные» и «недозволенные» средства.

Характерно, что в образе самого Ивана Ермолаевича, как он изображен Успенским, черты патриархального крестьянина сочетаются с чертами предприимчивого и зажиточного «хозяйственного» мужика. Хотя Успенский характеризует Ивана Ермолаевича как «истинного» крестьянина-земледельца и в начале очерков противопоставляет его «подстоличному мужику», хозяйство Ивана Ермолаевича также уже задето влиянием капиталистического развития. Иван Ермолаевич содержит наемных рабочих, занимается выпойкой телят, которых он сбывает торговцам, приезжающим из Петербурга. Наем рабочих крестьянами в Новгородской и других губерниях Ленин считал «самым выдающимся признаком хозяйственных успехов крестьянской буржуазии... Все эти прогрессы зажиточного меньшинства, — писал Ленин, — ложатся однако тяжело на массу крестьянской бедноты» (Сочинения, т. 3, стр. 239). Наряду с Иваном Ермолаевичем Успенский изображает и представителей нарождающегося деревенского пролетариата — солдата, отдающего в работники сына за хлеб, и пастуха.

Очерки «Крестьянин и крестьянский труд» писались Успенским в период революционной ситуации и сыграли важную роль для развития передовой демократической мысли этого периода. Показывая (как и в предшествующих крестьянских циклах) объективные причины той неудачи, которой кончилось в 70-х годах «хождение в народ», — причины, заключавшиеся в незнании народниками подлинных интересов и настроений народа,—Успенский стремился проложить путь для иной, более реальной программы деятельности демократической интеллигенции. Он звал ее от отвлеченных идеалов, от утопической веры в социалистические инстинкты крестьянина-общинника к трезвому изучению объективных условий деревенской жизни. Успенский показал ту пропасть, которая отделяла народнические иллюзии от действительности, заставив своего героя-рассказчика с ужасом ощутить отсутствие взаимного понимания между ним и Иваном Ермолаевичем. Сознание бессилия народнической интеллигенции изменить что-либо в ходе народной жизни приводит героя Успенского к роковому для него выводу: «Не суйся!»

Несмотря на критическое отношение к народническим идеалам и реалистическое изображение многих сторон жизни пореформенной деревни, в очерках сказались и некоторые слабые стороны взглядов Успенского. Их отметил М. Е. Салтыков-Щедрин, писавший Успенскому 11 ноября 1880 года, после получения рукописи

очерков «Не суйся!», «Смягчающие вину обстоятельства» и «К чему пришел Иван Ермолаевич»: «Статья Ваша произвела на меня тяжелое впечатление, и я серьезно начинаю думать, что Вы увлекаетесь идеалами Достоевского и Аксакова. К сожалению, статьи Ваши доходят до меня уже в корректурах и тогда, когда надобно уж выпускать книжку. Я до крайности уважаю Вашу литературную деятельность, и мне крайне прискорбно, что могут существовать недоумения. Главное: Вы сетуете на то, что, по Вашим же словам, неизбежно. Следовательно, это сетования, по малой мере, бесплодные. Может быть, Вы и сами удивитесь, что статья Ваша так понята мною, но, право, *иначе ее нельзя понять*. Мне кажется, что если б Вы повидались со мной, то я мог бы полнее выяснить Вам мою мысль». Исходя из высказанных им соображений, Щедрин просил Успенского «допустить те выпуски», которые он как редактор наметил в корректуре очерков (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIX, М., 1939, стр. 178—179).

Как свидетельствует это письмо, Щедрин усмотрел в очерках Успенского ряд уступок реакционно-утопическим народническим взглядам, неприемлемым для самого Щедрина. Возражения Щедрина вызвала идеализация Успенским натурального крестьянского хозяйства и сетования его на неизбежное шествие цивилизации, разрушающей «стройность» земледельческих отношений и идеалов. Эти высказывания Успенского Щедрин иронически сопоставил с идеями славянофилов — Аксакова и Достоевского, — хотя ко взглядам последних Успенский относился так же отрицательно, как и Щедрин.

Сопоставление сохранившейся наборной рукописи очерков «Не суйся», «Смягчающие вину обстоятельства» и «К чему пришел Иван Ермолаевич» с журнальным текстом показывает, что Успенский согласился со сделанными Щедриным сокращениями и выбросил из журнального текста ряд романтических отрывков о гибельном влиянии цивилизации. При последующих переизданиях Успенский (писавший в одном из своих писем 1886 года, что указаниям Щедрина он подчиняется «безусловно») не восстанавливал выброшенных по совету Щедрина мест, печатая очерки с учетом его редакционных исправлений.

Наряду с сокращениями, вызванными идейными соображениями, М. Е. Салтыков-Щедрин сделал в журнальном тексте очерков несколько изменений цензурного порядка. По поводу первых трех очерков настоящего цикла он 30 сентября 1880 года писал Н. К. Михайловскому: «В статье Успенского я выбросил многое, в особенности в последних двух формах (реминиссансы по поводу Тэна

и т. п.). Не весьма уместно, а главное совсем не цензурно» (там же, стр. 172). Так как рукопись этих очерков не сохранилась, первоначальный текст их остается неизвестным.

При первоначальной журнальной публикации очерки цикла «Крестьянин и крестьянский труд» печатались как продолжение (главы III—XII) серии «На родной ниве», которая открывалась статьей «Секрет» (о речи Достоевского на Пушкинском празднике 1880 года). Второе место в этой серии занимал очерк «Народная книга», впоследствии вошедший в цикл «Из деревенского дневника» (где он получил название «Лечебник от всех болезней»). Связь между этим началом и продолжением серии была чисто внешней, и уже в 1881 году, при подготовке к печати тома II сборника «Деревенская неурядица» Успенский отбросил прежнее начало серии и объединил очерки настоящего цикла под тем названием, под которым они получили известность. При перепечатке цикла в первом издании «Сочинений» (т. VII, СПБ., 1884) были изменены названия II и III очерков и проведена общая редакция всего цикла. Впоследствии цикл просматривался писателем также для двух последующих изданий «Сочинений», вышедших при его жизни, но значительных поправок в текст он уже не вносил. Для настоящего издания текст очерков IV—X сверен с сохранившимися рукописными источниками, и в нем устранены цензурные искажения.

Цикл «Крестьянин и крестьянский труд» вызвал при своем появлении лишь немногочисленные печатные отклики. Внимание критики 80-х годов привлек преимущественно следующий цикл «Власть земли», где Успенский дал дальнейшее развитие тех же взглядов. Очерки настоящего цикла затрагивались критикой обычно лишь попутно, в связи с оценкой очерков «Власть земли». Немногие отзывы либеральной критики, вызванные выходом в свет т. II сборника «Деревенская неурядица», были недружелюбными. Подлинно научный анализ очерков «Крестьянин и крестьянский труд», как и цикла «Власть земли», был дан лишь Г. В. Плехановым и другими русскими марксистами (см. об этом в примечаниях к циклу «Власть земли»).

Стр. 13. *Сябринцы* — см. примечания к циклу «Власть земли».

Стр. 20. *Соловьев*, С. М. (1820—1879) — историк, один из крупнейших представителей русской буржуазной исторической науки, автор «Истории России с древнейших времен» (30 тт., 1851—1879).

Стр. 22. *Мирская загородь* — городьба, передел общинной земли.

— *Лядина* — болото или покинутая земля, заросшие лесом. Описание новгородских лядин Успенский дал в специальном очерке «Лядины» (цикл «Непорванные связи», 1880).

Стр. 24. *Общественные крестьянские должности.* — По положению 19 февраля 1861 года в деревне были образованы сельские общества. Крестьяне должны были избирать сельских старост, волостного старшину и его помощника, сборщиков податей, заседателей волостных правлений и судей волостных судов. Избрание на эти должности происходило на волостных сходах, под надзором полицейских.

Стр. 25. *Припонтистился еси, распилатился еси...* — «Молитва» Ивана Ермолаевича показывает, насколько его крестьянское мировоззрение (где главное место занимают «земля» и «небо») далеко от официального церковного вероучения. Слова «припонтистился еси» и т. д. — искажение непонятных Ивану Ермолаевичу слов церковной молитвы «при Понтийском Пилате»).

Стр. 26. *...пришельца-переселенца из остзейских провинций...* — так назывались в царской России прибалтийские губернии. О переселенцах из Прибалтики — курляндцах и немцах — и их влиянии на хозяйственное расстройство деревни см. в последующих очерках настоящего цикла.

Стр. 27. *«влачиться по браздам»* — слова, заимствованные из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня» (1819).

Стр. 29. *...бранил Фета за его стихотворение, посвященное... Венере...* —Имеется в виду стихотворение «Венера Милосская» (1857). Впечатления Успенского при посещении Лувра, где находится статуя Венеры Милосской, отражены в очерке «Выпрямила» (в цикле «Кой-про-что»). Там же Успенский развил подробнее свою отрицательную оценку стихотворения Фета, посвященного этой статуе.

Стр. 33. *Непременный член* — управляющий делами уездного присутствия по крестьянским делам — административного учреждения, задачей которого был надзор за органами крестьянского самоуправления. Непременный член назначался министром внутренних дел из дворян-землевладельцев.

— *...бунт военных поселян при Аракчееве.* — Успенский имеет в виду волнения в 1819 году в Чугуевских военных поселениях. Летом 1881 года писатель посетил аракчеевское поместье — село Грузино Новгородской губернии, где еще были живы предания об аракчеевщине.

— *Зеленые улицы* — так назывались широко распространенные в царской армии до 1863 года наказания солдат шпицрутенами (при которых наказываемых прогоняли сквозь строй).

Стр. 34. ...*мужик, изображаемый Кольцовым...* — см. стихотворение «Песня пахаря» (1831).

Стр. 35. ...*косарь того же Кольцова...* — см. стихотворение «Косарь» (1836).

Стр. 38. ...*кроме видимых миру слез...* —Успенский пользуется выражением Гоголя («Мертвые души», т. I, гл. VII).

— ...*«не внемлет он и не дает ответа»* — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Элегия» (1874).

Стр. 39. *Таннер* — американец, врач, объявивший, что в виде медицинского опыта он в течение сорока дней не будет принимать пищи. Свой опыт Таннер осуществил в Нью-Йорке в июне—августе 1880 года. В это время в иностранных и русских газетах печатались сведения о самочувствии Таннера.

— *Биссэ*, Эрнест-Луи-Октав (1810—1882) — генерал, французский военный министр в 1875—1876 годах, допустил кражу из своего кабинета немецкой шпионкой баронессой де Каула плана мобилизации французской армии.

— *Сарду*, Викторьен (1831—1908) — французский буржуазный драматург. В 1879 году его пьеса «Даниэль Роша», поставленная на сцене Французской Комедии, вызвала скандал свободной трактовкой вопросов брака. В связи с этим следующая его пьеса была осенью 1880 года дана на сцене другого парижского театра — Гимназии («Жимназ»).

— *Императрица Евгения* (1826—1920) — жена Наполеона III, после крушения Второй империи жила в Англии; в 1879—1880 годах газеты часто упоминали ее имя в связи с гибелью ее сына Луи-Наполеона во время военной экспедиции в Африке.

— *Егарев* — содержатель «Русского семейного сада», увеселительного заведения в Петербурге.

Стр. 41. *Не «равнодушная», а бессердечная природа...* — намек на заключительные строки стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829):

И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Стр. 49. *Началась война с славянами, с афганцами...* —Имеются в виду в первом случае — сербо-турецкая (1876) и русско-турецкая (1877—1878) войны, во втором — война Англии против Афганистана (1878—1879), закончившаяся изгнанием англичан.

Стр. 52. ...*тройку, в которой Гоголь олицетворял всю Россию...* — см. поэму «Мертвые души», т. I, гл. IX.

Стр. 52. ...*«то разгулье удалое, то сердечная тоска»* — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя дорога» (1826). Отсюда же заимствована далее характеристика «ямщика с его «буйными криками».

Стр. 53. *Конюшенная — Ливадия — Нарвская застава* — названия, характеризующие маршрут из центральной части до двух противоположных окраин Петербурга (Ливадия — название увеселительного заведения).

Стр. 64. *В «Московских ведомостях» 1879 года...* —«Московские ведомости» — газета, выходившая с 1863 года под редакцией М. Н. Каткова и отличавшаяся крайне реакционным направлением. «Московские ведомости» в 70-х—80-х годах требовали репрессий против революционеров, ограничения приема в высшие учебные заведения с целью закрытия доступа в них молодежи из разночинско-демократической среды и т. д. Успенский цитирует передовую «Московских ведомостей», 1879, № 136 от 31 мая (стр. 2). Цитата приведена с некоторыми сокращениями.

Стр 83. ...*мужицкий процесс, напечатанный в судебной хронике одной из газет...* — Успенский излагает ниже основные факты дела по обвинению крестьян деревни Щетинино и Великолукского уезда Псковской губернии в «сопротивлении властям» при взыскании с них арендной платы в пользу землевладельца фон Роопа. Отчет об этом деле был напечатан в газете «Голос», 1880, № 313 от 12 ноября и № 321 от 20 ноября.

Стр. 84. *Уставная грамота* — так назывались акты, которые по Положению 19 февраля 1861 года должны были составляться между помещиком и вышедшими из крепостной зависимости крестьянами, определявшие размеры переходивших во владение крестьян земель, а также повинности крестьян в пользу помещика.

Стр. 90. *«Петровская папироска»* — сорт дешевых папирос.

Стр. 91. ...*со Христом, который в рабском виде исходил всю землю нашу...* — перефразировка заключительных строк стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1882, I—III, с подзаголовком «Очерк».

В сентябре 1881 года Успенский поселился в деревне Сябринцы Чудовской волости Новгородской губернии. Здесь, в период с ноября 1881 года по март 1882 года, были написаны очерки «Власть земли».

Цикл «Власть земли» — центральное произведение Успенского начала 80-х годов. Цикл этот имел большое общественное значение и вызвал многочисленные отклики критики.

Развивая мысль о влиянии земледельческого труда на жизнь крестьянина (легшую в основу предыдущего цикла, «Крестьянин и крестьянский труд»), Успенский пришел к выводу, что основной силой, определяющей весь строй жизни и мировоззрения крестьянина, является «власть земли». В процессе ежедневного труда крестьянин на каждом шагу ощущает свою зависимость от земли, от стихийных сил природы, которым он вынужден подчиняться. Эта зависимость наложила свой отпечаток не только на быт, но и на мировоззрение крестьянина.

Утверждая, что жизнь крестьянина и его идеалы сложились под влиянием земледельческого труда и приспособлены к нему, Успенский делает отсюда заключение, что отрыв крестьянина от земли ведет к гибели сложившегося веками типа крестьянина-земледельца. Недостаток земли, крестьянское малоземелье являются главнейшей причиной хозяйственного расстройства пореформенной деревни. С этой точки зрения уже само «освобождение» крестьян положило начало расстройству деревни, так как при проведении реформы крестьяне получили в свои руки меньшее количество земли, чем то, которым они владели при крепостном праве. В пореформенные годы количество малоземельных хозяйств продолжало расти, и это, по мнению писателя, является основным фактором хозяйственного и морального упадка деревни.

Наряду с недостатком земли и развитием различных форм «легкого труда», «наживы», в чем он видел главную причину страданий крестьянства, Успенский считал, что важной причиной, способствовавшей ухудшению положения деревни, является малочисленность народной интеллигенции. Значительная часть интеллигенции после реформы обратилась в «наемную интеллигенцию», служащую господствующим классам и защищающую интересы «хищников». Страдающий от недостатка земли и терзаемый хищниками народ, утверждает писатель, не имеет сколько-нибудь широкого слоя своей интеллигенции, способной прийти ему на помощь, — и это делает его положение еще более тяжелым.

В отличие от П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского и других теоретиков народничества 70-х—80-х годов, а также таких народ-

нических писателей-беллетристов, как Н. Н. Златовратский и др., Успенский сделал попытку в цикле «Власть земли» объяснить особенности крестьянской жизни и мировоззрения не свойствами «духа» русского крестьянина, не его общинными «идеалами», а объективными условиями земледельческого труда и быта. Однако материализм Успенского страдает недостатками, свойственными вообще метафизическому материализму. Успенский рассматривает труд крестьянина как извечный процесс взаимодействия между человеком и природой, отвлекаясь от его общественных условий. Он не понимает того, что особенности крестьянского труда определяются, в первую очередь, *общественной формой этого труда*, историческими, социальными закономерностями, а не влиянием неизменных законов природы. Противоречия мелкого крестьянского хозяйства в том виде, какой оно приобрело в пореформенной России, в условиях многочисленных крепостнических пережитков и усиливавшегося с каждым годом развития капитализма, Успенский пытался объяснить не этими историческими условиями, а «властью земли», процессом «вечной» борьбы крестьянина с природой.

С этим связана противоречивость идейной позиции Успенского, отразившейся в очерке «Власть земли». Успенский показал здесь ярко нарождение в деревне «деревенского пролетариата» (представителем которого является Иван Босых) и проанализировал многие из причин, способствовавших его появлению. Писатель трезво охарактеризовал индивидуализм мелкого крестьянина, его «фанатизм собственника» и предрассудки против общественного, коллективного труда. Он изобразил расслоение деревни и усиливающуюся борьбу между различными группами деревенского населения. Но вместе с тем Успенский не понимал неизбежности разложения крестьянства, — разложения, обусловленного процессом капиталистического развития. «Этот новорожденный пролетариат, — пишет Успенский,— решительно мог бы не существовать на нашей земле, если бы миллионы мероприятий, направленных в сторону народа, дорожили народным миросозерцанием...» Успенскому кажется, что обеспечение крестьян достаточным количеством земли, иная организация воинской повинности, школы и т. д. приостановили бы развитие капитализма и способствовали сохранению прежней «стройности» земледельческих идеалов. Он не понимал того, что наиболее глубокой основой капитализма было само мелкое крестьянское хозяйство.

Следствием непонимания Успенским мелкобуржуазной природы крестьянского хозяйства было двойственное отношение писателя к обрисованному им укладу крестьянской жизни, слагающейся под

«властью земли». С одной стороны, Успенский не жалеет самых мрачных красок для изображения фаталистического преклонения мелкого крестьянина-земледельца перед стихийной властью природы, жестокости его «зоологической правды», низкой производительности крестьянского труда. «Вековечный труд — это и есть жизнь и интерес жизни, а результат — нуль», — пишет он, характеризуя этими горькими словами жизнь мелкого крестьянина. Но, с другой стороны, «власть земли» представляется Успенскому *вечным* условием народной жизни. Изображая разложение крестьянства, вызванное капиталистическим развитием, Успенский идеализирует тип крестьянина-земледельца, живущего при натуральном хозяйстве, и противопоставляет «стройность» его жизни и идеалов противоречиям, развивающимся «под ударом рубля». Эти взгляды Успенского сближали его с народничеством 80-х годов. В. И. Ленин писал, указывая на противоречия взглядов народников, что они «хотят именно сохранения «связи» крестьянина с землей, но не хотят крепостного права, которое одно только обеспечивало эту связь и которое было сломлено только товарным хозяйством и капитализмом, сделавшим эту связь невозможной» (Сочинения, т. 1, стр. 225).

В конце 1882 года очерки «Власть земли» были перепечатаны Успенским в составе сборника, получившего то же общее название. В сборник, кроме цикла «Власть земли», вошли очерки «Старики», «Равнение «под одно», «Бог грехам терпит», «Не случись» и «Овцы без пастыря». Рассматривавший книгу цензор Назаревский дал о ней отрицательный отзыв. Он писал, что Успенский в своих очерках намекает «на будущую катастрофу». Книга его, по мнению цензора, «не может не иметь вредного влияния на читателей». По докладу цензора уже отпечатанный сборник 6 декабря 1882 года был запрещен Главным управлением по делам печати и министром внутренних дел. Однако 17 декабря того же года, в результате дополнительных хлопот издателя или самого Успенского, последовало новое представление Главного управления по делам печати министру внутренних дел, и арест с книги был снят.

В сборнике «Власть земли» отдельные очерки цикла получили особые названия, которые Успенский сохранил и впоследствии (в журнальном тексте была дана только нумерация глав: I—XII). Кроме того, в тексте было сделано несколько незначительных сокращений. Для последующих переизданий цикл каждый раз тщательно просматривался и стилистически редактировался автором.

Успенский придавал циклу «Власть земли» очень большое значение. В письме к издателю и переводчику В. Е. Генкелю от 13 фе-

враля 1888 года он писал об этом цикле, противопоставляя его роману Э. Золя «Земля» (1886—1887): «Обратите внимание на «Власть земли» — сила заключается в народе. Не так грубо и подло взглянул я на *землю,* как Золя. Он смешивает две формы жизни (как она и смешалась в европейских государствах действительно) — жизнь *на земле* для того, чтоб добыть *денег.* Это в России не так: либо на земле без денег, либо с деньгами без земли. Так вот в первых главах «Власти земли» представлено «дело земли» в очищенном виде».

Как уже указывалось выше, цикл «Власть земли» вызвал широкое обсуждение в современной ему критике.

Отзывы реакционной критики 80-х годов о «Власти земли» были резко враждебными. Упрекая Успенского за «постоянное копанье в избах и хлевах», реакционная критика противопоставляла демократической литературе о деревне дворянскую беллетристику как «чистые комнаты» литературы, литературный «бельэтаж». Успенский дал отпор этой пренебрежительно-помещичьей оценке демократической литературы в статье «Подозрительный бельэтаж», написанной в ответ на статью П. Щебальского («Русский вестник», 1882, IV), возмутившую писателя своею грубостью и имевшую характер доноса. Щебальский, К. Головин и другие публицисты реакционного лагеря утверждали, что для того, чтобы сохранить «порядок» в деревне, нужны ежовые рукавицы, то есть власть помещика. Это и доказывает будто бы история Ивана Босых.

В противоположность реакционной публицистике либерально-буржуазная критика 80-х годов в лице А. Н. Пыпина («Вестник Европы», 1884, II) и К. К. Арсеньева (там же, 1883, X) высоко оценила очерки Успенского. Однако основной демократический смысл очерков не мог быть раскрыт критиками-либералами.

В народническом лагере цикл «Власть земли» вызвал острую полемику, отразившую борьбу различных направлений внутри народничества и его кризис. Значительная часть представителей народнической критики, признавая значение Успенского-художника, резко порицала Успенского-публициста за его критику народнических идеалов (Арт. — «Русское богатство», 1883, III; Л. Оболенский — там же, 1883, VII, С. Венгеров («В—в») — «Неделя», 1882, № 5). Наиболее содержательную оценку цикла из критиков-народников дали М. Протопопов («Дело», 1882, VII) и А. М. Скабичевский («Устои», 1882, II).

Особое место в полемике, вызванной появлением «Власти земли», занял вопрос о жанре очерков. Отмечая соединение художественного изображения с публицистикой как черту, характерную

для очерков Успенского 80-х годов, часть критики порицала это соединение и советовала Успенскому вернуться к очеркам прежнего, более обычного типа.

Несмотря на обилие и разнообразие высказанных суждений, цикл «Власть земли» не получил правильного критического истолкования и оценки у представителей народнической критики. Задача эта выпала на долю русских марксистов.

В 1888 году появилась статья Г. В. Плеханова «Глеб Успенский». Плеханов отметил в ней реалистический характер изображения пореформенной деревни в очерках Успенского «Крестьянин и крестьянский труд» и «Власть земли», вскрыв вместе с тем их глубокие противоречия.

«Самый наблюдательный, самый умный, самый талантливый из всех народников-беллетристов Гл. Успенский, — писал Плеханов, — взявшись указать нам «совершенно определенные» «реальные формы народного дела», совсем незаметно для самого себя пришел к тому, что подписал смертный приговор народничеству и всем «программам» и планам практической деятельности, хоть отчасти с ним связанным» («Искусство и литература». М., 1948, стр. 532).

Плеханов указал, что очерки Успенского продолжали сохранять свое значение в условиях борьбы марксизма с народничеством благодаря трезвому отношению Успенского к народническим иллюзиям, его реализму и изображению им глубокого индивидуализма «хозяйственного крестьянина». Вместе с тем Плеханов отметил ошибочность теории «власти земли». Он показал, что определяющее значение для жизни и труда крестьянина имеют общественные условия земледельческого труда, а не отношение крестьянина к природе (которое само определяется развитием общества).

При всем историческом значении статьи Плеханова в ней сказались и его серьезные ошибки в оценке крестьянства и роли его в русской революции. Плеханов не смог оценить во всей полноте демократического общественного содержания идей Успенского, отражения в его очерках интересов и настроений крестьянства, мечтавшего о новом, «справедливом» разделе земель.

Оценку исторического значения крестьянских очерков Успенского 80-х годов дал орган РСДРП газета «Искра», выходившая под редакцией В. И. Ленина. В статье «По поводу смерти Г. И. Успенского» «Искра» писала в 1902 году, что лучшие произведения Успенского 80-х годов, в «которых мыслитель, сливаясь с худож-

ником, на нескольких страницах, иногда в нескольких строках намечал самые глубокие выводы, сообщая им непосредственную убедительность художественного наблюдения действительности», помогали русским марксистам-революционерам «конкретно выяснить и себе и другим свою практическую теорию» («Искра», 1902, № 20, от 1 мая, стр. 3).

Стр. 119. *Что за глупые разговоры о людях с песьими головами, о Махмуде персидском...* — намек на рассказы странницы Феклуши в «Грозе» А. Н. Островского (д. II, явл. 1).

Стр. 120. *Сарра Бернар* (1844—1923) — знаменитая французская драматическая актриса, много раз гастролировавшая в России.

— *Зембрих,* Марчелла — сценическое имя Марцелины Коханской (1858—1935), выдающейся польской певицы. В 1880—1882 годах Зембрих гастролировала в Петербурге и Москве.

Стр. 127. *Румянцев,* Петр Александрович (1725—1796) — граф, фельдмаршал, русский военный и государственный деятель.

— *Договор в Андрусове* — договор о перемирии между Московским государством и Речью Посполитой (Польшей), заключенный в 1667 году и завершивший войну за Украину, начатую в 1654 году.

— *...в Бахчисарае...* — Имеется в виду Бахчисарайский мир между Россией и Турцией в 1681 году, по которому Турция признала левобережную Украину и Киев воссоединенными с Русским государством.

Стр. 131. *Измайлов,* Лев Дмитриевич (1763—1836) — генерал, крепостник-самодур, владелец огромных поместий в Рязанской и Тульской губерниях, подвергавший своих крепостных диким истязаниям.

Стр. 132. *Дранье на волостных судах* — см. очерк «Из деревенских заметок о волостном суде» в настоящем томе, стр. 440.

Стр. 133. *Нестор-летописец* (ок. 1056—1114) — монах Киево-Печерского монастыря, которому приписывается составление первой русской летописи «Повесть временных лет».

Стр. 138. *Сютаев,* Василий Кириллович (ок. 1820—1890) — крестьянин, основатель религиозной секты «сютаевцев». В 1880—1881 годах о нем появилось много газетных и журнальных статей. Сютаевым и его идеями интересовался Л. Н. Толстой.

Стр. 140. *Стала выходить газета...* — Имеется в виду газета «Сельский вестник» (предназначавшаяся для разъяснения крестья-

нам аграрной политики правительства), которая начала выходить в 1881 г.

Стр. 161. *Тихон Задонский* (1724—1783) — воронежский епископ и духовный писатель. Успенский цитирует его «Слово о хищении» (Сочинения Тихона Задонского, т. III, 1836, стр. 87).

— *Иоганн Гофф* — фирма в Петербурге, торговавшая мальц-экстрактом и другими препаратами. Приводимое Успенским письмо является пародией на благодарственные письма пациентов, которые Гофф помещал в своих рекламных объявлениях.

Стр. 164. *Герцен* — Успенский цитирует сочинение Герцена «С того берега» (1850) по книге Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», СПБ., 1882, стр. 100. В цитате опущено несколько слов. Курсив Успенского. Сочинения Герцена в то время были запрещены цензурой и в России не выходили.

Стр. 167. *Вайц*, Теодор (1821—1864) — немецкий ученый, философ и антрополог. Успенский имеет в виду его труд «Антропология первобытных народов» (русский перевод — М., 1867).

Стр. 171. ...*«развить эгоистическое сердце человека в сердце всескорбящее...»* — Успенский цитирует статью А. И. Герцена «По поводу одной драмы» (1843) по книге Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», СПБ., 1882, стр. 28.

Стр. 173. *Бонту*, Эжен (1824—1904) — французский инженер, занимавшийся крупными биржевыми спекуляциями. В 1880 году возглавил парижский банк «Всеобщий союз». Крах банка Бонту имел место в январе 1882 года и вызвал потрясение на парижской бирже.

— *Лев XIII* (1810—1903) — папа римский с 1878 года.

Стр. 174. ...*в том же самом нумере газеты...* — «Русские ведомости», 1882, № 41 от 12 февраля (стр. 3).

Стр. 176. *В одном из №№ «Сельского вестника»...* — Успенский ссылается на письмо крестьянина Несторенко, Змиевского уезда Харьковской губернии («Сельский вестник», 1881, № 9 от 27 октября, стр. 75).

Стр. 198. ...*от Перми до Тавриды... у стен Кремля, у стен Китая...* — намек на известные строки из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831):

...или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая...

Стр. 200. *«Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на нее, не имела смысла...»* — цитата из «Войны и мира» Л. Н. Толстого (т. IV, ч. 1, гл. XIII); приводится с некоторыми изменениями и сокращениями.

ИЗ РАЗГОВОРОВ С ПРИЯТЕЛЯМИ

(На тему о «власти земли»)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Впервые напечатано: первый очерк — в журнале «Отечественные записки», 1882, XI, под названием: «Без своей воли (Из деревенского дневника)», остальные очерки — там же, 1883, II, под названием «Из разговоров с приятелями. Очерки».

Очерки «Из разговоров с приятелями» идейно и тематически непосредственно примыкают к циклу «Власть земли». Эту связь Успенский подчеркнул, снабдив во втором издании «Сочинений» цикл «Из разговоров с приятелями» подзаголовком («На тему о «власти земли»). Еще раньше, в первом издании «Сочинений», Успенский в конце цикла «Власть земли» дал подстрочное примечание, отсылающее читателя к данному циклу как к рассказу «на ту же тему о власти земли».

В очерках проводится параллель между идеалом трудовой крестьянской жизни и социалистическими идеалами, создающимися на почве рабочего движения. Как и в очерках «Власть земли», Успенский рассматривает крестьянина как прообраз гармонического, «полного» человека, который «всё сам, на все руки, всё может и ни в ком не нуждается». Но вместе с тем писатель подчеркивает, что гармоничность крестьянской жизни складывается под стихийным воздействием природы. Крестьянин живет «без своей воли», «как цветок, как галка, как пчела». Достаточно поэтому иногда простого «случая», чтобы сокрушить «гармонию» крестьянской жизни. Крестьянин не может противостоять разлагающим влияниям «рубля» и «машины», легко теряет (о чем свидетельствует тип «Миша́нек») всякое нравственное «благообразие», превращается в маклака, кабатчика, купца. Поэтому Успенский признает, что социалистический идеал, возникающий под влиянием борьбы рабочего класса и отражающий его стремление к освобождению от капиталистического

гнета, в силу своей сознательности выше, чем бессознательные «гармония» и «благообразие» трудовой крестьянской жизни. Как ни недостаточны еще практические завоевания западноевропейского рабочего, все же каждая — даже скромная — победа социалистического рабочего движения «незыблема» и «вековечна», ибо является выражением сознательного стремления к искоренению рабства — стремления, которое уже никогда не сможет заглохнуть.

И все же русская демократическая интеллигенция должна, по Успенскому, положить в основу своей социальной теории идеал русского крестьянина как «образцовейший тип существования человека». Эта народническая тенденция писателя вызвала резкую критику Плеханова в его статье об Успенском. Народнической вере Успенского в то, что человек будущего в России — мужик, Плеханов противопоставил идеи научного социализма.

Сохранившаяся наборная рукопись II—VI очерков цикла свидетельствует, что при прохождении в печать цикл подвергся значительной авторской правке как стилистического, так и цензурного порядка. В рукописи дана более отчетливая характеристика Протасова как одного из людей, «измолотых в порошок» реакцией 70-х и 80-х годов, более резко был охарактеризован помещик «Сквозьстроев» — «маленький злой идиот и распутник», ярче обрисованы его «тиранства» и вызванное ими озлобление. В уста Протасова был вложен ряд обличительных высказываний, направленных против «командования сытых классов»: «Командование сытых классов — неудовлетворительно,— писал, между прочим, Успенский,— мы знаем, что и у нас прорвы и утробы есть ненасытны, которым желательно не давать воли... Положение классов, над которыми командуют, ужасно...» В начале VI очерка, рассказывая об отъезде Протасова, автор первоначально вкладывал в его уста следующее рассуждение, выброшенное цензурой: «Есть у мужиков,— говорил он между прочим, — такая пословица, резюмирующая, на мой взгляд, всю мужицкую историю: *нас* (то есть мужиков) *только печкой не били.* И действительно, если ты вникнешь в эту пословицу с должным беспристрастием, — то невольно согласишься, как точно во всех отношениях это определение мужицкой истории. Кнут, палка, подворотня, оглобля, вожжи, даже ведро, лопата, лом — словом, решительно все, что только можно взять в руки, чем только можно размахнуться, чем можно пустить, — все перепробовал мужик на своей шкуре. Вот только печкой действительно не били, нельзя. Нет еще такого «облеченного доверием» лица, который бы в видах

«государственной пользы» осилил огромную крестьянскую печь, и, взяв ее в свои могучие руки, мог бы ударить мужика «для его же собственной пользы». А однако мужик все тот же, как будто его ничем и не били...» В заключение Протасов говорил: «Боль, крик стоны тех, кого били всем, чем ни-попадя, из-за которых где-то там за тридевять земель хлопочут и бьются люди совести и сердца, по временам завоевывая «независимость» и уж добившиеся какого-то мизерного для нас «отдельного столика», — здесь в среде благоустроенных крестьянских семей и образцовых типов человеческого существования — уж не имеют результата, который бы в миллионной доле поровнялся с этим столиком... Те, кто убиты или забиты, — лежат в земле сырой, — в деревенское сознание ничего не создало во имя этого неусыпающего битья... Не может!..

Предшествующее отъезду Протасова рассуждение его о «столике», завоеванном европейским рабочим (см. конец V очерка), в рукописи имеет также иную, более пространную редакцию: «Столик — точно мизерность,— но он победа против неправды. Он — завоевание, вершковое, но все-таки завоевание в пользу меньшего брата, в пользу справедливости... Сам по себе он — ничтожество и убожество и драма, — но с ним в бедном и пожираемом железными законами рабе действительно пробивается мысль о полной независимости... В глубине всех этих мизерных опытов важна именно мысль о полной независимости человека. Опыт мал, но мысль велика, и мысль о независимости с каждым днем завоевывает себе большее и большее пространство и большее внимание. Она уже устыжает и устрашает сытые классы европейского общества настолько, что вопрос о положении современного раба, — стал вопросом неотразимым; все партии общественные сознают, что так «как-нибудь» — его нельзя разрешить. В тронной речи о нем говорит германский император, его хотят по очереди эксплуатировать правительства, буржуазия, духовенство... Конечно, они долго еще не дадут ничего, кроме столика или простого обещания, — но вопрос о положении раба и о независимости его существования не может исчезнуть, заглохнуть, а будет расти и развиваться и идти по пути, несмотря на всевозможные преграды, к цели, то есть к полной независимости существования... И, судя по некоторым признакам, в этом направлении уже и сделано даже кое-что больше столика: так, в Германии уже существуют фабрики, на которых хозяева дают семейному рабочему в вечное владение на известных условиях полный дом и лоскутки земли. Это кабала, но и она роковым образом ведет к той же цели, то есть, чтобы не было на свете раба. Вообще же повторяю, как ни мизерны эти результаты, добытые во имя справедливости, но они

незыблемы, вековечны в самом деле, потому что в глубине их лежит сознательная мысль о несправедливости существования раба, сознательная скорбь о нем...»

В журнальной публикации цикл распадался на две самостоятельные части — «Без своей воли» и «Из разговоров с приятелями». В таком же виде он был перепечатан (с некоторыми сокращениями и исправлениями) в первом издании «Сочинений» (т. VIII, СПБ., 1884). Подготовляя второе издание «Сочинений», Успенский объединил обе части цикла в единое целое и дал отдельным очеркам отсутствовавшие прежде заголовки. При этом очерки подверглись еще раз сокращению и стилистической правке. Из опущенных Успенским отрывков наибольший интерес представляют полемические замечания против идей Достоевского, выраженных в романе «Подросток». «Вопреки уверениям г. Достоевского, который в одном из своих романов сказал, что «благообразие» вообще встречается на Руси в привилегированном сословии, — писал Успенский, — я думаю как раз наоборот: оно все целиком сосредоточено в нашем крестьянстве...» Выброшены, повидимому по цензурным соображениям, были и некоторые политически острые формулировки. Так оказался снятым во втором издании вопрос: «отчего это отечество наше могло выдумать для верных сынов своих только массу затруднений и, повидимому, не только не обещает убавить их, а как будто грозится преувеличить?» Сняты были полностью и рассуждения Протасова по поводу крестьянской пословицы: «нас (то есть мужиков) только печкой не били», рукописная редакция которых приведена выше. Так как одновременно с цензурной правкой и сокращением очерков Успенский производил стилистическую правку, то восстановить в тексте очерков выброшенные автором отрывки в большинстве случаев невозможно. Поэтому в настоящем издании по наборной рукописи восстанавливается первоначальный авторский текст лишь одного — особенно важного — эпизода, подвергшегося в прижизненных печатных текстах цензурным искажениям, — рассказа Протасова о помещике Сквозьстроеве в начале III очерка (см. стр. 238—240).

Стр. 206. ...*«в стан погибающих»* — цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

— *Одно из действующих лиц тургеневского романа* — Пигасов, персонаж романа И. С. Тургенева «Рудин» (1856), отличавшийся желчным и раздражительным характером.

Стр. 209. *Корф,* Н. А. (1834—1883) — педагог, автор учебников для школы «Малютка», «Наш друг» и др.

Стр. 209. *Евтушевский,* В. А. (1836—1888)— педагог-математик, автор широко распространенных в 80-х годах «Сборника арифметических задач» и «Методики арифметики».

Стр. 215. *Надар* — псевдоним французского воздухоплавателя, писателя и карикатуриста Ф. Турнашона (1820—1910).

Стр. 218. *...книгу об Америке, о каких-то американских сектах...* — Повидимому, имеется в виду книга: J. H. Noyes. History of the american socialisms, Philadelphia, 1870 (Дж. Нойес. История американского социализма, Филадельфия, 1870).

— *Нойес,* Джон Гемфри (1811—1886) — американский священник, буржуазный социальный реформатор. В 1847 году создал общину из своих сторонников.

Стр. 220. *Фаланстер* — так в системе великого французского социалиста-утописта Ш. Фурье называлось собрание жилищ и общественных зданий социалистической общины (фаланги).

— *Фамилистер* — так называлось общежитие для рабочих, устроенное французским буржуазным социальным филантропом Годен-Лемером. По его образцу был устроен «отель» для рабочих на угольных копях близ Лютиха, описание которого Успенский дает далее на стр. 249. Описание это Успенский заимствовал из книги Лавеле (см. примечание к стр. 249).

— *Нью-Ленарк* — название бумагопрядильной фабрики (в Шотландии, на реке Клайд), которой в 1800—1817 годах управлял великий английский социалист-утопист Р. Оуэн, осуществивший на ней ряд социальных реформ. Успенский был знаком с деятельностью Оуэна по статье Н. А. Добролюбова «Р. Овэн и его попытки общественных реформ» (1859).

Стр. 225. *«Культурное значение финиковой пальмы громадно...* — цитата из статьи В. О. «Новейшие исследования американского материка» («Вестник Европы», 1882, IX, стр. 130—131). Приводится с небольшими изменениями.

Стр. 230. *...в скопинский банк...* — см. о крахе скопинского банка ниже, в примечаниях к очерку «Из деревенских заметок о волостном суде» (стр. 490).

Стр. 236. *«Ты, — сказал покойный Некрасов, — и убогая, ты и обильная...»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Русь», вошедшего в поэму «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Пир на весь мир», 1876).

Стр. 241. *Увидал я одну маленькую картинку...* — Успенский имеет в виду картину Н. А. Ярошенко (1846—1898) «Курсистка».

Стр. 246. *...поражен образом Манфреда.* — Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона (1817).

Стр. 248 *Я думаю о гоголевской слесарше, которая, помнишь, сама себя высекла?* — См. «Ревизор», д. IV, явл. XV. Успенский ошибся, спутав унтер-офицершу со слесаршей Пошлепкиной, вместе с которой она появляется на сцене.

Стр. 249. *В этой же самой книжице, из которой я привел тебе цитату...* — Успенский имеет в виду книгу бельгийского буржуазного экономиста и философа Эмиля де Лавеле «Современный социализм», перевод с французского М. Антоновича, СПБ., 1882 (первая цитата — на стр. 98). *Поэт конца римской республики* — Антипатр (II в. до н. э). Лавеле приводит стихотворение Антипатра на стр. 135, заимствуя текст его из I тома «Капитала» К. Маркса («Капитал», т. I, Госполитиздат, М., 1952, стр. 414).

ПРИШЛО НА ПАМЯТЬ

(Рассказ)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1881, II, с подзаголовком «Из деревенских воспоминаний».

Рассказ «Пришло на память», написанный вскоре после окончания цикла «Крестьянин и крестьянский труд», связан с ним и по содержанию. Действие здесь происходит, по указанию автора, «в тех же самых местах», а герой рассказа Демьян Иванович охарактеризован как «предместник» Ивана Ермолаевича (стр. 266). В письме к писательнице Е. П. Летковой от 24 июня 1884 года писатель уточняет эту характеристику, сообщая, что прототипом обоих указанных героев было одно и то же лицо: «В рассказе «Пришло на память» Демьян Иванович то же лицо, что Иван Ермолаевич (там увидите), только все это изуродовано, потому что надо было писать как будто вновь. Но эти вещи неразрывны». Тождественность Демьяна Ивановича и Ивана Ермолаевича подтверждает и сопоставление настоящего рассказа с очерком «Подгородный мужик» (из цикла «Непорванные связи»), где «крестьянин, наблюдавший за мызой», назван сходно — Демьяном Ильичом.

В рассказе ярко отражено разложение пореформенной деревни. Демьян Иванович ведет руками наемных рабочих на арендованной земле обширное хозяйство, целью которого является продажа сена, а впоследствии, разжившись, переселяется в Петербург и открывает извозчичий двор. В то же время представители деревенской бед-

ноты — Иван, Варвара — не имеют своего хозяйства, вынуждены наниматься в работники к богатому крестьянину. Позднее они теряют связь с деревней, уходят в город в поисках заработка, пополняя ряды городского пролетариата. Особенно трагично складывается судьба Варвары.

Рассказ перепечатывался при жизни Успенского в сборнике «Деревенская неурядица» (т. III, СПБ., 1882) и в трех изданиях «Сочинений». Для каждого издания он пересматривался и подвергался стилистической правке.

БОГ ГРЕХАМ ТЕРПИТ

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1881, IX и XI, 1882, IX—X. Первые два очерка при журнальной публикации были озаглавлены: «Бог грехам терпит (Отрывки из памятной книжки)» и печатались за подписью «Г. Иванов».

Первые два очерка цикла «Бог грехам терпит» были напечатаны непосредственно вслед за окончанием цикла «Без определенных занятий» (см. т. IV настоящего издания). По своему содержанию они (так же, как и следующий за ними третий очерк «Подозреваемые») тесно связаны с последними очерками этого цикла — «На травке» и «Своекорыстный поступок». Успенский изобразил в этих произведениях общественную обстановку в России после 1 марта 1881 года. На убийство Александра II народовольцами правительство ответило террором, арестами и ссылками, травлей прогрессивной интеллигенции, усиленной деятельностью полицейских «блюстителей порядка». Наиболее темной части крестьянства полиция и кулаки стремились внушить мысль, что убийство Александра II было местью за отмену им крепостного права. Используя недоверие крестьян к народнической интеллигенции, реакция всячески стремилась разжечь в народе вражду к революционерам. Помещики и полиция призывали крестьян следить за политически «неблагонадежными» элементами, в особенности за интеллигенцией, вылавливать «политических агитаторов» и выдавать их полиции. Обстановка ежедневных бессмысленных обысков и арестов и дикой травли интеллигенции и отражена в очерках Успенского.

В основу истории об аресте купца из-за «подозрительных» пилюль, рассказанной в очерке «Маленькие недостатки механизма»,

Успенский, повидимому, положил реальное происшествие. Об этом свидетельствует письмо к Успенскому от 12 сентября 1881 года его знакомого, писателя-народовольца Н. П. Орлова (Северова), в котором последний пишет: «Жаль, что вы отчаиваетесь насчет рассказа о пилюлях. Пишите его как можно смешнее, а где смех, там трудно увидеть злобу и не пропустить». В том же письме Н. П. Орлов рассказывал Успенскому о другом аналогичном случае ареста полицией по ошибке ни к чему не причастного лица.

В очерке «Маленькие недостатки механизма» содержится также прямой намек на один из террористических актов «Народной воли» против Александра II. Слова: «В Москве у такого-то, мол, вокзала тоже домохозяева жили, тоже с супругами» (стр. 311) являются намеком на покушение на Александра II в Москве 19 ноября 1879 года, когда народовольцы Л. Гартман, С. Перовская и др. (снявшие дом вблизи Курского вокзала под видом состоятельных мещан) пытались взорвать царский поезд.

Для очерка «Подозреваемые» Успенский воспользовался случаем, который имел место с ним самим в Сябринцах в июне 1882 года. В письме к писательнице Е. С. Некрасовой от 11 июня 1882 года он так описал этот случай: «Накануне моего возвращения из Москвы домой, к сельскому старосте нашей деревни, в первом часу ночи явился какой-то человек и, разбудив всю семью, объявил себя агентом тайной полиции, потребовал, чтобы староста составил протокол обо мне, что я социалист-заговорщик, что у меня в 6-ти верстах от Чудова на мызе живут «подручные», куда я и езжу для совещаний и чорт знает чего... Теперь идет дело...» Об этом же Успенский в начале июня писал и редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому. Некоторые дополнительные подробности о событиях, положенных Успенским в основу очерков «На травке» и «Подозреваемые», сообщает брат писателя И. И. Успенский (Летописи Государственного литературного музея, книга 4, «Глеб Успенский», М., 1939, стр. 366).

В последних четырех очерках цикла Успенский возвращается к теме жестокой борьбы, раздирающей пореформенную деревню, характеризуя рост богатства и влияния кулаков-мироедов, сопротивление им пролетаризирующихся элементов деревни. Особое значение имеет блестящая характеристика англо-египетской войны 1882 года, данная писателем в очерке «С человеком — тихо». Успенский показал здесь, что истинными хозяевами британской колониальной политики являются акционерные общества и банки, по отношению к которым командующий английским флотом адмирал Сеймур играл роль «судебного пристава», исполняющего их волю.

В духе подлинного интернационализма Успенский заявил о своем глубоком сочувствии «мужикам Египетской губернии», порабощенным иностранным капиталом.

После получения рукописи второго очерка цикла «Опустошители» М. Е. Салтыков-Щедрин писал Успенскому 17 октября 1881 года: «Я получил начало Вашего рассказа, но из письма Вашего не вижу, скоро ли можно ожидать продолжения и в каком размере. Ваш последний рассказ <«Маленькие недостатки механизма»> произвел в цензуре целую бурю. Пропустить-то его пропустили, да потом и хватились. Судя по тому, как этот рассказ кончился, не чаю, чтобы и тот, который Вы посылаете теперь, был цензурен. Времена ноне тяжкие... Очень будет обидно, ежели Ваш новый рассказ придется отложить» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIX, М., 1939, стр. 234).

Очерк «Опустошители» был напечатан, но остался без «продолжения», которое намечалось заключительными фразами его журнального текста (впоследствии исключенными Успенским). В первоначальной редакции рассказчик не расставался с Лаптевым, а вместе с ним покидал пароход и оказывался «посреди пустынной улицы незнакомой деревни». Таким образом, Успенский предполагал в продолжении очерка вернуться к образу Лаптева, в лице которого изображен передовой общественный деятель — разночинец. Невозможностью провести через цензуру подобное окончание очерка (о чем предупреждал Успенского Салтыков) объясняется, очевидно, то, что очерк остался без продолжения, а следующие два очерка цикла были помещены в «Отечественных записках» лишь через год, в сентябре 1882 года.

Очерк «С человеком — тихо» в журнальном тексте не имел заглавия, которое появилось лишь в первом издании «Сочинений» Успенского (т. VI, СПБ., 1884). Перепечатывая цикл при своей жизни несколько раз — сначала в сборнике «Власть земли» (1882), а затем в трех изданиях «Сочинений», Успенский кроме указанных случаев ограничился лишь немногими стилистическими поправками.

Стр. 302. *Трынка* — азартная карточная игра.

Стр. 310. *...наскочил на бляху.* — Низшие полицейские чины — городовые — носили металлическую бляху с номером.

Стр. 311. *Рогожское кладбище* — так назывался центр московской общины старообрядцев. В ограде его находились дома богатых членов общины.

Стр 322. *...у нас купец тут один всю реку запрудил.* . — К рассказу о купце, запрудившем реку, Успенский в «Отечествен-

ных записках» сделал примечание: «Подлинный факт». Факт, который имел в виду Успенский, был описан в газете «Новое время», 1880, № 1604 от 16 августа, в корреспонденции с Соснинской пристани на Волхове.

Стр. 323. *Мы стали пить чай и разговаривать.* — После этого в черновой рукописи следовала характеристика Лаптева, оставшаяся незаконченной и отброшенная в беловом тексте, — возможно, по цензурным соображениям, так как в ней содержались намеки на участие Лаптева в революционном движении: «Кстати сказать здесь, что разговоры наши имели несколько своеобразный характер. Лаптев принадлежал к числу тех в настоящее время довольно часто встречающихся молодых людей, у которого, кажется, решительно нет и признаков так называемой личной жизни, личных интересов, если понимать под этими выражениями ту более или менее «честную чичиковщину», которую влачили мы, большинство, примериваясь к будничной действительности и примеривая ее к себе из чувства самосохранения и личного удобства... Никакой так называемой «своей» заботы не слышалось решительно ни в одном слове Лаптева, но зато в разговоре его не было почти слова, которое не касалось бы общественных вопросов, общественных забот, общественных нужд. Мысль и забота «о чужом» до такой... (на этом рукопись обрывается).

Стр. 325. *Дело идет об убийстве одного больного...* — Убийство душевнобольного Орлова в Мышкинской земской больнице рассматривалось в Рыбинском окружном суде 8 сентября 1881 года. Организатором истязания Орлова был смотритель больницы Приоров, исполнявший одновременно должность секретаря земской управы.

Стр. 330. *Гоголевские аршинники, архиплуты и протобестии...* — намек на слова городничего в «Ревизоре», обращенные к купцам (д. V, явл. II): «Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувайлы мирские!»

Стр. 331. *...благодаря какому-нибудь прискорбному событию...* — По случаю покушений на Александра II в 1879 и 1880 годах в ряде городов местные власти и купечество спешили выразить свои «верноподданнические» чувства, жертвуя деньги на открытие училищ и благотворительных учреждений.

Стр. 332. *...в бытность учителя Николаевского...* — В первоначальном рукописном тексте Лаптев носил фамилию Николаевский. Заменив фамилию учителя в других местах, Успенский сохранил здесь его прежнее имя.

Стр. 341. *Вот, например, одно из этих рукописаний...*— История преследования учителя Лаптева, возможно, основана на судебном деле, рассматривавшемся в Луге в 1879 году. Здесь почетный смотритель училища купец Кирпичников в борьбе с учителем Храмовым также воспользовался анонимным письмом и обвинением в распространении антирелигиозных идей («Голос», 1879, № 79 от 20 марта).

Стр. 346. *«О погоде».* — Успенский ошибся. Приведенная им цитата заимствована не из стихотворения «О погоде», а из первого стихотворения цикла «Песни о свободном слове» — «Рассыльный» (1865).

Стр. 350. *Гутенберг* Иоганн (1400—1468) — изобретатель книгопечатания в Европе.

Стр. 353. *Башкирские земли не расхищаются...* — Расхищение башкирских земель, поощряемое царским правительством, началось еще в первой половине XIX века и особенно усилилось после реформы 1861 года. Пользуясь поддержкой и помощью правительственных учреждений, многочисленные хищники, среди которых было немало высших сановников, захватывали и с помощью обмана скупали за ничтожные цены леса и земли, принадлежавшие башкирам, обезземеливая население. В. И. Ленин писал о действиях царского правительства в Башкирии: «Это — такой кусочек колониальной политики, который выдержит сравнение с какими угодно подвигами немцев в какой-нибудь Африке» (Сочинения, т. 3, стр. 218, примечание). Разграбление башкирских земель вызвало в 70-х — 80-х годах ряд восстаний крестьянского населения Башкирии. Успенский писал о расхищении башкирских земель также в пятом и седьмом очерках данного цикла — см. стр. 389 и 401 настоящего тома и в позднейших очерках—«От Оренбурга до Уфы» и «О Святом ключе» (1889).

Стр. 362. *Темное царство.*— Опираясь на статьи Н. А. Добролюбова, Успенский здесь и далее пользуется добролюбовским термином «темное царство» для обозначения дореформенно-крепостнического общества.

Стр. 386. *...Россия, точно гоголевская лошадь, стоит в этом центре...* — Успенский имеет в виду известную сцену с дядей Миняем в I томе «Мертвых душ» (глава V). Изображая газетное «галдение» о благе России, Успенский выводит среди участников его дядю Михайлу, требующего, чтобы лошадь били «с обех концов», и дядю Ивана, то призывающего оставить «дубье» и покормить лошадь сеном, то вырывающего это же сено у нее изо рта. Возможно, что Успенский имел в виду в первом из этих сатирических образов реакционера М. Н. Каткова, а во втором — славянофила И. С. Аксакова

Стр. 390. *Кукуевская история* — железнодорожная катастрофа на Московско-Киево-Воронежской железной дороге близ села Кукуевки (Воронежской губернии) 30 июня 1882 года.

— *«Стрекоза»* — иллюстрированный юмористический журнал, издававшийся в Петербурге с 1875 по 1908 год.

— *Зарубин,* Павел Алексеевич (1816—1888) — механик-самоучка, изобретатель, автор ряда статей по сельскохозяйственным вопросам.

— *...на московской выставке...* — Имеется в виду Всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 года в Москве. Зарубин выставил здесь ряд машин, из которых за одну (пожарный насос) ему была присуждена медаль.

Стр. 394. *Египетская война.* — Желая приостановить развитие национально-освободительного движения в Египте, англичане летом 1882 года начали военные действия. В июне 1882 года английский флот под командованием адмирала Сеймура бомбардировал Александрию — центр национально-освободительной борьбы египетского народа, армии и мелкой буржуазии против англо-французской колониальной экспансии. Египетские войска и народные массы оказали сопротивление английской агрессии. В сентябре 1882 года при Тель-эль-Кебире англичане одержали победу, и Египет стал английской колонией.

Стр. 395. *Сыновья солнца, братья луны, отцы вселенной...* — Успенский приводит традиционные пышные титулы мусульманских властителей стран Ближнего Востока.

Стр. 396. *Лессепс,* Фердинанд (1805—1894) — французский предприниматель, инженер, строитель Суэцкого канала. В 1879 году создал акционерное общество для прорытия Панамского канала, деятельность которого закончилась крахом и грандиозным политическим скандалом («панама»).

Стр. 397. *«Домового ли хоронят, ведьму ль замуж отдают?»* — см. стихотворение А. С. Пушкина «Бесы» (1830). Последнее слово в оригинале: «выдают».

Стр. 401. *...помощью людей, хотя и называющихся общественными деятелями...* — Успенский имеет здесь в виду как дворянство и бюрократию — главную опору царской монархии, так и капиталистических хищников новой формации, рожденных пореформенной эпохой. Эту разноликую толпу «общественных деятелей»-хищников Успенский далее характеризует именами отрицательных героев Островского (Псой Псоич — у Островского в комедии «Свои люди — сочтемся» — Сысой Псоич Рисположенский; Тит Титыч — Брусков, герой комедий «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни»). Фонвизина, Грибоедова, Салтыкова-Щедрина (Колупаев и Разуваев —

типы разбогатевших деревенских кулаков в цикле «Убежище Монрепо»).

Стр. 402. *«Законы должны быть книгою весьма употребительною...»* — Борясь с реакцией 80-х годов и требуя «не скрывать от масс того, что во имя общего блага считается вредным и полезным», Успенский ссылается на «Наказ» Екатерины II, составленный в связи с созывом комиссии для составления нового уложения (1767). Успенский хочет этой ссылкой показать, что политическая реакция 1880-х годов стремилась отодвинуть Россию назад даже по сравнению с XVIII веком (и вообще с эпохой «крепостного права»), когда представители самодержавия хотя бы на словах пропагандировали просвещение, а не защищали открыто «поголовное невежество» и не рассматривали всякое проявление мысли об общественных обязанностях как «крамолу».

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

НЕ СЛУЧИСЬ

(Рассказ)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1882, XI (с подзаголовком «Из деревенского дневника»). Закончен рассказ в начале июля того же года.

В цикле «Из разговоров с приятелями» Успенский высказал мысль, что в условиях пореформенной России крестьянина сокрушают и валят с ног *«случай»,* «дуновение ветра», «всякая малость» (см. стр. 221 настоящего тома). Эта же мысль выражена Успенским в названии настоящего рассказа («Не случись»), ярко изображающего различные стороны хозяйственного и морального разложения пореформенной деревни, беззащитность крестьянина перед лицом капиталистического развития и порождаемых им влияний.

Описанное в первой половине рассказа дело Ивана Горюнова слушалось в Вологодском городском суде 24 сентября 1882 года («Вологодские губернские ведомости» № 67 от 31 августа 1882 года — «Список дел, назначенных к слушанию в г. Вологде с 15 по 25 сентября 1882 г.»). Как свидетельствуют воспоминания поэта В. Г. Гусева, Успенский лично присутствовал в суде во время слушания дела Горюнова, беседовал о нем с Гусевым, выступавшим в качестве сви-

детеля по этому делу, и принимал живое участие в судьбе подсудимого («Русская мысль», 1902, XI, стр. 111—112).

Стр. 412. *Роман Шпильгагена.* — Имеется в виду роман немецкого писателя-реалиста Ф. Шпильгагена (1829—1911) «Все вперед» (1872). Описываемый Успенским полицейский «блюститель» принял этот роман за нелегальную народническую газету «Вперед», издававшуюся в Лондоне П. Л. Лавровым в 1875—1876 годах.

— *Нечаев.* — Комизм описываемого Успенским эпизода в том, что полицейский принял санитарную брошюру за сочинение анархиста-заговорщика, бакуниста С. Г. Нечаева (1847—1882). Имя последнего приобрело широкую известность благодаря так называемому «нечаевскому делу», которым царское правительство воспользовалось для борьбы с революционным движением.

Стр. 417. *«Стрелочек».* — По всей вероятности, имеется в виду песня «Стрелок» («Я хочу вам рассказать»), распространенная в лубочных песенниках. См., например, «Народный песенник. Парням на веселье, девкам на утешенье». М., 1878, стр. 3.

ИЗ ДЕРЕВЕНСКИХ ЗАМЕТОК О ВОЛОСТНОМ СУДЕ

I. Водка и честь

Печатается по тексту первой публикации в «Судебной газете», 1883, № 21 от 22 мая и № 23 от 5 июня (с пометкой редакции: «Продолжение следует»).

В прижизненные собрания сочинений очерк не включался.

В № 6 «Судебной газеты» от 6 февраля 1883 года было помещено объявление: «С одного из ближайших №№ «Судебной газеты» начнется печатание очерков нашего постоянного сотрудника Г. И. Успенского, посвященных преимущественно обзору деятельности волостных судов». Осуществлением этого обещания явился настоящий очерк. Продолжения, опубликование которого писатель, по его словам, в силу «непредвиденных обстоятельств» откладывал «до будущей осени» (см. стр. 443 настоящего тома), в газете не появилось. Очевидно, под «непредвиденными обстоятельствами» Успенский имел в виду цензурные препятствия, встретившиеся при прохождении в печать уже первого из задуманной серии очерков, — эти же препятствия помешали в дальнейшем продолжению серии.

Интерес Успенского к деятельности волостных судов был связан с его наблюдениями над пореформенной деревней. Судебные дела о взыскании платежей с крестьянской бедноты в пользу кулаков

и мироедов ярко раскрывали разложение деревни, разрушение патриархально-крестьянского мировоззрения. Как один из симптомов «огромного переворота», который произвели деньги «во всевозможных человеческих отношениях», писатель рассматривал проникновение водки «в область правосудия», «в область совести человеческой». Успенский показал, как деревенские богатеи спаивали водкой членов волостных судов, подкупая их и заставляя поддерживать любые свои беззастенчивые требования против крестьянской бедноты. Рассказывая об использовании торговцами и кулаками волостных судов в своих интересах, Успенский протестовал против ограбления и разорения народа.

В 1888 году Н. К. Михайловский написал вступительную статью для второго издания «Сочинений» Успенского, в которой он, между прочим, упрекал писателя в том, что Успенский, сосредоточив внимание на «драме» народной и интеллигентской «совести», оставил в стороне «драму чести» (Сочинения Г. Успенского в 2-х томах, 2-е издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889, т. I, стр. XXXIII—XXXIV). Это заставило Успенского в письме к В. А. Гольцеву от конца декабря 1888 года, говоря о задуманном им ответе Михайловскому, сослаться на настоящий очерк как на попытку коснуться вопроса о чести «изничтоженной» реакцией 80-х годов личности.

Стр. 440. ...*о знаменитом рыковском крахе..* — «Рыковский» крах — крах банка в г. Скопине, директор которого И. Г. Рыков и другие члены правления разворовали более 11$^1/_2$ миллионов рублей, принадлежавшие вкладчикам. Рыковский банк был основан в 1857 году. О банкротстве его было объявлено 22 сентября 1882 года. В течение двух лет после этого, до осуждения Рыкова и его соучастников в конце 1884 года, о рыковском деле много писалось на страницах русских газет и журналов. М. Е. Салтыков-Щедрин дал яркую сатиру на «рыковщину» в своих «Пестрых письмах» (1884—1886). Успенский возвращается к теме о «рыковщине» в циклах «Скучающая публика» (1884), «Через пень-колоду» (1885) и др. А. П. Чехов посвятил «рыковскому» краху фельетон «Дело Рыкова и комп.» (1884).

Стр. 444. ...*умы Тит Титычей и Сысой Псоичей...* — см. примечание к стр. 401.

Стр. 447... *всем, кто «положит» ему «шара»...* — Речь идет о выборах членов (гласных) уездных земских собраний. В этих выборах участвовали и крестьяне, выбиравшие — в отличие от других сословий — лишь кандидатов в гласные — по одному от каждой волости. Эти кандидаты позднее избирали из своей среды гласных.

Как показывает Успенский, на выборах гласных процветали, наряду с мерами полицейского воздействия, подкуп и другие избирательные махинации.

Стр. 452. *Наймется пахатник к такому «бархатнику»...* — Успенский пользуется выражениями, вошедшими в обиход под влиянием рассказа Д. В. Григоровича «Пахатник и бархатник» (1860), в котором дано противопоставление крестьянина-труженика («пахатника») и тунеядца-помещика («бархатника»).

Стр. 454. *...в № 3 «Судебной газеты» 1883 года...* — Корреспонденция, на которую ссылается Успенский, прислана из Харькова и подписана: Еф. Б-цкий.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

КРЕСТЬЯНИН И КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

ИЗ РАЗГОВОРОВ С ПРИЯТЕЛЯМИ

(На тему о «власти земли»)

Глеб Иванович
УСПЕНСКИЙ

Собрание сочинений, т. 5

Редактор В. И. Морозова
Художник А. Я. Малков
Художественный редактор
А. М. Гайденков
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор И. Ф. Кузнецова

Подписано к печати 20/IV 1956 г. М-00726. Бумага 84×108 1/32 — 31 печ. л. = 25,42 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 24,81+6 вкл. — 25,07 л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 904. Цена 11 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.

11 р.

ГОСЛИТИЗДАТ
1956